АДРЕСА ПОБЕДЫ

Победе в Великой Отечественной войне
посвящается

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК

Москва
Союз российских
писателей
2023

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5
А 32

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

А32 **Адреса Победы** : литературно-художественный сборник / автор В. Н. Мисюк. — Москва : Союз российских писателей, 2023. — 400 с.

ISBN 978-5-901511-56-5

Память о Великой Отечественной войне жива. Жива как у ныне здравствующих ветеранов, так и у новых поколений, родившихся в XXI веке. Память о войне, с последних залпов которой прошло уже много лет, — наша общая память. Она не может остыть. Подтверждение тому — сборник «Адреса Победы», летопись эпохи, еще один ручеек в полноводную реку народной памяти. В сборнике опубликованы стихи и рассказы современных авторов — участников литературного конкурса «Адреса Победы». Их произведения посвящены важным датам Великой Отечественной войны: 80-летию прорыва блокады Ленинграда, 80-летию победы в Сталинградской битве, а также 80-летию победы в Курской битве. Цель сборника — удержать в памяти народа и в истории нашей страны новые сведения о событиях самого тяжелого и героического периода войны — 1943 года.

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5

© В. Н. Мисюк, 2023
© Союз российских писателей, 2023
© Екатерина Арт (Омельченко), обложка, художественное оформление, 2023

ISBN 978-5-901511-56-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Память о Великой Отечественной войне жива. Ее хранят как ныне здравствующие ветераны, так и новые поколения, явившиеся на свет в XXI веке. Память о войне, с последних залпов которой прошло уже много лет, — это наша общая память. Она не может остыть. Подтверждение тому — сборник «Адреса Победы», летопись эпохи, еще один ручеек в полноводную реку народной памяти.

В сборник включены стихи и рассказы современных авторов — участников Всероссийского литературного конкурса «Адреса Победы». Их произведения посвящены важнейшим датам Великой Отечественной войны: 80-летию прорыва блокады Ленинграда, 80-летию победы в Сталинградской битве, а также 80-летию победы в Курской битве. Цель сборника — удержать в памяти народа и в истории нашей страны новые сведения о событиях самого тяжелого и героического периода войны — 1943 года.

Восемь десятилетий, минувших после Победы, позволяют нам увидеть лирическое и прозаическое наследие, связанное с темой Великой Отечественной — Второй мировой войны, во всей его полноте и сложности.

Одни произведения этого сборника читаются как очень личные, камерные воспоминания о пережитом, другие стали подлинными свидетельствами состояния народной души в годину испытаний. Наряду с документальными очерками в сборник «Адреса Победы» вошли и лирические стихи, и семейные истории, и трагические мемуары о войне.

Свое особое восприятие Великой Отечественной было у тех, кто в ней участвовал, воевал. Свое — у тех, чье детство и отрочество пришлись на страшные годы лихолетья. Свой образ войны создан детьми победителей — теми, кто родился после мая 1945 года. Пишут о войне и внуки победителей, родившиеся в 70–80-е годы XX века и узнавшие о том времени из рассказов дедушек и бабушек. И, наконец, рожденные в XXI веке правнуки победителей пишут рассказы и стихи о войне, не только изучив страницы учебника истории, прочитав книги о войне, покопавшись в архивах, но и впитав в себя родовую, семейную и народную память о тех страшных годах. В совокупности своей эти рассказы и стихотворения, документальные и лирические, исполненные высокого трагизма, станут дополнением к летописи Великой Отечественной войны, сложившейся в сознании нашего народа.

Сборник состоит из девяти разделов. Четыре раздела включают стихи о Великой Отечественной войне, а еще пять — рассказы о ней.

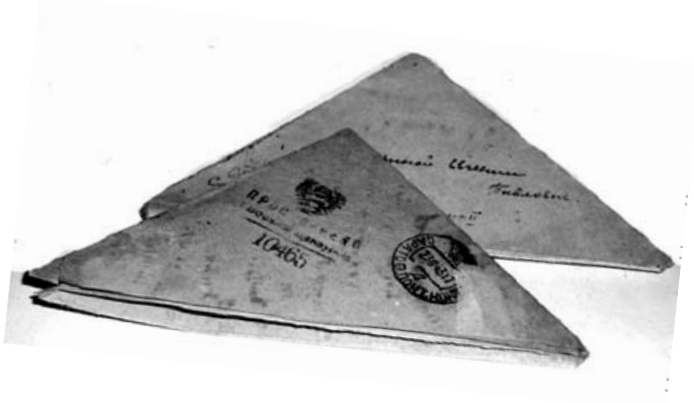
В одну книгу невозможно вместить все, что заслуживает памяти. Еще многое о войне будет написано новыми поколениями, так как не может прекратиться составление литературной хроники этой самой страшной и трагической страницы истории XX века. Остается надеяться, что этот сборник станет для кого-то побуждением к дальнейшей, более полной и углубленной работе. Какой видится Великая Отечественная война сквозь толщу лет? Как до сих пор ее эхо отзывается в литературе? Что мы вынесли из ее жестоких и героических уроков? Ответы на эти вопросы читатель найдет на страницах сборника «Адреса Победы».

I

«АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА

СТРОКИ ПАМЯТИ.
СТРОКИ ВОЙНЫ...

Арсен ТИТОВ



ТИТОВ АРСЕН БОРИСОВИЧ. 1948 г. р. Сопредседатель Союза российских писателей, председатель Екатеринбургского регионального отделения Союза российских писателей. Лауреат национальной премии «Ясная Поляна». Живет в г. Екатеринбург.

Арсен ТИТОВ

ПЕРИОД

Роман

1

Природа окрестности стряпала кое-как, думая в это время совсем о другом. Вышло у нее ни степь, ни болото, ни тайга, ни горы. Как бы все это было, и как бы ничего этого не было. Тоскливая, с постоянной хлябцой равнина неба, под ней солоделый каравай полей с горелой коркой далеких лесов, не пропекшиеся трещины дорог — вот и вся Ривьера. И погода — весна не весна, будто не май на дворе, а Октябрьская. Так и садят холода. Трава до июня не пробьется. Все показатели насмарку. И разукрашивайся агитацией не разукрашивайся, солнышко от того не выглянет, кормов не прибавит. Однако Алексей Николаевич, парторг, решил сделать к Победе стенд про погибших фронтовиков.

2

Старшеклассники село взбулгачили, но фотографий не принесли. Старухи, последние из тех, кто провожал, заревели, представив, что их солдатам снова уходить. Вроде бы уж не насквозь темные — поняли, что с них требуется и куда предназначается. Но всю жизнь у них только брали. Они только отдавали. Ни разу не случилось наоборот. И осталось уж такое, без чего — никуда. Сказать бы: без чего хоть в могилу — а как раз туда-то без этих фотографий старухи не хотели. Глядя на старух, заупрямились и бабы помоложе. Погибшие отцы не очень-то их интерьеры украшали, все больше лежали по комодам и вынимались оттуда нечасто. Однако вот заупрямились, запоперешничали. Алексей Николаевич пошел по народу сам.

Первой была старуха Будякова.

— Лексей Николаич! — пустилась она в слезы. — Колянко-то мой ведь как погиб! — и прежде чем доверить свое дите на фотокарточке Алексею Николаевичу, она поведала, что ее сын выходил самым горьким человеком. — Малехонькой-то он был вот такой! Жить-то нам было немоготно. Конюшна падат, крыша падат, голбес падат. А где чего взять? В колхоз на работу до зари беги. А с колхозу-то ничего не проси. Досытичку разу мы с им не едали.

Алексей Николаевич слушал терпеливо — уважительный был человек. Слушал он, как Колянко Будяков, тринадцатилетний заморыш, пошел работать, как в шестнадцать женился на вдове с тремя детьми, старший из которых был его ровней. Своего ребеночка

завести не случилось. Жена сказала: нищету-то плодить. И вообще он был у нее под пяткой. Придет, бывало, домой, сядет на порожек и всплачет:

— Живу-то я как худо!

И на войну он пошел вроде даже с радостью — от такой-то жизни. А на войне попал в плен и по лагерям мыкался едва не до самой Победы. А перед Победой освободился и письмо прислал, я-де, маманя, живой и теперь воюю, и у командования представлен к ордену. А головушку он сложил девятого мая в Праге. Затвердила город старуха в памяти. Помрет — так прямо туда полетит.

— Вот он какой, мой Коляночко-то. Помести уж его, Лексей Николаич, куда получше. Пускай хоть на доске твоей счастье-талан ему будет!

Собрал Алексей Николаевич с двух деревень сорок девять мужиков — по сельсоветовскому списку вроде бы всех. Да и где с двух деревень — с одной, так как вторая и ранее-то в двадцать дворов была, а ныне и совсем пропала. Лишь старик Кучин, бывший учитель, со своей старухой там обитает. Постановлением обкома об увеличении производства сельхозпродукции намечено все неудоби, в том числе и такие вот деревеньки, убрать и распахать — все, глядишь, у трудящегося на столе прибавится.

3

За стенд взялся Алексей Николаевич вечером восьмого. Повозился он изрядно, но вышло очень даже хорошо. Планшет он оклеил ватманом, написал заголовок: «Они сражались за Родину». Вырезал из плаката Родину-мать и Золотую Звезду с лавровой ветвью. Фотографии расположил в пять рядов по десять человек и с сержантами на правом фланге. В пятом ряду одного не хватило. Алексей Николаевич этому даже обрадовался — в живых пятидесятый мужик остался!

Провозился он до утра, а когда закончил, еще долго сидел просто так, всматриваясь в лица и без подписей узнавая, кто чей, так как ежедневно сталкивался с их нынешними родственниками, очень на них похожими. Он высчитывал годы отведенной им жизни и видел, что многие были ему сверстниками, а еще больше — против него молодыми. Вот тот же Колянко, то есть Николай Будяков. А вот вообще парнишка — родился в тысяча девятьсот двадцать четвертом, погиб в тысяча девятьсот сорок втором. Они смотрели на него и все вместе как бы спрашивали, как живется, какая вообще жизнь на земле. Алексей Николаевич почувствовал огромную ответственность перед ними.

— Вот оно, патриотическое воспитание! — отметил он.

4

Утро разгорелось по-особенному. Обычно не сразу и разберешь, где небо, где земля. Оба темные и клочковатые. А ныне небо синело свежей рубахой, и новым орденом сияло солнце.

Алексей Николаевич спозаранку прикрепил стенд к оградке обелиска.

Народ для шествия собирался около конторы. Начальство стояло на крыльце. Учителя равняли школьников в колонну. Особняком стояли ветераны Кучин, Розвалов и Светков. За спинами у них туда и сюда серьезно выхаживал Паша Андреич. Рождения он был того года, который уже не брали на фронт. Год разницы было — а не попишешь. Учительница истории уговаривала их встать во главе колонны, а они стеснялись.

— Вот же зануда, — тихо говорил про Розвалова председатель сельсовета. — Накатал телегу в райком, что мы о ветеранах не заботимся, дрова, видите ли, за этот год ему еще не подвезли. Год только еще начинается, а он уже того… Я зашел к нему в ограду — у него дров на пятилетку вперед наставлено. Неужели, говорю, не можешь подождать, нету сейчас транспорта — посевная же. А мне, говорит, какое дело, сел на власть — отвечай. Фронтовик называется. Пойди теперь разберись, как ему три пальчика на левой руке оборвало.

— Теперь что разбираться. Трое их у нас осталось, — возразил Алексей Николаевич, полный ночного патриотического чувства.

Заиграла песня «Вставай, страна огромная!», раздалась команда военрука — и все колонной тронулись к обелиску.

Ветераны шли за старшеклассниками. Кучин говорил с учительницей истории. Он оборонял Кавказ. По окрестности это было редкостным. Все мужики в начале войны призывались на Западный, а он — на Кавказ. Медалей на кителе у него было три: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Послевоенные юбилейные он не признавал. Китель у него был черный, суконный, под Сталина или кого там из его молодости. Выкинет клюкой вперед — и айда на центральную усадьбу за хлебом. Шагает обычно круто. Медали позванивают, бодрости придают.

Алексей Николаевич подошел к нему:

— Ну как вы с переездом? Обком торопит.

— А? — якобы не понял Кучин.

— После праздника думаем вас переселять. Транспорт выделим. Ордер давно готов. Квартира хорошая. А у вас распашем — три гектара пахотных земель прибавится. Весомая прибавка.

— Может, до смерти моей подождете? — бодро спросил Кучин.

— Ну, вам еще жить да жить! — душевно улыбнулся Алексей Николаевич.

Розвалов громко рассказывал, как они дали прикурить фрицу. Везде все сплошь драпали, а они прибыли — полк тяжелой артиллерии, кадровый состав — и ударили.

— Ни шагу я не отступал! — громко говорил Розвалов. — В сорок первом, а ни шагу!

— Ну да. Никто не драпал. Все сплошь геройски наступали на Москву! — сказал один старшеклассник.

— Ох ты, поросенок! — ответил ему Розвалов.

Старшеклассник не обернулся. Свой рассказ начал Паша Андреич:

— Под городом Львовом было…

— Город Львов в полосе Первого Украинского фронта был, а ты воевал на Пятом Украинском! — сказал Светков.

— Такого фронта не было! — уточнил старшеклассник.

— Был, — не сдался Светков. — Пятый Украинский — Ташкент!

5

Стенд сработал точно по расчету. Такого еще не видели, чтобы погибшие присутствовали у своего памятника. Застав их, будто перед отправкой, вместе собранных, бабья половина колонны захлипала. И остальные посерьезнели. То были кругом тары-бары, а тут зашушукались все об одном — сильно задело, что столько их много. Народ заповорачивал к стенду, стал толкаться, давить и напирать. Смешался народ и забыл привычный порядок. С венками перепутались и не знали, куда их возлагать — к обелиску или к стенду. И учителя побежали друг к другу за советом: куда почетный караул ставить, туда или сюда, а может, туда и сюда?

— Смотрите-ка, — первым обвык в новой ситуации Светков. — Поотделенно построены, с сержантами на правом фланге. Хоть сейчас приказ номер двести двадцать семь зачитывай!

— На первый-второй — и в рай! — вспомнил давешний старшеклассник песню Высоцкого.

— А? — спросил Кучин.

Слышал он туго. Контузия сказывалась. Раньше вообще был — все в нем жило само по себе. Одна нога туда, другая сюда. Руки — куда хотят. Сейчас же только слух подводил.

— А? — спросил он.

— Как в строю, ребятки! — крикнул Светков. — Вот он, мой дружок Паша, братан твой! Вместе мы уходили. Смотри, старший сержант и два ордена. А я вот, видишь, Паша, какой кобель старый стал!

— Во, всех помню! — гордился Розвалов, закрывая собой больше половины стенда. — Всех до единого помню!

— Ну-ка ты, ветелиран! — стала толкать его невидная старушка. — На тебя насмотрелись. Дай на людей посмотреть! — и спрашивала, почему на стенде нет тех, кто умер после войны.

— Тогда бы какую длинную доску надо было делать! — сказал кто-то.

— А хоть через всю деревню! Мужики наши того заслужили! — поджала губы старушка.

— Верно, всех надо было поместить! — зашумел Розвалов. — Власть надо обязать. Она только заседать любит. А как фронтовиков что коснись — тря-я-я-янспорту нету!

— У тебя он больно был, транпорт-от! — напомнила старушка его бухгалтерские годы.

— Я колхозную собственность берег!

— Устарался беречь! Бывало, придешь по делу в контору, а оттуда вдруг в дверь пузо покажется. Вот выходит оно из конторы, вот выходит — и конца-краю ему нету. «Бабоньки, — скличешь, — дак чой-то такое? Ну-ка гляньте в окошко!» Которая посмелее заглянет: «А-а-а, это наш булгахтер Розвалов до ветру собрался!»

— Оскорбление личности!

— Так ведь и личность так же разворотило!

— Товарищи! — призвал всех к вниманию Алексей Николаевич.

6

И после митинга долго не расходились. Уж и за полдень перевалило. Уж и напились мужики.

— Было под городом Львовом, — приступил к мемуарам Паша Андреич.

Кучин сидел около обелиска, кропил вином вокруг.

— Мясорубка! Вот так вот было все! — крутил он руками. — Как даст шестиствольный, так на прокорм одному червяку от взвода ничего не оставалось. А мы трехлинейку штыком вперед — и как в империалистическую: уря-я-я!

— Ты не кропи тут. Не могила же! — уговаривал его Светков.

— А больше негде! — отмахивался Кучин и искал Розвалова.

— Да дома он, куркуль, один пьет! — морщился Светков. — Вон Паша Андреич вместо него!

— Брешет он много! — клеймил Пашу и тут же осаждал себя Кучин. — А оттого и брешет, что был рядом с нами, а нашего не нюхал. Годом запоздал, а уже не тот.

— Счастье его, жив! — возражал Светков.

— Не верно! На что такое счастье! — упорствовал Кучин. — Мы-то все калечные. Нам любая жизнь в подарок. А им? В войну жизни не видали, после войны не видят. Германия в добре купается, а мы в чем? Это через сорок-то лет после победы! Пиррова победа-то вышла! — Кучин отмахнул рукой, и медали на кителе вскрикнули: эка-де завольнодумствовал.

— А? — спросил Кучин.

7

Около фермы в горбах прелого навоза с банкой браги засела пара старшеклассников.

— Заколебали уже со своей войной. Сорок лет одно и то же. А все не так было! — сказал один.

— Все врут! — сказал второй.

— Хоть бы в армию скорей.

— А чего хорошего?

— А здесь чего хорошего?

— У тебя дед на фронте погиб, а отец — от водки.

— Батю не тронь.

— Я не про то. Он, может, от нашего вранья и спился.

— Твой чего же не спился?

— Мой-то и врет. По должности положено. Честно, Максимка, ты советской власти веришь?

— Вот чему я верю! — ножик-самоделка вырвался из кармана.

— А я никому не верю. Для чего же революция была?

— Давай про девок!

8

Гуляли деревеньки, плыли торжества по городам. Старухи и старики, их детки, давно уже немолодые, и их детки, студенты, рабочие, служащие, учащиеся, члены партии, беспартийные, комсомольцы, несоюзная молодежь, солдаты бывшие, настоящие, будущие, ветераны воевавшие, трудившиеся в тылу, отсидевшиеся и отсидевшие, выросшие в войну и после войны — весь народ праздновал Победу.

Сорок девять мужиков, не ломая строй, смотрели на обелиск в свою честь. Сорок девять пехотинцев, артиллеристов, саперов, танкистов, рядовых, сержантов, в буденовках, пилотках, гражданских кепках, шапках, пиджаках, парадных и полевых мундирах, с петлицами, погонами — сорок девять разных, юных, молодых, матерых, пожилых, заметно отличающиеся от нынешних предвоенной и военной жильностью, сорок девять мужиков несли около обелиска почетный караул.

9

— Иван, Ваня, ты где?
— Кто зовет?
— Да я, я, Павел Кучин, старший сержант Кучин!
— Кучин? Откуда такой?
— Сам-то откуда?
— Стой! Стрелять буду!
— Заткнись! Иван, ты где?
— Как заткнись? Стой!
— Иван!
— Не Иван, а сержант Михеев! Стреляю!
— Михеев? Иван Ефимыч, что ли?
— Он!
— Бригадир тракторной бригады?
— Он самый!
— Ложись на землю! Стреляю!
— Смолкнешь ты или нет? Разорался!
— Я на посту!
— Ну и стой, а не ори! Дай с земляком встретиться!
— Дядь Вань, ты, что ли?
— Сержант Михеев, а не дядь Вань, раз ты на посту. А ну, доложись по форме, кто такой!
— Сапер отдельного саперного батальона красноармеец Будяков!
— Это еще откуда?
— Что за шум, славяне?
— Прекратить разговорчики! Где командир полка?
— Иван, где все наши?
— А мы чьи?
— Кто тут черепановские?
— Мужики, а кучинские есть, из деревни Кучиной?
— Смирно! Давайте, мужики, по порядку!
— Братцы, да где мы?

— Прекратить панику! Мы временно в окружении! Пока нет командира полка, принимаю командование на себя!

— Иван Ефимыч, ты не того, не заложил наркомовских лишнего?

— Прекратить базар! Товарищи! Я принимаю командование на себя. Я сержант Михеев. Кто не знает, сообщаю: я сержант Михеев, заместитель командира танкового взвода — танков, правда, сейчас нет. Я временно беру командование полком на себя. И всякие шуточки насчет каких-то наркомовских буду пресекать беспощадно! Тут есть наши черепановские мужики, они меня знают!

— Да какое окружение, славяне? Число-то какое сегодня?

— Пятое августа!

— Шестнадцатое февраля!

— Июня второе!

— Тридцатое января сорок третьего года!

— Да хватит брехать! Сегодня девятое сентября сорок четвертого года! Наши в Софию вошли! Болгария из войны вышла!

Такая перекличка продолжалась значительное время. Причем странным было то, что давали о себе знать только черепановские и кучинские мужики. Все же остальные молчали, будто нигде их не было, будто только кучинским да черепановским выпала долюшка оборонить страну.

10

— М-м-мать, орда какая-то, а не армия! — вконец рассердился сержант Михеев Иван Ефимович. — Равняйсь! Смирно! Я сержант Михеев. И пока не выйдем к своим, пока нет командира полка майора Ивашко, я ваш командир, бог и временно товарищ Сталин. Сегодня двадцатое октября одна тысяча девятьсот сорок первого года. Все!

— Двадцатого октября прошлого года я еще на полатях дома лежал!

— Смирно!

— А что смирно? Ты не кричи, Иван Ефимыч, а толком скажи, где мы, и с чего тебе приспичило именно двадцатое октября какого-то там года объявлять?

— Откуда двадцатое-то, когда ровно шестнадцатое!

— Да говорю, мужики, сегодня девятое сентября, наши в Софию вошли, и Болгария из войны вышла. Москва же передавала!

— Москва? Есть связь?

— Да вы что, чудики!

— Стойте, без шума, по-человечески прошу! А ну, всем построиться! И каждый пусть сам назовет себя! Кто на правом фланге? А то что-то ничего не видать.

— Где правый-то?

— Относительно моего голоса!

— Кажись, я, старший сержант Кучин!

— Дальше!

— Я, красноармеец Будяков!

— Красноармеец Лобанов Константин Кузьмич!

— Рядовой Будяков!

— Ну чисто все черепановские! А кто-нибудь из сводного полка майора Ивашко есть?

— Где такой полк?

— Из-под Смоленска пробиваемся с товарищем Ивашко на Можайск!

— Как это из-под Смоленска на Можайск?

— С боями, с боями, мил друг! Так что майор Ивашко — командир. Я по причине убыли комсостава — его заместитель. А писарь Хомченко — за начальника штаба. Вот так!

— Иван Ефимыч! Если ты с майором Ивашко и писарем Хомченко на Можайск собрался, то по каку кобылью дыру ты в Абганерово прохлаждаешься? Это ведь под Сталинградом!

— При чем здесь какая-то Абга… Как, под каким Сталинградом?

— А при том, что приказано взять!

— Ребята! Спектаклю вы, что ли, играете? Не пойму я. Ведь победа!

— Над баушкой? Неуж сдалась?

— Над Германией и ее сателлитами победа! Ведь Берлину каюк, и мы прямо с-под него в Прагу вошли!

— Ага, как в песне поется: «И конница Буденного врывается в Париж»!

— Отставить разговорчики! А ну, по одному докладывать, кто когда призывался!

— На фронт? Мы с Колянкой Будяковым под новый сорок второй.

— Я в марте сорок третьего.

— Так, Иван Ефимыч, нас с тобой прямо двадцать второго июня забрали.

— Мужики! Только без паники! Ребята! А ведь мы все тут, кхм, это, убитые! Мужики, смирно! Стоять! Приказываю стоять!

11

Рассвело столь рано, что все увидели — на дворе именно май. И увидели — стоят они в своей Черепановой. То есть даже не увидели, а почуяли. Перед глазами же их лежало несуразное сельбище, прилипшее к их деревне, окопавшееся траншеями и рвами, вздыбившееся горами оплывшей глины, строительного мусора, нечистот и серыми фортами кирпичных построек. Черепановой им в этом хаосе нипочем было бы не признать, если бы не екнуло каждому домашним. Не через сорок лет они вернулись, а много — через год-два, кто так и того раньше. И домашнее тепло из них еще не выветрилось. О сорока годах никто не догадывался. Всякий вел свой счет с того мига, как его не стало. И так как с того мига и до сего мига ничего не было, то и явился он в их сознании мигом теперешнего возвращения. Их деревня, та Черепанова, которую они оставили много год-два назад, а кто так и раньше, припав к земле, стояла в сторонке. Она сильно сдала без них — постарела

и осунулась. Но они ее узнали сразу. И нездоровья ее не заметили. Слишком мало оно было по сравнению с теми разрушениями, которые они видели мгновение назад, и слишком желанна была им она, чтобы хладнокровно разбираться в ее переменах. Никто из них не проронил ни слова. Все только обернулись на деревню, и всяк рвался взглядом к своей избе.

12

— Кто сказал, что победа? — спросил сержант Михеев Иван Ефимович.

— Я, красноармеец Будяков, — отозвался маленький и обескровленный мужичонка.

Все на него оглянулись. И каждый увидел всех. И все увидели каждого. Все кинулись навстречу друг к другу, не стесняясь, обрадовались, охватились разом разговором, и полыхал разговор меж ними ночным боем — слепым, яростным, не поддающимся управлению. Никто нисколько не обратил внимания на раны других и не почувствовал свои. Все видели эти раны. Но в то же время все видели друг друга целыми и невредимыми, как если бы каждого из них было по двое. Вообще-то их действительно было по двое — до смерти и после нее, то есть в момент ее. Но все-таки каждый из них был один, один-единственный на всей земле и вокруг нее.

Они бы так бурлили неизвестно сколько, если бы не прошли мимо две молодайки, сонные и недовольные.

— Всем праздник, а нам, как проклятушшим, на дойку! — сказали они.

Все сорок девять мужицких голосов дрогнули и смолкли, потому что оказались перекрытыми этим единственным недовольным, но живым и теплым голосом.

Молодаек проводили глазами, пока было можно.

— Кто это? — спросил один.

— О чем они? — спросил другой.

Ни на тот, ни на этот вопрос отвечать никто не решился. Молодайки были невиданно яркими и страшно чужими.

— Эвакуированные? — предположил Иван Ефимович.

— Эвакуированные! — передразнил его Павел Кучин. — Небось, уж десять лет как война кончилась!

В этот миг всем дошло, что они на самом деле убитые.

13

Смерть переживали сильно. И никуда с места не отлучались. Стояли всем гамазом, словно бы заняли круговую оборону, смотрели на жизнь и насмотреться не могли. От переживаний созрел скандал.

— Как же теперь быть? — спросил Павел Кучин.

— В разведку сходить, — отозвался после молчания кто-то.

— Куда же в разведку-то? — спросил Иван Ефимович.

— В деревню, известно.

— А нужны мы им?

Вопрос был метким. Если и в бою Иван Ефимович так же разил врага — не обидно сейчас было пребывать в объявленном состоянии. Одна сильная мысль засела в Иване Ефимовиче, и он пока боялся ее сказать, потому что не обдумал со всех сторон. Если Колянко Будяков утверждает, что была победа, думал Иван Ефимович, и якобы она вышла не ранее как в мае сорок пятого, то есть в такое время, до которого ему, Ивану Ефимовичу, из его октября сорок первого надо было жить еще не менее трех с половиной лет, если все вокруг столь необычно, то сколько же времени прошло с того часу, как он расстался с Анной, и какую он ее увидит сейчас? Вот какая мысль посеялась в голове Ивана Ефимовича, дала всход и теперь споро зрела, не требуя ни полива, ни удобрения, ни прополки.

— Почему это не нужны? — с обидой спросили его.

— У них, видать, жизнь наладилась. Как бы помехой не стать, — не сразу, но сказал Иван Ефимович.

— Как это?

— Просто. К вам мертвяк повадится — приятно?

— Да мы его!

— Себя то есть!

Стало ни присесть, ни охнуть.

— Все это поповские штучки! — опамятовался Павел Кучин. — Раз мы стоим тут и все видим, и меж собой разговор ведем — значит, мы живые! А ты, Иван Ефимыч, родился еще до нашей эры и…

И опять загудели-забурлили во все сорок девять глоток. Понятно, кому же охота было числиться в нетопырях или какой другой нечисти из бабкиных сказок. Исторический материализм на дворе, «Курс истории Ве Ка Пе бе» товарища Сталина не по одному разу прочитан — а тут к своей избе подойти нельзя!

— Кто комсомольцы? На собрание! — объявил Павел Кучин. — Повестка: «Разлагающее влияние религиозных предрассудков». Сорок четвертый год на дворе, середина двадцатого века, а все еще находятся некоторые!

— Что значит некоторые? — спросил Иван Ефимович.

— А то, — не отступил Павел Кучин.

— Сопляк еще!

— А ну смирно! — сорвал голос Павел Кучин. — Привыкли в своих окружениях!

— К чему?

— Батьку Махно разыгрывать! «Я вам временно товарищ Сталин»! Да за такие слова!

— Я Махно?

— Ты!

— Я?

— Ты!

И едва не вышел встречный бой. Сцепиться, конечно, не дали. Подхватили обоих под белы руки, развели поодаль, стали стыдить.

— Сдурел, что ли, Иван? — говорил Ивану Ефимовичу его товарищ Константин Кузьмич. — Ты чего на молодого полез?

— А он чего?

— А чего он? Ты же ведь раскомандовался: мертвяки, мертвяки! Пусть сходят. Домой ведь. Я сам вот жару в ногах потушить не могу — так и взвеял бы пятками к себе!

— Да не положено мертвому домой, понял ты, нет? Не к добру это!

— Мертвому не положено. А нам надо. Лютей будем.

— На кой оно, лютей-то?

— Для боя.

— С Кощеем Бессмертным?

— С Кощеем не с Кощеем, а поди-ка не одни мы в тресподне обитаем. Ихние тоже, небось, тут есть. Не только нас били. Коекого ведь и мы. А ну как придется и здесь!

После этих слов более никаких разногласий не проявлялось. Смитинговали, выговорили себе право на час слетать по домам и постановили, что пугать их не следует, приказ они знают и без пугалки: кто не вернется — тот дезертир. И если дальше будет продолжаться этакое непонятное состояние, то командиром быть Ивану Ефимовичу. А если он сам домой идти не хочет, то пусть сидит тут и обдумывает положение, чтобы по возвращении всех к службе ни секунды не терялось и не было такой бестолковщины, что будто все они тут и в то же время будто не тут: один на Можайск потянулся, другой в Софии прохлаждается, третий через Берлин на Прагу путешествует — Радищев нашелся!

Все торкнулись разойтись, но никто не отдалился от планшета ни на вершок. Неслышная, но тяжелая сила уцаписто задержала каждого. Рванулся один. Дернулся другой. Натужился третий. Взухнули и качнулись всей артелью, полком ли, сказать. Артиллерийский тягач, в распутицу на оси севший, от такой страсти пробкой бы выскочил, а планшетка даже не покосилась. Трое только — Иван Ефимович, Павел Кучин и Колянко — мягонько отлипли и неслышно, навроде осенней паутины, перелетели через штакетник. Перелетели, вскочили на ноги и тут же кинулись помочь товарищам. С час возились они и так и этак, но весь час безрезультатно оставались втроем.

— Айдате-пойдите! — наконец погнали их. — Народ скликните или что!

— К мертвым-то как раз сбегутся! — опять взялся за старое Иван Ефимович.

— Не каркай, а беги! — укоротили его.

Все втроем насторожились, будто перед темной водой, зябко передернулись и шажок к шажку, с оглядкой, а потом полусаженями пометали всяк к своему двору.

14

С рассветом Кучину примнилось, что кто-то, осторожно ступая по заросшему остатку улицы, остановился против его окон. Пока Кучин вставал, поддергивал подштанники и босой шлепал к окну, с улицы уже ушли, и он вроде бы даже увидел, куда. Вроде бы прошлогодние репьи за забором всколыхнулись, показав, что кто-то прошел на зады.

Кучин в четверть голоса ругнулся, взял батог, накинулся телогрейкой, всунулся в сапоги и вышел.

— Вот язви вас! — вскричал он на округу.

С показной бодростью из сараюшки выкатилась толстая низкая Лапка и строго залаяла на ворота.

— Диогену была цена самой плохой собаки — два обола. А ведь это несправедливо! — выговорил Лапке за халатность Кучин.

Чуя нарекания, Лапка обежала двор, нырнула под ворота, прочесала владения и ничего, кроме рассветного ветерка, не обнаружила. Да и тот с не меньшим успехом мог бы овевать какие-нибудь эллинские красоты, чреватые несправедливостями в отношении своих лучших людей, а не будить прохладную кровь старого учителя и его собаки.

— Диоген, сравнил тоже! — проворчала Лапка.

— Чего? — спросил Кучин.

15

Ложиться он больше не стал, а разжег плиту и поставил чайник. У огня было приютно. Кучин сел перед топкой и стал думать о брате. Сейчас Кучину до небытия было столько же, сколько в пору жизни с братом было от небытия. Круг замыкался. По брату тосковалось. Павел еще подростком был, когда сам Кучин уехал на учебу. И вспоминать вроде было нечего, кроме обрывочных фактов, как, например, про нечаянно погибшего отца, про голую избу с ворохом тряпья на печке, про худой надел земли, вскоре отданный в колхоз. Кучин выучился, поучительствовал на стороне, женился и вернулся в деревню, но наладиться с жизнью не успел. Его призвали в лагеря, а из лагерей — прямиком на фронт.

Такие тезисы воспоминаний Кучина не устроили. Он покряхтел, собрался сходить за книгой, чтобы не всуе тратить время. Расшарашился, вставая, и отчетливо увидел брата совсем маленьким, так же нарасшарагу топчущимся в луже. Гроза скатилась, и они выскочили во двор. Брат нараскоряку стоял посреди двора, а сам Кучин месил грязь у крыльца, когда рванула запоздалая молния и так плотно треснуло громом, будто рухнуло небо. Брат метнулся к нему. И Кучин схватил его, прижал, навис над ним, подставив под падающие небеса свои хилые позвонки.

Вчера Кучину очень хотелось протолкнуться к стенду и посмотреть на ребят, не только на брата, а на всех ребят вместе. Но извечная педагогическая привычка сдержала. И захотелось Кучину побыть с ними наедине. И он только позавидовал тому, кто стенд делал и, значит, был с ними долго и в одиночку.

16

Анна Егоровна ночью увидела радостное. Приснилось тихое, все в яблоневом, редком по здешним местам, цвету лето, начало июня. Она не усидела дома. Да и как усидишь, когда бабы на телегах мимо каждый день в сад катят. Старшего она оставила на соседку, а меньшего прихватила с собой.

Он лежал в тенечке под платком, растянутом на колышках, сучил ручками. Она окапывала раскидистые смородины, выдирала осот с мокрицей и поглядывала на него. Сновали пчелы. И одна, озорница, привадилась к мальчонке, будто нашла цветок. Анне Егоровне стало тревожно — не шачкнула бы. Морило солнышко. Ник сад. И Ваня должен был вот-вот заглянуть. Работали они невдалеке и за водой для тракторов обычно приезжали в сад. Саду было семь лет. Она, Анна Егоровна, его и сажала. Константин Кузьмич пустил агитацию. А они, комсомолки, откликнулись.

Вот такой сон — сильный и яркий — получился под утро. Не сон, а прямо явь. Без конца только. Потому что вместо Вани — бумажка в комоде: пропал без вести. Вместо младшенького — оградка на кладбище: разбился на машине. Вместо сада — неприбранное корчевье: сломали бульдозерами. На Ваню нашлась война. На младшенького — водка. На сад — постановление обкома.

Из двери тянуло холодом, как если бы дверь была незаперта.

— Разве кошка спакостничала, — предположила Анна Егоровна и встала закрыть дверь.

Встала и вспомнила нехорошую примету: дверь сама по себе открывается — к покойнику.

— Тьфу, холера! — отмахнулась от приметы Анна Егоровна.

Но стало печально. Она подумала, что зря отдала Ванину фотографию парторгу. Никогда с ней не расставалась, даже переснять не решилась. Это ведь надо везти ее в район и оставлять в быткомбинате. А на грех-то потеряют. И решила, что на ее век хватит одной фотографии. А тут Алексей Николаевич одолел. Запотемило — отдала.

Она подошла к двери, потянулась к скобе, а от двери там, в сенцах, словно бы кто-то испуганно отпрянул.

— Кто тут? — тревожно спросила она.

Но никто не отозвался.

— Блазнит. Или трубу не закрыла с вечера — сквозит, — подумала Анна Егоровна. И еще подумала, что без фотографии Вани дом как без хозяина.

Она села к столу, положила на него руки и вспомнила, как было неизъяснимо сильно — то ли радостно, то ли горько — сильно было в душе в тот момент, когда увидела Ваню на стенде. Будто ахнула она на дно своей жизни, в свою молодость, в тот июнь, который только что приснился, и, кажется, даже груди дрогнули капелькой молока, почуяв прикосновение детских губешек.

— С Ваней, наверно, сейчас, — подумала она про младшенького.

17

Колянко Будяков своей избы не нашел. Мыкала она долю с краю деревни. А теперь на ее месте огородилась нефтебаза. Колянко прошелся туда и сюда, стараясь учуять домашний запах. Но крепко шибало горючим. Походило на танковый прорыв на Прагу. Шли на броне — и от моторов сильно несло.

От обиды Колянко махнул рукой и пошел обратно. Обидно было, что именно ему вместо домишки выпало иметь мазутную вонь. А ведь именно ему больше всех надо было сейчас домой. Пусть бы маманя поглядела на него, героя с орденом, и он бы рассказал, как его, нисколько не стесняясь, целовала чешская девушка — было такое под Прагой! И он теперь вот возьмет и отыщет ее, и женится, и пусть-ка Маруська со своими варнаками тогда поскачет!

Он так думал, а глаза жадно метались по улице, цепляясь за все, что попадалось, небывалым теплом грея его, выстуженного лагерем. «Здесь-то бы живехонько оклемался, — думал он, накладывая эту мысль на красивую, но все же чужую мечту о ласковой чешской девушке. — Здесь-то чо, недельку бы посидел на крылечке...» И представлялось ему не чисто выскобленное материнское крылечко, а срам смотреть какое прирубье к избе Маруськи. И сама Маруська с каждым шагом становилась все нужней и притягательней.

18

— Ну как? — единым разом выдохнули мужики.

А что было сказать на этот жадный выдох Ивану Ефимовичу?

Сел он, как после большой работы, и мужики вокруг кадушечным ободом стянулись:

— Ну?

Была у них прорва вопросов, да полезли они без порядка и застряли. Мужики суетились, пытались враз вытолкнуть из себя скопившееся за недужно длинный час ожидания. Но вместо вопросов перло из них только это никчемное, но многождущее:

— Ну?

Иван Ефимович был до того разбит, что случись сейчас команда, не подумал бы ее исполнить. Уже такое было на одной речке. Перешли ее — и сел он за прибрежным бугром, удобно пристроив «Дегтярева» мушкой на речку. Все. Шабаш. Отстряпался — и ноги в квашню. Отсюда больше ни шагу. Люди шли от берега, а он разулся, расстелили под солнышком сгнившие портянки, окунул жаркие ноги в озноб осенней травы. Майор Ивашко вернулся за ним сам.

— И не подумаю, — сказал ему Иван Ефимович. — Застрелить ты меня не посмеешь, потому что нанесешь Красной Армии урон. Я сейчас ее самый первый боец. Не сдохну, пока не положу вон на том песочке пяток-другой.

— Встанешь и пойдешь, — сказал майор Ивашко.

— И не подумаю, — усмехнулся Иван Ефимович.

— Ты — не велик урон, — сказал майор Ивашко. — Шлепну тебя — и родная баба не заметит, был ты или нет. Красная Армия еще не такие уроны стерпела. Я отчего за два года с младших лейтенантов в майоры выскочил? От гениальностей моих, думаешь? Я еще перед взводом трясся, как девка первый раз в постели, а меня уже на батальон поставили, а через полгода — на полк.

И таких нас гениальных в Красной Армии — как поганок наросло. Комвзводы полками командуют, комбаты — армиями.

— А где же? — хотел спросить Иван Ефимович про прославленных наших красных генералов.

— Где? Дать адресок для вопросов?

В бога, в душу, во всякую, какую только вспомнил, мать заорал Иван Ефимович на майора Ивашко, на уставленный мушкой в сторону речки «Дегтярев», на сгнившие портянки и разбитые сапоги, на противоположный берег, на сведенное брюхо, на уходящих людей, на товарища Ст… Стоп, на него не кричал. Но на все остальное вывернулся он таким матом, что, наверно, передовые немецкие подразделения принялись окапываться, а майор Ивашко сел рядом, вынул пустой портсигар и долго вертел его, зря выискивая крохи табака.

— Да как же так выходит! — кричал Иван Ефимович. — Маршалы есть, товарищи Буденный, Ворошилов, Тимошенко есть, солдаты есть. А тех, кто стратегическую линию товарищей Буденного, Ворошилова, Тимошенко солдатам донесет, нет!

— Я подозреваю, и стратегической линии нет, — сказал майор Ивашко. — Есть одни дутости, мундиры с орденами да фуражки с кокардами. Ну, шпоры еще.

Сейчас так же сидел Иван Ефимович и был готов от внутренней пустоты на что угодно, в это же время, однако, не был он готов ни на что. Он не заметил, как дометал до своих ворот, как сквозь задвижки и запоры оказался в сенях и даже взялся за скобу открыть дверь в избу.

— Кто там? — услышал он знакомый голос.

Дверь чуть приоткрылась. Иван Ефимович увидел бабку, коекак запахнутую в широкую серую рубаху. Быстрее, чем понял, что это и есть его Анна, он отпрянул от двери, и сильная сила ужаса вынесла его во двор. Он хлебнул прохлады, чуть опамятовался и немощно прижался к стене, слыша, как в сенях ходит его страшная Анна.

— Ну как, а, Иван? — облепили его мужики. — Что молчишь?

А он уткнулся в пилотку и, трясясь плечами, взлаял.

19

Следом явился Павел Кучин. Пришел, остановился невдалеке, оглянулся на пройденное, посмотрел на разомкнувшийся от Ивана Ефимовича обод, вытянул по-волчьи шею и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Куда деревня-то наша подевалась, мужики? Братан один всего живет, но такой старый — не признать.

— А наши? — в один голос спросили кучинские.

— Только братан.

— Брешешь! — закричали кучинские. — Куда бы им подеваться — двадцати-то дворам!

Павел Кучин привычным движением скинул с плеча обгорелый «пэпэша» и сел рядом с Иваном Ефимовичем:

— И куда нам теперь?

Кто-то несдержанно сморкнул, и одужья глаз у всех покраснели. Чуя ненужный момент, Павел Кучин резко встал:

— Все равно должны соблюдать Устав!

— И на значок ГТО сдавать? — зло спросили его.

— Между прочим, ничего взгального нет! — встал и Иван Ефимович. — Как жили, так и будем жить, только с другой стороны!

— Газету бы!

— Смотри кругом — вот тебе и газета!

— Это голый базис. Нужна надстройка в виде разъяснения.

— Предлагаю общее собрание!

— У нас есть приказ, — упрямо сказал Павел Кучин.

— Больно много приказов. Одному на Можайск, другому на Прагу!

— Смерть фашистским оккупантам! Вот всем приказ!

Но подверглась обсуждению и такая постановка вопроса. А после того как Иван Ефимович и Павел Кучин с пятого на десятое, кое-как, но все же рассказали увиденное, и всяк убедился в том, что жизнь без них на месте не топталась, а ушла далеко, — после такого политдонесения во всякого проникло томительное вольнодумие. Поверить в свое состояние было никак невозможно, потому что никто никогда, кроме, естественно, как только в религиозно-предрассудочных байках, не встречался с таким явлением. По марксистскому учению, да и по житейской сметке, — а в неверности того и другого убеждаться не было примера — мертвый есть мертвый, то есть никакой, и, снесенный на кладбище, исчезает там навсегда без каких-либо претензий на жизнь. Если бы был тот свет, то есть мир мертвых, то справедливо было бы предполагать в нем наличие всех других умерших. Но кругом была их живая деревня. И никак было невозможно принять догадку Ивана Ефимовича, шибающую безысходностью оппортунизма столь же сильно, как, скажем, та же неприбранная мертвечина вонью. При этих словах все долго принюхивались, но вокруг веял только свежий ветерок. И боле стали все склоняться к догадке другого рода. Стали думать — да какое там, стали верить, что они все после тяжелых контузий с потерей памяти и всего прочего сбежали из госпиталей и совершенно случайно все прибежали к себе домой, где и очухались — на родной земле-то! Родная земля еще не то сделает.

— Что, неправда?

20

Фитиля в лампе тем временем прикрутили щедро, и огонь вывалился на небесную столешницу.

— Вот же елки! — весело встряхнул чумной головой Паша Андреич. — Второй день Победы, а ты спишь. Будто на переформировании! А, привет! — он увидел у стола незнакомого мужичонку в довольно кислой солдатской обмундировке.

— Здрасьте! — ответил мужичонка.

Паша просек на нем погоны.

— Партизан, что ли? — спросил он.

— Нет, почто? Кадровая, — ответил мужичонка.

— А-а-а, — будто что-то понял Паша Андреич. — Я думал, тебя на переподготовку забрали. Шоферюг через военкомат так заберут — дисциплины никакой, такие же, как ты, ходят рваные. Партизанами называются. Ну что, Победу отметим? У меня есть. Вчера со Светковым не могли допить. А что, я живу один. Ты сам-то кто?

— Да тут Мария Будякова проживает.

— Мать, что ли, моя? — спросил Паша Андреич и собрался рассказать про город Львов.

— Жена моя, — нескладно перебил кислый служивый.

— А, нет. Ты напутал. Тут всегда мы жили. Я тут родился. Брат Генко тоже тут родился. Так он чо, он все подряд принимал — и бензин, и клей. А Витька еще раньше туда сгремел. Тоже по пьяни.

— Ты, небось, Пашка? — спросил в волнении мужичонка.

— Павел Андреевич Михеев, танковые войска!

— Ну, а я Николай Будяков. Не узнаешь?

— Узнаю, едрена мать! — весело ответил Паша Андреич, но на самом деле ничуть служивого не признал.

— Жил я тут с мамкой твоей! — уточнил тот.

— Те чо надо? — уловил в адрес матери оскорбительное Паша Андреич.

— Эх, Пашка! Да Николай я! До войны я тут с вами жил! — отчаянно вскричал кислый гость.

Паша Андреич скребнул ворсистый подбородок, сглотнул, чего-то угадывая. Помолчал с минутку. Потом, не отпускаясь от догадки, недоверчиво спросил:

— Дак пришел, значит?

— Ну да! — осыпался яблоневым цветом служивый.

— Николай?

— Он самый!

— А до этого где был?

— Пришел, главно дело!

— Дак ведь похоронка была!

— Жизнь такая, Пашка!

— Дак за встречу!

— А Маруся?

— Пятый год нету. А ты вроде не состарился?

И более не отвлекаясь, Паша Андреич выставил на стол — и вскорости они являли собой привычную российскую картину: старый и малый сидели рядком и горячо величались друг перед другом всяк своими превосходными качествами.

— Ну, как там у вас на том свете? — ничуть не смущался полученного знания Паша Андреич.

У Колянки внутри горело горючее горе, но он жихарем выгибал грудь с орденом и стучал ладонью о горбатую от грязи столешницу:

— А совсем не хреново!

— А у нас видишь, чего! — гордо чертил по-за окнами Паша Андреич.

— А в городе Праге! — крыл его Колянко.

— Да ведь Прага — соцстрана!

— А для чего тогда воевать было?

— Ну так если соцстрана, значит, на этом свете!

При этих словах Колянко вдруг подхватился и стреканул из избы, на ходу называя себя дезертиром. Паше Андреичу стало скучно. Он крикнул вслед отчиму:

— Ты чо, как тот японец, который в джунглях до сих пор сидит? — ответа не дождался и пояснил сам себе: — Тот дурак ждет приказа императора, чтобы войну прекратить, и этот не лучше. Ты ему доказываешь домой вертаться, а он свое: в Праге лучше да в Праге лучше!

И пошел сообщить о новоприбывших в сельсовет.

21

По дороге Паша Андреич вспомнил про второй праздничный день, отчего, само собой, сельсовет находился под замком, и повернул к коттеджу Алексея Николаевича.

— Знаешь, нет? — сказал он на пороге. — Фронтовики прибыли!

— Кто прибыл? — не понял Алексей Николаевич.

— Фронтовики. Николай, отчим мой, заходил. Я ему говорю: оставайся, — а он знай свое!

Алексей Николаевич с понятием вздохнул и поднес Паше Андреичу полстакана коньяка.

Паша Андреич коньяк одобрил.

— Дак ведь встретить надо! — отер он губы.

Алексей Николаевич поднес еще. Паша Андреич не отказался, но продолжал нести свое, при этом отчего-то вспомнив, как в детстве мать их посылала славить Рождество, и они бежали от избы к избе, собирали котомку кусков и потом из-за них дрались.

— Дак как насчет встречи?

— Иди, я следом! — заверил Алексей Николаевич.

22

Паша Андреич во весь путь к обелиску оглядывался, но увидел лишь Анну Егоровну. Он подождал ее и сказал то же, что и Алексею Николаевичу. В ответ ей захотелось поведать о своем давешнем ощущении. Она даже подивилась, как в одночасье им обоим одинаково поблазнило. Но после гибели младшенького она на дух не стала принимать пьяных, потому сейчас промолчала, сказав только:

— Какой ты, Паша, обатурный. Все пьешь и пьешь. Гляди, до какого морока допился. Так ведь они тебя задавят, мертвяки-то твои!

— Да какие мертвяки! — не обиделся Паша Андреич. — Я проснулся, а он в избе стоит. Мы с ним выпили. Мертвяк же не станет пить. А этот даже закосел. Я ему говорю: айда домой, места хватит. А он говорит: в Праге лучше. Известно — лучше. У них

чо, у них культура, чешское пиво везде. А у нас хрена ли, у нас навоз, силос да вот! — Паша Андреич пнул загустевший вывороток тракторного следа.

— Наша ведь земля-то! — укоротила Анна Егоровна.

— И я говорю. А он: там лучше! Надо его к матери сводить. Он же не знает, где она теперь живет.

— Своди, Паша, своди! — сказала Анна Егоровна да в тот же миг вспомнила, как младшенький пил и в пьяном виде поехал. Она переменилась и, больше поправляя себя, чем Пашу Андреевича, твердо сказала:

— Нет уж. Не вернутся наши мужики.

Она подошла к обелиску, низенько приклонилась на две стороны — камню и фотографиям.

— Добро ночевали, ребятушки, — поздоровалась она, глядя только на своего Ваню.

Она глядела ему прямо в глаза, прикасалась к нему посеребревшей от возраста рукой, говорила много ласкового. И в ее ласке было только материнское.

Он же не слышал ее, а только неотрывно отвечал ей странным взглядом со многими быстро меняющимися оттенками, среди которых, кажется, самым сильным был стыд перед другими своими товарищами за ее старость и его молодость.

— Мать я тебе уж, Ваня, — говорила Анна Егоровна и даже не розовела от своих слов и от того, что за словами скрылись некстати выплывшие молодые совместные с ним ночи.

Не порозовела. Не всколыхнулось сердце, больше-то заполненное тоской, чем кровью. Тоска ее грела и подвигала к жизни, мудро нашептывая одно: пока она жива, бьется и Ванина жилочка. Но тоска была старой. От нее ничего родиться не могло. Сил ее хватало только греть старость.

23

Паша Андреич, не найдя отчима, побежал к его матери.

— Я чо! — крикнул он радостно. — Николай пришел!

Старуха Будякова некоторое время угрюмо дрожала губами и, казалось, готовясь ударить его, собирала силы поднять до его глаз холодный камешек кулака.

— Николай, говорю, пришел! — повторил Паша Андреич. — Ко мне заходил, мать, говорит, где, а чо, мать померла, Витька с Генком — тоже!

— Не помер? — тягуче спросила старуха Будякова.

— Николай-то? Не. Пришел!

— Ты ишшо не помер?

— Вот же старуха! — Паша Андреич побежал к Кучину.

24

— Скажи что-нибудь, Ваня! — попросил Константин Кузьмич.

Иван Ефимович перемогся, откинул веки. Как тяжелый полог с гурта зерна. Растворенное в утре небо обнажило на дне своем

синие рыбы звезд. Сгустком нежной пены плыла под ними луна. И солнце, веселый рыбак, тянуло к ним руки. Такая картина звездного мира, возможно, никому другому не видная, открыла Ивану Ефимовичу суть их положения.

— Товарищи, — сказал он.

Мужики уловили перемену в командире и подтянулись.

— Товарищи!

Чего уж, не был краснобаем Иван Ефимович и выступать перед народом не умел. Однако за два месяца своей войны он увидел, что слово — не обязательно приказ, приговор, мольба, стон или вредительство. Слово — еще вода, хлеб, оружие.

— Я вот что, мужики, — сказал он. — Кто мы есть теперь, вы сами увидели. Ну-ка вот!.. — он ударил каблуком ближнего цыпленка мать-и-мачехи. — Видите, он даже не шелохнулся. А перед войной во мне пять пудов весу было. И это наше положение надо принять без соплей. Мы и в таком виде есть сила, энергия. Сталин сказал: ничего никуда не пропадает, все только переходит из одного в другое.

— Ломоносов сказал, — поправил Павел Кучин.

— Сталин сказал! — нажал на голос Иван Ефимович. — Ничего никуда не девается. И если мы, убитые, живем, то этого требует наша советская энергия. И мы не пропащие упокойники, бесполезно требующие к себе привлечения народных сил. Мы сами сила. Не такая сила, которая может смять сотворение природы в виде цветка, а совсем другая сила. Может быть, мы живем в наших потомках. Может, мы их мысли, душа. Совесть.

— Души нет, — сказал Павел Кучин.

— Нет поповской души, а советская душа есть! — возразил Иван Ефимович. — И что выходит? Нам не было суждено вышвырнуть врага…

— Вышвырнули, дядь Вань! — отозвался Колянко.

— Нам не суждено вернуться домой. Но не ревите, мужики. Мы все равно будем жить. Будем колхозу помогать…

Иван Ефимович хотел привести пример какой-нибудь помощи, ну, скажем, на покосе. Приедут утром косари, глядь, а покосы-то уже прибраны. По ночной росе да в сорок девять пар рук, куда с добром косить!

Хотел Иван Ефимович привести такой пример и далее развить его в то, как, постоянно охваченные такой заботой, кто-то из сельчан догадается: мужики! — или там: бабы! — вернее-то бабы, сердце бабье болистлевей, — бабы! — всплеснет кто-то руками. — А ведь не фронтовики ли наши нам подсобляют? — догадаются так, поверят и со своей стороны сделают что-то. Они сделают, и откупорится стена, их отделяющая, и войдут они в жизнь, в деревню, в свои избы. Что ж, что Анна старуха. Эка беда!

Вот так хотел дальше развить свою мысль Иван Ефимович, а мужики возразили.

— Как же так, Ваня, что вы ходите, Колянко даже напился, а мы хуже Ильи Муромца: все видим, все слышим, а ступить не можем? — спросил Константин Кузьмич. — Вроде одинаково

убитые. А не то сказать, так у тебя, Ваня, вся брюшина навыворот, а у меня всего-навсего осколочек с яблочное семечко. Я вот Анну твою про сад спросить хотел. Да рыба и та разговорчивей меня вышла!

— Не от нас зависит, небось, — глухо бабахнул кто-то из молодых. — К ним вон Анна Егоровна и Пашка приходят. Помнят, значит.

— Ты чего! — взорал Константин Кузьмич. — По-твоему, нас не помнят?

Тут бы снова созрел скандал, но слова молодого спасительно принесли Ивану Ефимовичу мысль.

— Мужики! — остановил он ссору. — Задача: укрепиться в наших потомках. Помнят они нас. И нам надо в них укрепиться, свои силы им отдать, то есть как бы жить в них.

— Не самим, а в них?

— Не самим, а в них!

Помолчали.

— А все-таки Колянке, значит, можно и водочки, а нам только…

— Да, можно! — куражисто откликнулся Колянко. — Мы с Пашкой пили и за жизнь говорили. Я ишшо пойду!

Иван Ефимович подумал над фактом Колянкиного пьянства и через несколько ложных мыслей вынул необходимую:

— Этот факт разрешит наша мичуринская наука. А Колянке за это бы… — он потряс кулаком. — Его талан, что победа, а он ее вестник!

Помолчали еще. Но, видно, невмоготу стало мужикам. Безысходностью веяло от намерения быть только дополнительной силой в потомках. И всяк хотел, чтобы мичуринская наука на время оставила свои опыты с рене и бергамотами и со всех сторон подошла к ним с целью скорейшего изучения их факта. И все попросили Ивана Ефимовича сказать что-нибудь еще.

25

— Вот, едрена мать! Никому ничего не надо! — сказал Паша Андреич в воротах у Кучина.

— Значит, наступила эра благоденствия, эра наиболее полного удовлетворения нужд народа! — ответил Кучин.

— Я чо к тебе! — и Паша Андреич все рассказал.

Кучин потыкал батогом прохладную землю. Признался — и ему померещилось. Паша Андреич принялся рассказывать еще раз, убеждая старика в яви рассказа.

— Тебе бы утопию писать! — крякнул Кучин.

— Я чо! — оправдался Паша Андреич.

Кучин проковырял извилистую бороздку и представил ее всем известной речкой Рубикон. В одном месте он наметил брод, чтобы легионерам Цезаря способней было ступить в воду. Подошла Лапка и понюхала место. Кучин вспомнил Диогена и переселился в Грецию. Времени и иных усилий мироздания на это практически не потребовалось.

— Вполне может быть! — сказал Кучин, сходил в избу, вынес книгу. — Ты, конечно, вандал, но слушай, — сказал он Паше Андреичу, раскрывая книгу наугад. — Вот хотя бы в песни одиннадцатой «Одиссеи»:

Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал,
Черная кровь полилася в нее, и слетелись толпою
Души усопших, из темные бездны Эреба поднявшись.

Прочитав, Кучин почувствовал абсурдность доказательства. Дети человечества античные греки могли сморозить еще и не такое. Потому он закрыл книгу, хотя ему мелькнула еще строчка про Гераклову силу в виде воздушного призрака. Книгу Кучин положил рядом и сказал виновато:

— Сразу не объяснить. Думать давай.

Паша Андреич сел рядом с книгой, но думать стал о том, есть ли у Кучина, и если есть, угостит ли он.

«Угостит, но только когда подумает», — решил Паша Андреич.

— Ты думаешь? — спросил Кучин.

— Думаю, — ответил Паша Андреич.

— Явления бывают юродивым. А они не думают. Иди сходи за водой, — сказал Кучин.

Паша Андреич пошел с ведрами на ключик позадь огорода. Лапка хотела побежать за ним. Но прилегла около Кучина, теплой спиной согревая ему ноги.

— Один обол можно накинуть, — поднял античную базарную цену Кучин.

— Тоже мне бог торговли Гермес! Лучше бы морковку дал! — проворчала Лапка.

—ц Чего? — спросил Кучин.

26

Напившись ключевой воды и умыв солодное лицо, Паша Андреич лег на землю, совсем как маленький. Он ощутил, что жил не так, и остро позавидовал Кучину, способному запросто думать такие абстракции, как жизнь и смерть. Ему было видно только небо. И он представил себя на краю его так, что вдруг если упадет, то будет лететь и лететь. Будет даже непонятно, полетит он вверх или вниз. От непривычной глубины представления у него закружилась голова. Он закрыл глаза и уснул.

Зябкая земля пробудила его быстро. «Вот же приснилось!» — подумал он про отчима, встряхнулся, взял ведра и пошел.

Кучин, одетый в китель с медалями, ждал у крыльца.

— Пойдем встречать, — сказал он.

— Кого? — спросил он.

— Горбачева! — рассердился Кучин. — Расстояние между жизнью и смертью нельзя измерить ни поприщем, ни локтем, ни вершком. Оно равно ничему. Микроны по сравнению с этим расстоянием — грубая бесконечная величина. Потому расстояние между жизнью и смертью — не расстояние, а состояние. Состояние движения или покоя. Покой — это тоже движение. Движение требует

энергии. Значит, в покое тоже есть энергия. Греки это знали. Мы из-за старости цивилизации этого уже не знаем. Энергия может существовать сама по себе. Наши убитые мужики и есть такая самостоятельная энергия. Мы наблюдаем только переход от жизни к смерти, видоизменение энергии только в одну сторону. Сейчас природный процесс искажен нашим вмешательством. Возможны глобальные катастрофы. Но разрушение диалектически несет в себе созидание. Ибо каждое явление содержит в себе противоположное. Жизнь содержит в себе смерть. И, значит, смерть содержит в себе жизнь. Хотя бы те же неизрасходованные при жизни силы. По какой-то причине неизрасходованная энергия наших убитых мужиков заработала. И нам надо, как на фронте, нанести встречный удар. Они материализуются, проще говоря, оживут. Пока разместим их у меня. Не господа — перебьемся. А за лето отстроимся. У меня на сберкнижке кое-что есть. Возьмем ссуду.

— Да ты чо! Мне все приснилось! — прервал науку Паша Андреич.

— Тебе приснится, жди! Фантазии у тебя ни на грош. Вот она, — Кучин показал на Лапку, — и то богаче воображение имеет!

— Да уж, — обиделась на сравнение Лапка. — Я Перикла с Наполеоном не спутаю!

— Приснилось, говорю! — испугался Паша Андреич. — Мне чо, живу один. Снится, что хочет! Со Светковым вчера устарались. Спьяну приснилось!

— А почему ты прибежал ко мне? — изменил направление Кучин.

— Дак думал сначала — на самом деле. А у тебя возле ключика поспал — и прошло. Так-то бывало на фронте!

— Без аллегорий! — напомнил Кучин и далее не стал слушать Пашу Андреича. — Пошли! — скомандовал он, а Лапке накрепко заказал бежать вдогонку. — Ты канис, то есть собака, и до хомо сапиенса, хоть вот до этого, — Кучин показал на Пашу Андреича, — тебе все же надо пройти эволюцию. Дело такое, что лучше тебе поберечься.

— Расхвастался! — фыркнула Лапка.

27

А сказ у Ивана Ефимовича скроился того же коленкора: равняйсь-смирно и до выхода к своим блюсти всю строгость уставов.

Служба телесно не обременяла. По причине смертельных ранений имела, конечно, место большая убыль сил, но крестьянская и солдатская на фронте работа такова, что после нее — все курорт. Их боевая единица, разумеется, ноздри вон, отличалась от любой другой — обычной, — но служить было можно. Молодые порассказали такого, что пилотка Ивана Ефимовича флюгером завертелась на приподнявшихся волосах. И под Москвой немец стоял, и в Волгу у Сталинграда смотрел, и на кавказские льды мочился. Но, как и положено, все это осталось в прошедшем времени, а ныне Красная Армия стронулась в германскую сторону. Причем насчет стронутости произошли солидные разноречия, потому что опять стали утверждать рубежи ее германского направления разными

местностями. Кто опять уцепился за Абганерово, кто за Харьков, Павел Кучин сообщил про Софию. А перекрыл всех, известно, Колянко гордым сообщением о Праге, в которую они на танковой броне прорвались из Берлина. И еще молодые порассказали всякого такого, отчего Иван Ефимович впал в уныние — как раз выходило занимать командную должность более сведущему в нововведениях Павлу Кучину. Но их брата, кто полег в первый год войны, было большинство — и постановилось командиром быть Ивану Ефимовичу, а заместителем у него Павлу Кучину.

— А командиром-то чего, взвода или полка? — спросил Иван Ефимович.

— А знамя у нас есть? Без знамени не полк! — сказал Павел Кучин.

— Да взвод и все, чтобы уж и старшину не заводить! — решили все.

— Ну, тогда, — оправил гимнастерку Иван Ефимович, — взвод, слушай мою команду! — и далее все такое про равняйсь-смирно, боевую задачу, моральную устойчивость и повседневный распорядок службы.

28

Но в душе-то, в душе иго гнетущее легло. И не брало его никакое служебное рвение. Иван Ефимович взывал к повышению боевой готовности, А взвод хирел и усыхал. Стоит служивый в карауле. Но подойди, возьми у него винтарь — не внимет. Жаждой пылающей по соседству жизни набухают его глаза. И что за мука! Ну, убит бы уж, так убит. Не зная об этом, лежал бы в братской могиле, в окопчике ли, в воронке, в остове сгоревшего танка, по бесхозности брошенный и изгнивший в лесной чащобе или развеянный взрывом по атмосфере. Был — не стало.

За что же мука непонятного воскрешения, осознания своего зыбкого бытия и яростного наблюдения жизни настоящей? Кто оживил и как? И почему только их? Да не оживил! В том-то и мука, что не оживил, не дал возможности войти в живую жизнь, а только дал возможность ее наблюдать. И как их близкие, как они сами в свое время мечтали жить кто богато, кто легко, кто справедливо, кто единолично, кто за чужой счет, кто в коммуне — так сейчас они жаждали только жить.

Немногие держали умом слова своего командира, бригадира до войны, то есть столь же, что и они сами, ученого мужика, о какой-то будущей мичуринской победе над природой. Немногие, но и те с каждым уходящим мигом теряли веру. Так что задолго до вечерней поверки оставили мужики службу ради вопроса: что же это, в конце концов?!

— Да я вам кто! — огневался Иван Ефимович.

— Кто-никто, а обскажи, как там! — и всякий вновь заторопился услышать о своих близких.

— Мою Анну видели? — спросил Иван Ефимович, давясь памятью своего горя, и такой ответ должен был напрямик сказать о взгальности требования.

— Ты-то ходишь. Мы почто же не можем? — еще спросили мужики.

И тут тоже путнего ответа не получили, в связи с чем неуставно отрядили Ивана Ефимовича завтра произвести попытку контакта с живой жизнью.

— Иди завтра в контору! — отрядили его мужики.

Ночью взвод бдил — и не по службе, а по душевному гнету.

К рассвету обнаружился конфуз. Половина личного состава самым неизвестным образом подалась в дезертиры. На фотографиях они почетно соседствовали с вещим словом «Родина», но в строю хладнокровно отсутствовали. Иван Ефимович ударился к конторе.

29

Конторские коридоры были длинны, как чужая жизнь. Годов… дверей в них насчитал Иван Ефимович столько, что хватило бы на всю Черепанову, доведись во всех избах их поменять. На табличках были выведены различные должностные звания, которые долго не могли уместиться в его довольно уцепливой памяти. Несмотря на полновесный утренний час, в коридорах было пустынно, и немного ошарашенную сосредоточенность изучения новых табличных слов нарушил только приятной внешности мужчина, прошедший к двери с должностью «Секретарь партийной организации». Потом некоторое время опять дремала тишина, и лишь к восьми по конторе захрумкали шаги. Засновал народ, в основном женского обличья, запели телефоны, заплескалась, будто тонула, рация, открыла стрельбу пишущая машинка, понеслись отсюда туда и оттуда сюда бумаги.

Иван Ефимович оправил гимнастерку и влился в суету. Вслед за весьма недурственной бабеночкой из двери с названием «Профком» пробежался он по целой дюжине кабинетов и, наконец, присел на мягком стуле у директора, куда в облаке плохо скрываемой лести, радушия и боязни через некоторое время зашли несколько конторских, среди которых Иван Ефимович узнал и секретаря партийной организации. Из их разговоров он вскоре понял, что вот-вот приедет первый секретарь райкома, и обрадовался оказии прояснить ситуацию на высоком уровне.

— Я буду краток, — заявил тот прямо с порога. — Вы саботируете постановление обкома партии! Обком выступил с инициативой, за которой со вниманием следят в цека, а вы саботируете!

Подозревая в родном колхозе неувязку, Иван Ефимович занедужил.

— Можно, я поясню? — спросил секретарь партийной организации.

— Я уже в курсе всех объяснений, — отмахнулся первый. — Я уже информирован про ваши стендики — это вместо мобилизации трудящихся на выполнение постановления областного комитета партии! Пора твердо уяснить: кто не с перестройкой, тот тормоз перестройки! Михаил Сергеевич…

— Иванович! — поправил Иван Ефимович, имея в виду всесоюзного старосту Калинина.

Но первый произнес совсем другую фамилию, к которой отчество «Сергеевич», возможно, было вполне правильным.

— Михаил Сергеевич на девятнадцатой партийной конференции... — продолжал свое первый.

— На девятнадцатой! — воспел Иван Ефимович. — Зимой была восемнадцатая, зимой нынешнего сорок первого! — и родившийся в нем всплеск ликования должен был означать, что время никуда не ушло, что от двадцатого октября до сего майского дня прошло всего ничего, и победа истинно оказалась за нами!

Он и не упомнил, как вылетел из конторы, а задержись — понял бы, что исчислять время мероприятиями партии есть не совсем верная затея.

— Сколько бы ты начальников назвал в колхозе? — намеренно оставляя великую радость на потом, спросил он Павла Кучина.

Он ликовал, выведя, что двое коекакошных грамотеев довоенного колхоза — председатель и учетчик — и то держали хозяйство в руках, а уж столько хорошо выглядевших, умных, образованных людей подлинно привили советской земле бессмертие коммунизма.

30

— Докладываю, Иван Ефимович! Во взводе налицо только ты да я! — ткнул себя в грудь Павел Кучин.

— Как? — спросил Иван Ефимович.

— А так. Были — и нету!

— А за дезертирство к стенке? — всхорохорился Иван Ефимович.

Но следом за своим совершенно пустым словом он вспомнил Анну, пригодную ему в бабки, и постиг зряшность своего ликования. Какой сорок первый или там сорок второй год! Добро так две тыщи сорок второй год на дворе. И идет жизнь своим чередом, нисколько не смущаясь их, погибших мужиков, отсутствием. Идет, уходит в века и не ждет их, погибших мужиков, возвращения, обходится без них, не нуждается в их неизрасходованной энергии, не хранит их в себе. И мичуринская наука попустилась их искать, занялась чем-то иным — а чем именно, не дослушал в своем телячьем порыве Иван Ефимович.

— Эх! — сел он, где стоял.

— Эх! — согласился Павел Кучин.

И по тону его Иван Ефимович не понял, в насмешку или в сочувствие он согласился. Не до насмешек — ясное дело. Но молодым-неженатым какой указ.

— Может, вернутся? — спросил он.

— Двум смертям не бывать, но и одной не миновать, — сказал Павел Кучин. — Закон природы. Сейчас бы брат сказал что-нибудь про исторический период.

— В котором обошлись без нас, — докончил Иван Ефимович.

Его гнул стыд за слабости, за единоличное переживание, из-за которых он ничего не смог рассказать мужикам. И канули они из жизни с великой горечью — побывав у порога дома, но не заглянув в него. Хорошим командиром вышел Иван Ефимович, отцом родным и товарищем Сталиным!

— Где же вы? — стал он в мыслях спрашивать мужиков, а мысль уросливо метила свернуть на прежнее, на ужас того периода, когда страна преспокойно обошлась без них.

31

После нахлобучки от первого секретаря Алексей Николаевич отвез планшет в клуб и с сердцем, чувствуя при этом лишь очередную нагрузку, прибил на стену. С сердцем же он хлопнул клубной дверью. Это могло означить только одно: второй нахлобучки из-за Кучина он ждать не будет.

Едва отошел от клуба — навалились шефы, присланные из города на посевную работяги. Они завозгудали на отсутствие санитарных условий в общаге, где их разместили, на отсутствие досуга, хорошего питания — вообще на все, будто в городе всем этим они пользовались. Алексей Николаевич знал, что жалобы идут от презрения к деревенской жизни. С кем бы когда бы он ни соприкасался, все с какой-то радостью говорили ему только о недостатках, только об упущениях, только о своем неприятии деревни, только о своем временном в ней пребывании. Сказать, что работа и жизнь в деревне нравится — это значило прослыть во всех инстанциях и во всех временах неслыханным придурком. Это значило вверить себя самым непредсказуемым последствиям. Спрос с такого человека будет такой ожесточенной силы, что едва ли он этот спрос выдержит. Легче и умнее выходило быть недовольным своей работой и своей жизнью в деревне. В таком случае выходило, что человек как бы просто подчиняется обстоятельствам, сознавая свое призвание совсем в другом месте. Спрос с такого человека выходил самый поверхностный, дескать, пока ладно, пусть сидит в деревне, а вот подыщется настоящий работник для деревни, тогда заменим. И по такому обычаю выходило, что все в деревне временное, а ахти так, и она сама совершенно временная субстанция.

С шефами прибился в деревню некто бездельный и грязный — одним словом, бич.

32

Плотно сел Кучин на ступеньках крыльца в размышлении. Ему нужно было определить такое, чего никто до него не делал. Разве только в средние века предпринимались подобные попытки, но тогда, само собой, ничего у них получиться не могло, размышлял он. И не могло, потому что главным является энергия. А какая она была в средние века! Урожай тогда был сам-один. Промышленности не было никакой. Народу — редко. Сейчас в этом отношении совсем другое дело. Энергии скопилось столько, что вот-вот разнесет все и вся. И науке бы подступиться к ее всеобщему изучению — к физическому, духовному, третьему, а может, и четвертому, пятому. Но наука схоластна. Ей нейтрон — предел мечтаний. И именно только нейтрон, физическое тело, бесполое и бездыханное. Для науки жизнь-то — лишь существование белковых тел.

Иногда Кучин отвлекался на огород, ибо был того мнения, что земледельческий труд способствует мыслительной деятельности. Все цивилизации проклюнулись в местах, где человек от скотоводства перешел к земледелию. Конечно, были кочевые цивилизации. Иначе и быть не могло. Но кочевые цивилизации производимую энергию потребляли сами. Если что и оставалось после них, то в неоглядных пространствах, требовавшихся для кочевий, остатки энергии терялись, а может, даже стекались к земледельческим центрам.

На крыльце работать было Кучину сподобней — ближе к мировой энергии. Неудобства составляли атмосферные явления, не позволяющие раскладывать бумаги с записями. Кучин стал записывать мысли химическим карандашом на досках. И таким образом у него все оказалось перед глазами: и мудрость природы, и мудрость человеческой мысли.

Старушка Кучина тайком вызвала участкового врача. Кучин покорно обнажился, махал руками, трогал нос, высовывал язык, косил глазами. Учитывая контузию и возраст, состояние следовало признать вполне удовлетворительным.

Однажды Кучина осенила идея: его деятельность должна была бы быть направлена к предмету деятельности. И он пошагал к планшету.

— Мне с тобой? — спросила Лапка.

— Не стоит! — отмахнулся Кучин.

— Опять в хомо сапиенсы не вышла? — съязвила Лапка.

Кучин хотел ей сказать примирительное, мол, богу богово, а кесарю кесарево. Но грамотность свою проглотил, потому что исходила она в сей момент от заскорузлого догмата. А решая научную задачу, авторитетами следовало оперировать меньше.

33

— Поняла, нет! — издалека закричал он Лапке по возвращении. — Изучая историю, мы видим в средневековье несравненное по отношению к античности развитие духовных начал. Центр тяжести перемещается от любования человеком как физическим явлением к постижению человека как явления духовного. А? Причем нам с тобой важнейшим сейчас является то звено перехода от античности к средневековью, в котором этот процесс только-только приобрел свое начало и не был сокрушен варварами, как в Западной Европе. А где такое могло быть? Догадываешься, нет? Такое могло быть только в Ви… ну. В Ви…зан… тии! Ведь у них только сохранилась постепенность перехода от античности к средневековью, от античной энергии к той, в которой сформировались мы, русские! Ведь мы же прямые восприемники византийской духовности. Помнишь, Филофей царю Ивану Третьему писал: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывати»? Первый Рим — это сам Рим. Второй Рим — это Константинополь. Третий Рим — Москва. То есть мы есть наследники античного мира, причем без того разрыва, который произошел на Западе. Они хоть и живут на месте античного Рима, но ничего они не понимают, так сказать, Федот, да не тот! А мы — те. И если античные знали энергию,

самостоятельную от физического тела, то, выходит, ее должны знать мы. Это тебе как? Но… Но кто же, как не мы, отреклись от всего старого? Кто, как не мы, воспели, что новый мир построим, создадим новую духовность и прочее? То есть мы потеряли, как на Западе, это знание. Вроде бы потеряли. И теперь наши мужики обречены веки вечные жить без нашей памяти, в вечной тьме. А вдруг мы не потеряли связи? Вдруг нет, а? Период-то ведь для истории невелик, а?

Ну, совсем выжил из ума старик.

34

То-то и стал ему неожиданным рык бульдозера, взявшегося с утречка за остаток деревни и за колок позадь нее. Как на Кавказе, оборонялся Кучин с Лапкой. Медали вместе с сердцем набатно бухали, но слышать их было некому.

— Партия изыскивает возможность как народ накормить, а у вас тут три гектара земли пропадает. Вы член партии, должны быть сознательными. Мы же вас в благоустроенную квартиру переселяем! — кое-как сдерживая раздражение, говорил Алексей Николаевич.

Вечером, словно изнасилованные девки, тихо и до пустоты безнадежно всхлипывали под мелким дождем измятые березки. Бессильно тщились прикрыть их собой черные старухи-ольхи. Кучин ковырнул медаль «За победу над Германией»:

— Кто враг-то земле нашей, а?

Старушка его слегла. Он стал читать ей «Греческую историю» Ксенофонта. Ей хотелось послушать Тургенева. Но она терпеливо слушала про далеких и в то же время близких каждому из нас древних греков. Он читал невнимательно. Его одолевали сомнения, не уходит ли он в решении задачи в сторону.

— Ты помнишь наших девочек? — спросила она.

Кучин с укоризной оторвался от чтения.

— Дура я была, прости меня. Ведь надо было тут же родить еще и еще. А я все время думала, что предадим их. Побывать бы у них на могилках. Мне кажется, если бы тогда не поехали в эти Пески, они бы остались живы. А теперь уж и могилок их не отыскать.

— Если бы никто не пошел на фронт! — грубо оборвал жену Кучин, грубостью убивая ненужную сейчас слезу.

— Да, конечно, — согласилась она. — Обидно только. Мы словно жили в одной цивилизации, а теперь на ее месте другая, если это можно назвать цивилизацией.

— А им не обидно? — ткнул пальцем в греков Кучин.

— Достань альбом, я посмотрю на них! — попросила она. — Помнишь, как ты учил их этим названиям древнеиндийских трактатов: Рамаяна и Махабхарата?

Кучин вздрогнул — надо было начинать аб ово, как говорили древние, то есть от яйца, то есть от древней Индии, ведь все мы индоевропейцы!

Отвечая на его открытие, залилась лаем во дворе Лапка.

— Пришли! Маша, пришли! — закричал Кучин.

35

Скорбь есть неразумное сжатие души. Потому всякий мудрый человек, как и Диоген, сказавший это, не подвержен ей. Кучину пришлось убедиться в своем отдаленном от мудрых людей местонахождении. Ибо первое, что он испытал, вглядевшись в фигуру, прижатую Лапкой к воротам, была скорбь. Он потерянно, уже не надеясь, окликнул фигуру именем брата. Конечно, она не отозвалась на имя, а сердитым современным образом ругнулась на Лапку.

Последние годы их, лиц с асоциальным образом жизни, или попросту бичей, развелось несколько больше, чем хотелось бы. То есть не хотелось их нисколько, но столь противоположно иногда выражаются грамотные люди — называется иносказанием. Так вот, не хотелось их Кучину, но они развелись, и один из них стоял около его ворот.

В трапеции падающего света дождь численно преобладал над тем, что сеялся в темноте. На долю бича выходило его больше, чем на долю Кучина.

— Заходи, — сказал Кучин.

— Нет, пойду, — отозвался бич.

И он пошел в темные просторы, скользя по мокрым от дождя их выпуклостям. Кучин со сжатым сердцем стукнул дверью. Сломалось что-то в жизни вселенной, думал он, без желания покидая темные и шебаршащие дождем сенки. Сломалось, думал Кучин, и его потуга найти соединение бытия и инобытия есть тот же результат слома. Только результат, а не первопричина.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Уби нихиль, нихиль, — ответил Кучин и возмутил бесстрастную латынь русской горечью: — Где нет ничего, там нет ничего.

Он лег с печалью. И во сне отчетливо представлял несправедливость бытия. И во сне же был согласен не просыпаться, потому что с четко очерченной несправедливостью бороться было гораздо легче.

36

Утром ключик занемог. Кучин побежал с лопатой искать передавленные жилы. Но тщетно. Земля потеряла способность к зачатию. В гордыне человек еще кинется бить ее, вспарывать засыхающее ее чрево, сыпать в раны изощренную смесь солей. Корчась, раз-другой она исторгнет плод. Человек будет жить этим плодом и похваляться, не замечая того, что плод будет нести в себе яд, ибо не от земли получит соки жизни. Человек также не захочет замечать, что его похвальба, как и все другие поступки и помыслы, будет результатом солей. Помыслов и поступков хватит только на то, чтобы снова производить соли, снова сыпать их в земные раны. Представляя это, вспомнил Кучин кристалл Столовой горы и блистающий солью пояс остального Кавказа в погожий октябрьский день. Фугасом лопнула мысль о том, что мудро поступила его жена, после смерти дочек не захотевшая больше рожать. Все его будущее теперь было с ним. И он волен был отгородить его от мучительной смерти среди соли. Следующим фугасом ударила мысль, что мир оказался бесконечно далек

от того порядка, который ему внушили, и который он всю жизнь один исторический период за другим преподавал людям. Навалилась волна блестящих, чищенных солью то ли танковых, то ли тракторных гусениц.

— Ложь! — закричал Кучин.

В момент, когда он признал ложью существование преподаваемого им мира, он увидел брата Павла, саженями рвущего пространство к его окопу близ Столовой горы.

— Поняла?! — хотел похвастаться братом перед Лапкой Кучин.

37

Иван Ефимович очнулся от боли. Перед этим весь их сводный полк в бога, мать и Красную Армию ломился прорваться к своим. Рвались через разбитое картофельное поле, в одночасье от взрывов превратившееся в сад. Аннины смородиновые кусты — только до едреной матери большие — выворачивались из земли, раскидывали ветви и страшно сыпали ягодой. Горсть ударила в него. Он увидел сильное солнце. Он забыл про всех. Ему стало не до прорыва, не до майора Ивашко, не до Анны. Он весь заполнился только болью. Мира не стало.

А сейчас боль, рассекая лицо накрест, возвратила его в мир. Иван Ефимович подумал про себя: ранен. А коли ранен, коли думает — значит, живет. Надо вставать и бежать. Поле явно ему не проскочить. Но встанет — значит, живой, значит, активный штык, на которого им снова придется расходовать осколок или пулю, и которые, не встань он, расходовались бы на его товарищей. Он распахнул веки и увидел в пронзительно красных и зеленых вспышках света летящий к нему огромный и острый кусок металла. Сталь была высокого качества, такого высокого, что Иван Ефимович отметил: из такой стали делают клапаны в двигателях. Сталь вспорола ему лицо.

— Да ведь это штык! — закричал Иван Ефимович.

И торжественная мысль, что полк все-таки сумел сблизиться до рукопашной, такая мысль на самый короткий период заслонила боль. Он услышал сильный грохот, увидел скопище молча дергающихся людей. Чей-то пронзительный крик давил неслыханной песней. То ли немец, то ли наш — было не понять. И понимать было ни к чему. Главным было — полк дрался, и лежачее положение сержанта Михеева Ивана Ефимовича не соответствовало событию. С отнимающим последнее усилием он оторвал спину от земли, но снова напоролся на штык. Может быть, боль снова вышибла бы его из сознания. Но удержал голос русского подростка:

— Брось, Максимка!

— А чо он вылупился! — ответил тот, кого назвали Максимкой.

И Иван Ефимович различил, что Максимка пьян.

— Пошли отсюда. Вон завклубом к нам идет! — потянул первый голос.

Максимка сматерился. Иван Ефимович вдруг вспомнил, как после боя на прорыв он вместе со всеми черепановскими мужиками оказался в своей деревне, вспомнил догадку о необычном их со-

стоянии, вспомнил Анну, совсем старуху. Он вспомнил все, но не смог понять, отчего лицо ему режут ножом, выточенным из клапана тракторного двигателя. Иван Ефимович уцелевшим глазом нашел Максимку и увидел, насколько он похож на Анну, когда она была пацанкой.

38

Кучина постановили считать заслуженным человеком, и гроб его для гражданской панихиды вселили в клуб. Из пионеров и ветеранов создали почетный караул.

Алексей Николаевич шел к клубу не без принуждения. В смерти Кучина и в мероприятиях по выполнению обкомовского постановления он увидел некую зависимость, но принять ее не мог и говорил, что страну надо кормить, а на месте деревеньки Кучиной пропадало три гектара — весомая прибавка к выполнению продовольственной программы партии.

Алексей Николаевич не думал, по причине каких методов хозяйствования страна оказалась приведена в столь тревожное состояние. В этом состоянии он видел ее всю жизнь и считал его нормальным. Ведь был выверенный курс партии, из которого само собой выходило, что путь к процветанию страны кроется именно в тех мероприятиях, которые курс диктует.

Однако же смерть Кучина не давала покоя и как бы говорила, что он, Алесей Николаевич, парторг, то есть секретарь партийной организации, к этой смерти причастен. Алексей Николаевич гнал ее, заслонял воспоминаниями комиссаров времен коллективизации, когда колебания играли на руку кулачеству. Но заслонка выходила худой. Угарный дымок беспокойства сквозил через нее без особых усилий. В конце концов, Алексей Николаевич осерчал и послал всех — от Кучина, обкома и до тех коллективизационных комиссаров, или как их там величали, — к черту, заодно присовокупив к своему посланию и будто с лесов свалившиеся нынешние непонятные перемены. Вечно что-нибудь затеют, а он расхлебывай!

И верно. От него, от такого настроения, прежде гроба, прежде всех людей в клубе, прежде вообще всего увидел Алексей Николаевич искалеченный стенд.

— Вот-вот! — заиграл он желваками.

39

Май перекатился через сердцевину, и запопахивало летом. Но какое оно в черепановских ривьерах, лето. Не лето, а переходный период от весны к осени. Примахала метель и придавила округу мокрым снегом. Потом объявился мороз. В общем-то, обычное дело в мае. Поверившее первому теплу и разомлевшее тесто полей бессильно застыло. Алексей Николаевич с агрономом выходили в озими, каблуком долбили корку, разгребали снег и смотрели ломкие ледяные стебли. Ну какая тут, к черту, прибавка! Вытянуть бы прошлогодний план. Затрепыхалась и красная жилка надоев. Ахти так уже завтра клюнет вниз — как раз на райкомовский коврик. Люто северил ветер. Алексей Николаевич прикрывал уши воротником полушубка.

40

До рассвета бичара перекантовался между сквозняков в коридоре шефской общаги, а с рассветом пошел в кочегарку. Кочегар ночью нажрался. Температура на входе упала к нулю. Бичара подбросил в топку угля. Пламя уже обмякло — надо было сушняку на разжигу. Выходить за ним было неохота. У порога он не лежит. Надо шарить по селу. Свобода — понятие тяжелое. И бичу оно едва ли под силу. Так что нет ее у бича. А есть у него одна необходимость.

Развиднелось уже сильно. Даже огни в окнах, как чай третьей заварки, потеряли силу. Бичара завернул за клуб, чувствуя тяжесть своих следов. В куче хлама топорщилось что-то угловатое. Он скребнул рваным кедом. Из-под снега выглянули солдаты. Присел. Посмотрел. Поскреб еще. Вытащил планшет, поставил, прочитал: «Они сражались за Родину». Отставил. Выдернул несколько сломанных стульев, понес в кочегарку. Солдаты проводили его взглядом. Он обернулся, прежде чем скрыться. Стоят рядами, поотделенно. Мокрые. Промерзлые. Пообносились. И вроде как расходиться собрались — кто-то повернулся в половину оборота, кто-то в четверть. А кто и шелохнуться еще не успел. Расходиться собрались — а команды нет. Стоят.

Застыл бичара. И они застыли.

— Эх, мать! — подхватил бич планшет да спешно-спешно, чтобы никто не увидел, посеменил в кочегарку.

И не мог вспомнить потом — вроде бы были все фотографии на месте. А пришел — одной нет. Поднапрягся памятью — точно. Нет той, на которой был солдат, похожий на старика из раскорчеванной деревеньки.

41

Меры вообще-то приняли вслед за указом. На исполкоме сельсовета единогласно: совхоз — зона трезвости, одеколон со всякими там лосьонам продавать только лицам женского пола не более штуки в руки, а водку к совхозу не подвозить на пушечный выстрел. Сориентировали на борьбу за трезвый образ жизни советских трудящихся женсовет, ветеранов, школу. Но у них — зона трезвости. А у торговли — государственный план. И нет-нет, да проскочит в магазин ящик-другой злодейки с наклейкой. Так что пришлось в рамках операции «правопорядок» организовать рейды по селу.

42

— Под городом Львовом, — сказал Паша Андреич и увидел входящих в кочегарку участников рейда.

— Здравствуйте! — сказал Алексей Николаевич, а спутники его никаких слов для участников компании не нашли.

— По какому поводу?– спросил Алексей Николаевич.

— Для сугреву, — сказали шефы-работяги.

— День пионерии! — вспомнил Паша Андреич.

— Какой пионерии? — растерялся Алексей Николаевич.

— Известно какой, имени Ленина, — сказал Паша Андреич.

«Вот подносил ему, а теперь он использует это!» — засмурел Алексей Николаевич.

— Вы не поверили, а Кучин, покойничек, поверил. Энергия, говорит, от бессилия природы после нашего житья прорвалась! — сказал Паша Андреич.

— Та-а-к! — запел участковый. — Употребление алкоголя в служебном помещении зоны трезвости и клевета на…

— Я про них говорю! — боднул назад Паша Андреич.

Алексей Николаевич увидел свой стенд.

— В уборную не могли затащить? — спросил он.

— Мы, что ли? — перекинули шефы вину на затаившегося в темном углу бича.

— Хлещешься-хлещешься!.. — осерчал Алексей Николаевич.

Вслед ему чиркнула кнопка участковской сумки — выпишет сейчас голубчикам, мало не покажется.

— Совсем народ оскотинел! — сочувственно сказали женсоветовки.

43

Парадно-желтый портупейный ремень перечеркнул сизую спину заката. Она с каждым мигом темнела, словно набухала потом. С ней темнела и угасала свежестеленная скатерть пространства. Встречный ветер высекал зерна слез, отрывал и бросал в поле.

Участковый резко затормозил. Мотор заглох. В уши ударила тишина и упала на дорогу.

— Вылазь, — сказал участковый.

Бич вылез из мотоциклетной коляски, подумав, что в Гражданскую расстреливали так же.

— Вот по этой дороге прямо, никуда не сворачивая, двенадцать километров до станции. Два часа хода. И чтобы я тебя в пределах этих двух часов около нашего совхоза не видел.

— Спасибо, — сказал бич, хотя теплая камера районной милиции выигрывала перед стылой далью свободы.

— Нужен ты мне! — фыркнул участковый. — Бензин жалко, и полуфинал Кубка по телевизору. Но если я еще раз тебя увижу, я тебе срок примотаю!

Угрозой ничуть не испугал, а полуфиналом царапнул. Вопреки желанию, увидел себя бич дома. Но вокруг был саван вечернего поля, где футболу и уюту разломленной семейной жизни никак не находилось места. Четыре команды пластались за Кубок, и вся страна смотрела телевизор, не досчитывая совсем немногих, да и из тех один с треском подкатывал к своему дому.

Через два часа ходу вместо станции совсем одеревеневший бич достиг двух людей. Грузно висела луна. И он увидел их издали. Пустыня поля далеко разносила их негромкий говор.

— А дорога-то так же в колдобинах, как и при нас была, — сказал один.

— В этом-то и суть! — жарко воскликнул другой.

— Ну а теперь в стране что? — спросил первый.

— Не перескакивай. Дойдет очередь. В истории такие перескоки — гибель, — ответил другой.

Бич засмотрелся на них и поскользнулся на картошкой заледенелых пятках. С хрустом ударился башкой о дорогу. Путники оглянулись. Он узнал старика из раскорчеванной деревни враз в двух ипостасях — и молодого, и старого.

— Надо помочь, Павел! — сказала старая ипостась.

— Не выйдет. Смотри! — сказала ипостась молодая.

Бич, сам того еще не желая, невесомо поднялся над своим телом и виновато развел руками.

— Вот бродишь! — узнала его старая ипостась.

— А сами-то вы! — улыбнулся бич.

— У нас вместо двора — весомая прибавка! — непонятно бичу сказала старая ипостась.

— А у меня и ее нет! — куда как весело сказал на это бич.

II

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»

ПОЭЗИЯ

СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Николай АЛЕ́ШКОВ
Анатодий БЕРГЕР
Неля БИРЮК
Ян БРУШТЕЙН
Василий БУРЯГИН
Софья ГРИГОРЬЕВА
Александр ГРОСОВ
Виктор ДОМБРОВСКИЙ
Геннадий ЗЕНКОВ
Михаил КАМЕНЕЦКИЙ
Владимир НУРОВ
Вера ПАНЧЕНКО
Мишши (Михаил) ЮХМА

АЛЁШКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ. 1945 г. р. С 1999 года член Союза российских писателей. Заслуженный деятель искусств республики Татарстан, почетный гражданин города Набережные Челны.

Николай АЛЕШКОВ

МОИМ ОДНОГОДКАМ

Мы не ползли под обстрелом
По хуторам обгорелым,
Не коченели от стуж.
Мёрзлую землю не рыли,
Каской в походах не пили
Ржавую воду из луж.

Нас не пытали в гестапо
И не везли по этапу
В рейх из российской глуши.
Что ж так остра в наших генах
Память о бедах военных —
Горькая ноша души?

Мы из военного теста.
Боль Сталинграда и Бреста
Спрятана в нашей крови.
Мы из родительской боли
Вырвались, как из неволи.
Родина, благослови!

Родина благословила.
Света с избытком хватило.
Всё засияло кругом.
Мы родились под салютом
Трудной победы над лютым
И ненавистным врагом.

Небо нам с вами досталось
Мирное, но оказалось —
Мы в промежутке живём.
Внуки ползут под обстрелом,
Дети встают под прицелом
Над обгорелым жнивьём.

БЕРГЕР АНАТОЛИЙ СОЛОМОНОВИЧ. 1938 г. р. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза писателей России. Живет в г. Санкт-Петербург.

Анатолий БЕРГЕР

* * *

Гармонист в полувоенном,
На скамьи усевшись край,
Все о чем-то сокровенном
Нам наигрывает, знай.

То о девушке Катюше,
То атаке под огнем...
Замирают наши души.
Остановимся. Вздохнем.

Бросим скудную копейку.
Кто оглянется, кто нет
На щербатую скамейку.
Только он не смотрит вслед.

Хриплый наигрыш страданья,
Слов прерывистая нить...
Это все для пропитанья,
Чтобы тело прокормить.

2023

БИРЮК НЕЛЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. 1973 г. р. ООО «ЛесТорг», специалист по кадрам. Член творческих объединений: Лесосибирский городской народный литературный клуб «Радуга», Эстрадная музыкально-поэтическая студия «Вдохновение». Живет в Красноярском крае, г. Лесосибирск.

Неля БИРЮК

БАБУШКА НАДЯ

В старом комоде у бабушки Нади
Много вещей, для нее дорогих.
Только внучатам своим ненаглядным
Бабушка Надя расскажет о них.
Вот — фотографии в синем альбоме.
Вот — заграничный цветной крепдешин.
Вот фронтового письма треугольник —
Маленький, серый... И только один...

«Пятое августа, год сорок первый.
Мама, с приветом к тебе Алексей!
Тихо вокруг, только шепчутся вербы...
Мама, на фронте не страшно совсем!

Завтра у нас боевое крещенье,
Завтра я в деле себя покажу!
Мама, за краткость прошу я прощенья —
Я после боя еще напишу...»

Годы летят, только бабушка Надя
Ждет почтальона и ночи, и дни...
Внуков по русым головкам погладит,
Поговорит по душам с дочерьми...
В добрых глазах ее слез не осталось,
Молча глядит на дорогу и ждет —
Может быть, где-то письмо затерялось,
Может быть, адрес размыло дождем...

...Пятое августа, год сорок первый.
Мама, с приветом к тебе Алексей!
Тихо вокруг, только шепчутся вербы...
Мама, на фронте не страшно совсем!
Завтра у нас боевое крещенье,
Завтра я в деле себя покажу!
Мама, за краткость прошу я прощенья —
Я после боя еще напишу...

БРУШТЕЙН ЯН БОРИСОВИЧ. 1947 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Иваново.

Ян БРУШТЕЙН

ВОЙНА ОДНОЙ СЕМЬИ

МУСЯ

Маме

Из ада везли по хрустящему льду
Дрожащую девочку Мусю...
Я к этому берегу снова приду,
Теряясь, и плача, и труся.
Полуторка тяжко ползла, как могла,
Набита людьми, как сельдями,
И девочка Муся почти умерла,
Укрыта ковром с лебедями.
А там, где мой город сроднился с бедой,
Где были прохожие редки,
Еще незнакомый, такой молодой,
Отец выходил из разведки.
Над Ладогой небо пропахло войной,
Но враг, завывающий тонко,
Не мог ничегошеньки сделать с одной

Почти что погибшей девчонкой...
Встречали и грели на том берегу,
И голод казался не страшен,
И Муся глотала — сказать не могу,
Какую чудесную кашу.

РОВЕСНИКУ

Мой отец, корректировщик минометного огня,
Спит — кричит, встает — не ропщет,
только смотрит на меня.
А когда глаза закроет, то в атаку прет как все,
То опять окопчик роет на нейтральной полосе.
То ползет, и провод тащит, то хрипит на рубеже...
Папа, ты меня не старше, мы ровесники уже.
Слезы обжигают веки, эту боль в себе ношу.
Ты остался в прошлом веке, я все дальше ухожу.

Отчего ж не рвется между наша общая судьба?
Это я огонь кромешный вызываю на себя,
Это я с последней ротой, с командиром на спине,
И в Синявинских болотах сердце выстудило — мне.
Голос твой — не громче ветра... Не расслышу,
не пойму...
Почему же я все это раньше не сказал ему...

* * *

Моя родня лежит во рву
Под городом Лубны.
Бывает, я во сне реву —
Последыш той войны.
Там по ночам горит земля,
Не забывая зла.
Моя еврейская семья
Бурьяном проросла.
Под ними горя три версты,
Над ними свет ничей...
И не приносят им цветы
Потомки палачей.

РАДИСТКА ШУРА

У моей соседки тети Шуры
На мешок похожая фигура,
Три козы и зуба вроде три,
Пять сынов раскиданы по свету,

Но от них вестей давненько нету,
Как ты на дорогу ни смотри.
А на праздник Шура надевает
Две медали и бредет по краю
Старого безлюдного села.
Солнышко гуляет ярким диском…
На войне она была радисткой,
Но уже не помнит, кем была.
Пусть на Шуре кофта наизнанку,
Но зато она поет «Смуглянку»,
В ноты попадая через раз.
Говорит мне: «Выпьем самогонки!»
Старый голос — непривычно звонкий
И в слезах морщины возле глаз.

БУРЯГИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ. 1950 г. р. Центральная клубная система г. Лесосибирска, руководитель клубного формирования Лесосибирский городской народный литературный клуб «Радуга». Член Союза писателей России. Живет в Красноярском крае, г. Лесосибирск.

Василий БУРЯГИН

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

В сибирской сельской местности
И в городской окрестности
Побегом робким просится
Под бури и ветра
Умение, старание,
И робкое признание,
И все, что называется —
Житейская игра.

Хотелось и мечталося
Добиться самой малости:
Быть для друзей надежным,
Красивым и большим,

Перед врагом не прятаться
И к жалости не свататься —
Иммунитет пожизненный
Иметь к глазам дурным.

И чтоб совсем счастливым быть,
Позволь, Господь, мне мир любить,
А также быть единственным,
Желанным и родным
Для тех, кто дышит рядышком
Под образом с лампадушкой
И вдохновляет к творчеству
И к подвигам земным.

Дай мне благословение
На бурное течение
Моей реки-судьбинушки
По горным берегам!
И чтоб взахлеб, до одури,
Стихами или одами
Петь жизни песнь хвалебную
И солнечным мечтам.

Чтоб жизнь нас не заставила
И руку не направила
Писать стихи плачевные
В честь памяти бойца.
Не надо нам умения
Составить извещение:
«Сражался героически
До самого конца».

Где пушки с минометами —
Живые трупы ротами,
Гремят там марши медные

И барабана дробь.
Там мысль одна огромная
Над пропастью бездонною:
Спаси нас от ранения
Уж лучше сразу в гроб!

И, как на войнах водится,
У многих просьба сходится
С небесной канцелярией
В графе «приход-расход».
Ну, а кому отказано
И выживать приказано,
Тот шлет благодарение
К тебе на небосвод.

И что бы мы ни делали,
Хотели, не хотели бы,
Но разум подчиняется
Премудрости веков.
Росли мы бесшабашными,
Сходились в рукопашную,

Отцовской шли дорогою
Во глубине снегов.

Сидим за общим столиком
В уютном тихом дворике —
В регалиях и званиях,
Ну и, конечно, без.

Неспешная, степенная
Беседы мысль нетленная —
Кто шел по жизни пряменько,
А кто с ней шел в разрез...

Кто родину отстаивал,
Кто бутерброд наслаивал,
Кто жизнь в цвета раскрашивал
И радовал людей,
А кто в тенечке прятался,
С нечистой силой братался,
Кто не любил ни новшества,
Ни творческих идей.

Кто в людях разуверился,
Кто с совестью не сверился,
Кто жил в своей ракушке,
В себе и для себя
И был не покорителем,
А хмурым, нудным зрителем
Того, что дал создатель нам —
Прощая и любя!

Спасибо тебе, Господи!
И в радости, и в горести,
Что наградил судьбой меня,
Хорошей иль плохой.
Я пред тобой на плоскости:
Не делал зла и подлости,
Живу и жизни радуюсь

Прекрасной и земной!

ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА. 1941 г. р. Член Союза журналистов России. Живет в г. Красноярск.

Софья ГРИГОРЬЕВА

* * *

«Как на отца похожа!» — реже слышу теперь,
реже меня тревожит спазмами боль потерь.
Снег скрипит под ногами, дождь ли хлещет косой —
мне заменяет память горький давнишний сон.

Снится моя улыбка — но на мужских губах:
«Дочушка, дыбки-дыбки...» Руки... И вдруг — труба,
и от груди отнимет снова меня война,
в белую с красным зиму бросит из жерла сна.

Ночью под небом мирным нет этим снам конца —
снова взвывает мина — та, что убьет отца...
...Время шагает мерно. И через столько лет
я соберусь, наверно, въявь под славный Смоленск.

Где не бывала мама, встречу вдруг близнеца:
в жилах красного мака — кровь моего отца.
По золотой пшенице бодро урчит комбайн...
Снится мне, снится, снится мой золотой комбат.

* * *

Капли слез и дождинок осень расплескала
вновь по лицу...
Поздравленье две тыщи восемь я несу моему отцу.
Но не брошу в почтовый ящик, но не лично ему вручу —
перед прошлым и настоящим, на запад лицом, шепчу:

«С днем рождения, папка, милый! Знаешь,
я ведь совсем не та.
У тебя не хватило б силы на закорках меня катать.
Ты сказал: «Смерти нет, ребята!» Верю, истину
ты сказал:
есть на свете твои внучата, у внучат есть твои глаза,

рвется Вечный огонь... Есть в мире твой «Огонь!»,
твой последний бой...
В пантеоне, в полках фамилий,
есть твоя строка — наша боль.
И за строчкой встаешь ты ярко —
навсегда молодой комбат...»
Кружит ветер листы-подарки,
дубликат золотых наград.

И дождинки, и слезы осень расплескала
вновь по лицу.
Поздравленье две тыщи восемь я несу моему отцу...

* * *

Как здесь тихо — на вашем братском,
как здесь мало имен и лиц...
Лишь взметнулся на поле бранном над тобой,
отец, обелиск.
Над последним окопом вашим встал шиповник,
сомкнув штыки...
Продолженьем маршрута павших — вдаль, на запад,
маршрут реки.

Над могилой на светлой круче, как знамена,
склонила Русь
овдовелых берез плакучесть и рябиновых
гроздьев грусть.
Здесь в октябрьскую стынь ночами мокнет
черный ажур оград,
сыплет осень на вас в молчанье золотой
листопад наград.

Не нужна вам земная слава, мимо мчится
наш трудный век.
Вновь зима расстилает саван — незапятнанный
белый снег.
Вновь весна. Над безмолвным краем
тишина вспорхнет, задрожит —

к вам придут девятого мая, чтоб поклясться
за вас дожить.

ОТЧИМ

Мной впитано в кровь, мной впитано в кровь,
беги не беги, беги не беги:
мой папа погиб, мой папа герой,
мой папа герой, мой папа погиб.

Чту память его, не помня совсем,
и с детства отцом другого зову.
Но кажется мне тем самым он, тем —
пришедшим с войны домой наяву.

Мне книжки читал, катал на плечах,
игрушки чинил, хвалил и ругал,
точил мне коньки, заваривал чай
и брал в сенокос с собой на луга.

Учил различать дела и слова,
стремиться в полет и помнить про дом…
Он столько тепла души отдавал,
как будто, живой, платил долгий долг.

Нельзя вас считать на первый-второй.
Нас крепко сроднил свинцовый венец.
Такой же солдат, такой же герой…
Мне отчим — отец, конечно, отец!

* * *

Мне принес фронтовик строчки не фронтовые:
«Что писал в те года — погорело в огне».
О погибших вздохнул. В нем они, как живые,
продолжаются ныне в стихе и во сне.

Он прошел три войны: был на финской, японской
и на той, самой долгой и страшной войне.
Про столбы на границе с косою полоской,
про не наш Кенигсберг он рассказывал мне.

Про девятое мая, про толпы народа,
как девчонки ему упадали на грудь…
Улыбнулся смущенно: «За долгие годы
много я настрочил. Оцените мой труд».

Даже руки дрожали, когда я касалась
личной общей тетради, итожащей бой:
в ней История встанет, и срам, и усталость,
и надежда, и вера, и радость, и боль…

Только как же? Зачем же? Стихов не случилось.
Просто куча трескучих штампованных фраз.
Отчего ж так беспомощно слово влачилось?
И куда подевался душевный рассказ?

Симпатичный, душевный, простой человече!
Уважают друзья вас и любит родня,
Вашим подвигом ратным гордиться вам вечно…
Мне ли быть вам судьею! Простите меня…

ГРОСОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ. 1945 г. р. Член Союза писателей ДНР. Живет в г. Донецк.

Александр ГРОСОВ

УШЕДШИМ В БЕССМЕРТИЕ

Монументы повсюду, как стражи, стоят —
Не вернулись бойцы с поля брани…
Если дорог вам подвиг отважных солдат,
То сегодня мы здесь — вместе с вами!

За накрытым сидим мы столом,
За Победу свой тост поднимаем,
Всем погибшим — земной наш поклон
И за плечи живых обнимаем.

Вспомним мы о друзьях фронтовых,
Как геройски с врагами сражались —
С неба падали птицей на них
И со связкой под танки бросались.

Жизнь свою не щадили в бою,
Бились так, что земля содрогалась…
Мы Отчизну спасали свою,
Месть святая нам силы давала.

Был приказ: «Чтоб ни шагу назад,
Сокрушить и дойти до Берлина»…
Всю Европу прошли в сапогах,
Только мать не увидела сына.

Может быть, мы остались в сердцах
Или в фото в семейном альбоме,
Искрой пламени в «Вечных огнях»,
Гимнастеркой в родительском доме?

Не узнаем, кем стали сейчас, —
То ли символом, то ль журавлями?
Если память храните о нас,
То сегодня мы здесь — рядом с вами!

ДОРОГА ЖИЗНИ

Посвящается отцу, Якову Борисовичу, фронтовику-артиллеристу

Жизнь пролетела, как мгновенье,
Оскалом жутким в ней война…
Звучит молитвенное пенье,
пала боль на ордена.

Щемит душа, терпеть нет силы,
Невольно дыбится от ран.
Стекают слезы на могилы —
Таков удел судьбою дан.

Но солнце дарит в час Победы
Стране рожденье новых дней,
И тишина взлетает в небо
Мелькнувшей стайкой голубей.

Смертельно-горькие метели
Уже в атаки не зовут.
Стоят в шинелях строгих ели
И память павших берегут.

ДОМБРОВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ. 1948 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Краснодар.

Виктор ДОМБРОВСКИЙ

ДЯДЯ БОРЯ — ВОЕНРУК

В знатной некогда станице,
Не нашедшей клином свет,
В райсоветовской больнице
Был секретный кабинет.
В нем врачи во тьме ходили,
А из школ, садов, яслей
Раз в полгода приводили
Подозрительных детей.
В нем порядки были строги,
Прекращался всякий гам.
Наши девы-недотроги
Не перечили врачам.
Наши девы, Гали-Вали,
Дисциплиной их не взять.
В миг покорно замирали
От приказа — не дышать.
Нет приказа ядовитей,
Не от праздности сужу,
Коль прикажут — не дышите,
Втрое чаще задышу.
Не от старости враждебной,
Все пославшей на потом,
А от нужности врачебной
Приклоняюсь пред врачом.
С классруком не долго споря,
Первым шел в тот кабинет,
Потому что дядя Боря
Был прекрасный наш сосед.
Через годик всем на диво
Исчезало все подряд:
За рулоном негатива
Даже натрия сульфат...
Все смешалось, как на фронте
В столь недавние года,
Кабинет наш — на ремонте,
Это значит — навсегда.
В этом было столько горя,
Сколько, в сущности, кругом:
Рентгенолог дядя Боря
В класс вошел военруком.
Класс вскочил с камчатским краем,
Впился взглядом в ордена,

Гаркнул: «Здравия желаем!»
Чуть не рухнула стена.
С тех времен оперативных
Не слетала шалость вдруг,
«В чем проблема, допризывник?» —
Строго спросит военрук.
Не пытайся чушь бередить,
Быть виновным без вины,
Надо правильно ответить,
Коль спросил герой войны.
Век, действительно, был горек,
Всех учил он на фронтах:
Физик, завуч, и историк,
И директор — в орденах.
Мы учли советы взрослых:
Смелость, хитрость, вечный фарт,
Чтоб не рвали русский воздух
«тигр», «пантера», «леопард»,
Побеждай в спортивной схватке —
Бегай, плавай круглый год,
В тире бей одни десятки —
Вот что значит патриот.
По плацу в любой морозец
На поклон восьми ветров
Нас гонял орденоносец
Военрук Борис Попов.
Наш историк неизменный
Из ГЛАВПУРА, весь в борьбе,
Как читал он вдохновенно
«Краткий курс ВКПбэ»!
«Я у партии на страже» —
Говорил историк наш.
Сторонились его даже
Завуч и директор наш.
Завуч плыл по школе сонно,
Ночью бодрствовать готов,
Был замком дивизиона
Трех торпедных катеров.
Директор наш не тратил нервы,
Любил не ябед, а задир.
Он был высок, как Петр Первый,
Силен, как первый бомбардир.
Они улыбчиво взирали,
Дядь Борю ставили в пример,
А мы гранатами сметали
Фанерных «тигров» и «пантер».
Он нам шептал: «Вперед, ребяты!»
Мял свой парадный аксельбант,
Когда от танковой гранаты
Взлетал могучий «фердинанд».

Урок прошел в дыму и пыли,
Почти в самделишном огне,
И мы всем классом занудили:
«Ну расскажите о войне!»
Дядь Боря в белом был мундире:
«Война, ребята, страшный грех!
Вам нужно жить в могучем мире.
Отвоевались мы за всех».

ЗЕНКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1941 г. р. Член Российского Союза профессиональных литераторов (Самарское отделение). Живет в г. Кемерово.

Геннадий ЗЕНКОВ

МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ

Триптих

МАРШАЛ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ

Как раньше Александр Невский
За Русь псов-рыцарей громил,
Так Александр Василевский
Традицию побед продлил.

С фашизмом в схватке он великим
Стратегом проявил себя
И отступления ошибки
Исправил раз и навсегда!

Он дружбу с Жуковым изведал,
В почете у Главкома был,
Два главных ордена Победы
В стране он первым заслужил.

На всех фронтах он был — так надо! —
Чтоб приближать Победы день.
И есть особая награда —
Как и у Жукова — Сирень!

Геройством восхищаться можно.
Но все-таки быстрей вдвойне
Расчетливость и осторожность
Ведут к успеху на войне.

Был план «Уран» под Сталинградом,
Орловско-Курская дуга,
«Багратион» и Крым — все рядом,
Повсюду он громил врага!

Высокомерия в нем нету,
Он воевал не для наград —
Чтоб превратить войну в Победу,
А Кенигсберг — в Калининград.

Как славный полководец русский,
Прославил он свою страну,
Разгромом армии Квантунской
Победно завершил войну!

МАРШАЛ КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ

Рассказ фронтовика

В газете «Правда» — снимок броский,
На фронте сделан снимок тот:
Красавец маршал Рокоссовский
В любимом кожаном пальто.

В его фамилии есть рокот
Снарядов, пуль летящих свист.
Не потому ль по воле рока
Стал маршалом кавалерист?!

Жестокий бой нам был не страшен,
На подвиг каждый был готов,
Ведь с нами был бесстрашный маршал,
Любимец всех фронтовиков!

Враг был силен. Вначале беды
С границ преследовали всех,
Но на фронтах жила легенда:
Где Рокоссовский — там победа,
Где Рокоссовский — там успех!

Удар смертельный по «блицкригу»
Нанес он в битве под Москвой,
Пленил и обезглавил «гидру»
Под Сталинградом фронт Донской.

Берлин брал Жуков. Фронтом рядом
С ним Рокоссовский наступал,
В Москве командовал Парадом,
Парад тот — Жуков принимал!

Жестокий бой нам был не страшен,
На подвиг каждый был готов,
Ведь с нами был Победы маршал,
Любимец всех фронтовиков!

В конце войны былые беды
К весне растаяли, как снег,
И стала истиной легенда:
Где Рокоссовский — там Победа,
Где Рокоссовский — там успех!

МАРШАЛ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ

России сын Георгий Жуков
Еще на Первой мировой
Познал военную науку,
Стал защищать наш край родной.

И Родина благословила
Его на славный ратный путь,
Крутой характер подарила
И два «Георгия» на грудь!

Под Халхин-Голом мчась в атаке,
Огнем разя, в дыму, в пыли,
Врагов японских наши танки
На страх и бегство обрекли.

Был награжден Звездой Героя,
Мир и покой наш защищал.
Но новый враг не за горою,
И Жуков вновь легендой стал!

В Московской битве в сорок первом
Войска на Запад он повел,
Под Сталинградом ходом верным
Загнал захватчиков в котел.

И шли на подвиги солдаты,
Берлин — оплот фашизма — пал.
Парад Победы в сорок пятом
Георгий Жуков принимал!

Победы маршал
Всегда на марше
На белом боевом коне.
Он гордость наша,
Он доблесть наша,
Он символ верности стране!

КАМЕНЕЦКИЙ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ. 1935 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Воронеж.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ

ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!

Много есть городов и великих, и славных,
но не знающих слов, для меня самых главных.
Ленинградец любой услыхать будет рад:
«Говорит Ленинград! Говорит Ленинград!»

В дни жестокой войны, через смерти и беды,
Ленинград для страны был предвестьем Победы.
И гремело фашистских слышней канонад:
«Говорит Ленинград! Говорит Ленинград!»

Извещая весь мир, что душа не убита,
выходила в эфир Алигер Маргарита.
Для народов Земли выше всяких наград
были эти слова: «Говорит Ленинград!»

Ныне Санкт-Петербург — град Петра он по праву —
знаменует России величье и славу.
Но всегда в память наших побед и утрат
будет в мире звучать: «Говорит Ленинград!»

Я НЕ ЗАБУДУ ТЕ ЛАДОНИ...

Наш поезд во поле глухом
застрял на полпути к Балхашу,
под вечер на былье сухом
мать в чугунке варила кашу.
Был сорок первый год.
Война!
В теплушке побывав соседней,
старухе отдала она
за горсть пшена платок последний.
Кипело варево уже —
ждать было невтерпеж его нам, —
когда протяжно по меже
крик прокатился: «По вагона-ам!..»
Был резким поезда рывок.
И, заметавшись среди гама,
вдруг голыми руками мама
с огня схватила чугунок.
Крик боли рот перекосил!
Но с этой ношей раскаленной
она бежала что есть сил

за вереницею вагонной...
Мне помнить до последних дней
ладони с обожженной кожей —
не Божьей матери, не Божьей —
а бедной матери моей...

ВОСПОМИНАНИЕ О КИНО

Я помню фильм про Сталинград.
Разрывов грохот... И воронки...
С войны солдат — побывке рад —
спал на коленях у девчонки.
Быть может, в первый раз сполна
спал — не тревожным сном привала
в промерзшем зале, где война
его огнем не доставала.
Любовью верною храним!
Давно картина отгремела.
Склонилась девушка над ним...
И все будить его не смела.

НУРОВ ВЛАДИМИР ДОРДЖИЕВИЧ. 1938 г. р. Народный поэт Республики Калмыкия. Член Калмыцкого республиканского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Элиста, Республика Калмыкия.

Владимир НУРОВ

ЖЕНЩИНА ЖДЕТ

Посадила мужа на коня.
Плача, проводила из хотона.
Вот и жду... С того лихого дня
Столько лет — все жду в ночи бессонной.

Если собираю в путь сынка —
И меня за ним в дорогу тянет.
Словно муж меня издалека
Окликает и рукою манит.

Добрая улыбка мне видна,
Светится она, мне сердце грея...
Он все так же молод.
Я одна,
Я одна за нас двоих старею.

Перевод Ю. Нейман

ФОТОГРАФИЯ ОТЦА

На фронтовой фотографии отзвук войны,
Пороха запах, как лезвием острым по сердцу.
Смотрит отец, и глаза его болью полны,
И никуда мне от этого взгляда не деться.

И кинохроника тех беспощадных годов
Передо мною проходит в мелькании кадров:
Вижу я лица идущих в атаку бойцов,
Слышу я раненых стоны, разрывы снарядов.

В строе солдат узнаю я отца и молю:
Только бы смерть миновала его, только б пуля
Мимо прошла, не задела родного в бою,
Только бы целым остался он, жизнью рискуя.

Воин в окопе всем сердцем с отчизной своей.
Стонет и тяжко вздыхает земля, прикрывая
Сына собой, и воронки как раны на ней, —
Все она стерпит и выстоит, вечно живая!

Помню, когда на отца похоронка пришла,
Мама от горя и слез неизбывных ослепла,
Но от желания мести любовью спасла,
Детскую душу мою возродила из пепла.

Перевод А. Сорокина-Ильинского

ВТОРАЯ МАТЬ

Когда жива твоя родная мать,
Звать матерью другую не грешно ли?
Но как иначе мне ее назвать —
Ту русскую учительницу в школе?

Что я от голода угаснуть мог,
Заметила она. И, по головке гладя,
Меня спасти придумала предлог:
Мол, «помоги мне донести тетради».

А дома, награждая за «труды»,
Подвинет мне горячую картошку.
И я от голода и от беды
Оттаивал, смелея понемножку.

А чуть позднее Пушкин-чудодей
Стихами влек меня к ее порогу...
Свет сердца русской матери моей
Поныне озаряет мне дорогу.

Перевод Ю. Нейман

ВДОВА

Сила вешняя, сила любви
Пробуждает планету.
Бродят знойные чувства в крови,
А ответа им нету.

Отцвели молодые года,
Круг знакомых все уже.
Как волшебно ей было тогда,
В давней жизни при муже!

Тяжело в двадцать пять овдоветь,
Потерять, что искала
И нашла... О, похожа на смерть
Эта страшная кара!

Фотографии, письма его
И любимые дети...
Только нету его самого —
И темно и при свете.

Он приходит к ней ночью во сне —
Зыбко, призрачно, ломко...
А проснется — сумрак в окне,
И в глазах — похоронка.

Так пустые годы летят
И, не зная предела,
Вихри чувств неотданных мстят —
Мучат душу и тело

Перевод Р. Казаковой

ЗАВЕЩАИИЕ ВОИНА

Герою Советского Союза
*Николаю Санджирову (1921–1944)**

Дух моих предков и свежесть весны впитав
И расправляя крылья любви большой,
Ветер родной степи благовонье трав
Доносит к моей могиле в земле чужой.

Враг, что пришел разорить и спалить мой дом
И погрузить народ мой в пучину бед,
Перед земным и высшим предстал судом —
Ни оправданья ему, ни пощады нет.

* Погиб 18 августа 1944 года во время боев на территории Польши.

Мир на земле отцовской дороже мне
Был моей жизни, и каждой теперь весной
Песню любимую матери в смертном сне
Мне напевает ветер степи родной.

Пусть на полях ваших снова взойдут цветы —
В них мои светлые чувства и вера моя.
Будут они как посланники красоты
Уберегать мое имя от забытья.

С вами я в ваших надеждах и в песнях простых
Звонкого жаворонка, как на войне — молодой.
Горечь потерь материнской слезой растопив,
Буду для вас я крылатой о братстве мечтой.

Не забывайте о тех, кто Отчизну спас —
Души их с вами отныне на все века.
Да охранит любовь моя всюду вас
От злоключений, хворей и пуль врага!

Перевод А. Сорокина-Ильинского

ПАНЧЕНКО ВЕРА ИОСИФОВНА. 1934 г. р. Член Союза российских писателей и Союза писателей Латвии. Живет в г. Рига, Латвия.

Вера ПАНЧЕНКО

* * *

Я живу в прожекторах Победы,
Их не гасит вереница дат.
Светит майский день — он заповедан
И мобилизован, как солдат.

Помню этой службы первородство,
В нашей школе — на линейку сбор.
Скорбь и счастье не имели сходства —
Стали нераздельными с тех пор.

Не пришел с войны директор школы
И начальствует его вдова.
Слез ее невольные уколы
Ранили счастливые слова.

После сбора не было уроков —
Радость разносили по домам…
Майский день работает широко,
Он эпоху возглавляет сам.

Наши силы, бывшие под спудом,
Он вобрал в себя — и сверх того...
Поколенья кровные — сосудом
Чувствуют Победы естество.

* * *

У Победы — женское лицо;
Величавый облик россиянки,
Горожанки, может, поселянки,
Ореолом заключен в кольцо.

Мать, жена, сестра и дочь мужчин,
Жизнь и смерть познавших в громе боя,
Подпирали воинов собою,
Свой победный заложив зачин.

Мать-отчизна, родовой побег,
Суть Победы — сохранить родное,
Нежное наличие земное,
Без него немыслим человек.

Звезды на груди и ордена,
А в груди — притихшие осколки...
Ждали их в каком-нибудь поселке
Родина, Победа и жена.

ЮХМА МИШШИ (МИХАИЛ) НИКОЛАЕВИЧ. 1936 г. р. Председатель Союза писателей Чувашской Республики, председатель Чувашского республиканского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Чебоксары, Чувашская Республика.

Мишши ЮХМА

РОССИЯНИН

Его фашисты на рассвете
Схватили.
Был он еле жив.
Гудел, рыдал в колосьях ветер,
В колосьях переспелой ржи.

Он кровью истекал, слабея,
Но слышал злобные слова:
— Ну, где ж теперь твоя Расея, —
Видать, как ты, едва жива?

В штаб привели тропинкой узкой,
Качалась тьма в разрезе век...
Опять слова:
— Да он не русский,
Он тюрк, восточный человек.

И вот уж требуют ответа:
— Не русский ты, скажи, ведь так?
Да отрекись ты от Советов
И будешь долго жить, чудак!

Зачем нерусскому Россия?
Здесь помощи ее не жди.
За земли не свои — чужие
Тебя ждет гибель впереди.

Смотри: край неба бледно-розов,
И скоро солнышку всходить,
Смотри: вот сломана береза,
Но зеленеет — хочет жить!..

И на березу посмотрел он
И вспомнил ту, что у окна
В тот день так ярко зеленела,
Когда услышал он:
война.

Сквозь ветви — солнышка сиянье...
А он хрипел кровавым ртом:
— Не русский я,
Но — россиянин,
Россия —
вся! —
Мой отчий дом!

Его пытали.
Били снова.
Соль в раны сыпали его.
А он шептал,
очнувшись, слово:
«Россия...»
Больше нечего.

Он,
Смерть свою встречая смело,
Березу видел, как во сне.
Была берза белой-белой,
Как та —
в чувашской стороне.

Перевод с чувашского Б. Соколова

III

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»

ПРОЗА

СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Тамара ВАСИЛЕНКО
Анастасия АСТАФЬЕВА
Дмитрий БОБЫЛЕВ
Марат ВАЛЕЕВ
Светлана ДУРЯГИНА
Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН
Илья ИЛЬИН
Наталья КОЛМОГОРОВА
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сергей КУЗИЧКИН
Сергей КУЗНЕЧИХИН
Дарья КУМОВА
Геннадий МАЙОРОВ
Михаил ОКУНЬ

ВАСИЛЕНКО (АЛЕНИНА) ТАМАРА СЕМЕНОВНА. 1952 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Москва.

Тамара ВАСИЛЕНКО

МАРУСЯ

Думаете, если наша Чемодановка у черта в подштанниках, так в ней ничего не происходит и никто о ней не знает? А нас, между прочим, по первому каналу показывали. И, может быть, даже по всему миру, потому как народ со всего света съехался. Прямо на другой день как у тетки Маруси гости появились, тут же и эти с камерами понаехали.

А началось все с того, что Маруся окончила медицинское училище, и на выпускной к ним видного профессора пригласили. Один у нас такой был на всю область. Гривич Лев Самуилович. Приехал. Экзамен принимать. Маруся отличница из отличниц была, ну, профессору ее и подсунули. Тот вопрос задает, а она лоб в ладошку и сидит, думает. Минуту думает, другую, а ответа не знает. Тут ее преподаватель занервничал и давай ее перед профессором защищать:

— Девушка, — говорит, — растерялась, первый раз живого профессора увидала. Давайте ей, говорит, все равно «отлично» поставим.

А Маруся как вскочит:

— Как это, — говорит, — растерялась? Что ж я за медработник, если здесь нюни распустила? А случись такое на фронте?

— И что бы на фронте ты сделала? — спрашивает профессор.

Маруся безо всяких слов хватает со стола бинт и давай профессора заворачивать. Тот еле отбился. Потом встал, руку ей пожал и говорит:

— Вот это достойно! За такой ответ, девушка, я, — говорит, — своему товарищу немедленно в Москву позвоню. Чтобы вас без всяких экзаменов в институт принял и лично позаботился в хорошую комнату поселить.

Маруся, понятное дело, сказала, что и экзамены сдать не побоится. Только не пришлось ей в хорошей комнате пожить. Война началась. Вот и оказалась она в эвакогоспитале, при Гривиче. Главным был. Всех в кулаке держал. А без Маруси ни одну операцию не делал. Заикнулась она было на фронт, но Гривич лично заявление в военкомат написал, мол, ему и тут хорошие медсестры нужны. Так она и осталась. Четырех братьев в первые дни призвали, сестра на военный завод укатила, один отец инвалид остался. Маруся домой прибежит, отца покормит, да обратно. Семь километров до нас и столько же до города. И все бегом. Не до отдыха — немец наступал. Вот в один день приказ: всех раненых, кого возможно, вместе с медперсоналом отправить в тыл, а кто дорогу не выдержит, оставить на Божью милость да на человеческую совесть. И тут Гривич, главный хирург, заявляет:

— Поезжайте с Богом, а я больных не могу оставить. Невестка с внуками пусть едет, жена, а я не могу.

Ему приказ об эвакуации показывают, а он:

— У вас приказ, — говорит, — от полковника, а у меня от Бога. Что я ему скажу, когда встречусь?

Вишь, он хоть и Самуилович, и профессор, а законы православные соблюдал. Семью проводил, а сам остался. И Маруся при нем.

— Как я, — говорит, — его одного брошу? Что он с семнадцатью тяжелоранеными делать будет?

Начальство подумало, рукой махнуло:

— Хотят на свою голову оставаться — нехай. Уговаривать некогда. Больных в самом деле бросать нехорошо.

И приказ про это. До особого распоряжения. Не успели последние машины уехать, появились немцы. Райцентр сдали, а про нашу Чемодановку вовсе не говорю, пришли, как по накатанной дороге… Где ж столько сил взять было, чтоб этакую махину сломить? Немцы вроде поначалу не зверствовали. Даже разрешили тяжелораненых по домам разобрать. По желанию, конечно, и при условии, чтоб коммунисты, офицеры и евреи остались на месте. Ну, офицер он или коммунист, на больничной койке не написано, а что касается евреев, то тут, как говорится, бьют не по паспорту, а по морде. Осталось их двое. Один совсем плохой по фамилии Циммерман. Вот с таким шнобелем. А другой — Грош — маленький, чернявый, кудрявый весь, с ампутированной ногой. Маруся, не долго думая, Циммерману шнобель забинтовала, как профессору на экзамене, а чернявого обрила налысо и брови перекисью вытравила. Ну, немцы бинты разворачивать не стали (кому охота в своих грехах рыться?), а документы тщательно проверяют, чтоб не проскочил какой недолюбок. Маруся им, как главная по раненым, сообщила, что евреев, коммунистов и офицеров всех до единого вовремя вывезли, остались те, которые больше советской власти не пригодятся. Сама подводу нашла, кое-как Циммермана с Грошем погрузила.

— Разрешите, — говорит, — я этих доходяг к отцу заберу. У этого, говорит, документов отродясь не было, и что за человек — не знаем, потому как все лицо разбито, а этот — пожалуйста: Грошев Михаил Аввакумович, — и карточку больного коменданту показывает.

Тот мельком глянул, не заметил, что Маруся полночи корпела, Мойшу Абрамовича на Михаила Аввакумовича переправляла, а ей только того и надо.

Остались они вдвоем с профессором на всю округу. Хорошо, что большинство раненых в городе приютили, а то ведь их каждый день проведывать надо, и все на своих двоих. Марусе-то ничего, а каково профессору? Ему тогда уже седьмой десяток шел. Маруся его берегла, сама всех оббегала, про болезни в тетрадку записывала, доктору показывала, а ему не больше трех-четырех вызовов оставалось. За своих-то Грошиков она только радуется. Во-первых, под присмотром, а во-вторых, подальше от немцев. Прошло дня три, как немцы город заняли. Вроде все спокойно, главное, одеться пострашней, по-бабкиному, да солдатам на улице не приглянуться.

И вдруг на четвертый день на каждом столбе объявления: воззвание к еврейскому народу. Прочла Маруся — и обомлела: вот оно, самое страшное!

«Возникла необходимость всех евреев без исключения, переселить в места более свободные от населения. Евреи должны собраться 5 сентября 1942 года от 7 часов утра до 4-х часов вечера в Кавалерийские казармы. Каждый обязан иметь при себе необходимые для личного пользования вещи: одеяла, кухонные и столовые принадлежности, одежду и питание минимум на три дня. Вес вещей не должен превышать 30 кг на каждое лицо. Для обеспечения оставляемого имущества приняты все меры. Целесообразно оставить перечень вещей в домоуправлении, которое обязано выдавать квитанции. Население ставится в известность, что ВИНОВНЫЕ В РАСХИЩЕНИИ еврейского имущества БУДУТ БЕЗ ВСЯКОГО СЛЕДСТВИЯ НЕМЕДЛЕННО РАССТРЕЛЯНЫ.

Все главы семьи обязаны на месте сбора дать записку с надписью: фамилия, имя, отчество, точный адрес, где хранится имущество, представителю еврейского комитета.

Неисполнение вышеизложенного будет наказываться наложением высоких денежных штрафов, тюремным заключением, а в особо тяжких случаях — смертной казнью».

(Списано с подлинного Воззвания. Краеведческий музей г. Пятигорска. 07.09.1942 г. Немецкой комендатурой жителям еврейской национальности было предписано явиться на товарную станцию для переселения. Через 2 дня в противотанковом рву в 2,5 км от ст. Минеральные Воды были расстреляны вместе с детьми тысячи жителей Кавминвод.)

Гестапо прибыло. Она скорей к профессору. А тот, согласно воззванию, вещи собирает. Маруся ему поперек дороги.

— Нельзя, — говорит, — вам туда, Лев Самуилович, звери они, — говорит, — гестапо эти!

А профессор:

— Отчего же звери? И они люди. В них тоже на фронтах стреляют, а я хирург уникальный, вы, Марусечка, знаете. Если они разрешили больных по домам приютить, что же мне ихним раненым не помочь? Все мы под одним Богом ходим. Единым.

Эх, не было тогда еще интернетов и телевизоров, а раненые больше с фронтов шли. Некому было рассказать профессору, под каким Богом фашисты жили. Сколько ни уговаривала Маруся доктора, ни остановила. Да не его одного. Говорят, в душегубку очередь стояла. С узелочками ценных вещей. И каждый думал про себя, что он уникальный, что у немцев рука не поднимется… Э, да что там… Не вернулся Лев Самуилович.

Осталась Маруся одна на семнадцать раненых. Бегает по больным, а перед ней то и дело листочки с воззванием выпрыгивают. Хоть и ждала она профессора до последнего, а мимо листка пройдет, сердце в кулачок зажмет. Хорошо, думает, что грошики

мои этих листков не видят, а Чемодановка наша немцам даром не нужна, нету в ней никакой стратегической привлекательности. И вот возвращается Маруся после каждодневного обхода домой, а в хате гости незваные. Пополнение фашистское прибыло, вот их и расквартировали, хозяев не спрашивали. Маруся в школе немецкий язык учила, кое-как с поселенцами поговорила, документы на грошиков показала, объяснила, что те никак никому не помешают. Хорошо, шнобистый Циммерман в забытьи лежал, прикрытый простынкой, а Грошик под одеяло юркнул, одна бритая макушка торчит. И тут немец подходит, в Грошика пальцем тычет:

— Июда!

Как только вычислил? У Маруси сердечко екнуло: «Будут немедленно расстреляны…» И взорвалось:

— Что, как июда? Если бы не ваш Гитлер, жили бы все припеваючи! Это вы, фашисты, нелюди!

Много чего кричала Маруся. Хорошо, что по-русски, а то накричалась бы. Помирать, так с музыкой! А немец хоть бы хны, стоит, ухмыляется. Марусю по плечу похлопал и давай что-то на своем лопотать. У Грошика из-под одеяла так уши и выползли. А когда немец Марусе на пальцах показывать стал: «Гитлер — Сталин — капут, а мы, дескать, все здесь свои, миру-мир», — Грош совсем из-под одеяла вылез и давай с ним по-немецки чесать.

На следующий день Маруся даже по раненым не пошла, ждала, когда их всей семьей на эшафот поведут. А тут еще сон приснился. Будто огромный портрет Сталина, висевший до немцев в госпитале, встал да полетел. Летит по небу да во весь голос:

— Люди! Братья! Сестры!

А Маруся с народом под навес прячется, вокруг только один пацан бегает, укрыться не может. Тут Сталин разворачивается и обратно летит, а у Маруси из-под ног камень срывается и вместе с пацаном в пропасть.

Она возьми да расскажи сон Грошу, а тот немцу перевел. Фриц сел за стол, спрашивает:

— У тебя, Маруся, есть на фронте кто?

— Как же нет, когда у нас полстраны воюет?

— Так вот, — говорит, — одного из братьев не дождешься.

Сникла Маруся, помолчала.

— А Сталин к чему?

— Победит ваш Сталин. Не знаю когда, только мы отступать начнем. Да я это давно знаю.

Вздохнул, посидел немного и на Циммермана показывает:

— А этот, — говорит, — недели не проживет, — и пайку свою на стол. — Ешьте, — говорит, — не жалко. Я поваром работаю, не голодаю.

Как ни хотелось Марусе гонор показать, от пайки не отказалась. Продукты в те поры до зернышка берегли. Это поначалу думали, что война за месяц кончится, а на деле по-другому вышло. Скоро сбылось первое предсказание немца. Похоронили Циммермана. И не только его. Из семнадцати оставленных на Марусю всего пятеро выжили. В том числе и Грошик. На остальных не хватило у нее

ни сил, ни знаний. Не было рядом профессора, с ним, глядишь, еще бы кто остался. Через пару месяцев и второе предсказание сбылось: погнали наши немцев обратно. Ушли они, как саранча, разоривши землю, а Грош фашистам вслед кулаком машет, но по постояльцу жалеет:

— Мужик, — говорит, — толковый. Жаль, не во всем я его убедить смог. Пока, говорит, ты, Маруся, по делам ездила, я тоже даром не сидел, фрицу про свободу, братство и равенство растолковывал.

Дальше чего? Похоронка Марусе на старшего брата пришла. А потом победа. Про то, как она досталась, говорить не буду. Мы-то сами послевоенные, только то и знаем, что родители рассказывали. А тут Горбачев пришел. С перестройкой. Со всех стран, кто хочешь, тот и приезжай. И вдруг в восемьдесят девятом, как раз на май, два мужика на такси прибыли. Пожилые такие. Почти старики. Один лысый в моднючей куртке, другой маленький, курчавый, седой весь, вроде как на одну ногу припадает. Прямо к теткиной Марусиной хате. В окно не достучались, во двор вошли. Собака лает, чуть не с цепи срывается, а Маруся не слышит, видать, в огороде вертится. Дядьки со двора вышли, стоят у ворот растерянные. Тут бабы наши подоспели. Пока одни спрашивали, кто да откуда, другие тетку Марусю с огорода вызвали. Та мужиков увидала, с радости как роза чайная расцвела. С одним целуется, второму только руку вежливо подала. Мы стоим, понять ничего не можем. Эту-то историю Марусину нам уже потом бабки-дедки рассказали. Тетка Маруся мужиков в хату повела, а вечером всех, кто с войны остался, в гости пригласила. Не успели бабки с дедками по первой выпить, начальство из области грянуло. Им, оказывается, с таможни сообщили, что у нас в Чемодановке международная коалиция собирается — Грош Мойша Абрамович из Израиля и какой-то Фриц из Германии. В общем, приехали, корреспондентов привезли, аж из Москвы, с первого канала. На другой день в сельсовете столы накрыли с бутербродами и газированной водой, чтоб по телевизору сильно выпивших не было. Митинг провели и денег на постамент дали. Чтобы там золотыми буквами написано было: «Всем павшим за Родину — вечная слава!»

А мы подумали и не согласились. Почему это только павшим? А тетка Маруся? А Грошик? Профессор? А мужики наши покалеченные? А бабы, которые на себе пахали, пули лили да детей растили? Начальство — нет, говорит, у нас по разнарядке только на павших денег хватает, мы же не просто так, мы золотом буквы выводить будем. Ну, мы еще подумали и всей деревней на золото скинулись. И теперь вот он — стоит памятник наш. «ВСЕМ ПАВШИМ И ЖИВУЩИМ НЫНЕ, ЗАЩИТИВШИМ ОТЕЧЕСТВО, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!» И всех поименно золотыми буквами выписали.

АСТАФЬЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. 1975 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в дер. Починок Нейского р-на Костромской обл.

Анастасия АСТАФЬЕВА

КАРТОЧКИ

— Алеша, Алеша, я должна перед тобой покаяться, — сбивчиво и задышливо проговорила Нина Петровна.

Седой грузный Алеша, Алексей Иванович, присел на краешек дивана, на котором лежала мать. Он тихонечко взял ее высохшую невесомую руку в свою большую ладонь и погладил.

— Ну что ты, мама, в чем тебе каяться? Ты у меня святая.

— Святая… — глухо повторила за ним Нина Петровна. — Ты так всю жизнь обо мне и думаешь. А я вовсе не святая! — выкрикнула она вдруг скрипуче. — И ты должен выслушать меня! Потому что мне совсем немного осталось.

Алексей Иванович почувствовал, как забилась в нервной дрожи ее рука, которую он все еще нежно поглаживал, увидел, как лихорадочно заблестели давно мутные глаза матери.

— Тихо. Тихо, мама, успокойся. Исповедуются попу, а я… я, наверное, не готов знать о тебе что-то такое… Хочется, чтобы ты для меня осталась той, какую я всегда знал: добрая, заботливая, веселая. Что ты там такого могла совершить? Никогда не поверю.

— Ты не понимаешь… — мать отвернула лицо к стене. — Хотя… может быть, тебе и в самом деле знать не нужно. Это ведь было мое решение. И грех мой. А теперь я вроде как тебе его передать хочу… Ладно, Алеша. Иди. Я посплю.

— Давай я отцу Валерию позвоню, чтобы пришел утром, соборовал тебя, — осторожно предложил сын.

— Как хочешь, — равнодушно махнула на него рукой мать и затихла.

Алексей Иванович погасил верхний свет, оставив гореть ночник, и вышел из комнаты. Дверь он прикрыл неплотно, и Нина Петровна слышала, как сын звонил приходскому священнику, договаривался о посещении умирающей.

Нине Петровне шел девяносто первый год. Она, по счастью, дожила до столь преклонных лет в полном уме и здравии, возможном для глубокой старухи. Но в последнее время особенно заметно стала слабеть, таять и вот уже около месяца как слегла. Все понимали: Нина Петровна уже не встанет.

Сыну Алеше было семьдесят, ухаживать за лежачей больной ему было непросто, помогала внучка. Но Алексей Иванович трепетно относился к матери: подолгу сидел рядом, разговаривал, читал вслух, приносил попить, кормил кашей, следил за приемом лекарств.

Помощь внучки требовалась, только когда Нину Петровну необходимо было вымыть, переодеть, перестелить ей постель. Тогда они вдвоем не слишком ловко ворочали костяное тело старухи, и та, постанывая, видела, как Алеша морщится, и думала, что он

брезгует ее дряхлостью, старческими запахами. Но Алексей Иванович страдал вовсе не от этого — он старался не заплакать, видя немощность матери, и потому морщил нос и громко отфыркивался от щекочущих переносицу близких слез.

Оставшись одна, Нина Петровна иногда откидывала одеяло, смотрела на скрытые под сорочкой свои дряхлые мощи, на иссохшие ноги с крупными разбитыми коленными суставами и несоразмерно длинными ступнями с искривленными пальцами; подносила к лицу руки с истончившейся до прозрачности кожей, подолгу рассматривала их, изуродованные работой, с потрескавшимися ногтями, словно не узнавая. И навязчиво думала, что вот точно такой — желто-серой, высохшей, почти трупом — она была *тогда*. Шестьдесят семь лет назад…

* * *

Нина разлепила спекшиеся гноем веки и долго лежала без движения в глухой холодной темноте, вспоминая, кто она, где и зачем, почему придавлена чем-то одновременно тяжелым и мягким, похожим на сугроб, и отчего никаких звуков вокруг не слышно, кроме навязчиво и ровно тикающего механизма будильника. Вспомнив, она сразу же двинула рукой вправо, к стене, боязливо нащупала маленькую ножку в валенке и шерстяном чулке. Рука поднялась выше, проползла по свалявшемуся меху кроличьей шубейки и скорее — к голове, к лицу ребенка. Теплый. Нина выползла из-под тяжести матраса и нескольких одеял, накрывавших их с Алешей, оставляя нору, в которой продолжал спать сын. Оправила на себе одежду, перевязала платок.

Сквозь щели заколоченного чем ни попадя окна проникал дневной свет. Нина медленно подошла к окну, нащупала острый гвоздик в нижнем левом углу рамы, осторожно открепила кончик скатерти и, приподняв его, зажмурилась от рези в глазах. Минуту, а то и дольше привыкала к свету, а когда привыкла, равнодушно оглядела скупо освещенную комнату. Все здесь было по-прежнему: голые стены, с которых содраны даже обои, грязный неровный пол с островками не сожженного в буржуйке паркета, остатки разломанного на дрова шифоньера в углу, остывшая железная печка, рядом с ней — два деревянных ящика, повезло раздобыть, но жечь их Нина не торопилась — они служили стулом и столом. Тут же на полу стояло гнутое ведро, на дне которого замерзли остатки воды, не больше трети. На одном из ящиков теснились две алюминиевые кружки, такая же миска, эмалированный ковш, оплавившаяся свеча в консервной банке. Еще повсюду были разбросаны книги — Нина постепенно жгла их в буржуйке, но жалела больше паркета и мебели и старалась, по крайней мере, прочитывать, прежде чем кинуть в огонь. И все равно каждый раз внутри ее изголодавшегося тела что-то больно сжималось, будто не страницы книги съедало пламя, а кусочек ее собственной плоти.

Нина снова подошла к норе, устроенной на железной кровати, приоткрыла уголочек одеяла над лицом Алеши. Трехлетний

мальчик уже не спал. Он тихо лежал и смотрел остановившимся взглядом куда-то сквозь потолок.

Нина провела ладонью по его худенькому личику. Позвала. Алеша перевел взгляд на мать, но остался таким же безучастным.

— Сыночек… сынок… — снова позвала его Нина. Голос ее был хриплым, надтреснутым. — Вставай, сынок. Маме нужно за хлебом.

Алеша зашевелился. Она скатала комкастый матрас, отодвинула его к спинке кровати, помогла мальчику выбраться, усадила, подоткнула вокруг одеяло. Ребенок обессиленно прикрыл веки, но мать растормошила его.

— Потерпи, не спи. Я скоро хлебушка принесу.

— Хлебушка… — едва слышно произнесли бескровные губы мальчика.

Нина положила руку на лед в ведре и влажной ладонью обмыла лицо Алеши, протерла ему глаза. Подняла с полу упавшего плюшевого мишку и дала сыну:

— Ждите вместе, и вам будет не страшно.

Можно было бы затопить печку, отколоть льда, растопить его в алюминиевой кружке и дать ребенку кипятка, но Нина боялась опоздать за хлебом — долго они сегодня проспали.

Она взяла с подоконника большой, вышитый мелкими цветочками кошелек, раскрыла его, удостоверилась, что карточки на хлеб на месте, и вышла из комнаты. Нина слышала, как Алеша вслед ей тихонечко захныкал, но возвращаться не стала. Он всегда так провожал ее, и, задержись она, пожалей его, ничего бы не изменилось: всякий раз, когда мать покидала комнату — хоть на минуту, хоть на полдня, — ребенок страдал. Он уже давно не плакал полноценно, его истощенный организм не мог тратить силы на слезы, только хныкал вот так — хрипловато, тоненько. А раньше, в мирное и сытое время, до блокады, Алеша умел рыдать громко, продолжительно, и тогда по розовым щечкам его текли круглые, с крупный горох, соленые капли. Очень соленые — Нина помнила их вкус, потому что всегда утешала сына поцелуями, смешанными со счастливым материнским смехом. А потом они обнимались, просили друг у друга прощения, Алеша всхлипывал, слезы высыхали, и все были счастливы…

Нина прошла темным коридором, по привычке протягивая впереди себя руки. Вот пальцы уперлись во входную дверь. Она была не заперта и легко распахнулась.

На занесенных снегом лестничных площадках завывал ветер. В пустые оконные проемы видны были развалины соседнего дома. Нина осторожно спускалась по обледенелым ступеням, крепко держась за пронзительно холодные металлические перила, с которых давно кем-то был снят деревянный поручень — его, как и разломанные оконные рамы и разбитые двери парадной, сожгли в буржуйках немногочисленные соседи. Ей тоже иногда удавалось притащить домой обломки досок с развалин, а однажды она даже принесла куски выкрашенной золотой краской рамы для картины. Алеша заинтересованно разглядывал их, водил пальчиком по

резьбе и не хотел, чтобы мама кидала такую красоту в прожорливый огонь печки.

Немногочисленные соседи… Нина точно знала, что в их парадной остались несколько семей: на втором этаже, на четвертом и они с Алешей и соседкой тетей Тасей на пятом. Они не успели эвакуироваться. Поначалу просто никто не верил, что возможна блокада, потом разные слухи ходили: что не стоит торопиться, что выезжать не менее опасно, чем оставаться — машины, эшелоны бомбят, что кормить эвакуированных тоже нечем и люди умирают на пересылках, в дороге, что блокаду скоро прорвут… Нина не знала, кого слушать, писала мужу на фронт, советовалась, но пока ждала ответа от него, бежать стало поздно. Наступил октябрь, потом ноябрь, голод, морозы. И вот — декабрь 1941 года. Все запасы давно проедены, хлеба по карточкам выдают минимум. У Саниных, что на втором, отец еще летом ушел в ополчение и пропал без вести. В октябре у них умерла младшая девочка, потом дед. Через месяц — старшая дочка. Остались мать и бабка. Но и их Нина не видела в очереди за хлебом уже несколько дней… На четвертом этаже одна из двух оставшихся семей вымерла полностью, а в другой мать и сын-подросток Кирилловы, похоронив своих стариков, пошли работать на завод, получают рабочий паек, домой почти не приходят — спят прямо у станка. Соседка тетя Тася умерла в конце октября. Писем от мужа нет. Сын в последние дни слаб и ко всему равнодушен. Нина слышала и видела у других, что вот такая безучастность, полная апатия — это последнее состояние человека перед смертью. Алеша может умереть. И вот она бредет по улице, навстречу сбивающему с ног ветру, и думает об этом ровно и спокойно. Неужели она плохая мать, чудовище, которое не трогает даже голодный плач ребенка? Но что еще можно сделать? Она варила суп из обоев, пока хоть что-то оставалось на стенах. Это замечательно, что поклеены те были на мучной клейстер! Она порезала на мелкие кусочки свои кожаные босоножки и размачивала, вываривала их в кипятке. Они с Алешей подолгу сосали эти кусочки и потом обоих тошнило. Они грызли угольки из печки, она пробовала заваривать опилки как чай, Алеша ест землю из цветочных горшков, а Нина думает, нельзя ли сварить похлебку из олифы — нашла полбутылки в комнате тети Таси…

Неделю назад встретились у парадной с матерью Кирилловых, и та обещала поговорить, чтобы ее взяли на завод, но Нина понимала, что и сама уже настолько ослабла от голода, что вряд ли сможет работать. Да и Алешу оставить не на кого, брать его с собой на производство никто не разрешит, а она не сможет каждый день ходить по занесенным снегом темным улицам два часа до завода и обратно. Остается лечь, обнять сына и уснуть вместе навсегда. Но хлеб. Хлеб! Сейчас ей нужно дойти до булочной на углу четырнадцатой линии. Она получит сто двадцать пять граммов на себя и сто двадцать пять на сына. Вместе — это целых двести пятьдесят граммов! Можно часть пайка есть по крошечке, рассасывать медленно во рту, а часть развести горячим кипятком и посолить — соль у них еще осталась. Получится

аппетитная и сытная тюря, которую они станут есть ложкой. Нине даже показалось, что она чувствует аромат запаренного кипятком хлеба, и у нее закружилась голова. Пошатнувшись, она оперлась рукой о стену дома, постояла немного с закрытыми глазами, а когда открыла — увидела хвост очереди. Идти осталось совсем немного.

Она встала в конце длинной и молчаливой вереницы людей, за маленькой сгорбленной старушкой, плотно укутанной шерстяным платком по самые глаза. Впрочем, голод и непреходящий ужас старят людей за считанные недели, и, возможно, маленькая женщина впереди — вовсе не старушка, и сгорбленность ее — всего лишь последствие дистрофии. Но долго думать об этом Нина не могла — очередь двигалась медленно, и она впала в полусонное забытье, в особый режим экономии энергии, когда от человека не требуется ни умственных, ни физических усилий, лишь терпение и умение ждать. Еще важно было не упасть. Такое иногда случалось. Упавшего всем миром поднимали, усаживали в сугроб, и чаще всего он там и оставался, не доживший до своих спасительных ста двадцати пяти граммов несколько минут, не переждавший двух-трех человек…

Старушка впереди кашляла. Нина видела, как от надсадных вдохов ходят ее узкие плечики под истончившейся тканью пальто, слышала, как свистят ее легкие после того, как приступ отпускал. Равнодушно думалось, что жить старушке осталось немного, что если это туберкулез, то ей, Нине, нужно бы отойти подальше, но тогда она потеряет свое место в очереди, поэтому она лишь плотнее прикрывала нос и рот варежкой, стараясь дышать не слишком глубоко. Да и морозный воздух и мышечная слабость не давали вдохнуть в полную силу. Все в этой очереди дышали поверхностно, тяжело и почти безжизненно.

Прошел час, не меньше, прежде чем Нина увидела, как хлеборезка положила на весы тоненький кусочек хлеба. У этой суровой женщины такой наметанный глаз, что она отрезает точь-в-точь, и не каждому достается крохотный довесок. А ведь все мечтают об этом самом довеске, как будто он не входит в эти жалкие сто двадцать пять граммов, а выдается сверх того, дополнительно. Этот довесок все сразу кладут в рот и, посасывая его, бредут домой. Но Нина никогда не съедала довесок сама, она его прибавляла к Алешиному пайку. И получался у нее один большой кусок, а у сына большой и два маленьких. Это было его вечернее «лакомство». Нина давала ему эти два довеска перед сном. Ронялa на черный липкий кусочек несколько крупинок соли и пихала в раскрытый клювик сына. Губы ребенка были обметаны простудой, все в трещинах, соль попадала в ранки, Алеша морщился и терпел. А если получалось, то даже улыбался в ответ как-то неловко и кривовато.

Хотелось ли Нине самой съесть эти кусочки? Всегда! Поэтому она мгновенно заворачивала полученный паек в отдельные тряпочки — для себя без довеска и для Алеши с двумя довесками. Тряпочки были одинаковые, но она всегда отлично знала, где хлеба

больше, и рука тянулась именно туда. Поэтому дома она поскорее прятала два кусочка для Алеши в отдельную жестяную баночку с крышечкой, а другой хлеб делила поровну на день.

Старушка тоже получила два пайка: один целым куском и второй — с довеском. Она стянула с руки прожженную варежку, схватила тонкими грязными пальцами крохотный хлебный квадратик и кинула его в рот, потом сграбастала оставшийся хлеб и тут же спрятала куда-то за пазуху. Хлеборезка протянула ей карточки. Их старушка тоже взяла грубо, почти выхватила из рук женщины и тоже стала прятать под пальто, куда-то внутрь себя, словно там был какой-то бездонный и очень надежный карман.

Нина нетерпеливо шагнула к окошку, протянула хлеборезке карточки. Старушка зыркнула на нее и побрела прочь. Что-то знакомое было в этом недобром взгляде, но мысли Нины были заняты хлебом, а глаза внимательно следили за руками женщины, бережно кладущими на весы спасительные граммы. Она получила паек, поспешно спрятала его, прибрала карточки и двинулась к дому.

Впереди медленно шла та же старушка, и хотя Нина видела только ее спину, по движениям угадывала, что она то и дело запускает руку за пазуху, отщипывает по крошке хлеб и ест его. Они обе свернули за угол и пошли по Среднему проспекту. Нине отчего-то был очень неприятно смотреть вслед этой старой женщине, она все чаще опускала глаза, тем более что по нечищеному тротуару идти было непросто. А ведь важно не упасть!

И тут она увидела на тропочке свернутые хлебные карточки. Молниеносно наклонилась, схватила их, спрятала в карман и застыла. Оглянулась в ужасе — не видел ли кто? Но людей на улице было немного, и каждый был занят собой.

Нина взглянула вперед — старушка исчезла, наверное, свернула в арку дома. Это были ее карточки. Никакого сомнения. Она так небрежно засунула их внутрь своего пальто и, видимо, таская из-за пазухи хлеб, не заметила, как выронила. Догнать? Отдать? Нина не двигалась. Ее задели. Мимо прошел человек. А ведь старушка умрет без этих карточек, без хлеба… И тот, второй человек, на которого она получала пайку, тоже умрет. Зато не умрет Алеша!

У Нины потемнело в глазах. Эти карточки — их спасение. Если сложить свой и чужой паек — это же целые полкило хлеба в день! Это долгая жизнь для нее и Алеши! Голова закружилась. Нина начала проваливаться куда-то, но ее подхватили, не дали упасть. Она слабо улыбнулась в ответ военному, который, все еще поддерживая, участливо заглянул ей в глаза. Удостоверившись, что женщина пришла в себя, офицер козырнул и пошагал дальше. Нина подхватила из сугроба пригоршню снега, обтерла лицо и увереннее пошла к своему дому.

Алеша все так же безучастно сидел на кровати, пальцы его бесчувственно сжимали плюшевого мишку. Нина — откуда силы взялись! — выхватила его из кокона одеял, принялась осыпать холодное личико сына поцелуями. Сунула ему в ротик сразу оба

довеска. Растопила буржуйку, отколола льда, кинула его в кружки, поставила оттаивать.

И только когда напоила сына подсоленным кипятком, когда напилась сама и на радостях съела сразу полкуска своего хлеба, Нина воровато достала из кармана пальто *чужие карточки*. Подошла к окну, развернула их…

Она потом думала, что не надо было читать. Молча протягивать их хлеборезке и получать положенные граммы. Впрочем, в свою булочную она, конечно, с этими карточками не пойдет. Внимательная и дотошная хлеборезка обязательно спросит, почему Нина получает *чужой хлеб*. И она, конечно, оправдается тем, что ослабевшие соседи попросили сходить. И хлеборезка поверит — надо ей вникать в чьи-то беды… Но все равно Нине будет очень стыдно. Или не будет?

В карточки были вписаны имена: Санина Евдокия Матвеевна и Санина Катерина Сергеевна. Это были их соседи со второго этажа. И согбенная старушка эта была Катя Санина. Она старше Нины лет на пять, не больше! Не зря подумалось в очереди о том, как голод старит и уродует человека, не зря узнался тот, брошенный в нее злой взгляд…

Карточки нужно было вернуть. Господи, ну почему это была не просто *какая-то случайная старуха*! Ведь если умрет кто-то где-то незнакомый — это одно. Мало ли сейчас погибает людей. Но Санины — они не просто умрут, в их смерти будет виновата она, Нина. Но если умрет Алеша, виновата тоже будет она…

Так она промучилась до ночи. Лежала на кровати рядом с сыном молча и недвижно. Даже в бомбоубежище они не стали спускаться. А бомбили где-то рядом. Содрогались стены дома, кровать дрожала под ними…

А ночью, когда Алеша уже уснул, Нина спустилась на второй этаж, долго стояла под дверью квартиры Саниных, прислушивалась: вдруг *их уже нет,* и карточки можно оставить себе? Но услышала надсадный кашель и сунула карточки в почтовый ящик.

Нина открыла глаза и сразу поняла, что никуда не ходила. Это во сне она, мучаясь, раз за разом спускалась на второй этаж и возвращала спасительные карточки. То совала их в почтовый ящик, то отдавала лично в руки Кате, то Евдокии Матвеевне, то проходила в квартиру Саниных, где было пусто, темно, гулял ветер и становилось понятно, что никого живого здесь нет, но Нина все равно клала карточки на стол и уходила…

Сейчас, вернувшись в реальность, она поняла, что ни за что их не отдаст. Потому что мать Кати, Евдокия Матвеевна, конечно, уже умерла, лежит, окоченевшая, в комнате за закрытой дверью, а сумасшедшая ее дочь получает и съедает двойную норму хлеба. Но Катя все равно не выживет — ее кашель… с таким не живут.

Поэтому сейчас Нина встанет, возьмет свои и чужие карточки, пойдет сначала в свою булочную и получит полагающийся им с Алешей хлеб, а затем отправится на Малый проспект за хлебом Саниных. И примет его от незнакомой хлеборезки недрогнувшей рукой. Алеша должен жить!

* * *

Отец Валерий положил на голову умирающей епитрахиль, вполголоса прочитал положенные молитвы. Погасил свечи, убрал в портфель Библию, железный крест и другие необходимые для свершения обряда предметы, а потом, отведя Алексея Ивановича в сторону, что-то тихонько и наставительно ему говорил.

Нина Петровна была уже в забытьи, душа ее, стремящаяся отделиться от тела, еще удерживалась якорем тяжкого греха на печальной земле нашей. Но вот Нина Петровна встала, в одной сорочке прошла по темному коридору квартиры, протягивая впереди себя руки, толкнула входную дверь, вышла на лестничную площадку, крепко держась за деревянный поручень, медленно спустилась с пятого этажа на второй, подошла к квартире Саниных. В правой руке она держала хлебные карточки и уже хотела положить их в почтовый ящик и поскорее уйти, но тут услышала шаги, обернулась и увидела, как с первого этажа поднимаются дочь и мать Санины. Они улыбались. Евдокия Матвеевна поздоровалась с Ниной, а та, онемевшая, ничего не смогла сказать в ответ. Катя подошла к двери, увидела в руках соседки свои карточки, посмотрела ей прямо в глаза и четко сказала: «Оставь себе. Они вам нужнее…»

Нина Петровна судорожно вдохнула, всхлипнула…

Дальше был свет. Сплошной свет.

БО́БЫЛЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. 1987 г. р. ООО «Ин-Ритейл». Член Санкт-Петербургского союза литераторов. Живет в Ленинградской обл., г. Мурино.

Дмитрий БОБЫЛЕВ

КСЯ́КСЯ

Пуше нельзя на улицу — «сороки унесут». Котенок бегает только по дому и чердаку. Вечерами они с кошкой Мурой резвятся на чердаке, и в доме слышен их дробный топот.

— Строились в середине деревни, а теперь воде оказались — крайняя хата, — сетует баба Нина. Ныне за хатой луг и лес; покинутые дома разобраны на дрова или перевезены в деревни покрупнее. Даже разбитый большак, вместо ремонта густо засыпанный песком, и тот проходит через соседнюю деревню Пухново, а от Пухнова до Размахина — еще пара верст по грунтовой, сплошь песчаной дороге.

В Размахине семь домов с огромными, заросшими, превратившимися в луга огородами. Заборов почти нет — раньше стояли, когда по дороге гоняли стадо, и коровы забредали на огороды, а теперь забредать некому. На пригорке — бездействующая водонапорная башня, у основания до половины надрезанная автогеном. На соседнем пригорке, где теперь покос для последних четырех коров, до сих пор видны неглубокие ямы — следы немецких укреплений. Немцы окопали здесь пулеметы, когда заняли деревню.

— Приехали на маленьких грузовичках, — вспоминает баба Нина. — А в кузовах из соседних деревень — и старые, и малые, и немцы. Я уж потом поняла: это чтоб наши в них не стреляли, немцы в кузове звали колхозников прокатиться. В своих-то наши забоятся попасть. У нас четыре девки влезли, да потом, за кустами-то, не знали, как выбираться, когда немцы их в кусты потащили. Поганники такие. Не могу кино про войну смотреть, Петька включит — всегда отворачиваюсь.

Баба Нина прожила в местных деревнях всю жизнь. Говорит, что самое легкое время — нынешнее: можно даже купить конфеты.

В самом Размахине конфет не продают: на девять деревень, в которых мы побывали, магазин лишь один — в Пухнове. По деревням колесит автолавка, в которой водитель — он же и продавец. В каждой деревне появляется раз в неделю:

— Объехал в понедельник одиннадцать деревень, сегодня — шестая…

Баба Нина договорилась, чтобы лавка подъезжала прямо к ее дому: до Манева, где фургончик «Газель» делает остановку, идти уже трудно. Деревня Манево — в пятистах метрах через луг по заросшей дороге.

В Маневе живет другая баба Нина. Впустив нас, удивляется:

— Как это вы прошли к нам мимо пчельника, не покусали вас? Утром-то смотрю в окошко — там Романи́ха! От пчел удирает — ползком, по траве, руками машет! Потом голову в ручей окунула и пчел из волос вытряхивает. Стучалась к нам, да я не открыла,

взяла грех на душу: она как войдет — не выгонишь. Пьет ведь, почернела вся…

— Кся́кся, — говорит про пчел трехлетняя Соня. Кусается, значит. Прошлым летом Соню укусила оса, и с тех пор всех кусачих летунов мы называем ксяксями.

На пути в Бренево, что за Маневым, берем Соню на руки — после первых же двух домов дорога превращается в луг, и ее очертания узнаются лишь по просвету между кустами. Трава по пояс сырая, и в ней, говорят, змеи. Из зеленого моря с желтыми разводами лютиков и белыми одуванчиков заброшенные дома и сараи виднеются только крышами. Где к ним вели тропинки — угадать нельзя. Оставил девчонок под старой березой, к дому пошел один.

Доски пола и потолка сняты, посреди горницы — нетронутая белая печь, на ней стоит эмалированная миска. На стене висят штаны и березовый веник. Из кучи соломы, нападавшей с чердака, поднял серую от пыли армейскую фуражку. Оглянулся, повесил на гвоздь. Стало печально.

В раскрытое окно влетели две ласточки; увидев меня, заметались со свистом по дому. Одна стала биться в другое окно, закрытое. Взял ее осторожно — не бойся, птичка, девочкам покажу. Нагнал их на обратной дороге уже за деревней.

— У меня для тебя подарок, — говорю Кате. И достаю птицу из-за спины. Птица не вырывается, не пищит, только головой вертит.

— Отпусти ее! — кричит Соня. Отпускаю. Птица шустро летит над дорогой на высоте люпинов и через несколько метров, поверив в свободу, взмывает ввысь.

Хорошо бы дойти до заброшенной деревни Орехново, но назавтра целый день дождь.

Сидим за столом, в честь нашего приезда выдвинутым на середину комнаты, и чашка за чашкой пьем чай. Баба Нина — Катина бабушка и Сонина прабабушка — вспоминает войну.

— Немец едет на лисапеде мимо хаты, а у меня последняя курица, серая, ходит вдоль дороги. Ава́й, увидит же — застрелит! Только он к ней, а курочка, умница, под крыле́ц убе́гла! Он мне показывает: доставай, мол, лезь! Я залезла, а так жалко мне ее, последнюю курицу, говорю: нет ее здесь, не вижу! Он и уехал, а курица моя серая тогда из-под крыльца и вылезла.

А соседи в сарае два мешка зерна закопали, доски постлали сверху. А немцы-то туда лошадей поставили, сделали там конюшню. Лошади зерно-то все и попортили — лошади ведь.

А в колхозном хлеву пленные были, а у нас парень был такой ученый, из города, вот он им стал еду носить. Там окошко было в двери — как во́де для кошки… Немцы-то его поймали и выпороли кнутом! — временами глаза бабушки наполняются слезами, на ее мудром лице это кажется столь неуместным, что я не знаю, как себя вести, и просто молчу.

— Повадился немец один к нашей девке бриться ходить. Она ему воды нагреет, поставит, а сама идет к соседке — страшно,

и в окно смотрит, когда он уйдет. И смотрит раз, а он с голой спиной да в сапожищах по ее огурцам топчется, по грядке с огурцами! Ава́й! Она как выскочила, лесину из забора выдернула, да по голой спине его и перепоясала, лесина аж переломилась! И убе́гла. У немца коли был бы пистолет — убил бы, а не было под рукой, так ей и ничего.

Ава́й, поганники! Но не все были плохие, всякие были. В Мельницу как-то раз пришли двое за молоком, по одежке видать — начальники. Я свою сестренку больную Маню снесла тогда на крыле́ц. А начальник увидал, показывает руками: разверни, мол. Развернула, чем там ножка была замотана, а она уж пахнет. Немец показывает опять: вытри. Я вытерла, а немец достал из кармана — во́де, на груди — бинт с розовой такой присыпкой, перевязал ножку, и бинт Мане отдал. И руками показывает: у него самого дома таких трое. И молока взяли трохи, литра два всего.

— Многие вернулись с войны?

— Авой! Никто не вернулся. У нас в Размахине никто. В Бреневе один пришел, безногий. А в Маневе, ава́й! У него четыре сына на фронте, а батька подался в полицаи! Встретил он наших мужиков в лесу, насобирал четыре человека: «Я вас к партизанам сведу» — а сам к немцам свел. Убег потом в Орехново, когда немцы ушли, его там поймали и отправили в лагерь на десять лет. Он ничего, отсидел, вернулся. А наши-то ребята увидели его, привязали к березе и говорят: «Куда нашего батьку дел?» Я уж еле их удержала, увидела: он свои десять лет отсидел, вы уж его отпустите! Уговорила. Он потом никогда по Размахину не ходил, в Манево по дуге пробирался.

Слушаем, подливая чай. Неловко задев, опрокидываю чашку, чай течет по столу на пол.

— Ты пролил чай, — отмечает Соня.

— Это не я, это Пуша.

— Ты пролил, я видела!

— Все равно Пуша.

— Надо картошку бороновать, а куда по такому дождю бороновать будешь? Уже прорастает, а еще не бороновали, — появляется из сеней Петр Михалыч. — Мамуля вас все сказочками развлекает? — у Петра Михалыча прищур, усы и военные штаны. — А в том-то году, мамуль, скажи, ежи к нам повадились: лезуть к собаке, под будкой зароются, а собака с ума сходить, лаить и день, и ночь. Отроешь ежа, за лапу его вышвырнешь в поле, а он через полчаса опять тут. Дима, ты возьми лодку, если погода будет, хоть девок по озеру покатаешь.

Свернув самокрутку из листка отрывного календаря, Петр Михалыч уходит курить на крыльцо.

По зарослям осоки лодка движется трудно, трава затормаживает, и прежде чем оказаться на большой воде, приходится несколько раз оттолкнуться веслами от дна. На дне лужицы под сиденьем сидит огромный паук, серебрясь пузырьками воздуха. Несколько лет лодка пролежала кверху днищем в конце огорода, у бани. В оную

пору под ней жил заяц. Теперь мы пересекаем на ней озеро Гре-че, чтобы напрямик попасть в Липицы. Соня то и дело пытается перевеситься за борт, чтобы согнать бабочку с зеленой обшивки лодки, и все же до песчаного пляжа добираемся благополучно — и мы, и бабочка. В середине берега столб с фанеркой оповещает: «У нас не мусорят!» Это для туристов, что приезжают на турбазу в Липицы. Берег соседнего Озерона уже замусорен их стараниями.

На пригорке видим всадника. Приблизившись, всадник оказался девушкой на кобыле, вокруг семенит жеребенок. Спрашиваю из вежливости:

— Сколько ему?

— Месяц. Талисман зовут. У нас таких еще двое, а всего лошадей девять.

На буром боку кобылы белой шерстью — трехзначный номер.

— Это краска?

— Тавро. У лошадей, где поранятся, белая шерсть вырастает. Хотите прокатиться?

С березового чурбака взбираюсь на голую спину лошади.

— Дорога в Орехново? Сохранилась, но очень заросшая. Наши прошлой осенью туда катались на лошадях. Там никого не осталось. Дольше всех жила старуха с собакой, а потом у нее дом украли. Ну, зимовала она в городе, однажды весной вернулась, а ее дом уже увезли. А вот этот столб «Не мусорить» — это второй, первый москвичи выдернули и сожгли в костре.

Напоив лошадей, всадница удаляется в направлении Липиц. На песчаной тропе жеребячьи следы — маленькие, как оттиснутые донышком пивной бутылки.

Приматываю лодку на Размахинском берегу цепью к толстой иве и, пропустив цепь через уключины обоих весел, замыкаю ее амбарным замком. С пригорка видно, как над озером мутной завесой льет дождь, приглушая цвета дальнего берега и приближаясь к нам. На тропинке муравьи спешно перетаскивают песчинки, отказываясь подбирать комаров, которых я им бросаю. Едва успеваем попасть домой. Бороновать будет снова нельзя. Петр Михалыч ходил на рыбалку и опять ничего не поймал — туристы глушат рыбу током от лодочных моторов, и рыбы теперь мало.

Сразу за Бреневым — густые, высокие заросли люпинов, мятлика, е́жи… Ногами можно нащупать остатки колеи, а ведет нас навигатор, указывающий тропы, которых на самом деле нет. Набредаем на мост, провалившийся во многих местах, похожий на груду бревен. Проехать по нему нельзя, пройти можно, но с осторожностью. Речушка заросла осокой и кувшинками.

— Смотрите! Листья для лягушки! — восклицает Соня. Всю дорогу несу ее на руках, потому что трава выше Сони. Катя просит ее говорить потише — боится, что услышат медведи. Орехново за мостом.

Вокруг домов густые заросли сирени, малины, шиповника… Засохшая яблоня раскорячилась на поляне, часть которой раньше была дорогой. Дома открыты, перекошены, жалки. В крайнем

доме, в прихожей, на полу — газета «На страже Родины» 1967 года. Жаль, нет кнопок повесить на стену. Кладу газету в сундук без дна. Думаю, что это может быть последний экземпляр номера в мире. Хочется сохранить этот уголок родины — мне жаль и рассыпающиеся серые домики, и старух, вынесших на плечах тяготы, о которых мы знаем лишь из учебников истории…

За Орехновым должно быть Хребтово — деревня, покинутая еще раньше. За околицей — ручей, грязь, земля взрыта грузовиками — может быть, лесовозами? Наломав веток, сооружаю гать, и мы перебираемся в Хребтово. Ручей, по воспоминаниям Кати, протекавший вдоль леса, превратился в большое болото, из которого торчат засохшие березы. В середине деревни болото поглотило и дорогу, отрезав от нас остальные домики Хребтова, а также Мельницу и деревни дальше, отмеченные на «Гугл-картах», но погибшие лет двадцать-тридцать назад… Вехи бетонных столбов без следов проводов теряются по ту сторону болота.

— А ведь какие большие деревни были! — охает баба Нина, слушая рассказ о нашем походе. Поздно, за окошками темнота и тучи «ксякись». — Мельница была, сыроварня, фермы по сто коров! Авóй, а кто это мне тут нарисовал? — спохватившись, бабушка склоняется над табуреткой. На пластике — каракули зеленым фломастером. — Это Соня бабушке на память нарисовала?

— Это Пуша, — отвечает Соня. — Пуша бегала тут и нарисовала.

Внезапно с улицы доносятся дикие крики: «Мамуля! Мамуля!» — и что-то еще неразборчиво, будто кого-то убивают. Мы с бабушкой выскакиваем из дома. В огороде беснуется лошадь, пытаясь вырваться, а Петр Михалыч из последних сил удерживает ее за узду.

— Мамуля! Быстрей! Дихлофос неси!

Становится понятно, что лошадь в бешенстве из-за туч комаров и оттого, что не любит пьяных. Бабушка убегает в дом, возвращается с дихлофосом и начинает опрыскивать лошадь. В темноте они пытаются впрячь кобылу в борону, но что-то не так с хомутом, и бабушка кричит:

— Брось, Петька, брось ее, пущай домой скачет!

Вырвавшись, лошадь замирает на миг и, выбрав направление, рысью летит к ограде — Петр Михалыч успевает распахнуть калитку уже перед ее мордой. Тучи комаров гудят над уснувшим садом, и мы спешим в дом…

По дороге из Пухнова солнце палит нещадно. Идем из магазина — сметану купить не успели, очередь собирается еще перед привозом и раскупает все мало-мальски нужное. Летают слепни и шеряки, Соня поминутно пытается снять панамку, а стянув, крутится на месте, пытаясь ее найти — панамка на завязках болтается сзади.

— Вот здесь было крыльцо РТС, мы с бабушкой всегда садились на него отдохнуть, когда шли из магазина, — Катя указывает на канаву, заросшую кустами. — Знаешь, когда некоторые

люди оправдывают свой характер тем, что у них трудная жизнь, я вспоминаю бабушку. Она и росла без родителей, и поля на себе пахала, и за дедом ухаживала столько времени, а видишь, какая она радушная. А кто злюка, тот злюка и есть.

Соня роняет мячик, он укатывается в траву. Соня растерянно разводит ручками: в траву она не хочет, в траве водятся разные «кся́кси».

— А еще бабушка меня научила в слепней втыкать метелки от травы, чтобы они летали с метелками! Только слепней трудно поймать.

Вокруг нас летают сразу несколько, но ни одного не получается схватить. Придумал: сорвал лист борщевика — большущий, с Соню, — чтобы сбить «ксяксю» в полете.

— Ай! Вот только попади по нам! — уворачивается Катя, Соня смеется и отбегает, пятясь, — и вдруг за девчонками вижу змею! Серая гадюка переползает дорогу метрах в трех, приподняв голову и негромко шипя на нас. От неожиданности забываю слово «змея», и только тычу руками за спины девочек, как Соня над мячиком. Почти приблизившись к гадюке, Катя наконец замечает мои знаки, и все замираем, пока тварь уползает в борщевики.

— И как ты ее увидел?! Только что не было никого…

В сенях полумрак, немного света проникает сквозь проем двери и люк в потолке, всегда открытый. Тихо. Не слыхать ни бабушки, прилегшей за печкой, ни Петра Михалыча, уехавшего с нетрезвыми мужиками в соседнюю деревню. Только стаи комаров гудят над крыльцом. Маленькая Пуша неслышно подходит к приставной лестнице, задними лапками встает на нижнюю перекладину и передними подтягивается до второй, а со второй — до третьей. Несколько раз измерив своим тельцем высоту лестницы, исчезает в квадрате люка. Сквозь отверстие видно, как на чердаке висят чьи-то штаны и березовый веник.

ВАЛЕЕВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ. 1951 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Красноярск.

Марат ВАЛЕЕВ

ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ДЯДЯ ВАСЯ!

На днях, выйдя на прогулку, увидел у соседнего подъезда карету скорой помощи. Дом у нас довольно большой, сто с чем-то квартир, и скорую во дворе можно увидеть нередко, особенно в такие вот межсезонные дни, когда погода никак не «устаканится», отчего метеозависимые люди очень страдают. Но чаще всего медики приезжали по вызову именно ко второму подъезду. Здесь, я знал, живет единственный в нашем доме участник войны дядя Вася.

Он часто в погожие дни выходил на прогулки, но за территорию дома никогда не уходил, а быстрым шагом и бодро постукивая по асфальту тростью, делал несколько кругов по внутреннему периметру двора и усаживался отдыхать на скамью у своего подъезда.

Прошлой осенью я присел к нему, мы разговорились, вот тогда я и узнал, что Василий Иванович (он разрешил мне называть его дядей Васей) воевал, был на фронте шофером, подвозил на своем грузовике снаряды артиллеристам, вывозил раненых, попадал под артобстрелы, бомбежки, несколько раз был ранен, очень сильно контужен. Из-за этой контузии его после лечения в госпитале и списали вчистую за год до Победы.

Он вернулся в свой Иланский район, откуда уходил на фронт в 1941-м, с боевыми наградами и продолжил шоферить — до самой пенсии и еще лет десять после выхода на нее. Женился, детей с женой нарожал, по-моему, троих. Когда пережил любимую супругу, старшая дочь забрала его к себе в город, вот в этот наш дом.

— Она у меня врач, и это благодаря ей я еще жив, — покашливая и слегка подергивая головой, рассказывал дядя Вася. — У меня уже два инфаркта было, доча оба раза вытаскивала, считай, с того света, спасибо ей…

— Дядя Вася, а давайте я про вас напишу, — предложил я Василию Ивановичу, сказав, что я журналист. — Только нам с вами надо будет немного подготовиться. Вы свои наградной пиджачок с орденами и медалями наденете (я нисколько не сомневался, что он у него есть), я диктофон и фотоаппарат с собой возьму, и мы с вами более подробно поговорим о вашей жизни. Хотите — я к вам домой приду, а можем и на лавочке вот так же посидеть.

И он вроде согласился. Но когда я в назначенный день и час вышел во двор и подошел к лавочке, на которой (минута в минуту!) дожидался Василий Иванович, он огорошил меня неожиданным отказом более подробно поговорить со мной.

— Дочь запретила, — конфузясь, сообщил мне фронтовик. — Сказала, что мне ни в коем случае нельзя волноваться, а то сердце опять может… того…

Я, конечно, немного расстроился. Но понимал, что дочери-врачу, все последние годы «ведущей» своего немолодого (за девяносто

уже), больного, израненного отца, виднее, что ему можно, а чего нельзя. А Василий Иванович, если начнет вспоминать про войну более детально, чего я от него непременно стал бы добиваться, конечно, разволнуется, а там и до беды недалеко. Вон, у него и так уже пальцы на рукояти трости стали мелко дрожать.

И я не стал ни диктофон вынимать, ни фотоаппарат расчехлять. Посидев с дядей Васей для приличия немного, вернулся домой. Но затею свою расспросить его более подробно не оставил. Решил, что спустя какое-то время, когда Василий Иванович подзабудет это несостоявшееся интервью, опять к нему подсяду с включенным в кармане диктофоном и постепенно, исподволь выведаю недостающую для полноценного очерка информацию и все равно напишу о нем. А когда распечатаю очерк на бумаге и дам ему предварительно почитать, тогда дядя Вася уже и сфотографироваться не откажется.

Но Василий Иванович все не появлялся и не появлялся во дворе. Вот уже и Новый год прошел, и непривычно теплый февраль — самое время для прогулок! — перевалил за первую декаду, а знакомой слегка согбенной фигуры я так больше и не увидел.

И вот вчера увидел эту скорую и подумал: не к Василию ли Ивановичу она приехала? И спросил об этом на выходе со двора у охранника, вышедшего покурить из своей будки.

— Это который фронтовик, что ли? — позевывая, переспросил охранник. — Так он помер, перед самым Новым годом. Вот так же скорая приезжала, только рано утром, как раз в мое дежурство. Да только зря — инфаркт у деда был, обширный, говорят, не откачали. А к кому в этот раз скорая приехала, я даже и не знаю…

Не скажу, что я был потрясен — мало ли пережил-перевидал смертей за свои шестьдесят три года, а эта была вполне ожидаема, — но очень опечалился. Вот еще одним участником великой, жестокой и кровопролитнейшей войны стало меньше. И я, к великому своему сожалению, не успел написать о Василии Ивановиче при его жизни — о том, как он крутил баранку на военных дорогах под Москвой, на Волховском фронте, под свист пуль и грохот разрывов снарядов и бомб. Как рвали его тело осколки вражеского металла, но он, оправившись от ран, снова садился за руль, но уже другой полуторки (прежнюю, безнадежно покалеченную снарядом, списали). Как в мирной жизни он остался верен фронтовой профессии и наматывал на колеса машины десятки тысяч километров, развозя нужные для восстановления подорванного войной народного хозяйства грузы. Как болели его раны и раскалывалась от ужасного гула и звона контуженая голова, когда менялась погода или когда кто его сильно расстраивал. Но он не мог валяться долго на койке — его гнали за баранку профессиональный долг и обязанность перед государством и семьей, которую надо было кормить.

И хотя не было моей вины в том, что я обо всем этом не написал в очерке про Василия Ивановича — так уж сложились обстоятельства, все равно я чувствую себя перед ним виноватым. Простите меня, дядя Вася! И пусть хоть эти скупые строки послужат памятью о вас, славном воине и неутомимом труженике фронтовых и мирных дорог.

ДУРЯГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. 1957 г. р. Руководитель районного ЛИТО «Полевые цветы». Живет в Вологодской обл., пгт Чагода.

Светлана ДУРЯГИНА

ЕГО ВОЙНА

Как родная меня мать провожала...

Третий год шла война с фашистами. Душа Васька изнывала от мыслей: «Что же это такое! Отцу полсотни стукнуло, а он воюет, я же, молодой здоровый парень, — и дома». Каждый раз, когда из тарелки громкоговорителя на поселковой площади голос диктора сообщал о ситуации на фронте, у него чесались руки: хотелось бить фашистов, да так, чтоб клочья летели, а для этого в артиллерию бы в самый раз. Летом после девятого класса Васек с приятелями в лесу около станции соорудил двенадцать пушек из металлических труб и срубленных тут же березок, и когда над ней гудели немецкие бомбардировщики, пацаны пытались из них стрелять, используя порох, утащенный из дома у отцов-охотников. Они защищали станцию.

По ночам Ваську снились военные сны, один особенно врезался в память. Будто бы он на фронте и стреляет из орудия по фашистским танкам. Он подбил их уже много, и на поле полыхают дымные костры над башнями со свастикой. И вот остался последний. Огромный, черный, он медленно, беззвучно накатывается на Васьково орудие, и ствол башенной пушки направлен прямо ему в лицо. Васек с ужасом осознал, что снарядов у него больше нет, хотел бежать, но ноги словно вросли в землю. И тогда он отчаянно закричал: «Ма-ма!»

Он учился уже в десятом классе. Затяжные октябрьские дожди выматывали душу. После обеда, затопив печку, Васек с сестренкой уселись делать уроки, мама проверяла тетрадки своих пятиклашек. В дверь вдруг постучали и в комнату ввалился в мокром дождевике почтальон-инвалид, подал матери серую бумажку. Пима Дмитриевна побледнела, из глаз ее хлынули слезы. Васек кинулся к ней: «Мам, ты чего?» Взял из ее похолодевших рук бумажку. Это была повестка из военкомата. Сердце радостно заколотилось:

— Наконец-то! Мамочка, ну не плачь! Вот увидишь, война скоро кончится, и я вернусь весь в орденах, а ты будешь мной гордиться!

— Сыночек, да ведь тебе еще только семнадцать исполнилось!

— Да ты что, мам! Я уже вон какой взрослый мужик! — Васек схватил мать на руки и чуть не упал вместе с ней — от травяного рациона, на котором они жили в военные годы, сил не накопишь.

Одноклассники откровенно завидовали ему: повестку Васек получил первым в классе. Провожали они его гурьбой. Девчонки чмокали на прощанье в покрытые первым пушком щеки, пацаны дубасили по спине: «Счастливо, Васек! Дай жару фрицам!» Мамы не было на станции. Он едва уговорил ее остаться дома — боялся, что не выдержит материнских горьких слез, сам расплачется на

виду у всего класса. Гукнул паровозный гудок, Васек вскочил на подножку. Сердце на мгновение сжалось: доведется ли еще увидеть этих ребят, маленький домик станции, янтарные стволы сосен, крыши родного поселка? Впереди была полная неизвестность.

Как полопаешь, так и потопаешь

Из Вологды Васька отправили на остров Ягры, что в Белом море. Его горячее желание стать артиллеристом было учтено призывной комиссией, и теперь в запасном артполку за три-четыре месяца из него должны были сделать командира расчета. Однако война, эта прожорливая тетка с косой, так долго ждать не хотела, и уже через месяц вконец отощавшим ребятам присвоили вместо сержантского звания ефрейторское и отправили под Смоленск, в Дорогобуж.

Полковник Кац, командир 113-го гвардейского истребительного противотанкового полка, прибывший сюда из-под Сталинграда для набора пополнения, хмуро разглядывал построенных перед ним малорослых и тщедушных пацанов в серых шинелях. Потом отдал приказ разбиться на расчеты и перетащить на несколько метров с исходных позиций 76-миллиметровые пушки. Ребята рассыпались на группы, облепили орудия, старались до пота. У Васька из-под сбитой на затылок шапки шел пар. Все напрасно: пушки трогаться с места не хотели.

— Отставить! — рыкнул Кац. — Позвать сюда повара!

Вскоре перед строем смущенных солдатушек рапортовал о своем прибытии в ватнике, белом переднике и колпаке упитанный, краснощекий кашевар Иона. Полковник Кац, ткнув рукой в перчатке в сторону пополнения, громко приказал:

— Чтоб через две недели эти солдаты были как ты!

Иона старался: щедрой рукой солдатские двухлитровые котелки наполнялись до половины то густыми щами с мясом, то кашей, на совесть сдобренной салом; хлеба тоже было вволю. Васек давно отвык от такой еды. Он знал, что нельзя много есть, и сдерживал себя, а его дорвавшиеся до еды приятели мучились животами.

Пока не отъелись, учились воевать на 45-миллиметровых пушках. Бывалые артиллеристы называли сорокапятку «Прощай, Родина!». Через две недели их заменили 76-миллиметровыми орудиями. О них, как узнал уже после войны Васек, консультант Гитлера по артиллерии профессор Вольф сказал: «Русская пушка «Зис-3» является самой гениальной конструкцией в истории ствольной артиллерии». С этой пушкой Васек прошел свой воинский путь до конца.

Как Васек не научился пить водку

В своем взводе Васек оказался самым молодым солдатом. За уважительное отношение к старшим, незлобивый смелый характер и веселый нрав однополчане его полюбили; просили написать письмо домой или почитать вслух армейскую газетку; учили его бриться, а заодно попытались приучить и к фронтовым ста грам-

мам водки, от которых Васек всегда наотрез отказывался в пользу товарищей.

Однажды под Шауляем их артполк скрытно занял новые позиции. На рассвете намечалась атака, а перед ней фрицам готовился сюрприз — артобстрел хорошо разведанной линии обороны фашистов. До этого момента обнаруживать себя полку было никак нельзя. Батарейцы весело устраивались на отдых в основательно построенных немцами блиндажах. Настроение было отличное: переход оказался не слишком утомительным, а тут еще старшина притащил фляжки с водкой. Ужинали все вместе, шутили, в очередной раз привязались к Ваську: «Скоро война закончится, а ты так ни разу водочки и не попробовал. Вернешься домой, и вспомнить будет нечего, а мамка дома пить не разрешит». Васек сдался, «уважил» однополчан — хлебнул из фляжки горькой до слез. В голове сразу зашумело, захотелось немедленно совершить подвиг.

Васек вышел на улицу, по фронтовой привычке не забыв прихватить винтовку. Луна сияла в литовском небе во всю мощь, словно фонарь, освещая немецкую линию окопов впереди. Вдруг там что-то зашевелилось. Васек пригляделся: мать честная, да это ж фриц с котелком к реке направился за водичкой! Ваську ни разу еще собственноручно убивать фашистов не приходилось — в его задачу входило расстреливать вражеские танки, подавлять их артиллерию, разрушать укрепления. Живая сила противника никогда крупным планом перед ним не представала. А тут — вот он, фриц, как мишень, идет не спеша, котелком помахивает.

Васек подстрелил его с первого раза и, влетев в блиндаж, лихо доложил об уничтожении живой силы противника в количестве одной боевой единицы. То, что случилось потом, Васек запомнил в мельчайших подробностях до конца своей жизни. Комбат с побелевшими от бешенства глазами в ответ на его лихой доклад тыкал ему в лицо пистолетом и рычал: «Застрелю, сволочь, предатель!» К счастью, немцы не подняли тревогу. А комбат приказал до утра выкопать новую огневую позицию под орудие размером 6 × 6 × 0,8 метра. Вместо заслуженного отдыха перед боем Васек всю ночь кидал лопатой землю, и вся батарея самоотверженно ему помогала. С тех пор Васек больше на войне водки в рот не брал.

Двум смертям не бывать...

76-миллиметровое орудие — это тебе не «сорокапятка», поэтому от линии фронта полк, в котором служил Васек, дислоцировался неблизко. Однако и Ваську удалось побывать в переделках.

В Восточной Пруссии полк чуть не попал в «котел». Погода была адова: ветер, мокрый снег — метель почище, чем в казахстанских степях. Пушки пришлось тащить почти на руках. Васек то потел, то мерз. Наконец, завязался бой. Немцы озверели: авиация, танки, пехота — лезут и лезут. Прицел без конца залепляет снегом. Васек, с трудом улавливая хриплые команды лейтенанта Комарова, лупил прямой наводкой. Страха смерти у него не было, потому что знал: все равно умрешь — не сегодня, так завтра. Своего командира

орудия Демкина, который укрывался в окопчике, он не осуждал: мужику за сорок, дома у него шестеро детей; а ему терять нечего, разве что мама плакать будет. Побаливала спина — от переохлаждения высыпали чирьи, но Васек старался внимания на это не обращать и никому об этом не говорил: боялся, что перед боем отправят в медсанбат.

В тот день они отбили четырнадцать атак. Когда смолкли последние выстрелы, Васек присел на корточки, тупо уставился на пустые дымящиеся снарядные гильзы. Голова гудела, хотелось пить. Он сунул в рот горсть черного снега. Подошел, блестя зубами на чумазом лице, командир взвода лейтенант Комаров, весело крикнул ему в лицо: «Молодец, Васек, не струсил!» — и хлопнул его по спине. Тут Васек взревел и на мгновение потерял сознание: лопнули чирьи. В медсанбате их насчитали шестьдесят штук.

Сон в руку

Раньше Ваську никогда не приходилось видеть загнанного в угол раненого волка. Но теперь здесь, в Восточной Пруссии, он мог легко себе это представить: гитлеровцы, предчувствуя развязку, дрались отчаянно. Они научились ходить в лобовые атаки, как когда-то в 1941-м это делали наши. Первая седина, появившаяся у семнадцатилетнего Васька, — память об одной из них.

Через полчаса после начала танковой атаки у орудия их осталось двое: Васек и пехотинец Колесников, который шел из госпиталя, догоняя свою часть, и прибился к расчету. Заряжающего накануне боя арестовали и отправили в штрафной батальон (он украл у немецкого бауэра барана, чтобы накормить артиллеристов, которые давно уже не ели ничего горячего), и Васек был рад, что его есть, кем заменить.

«Тигр» шел прямо на орудие. Васек знал, что лобовая броня у этого зверя 200 миллиметров, поэтому решил подпустить поближе. 600 метров, 500, 400…

— Снаряд!

Колесников подскочил, сноровисто сунул снаряд в казенник. Выстрел! И… только искры посыпались. В оптике прицела Васек увидел черное отверстие наведенной прямо ему в лоб башенной пушки «Тигра». Закрыл глаза. Как говорится, вся его короткая жизнь пронеслась перед мысленным взором, а еще ему явственно вспомнился тот сон, что увидел когда-то до призыва. И, как тогда, захотелось крикнуть: «Мама!» Грянул выстрел. Васек понял, что он жив. Открыл глаза. Танк горел, выбрасывая ярко-красные языки пламени и жирные черные хлопья копоти — сосед выручил, ударил чуть раньше немца. «Почему же мой снаряд не сработал? Я же видел, что попал»,– мучительно размышлял Васек. Оказалось, что пехотинец Колесников по незнанию подал не тот снаряд — бронебойный вместо подкалиберного.

Умываясь и бреясь после боя, глядя в осколок зеркала, Васек вдруг заметил, как изменился цвет его волос на висках — они серебрились в лучах заходящего немецкого солнца.

Как Васек стал самым смелым

Васек никогда не задумывался над тем, храбрец он или трус. Он просто жил на войне, старался хорошо выполнять приказы командира, во время боя в окопчике не отсиживался, о смерти просто не думал. Но все же однажды довелось ему почувствовать себя в заячьей шкуре.

Дело было все в той же Восточной Пруссии. Их полк на «студебеккерах» пересекал горящий провинциальный городок, направляясь к реке. Машины, натужно гудя, одна за другой осторожно шли по льду. Вдруг передний тягач остановился и взвыл всем своим железным нутром — прицепленная к нему гаубица проломила лед и теперь медленно погружалась в воду. Колонна остановилась. И тут начался артналет.

Батарейцы сыпанули через борта, ища спасения в горящих развалинах. Васек замешкался, зацепившись полой шинели. Немец бил точно. Как потом выяснилось, в городе засел радист-корректировщик. Васек метался между машинами, как заяц. Казалось, что каждый немецкий снаряд направлен прямо в него. Разрывы вздымали фонтаны ледяных осколков и воды совсем рядом с ним, а до берега было неблизко. Васек почувствовал, как взмокла у него на спине гимнастерка, а ворот шинели схватил его за горло шершавой рукой. Он рванул крючки на воротнике, развернулся кругом и кинулся к своей машине. В кузове он лег ничком между ящиками со снарядами и, закрыв глаза, замер, как в детстве, когда прятался от сестренки за маминым пальто на вешалке, задерживая дыхание и боясь шевельнуться.

Радиста скоро вычислили и обезвредили, наладили переправу, и солдаты, переговариваясь и костеря фрицев на чем свет стоит, бегом возвращались к машинам. Васек в расстегнутой шинели встретил своих батарейцев словами: «Ну вы и зайцы, ребята!» А они лишь смущенно крякали и, улыбаясь, хлопали его по спине.

Как Васек чуть в плен не попал

После штурма Кенигсберга в начале апреля 1945 года полк, в котором служил Васек, остановился на побережье Балтийского моря, и солдаты почти месяц ожидали здесь окончания войны. Смельчаки купались в море, кое-кто пытался рыбачить, но однажды подошли немецкие корабли и начали утюжить берег из орудий, сея панику и смерть среди артиллеристов и танкистов. На глазах у Васька осколком снаряда убило его друга Сашу Билева, который, высунувшись из окопа, что-то весело кричал ему за минуту до смерти. Это был последний, как думал Васек, оскал войны. Похоронив друга, он жил в ожидании демобилизации. Хотелось домой, на Вологодчину, на тихую лесную речку Чагодощу, где он любил рыбачить на заре, любуясь золотыми от солнечных лучей стволами сосен. Чтобы хоть как-то убить время и избавиться от жары, Васек ходил со знакомым солдатом Иоськой купаться на море.

Однажды они шли босиком, без оружия по пыльной горячей дороге, неся на плечах связанные за ушки сапоги, лениво переговаривались и вдруг увидели на обочине дороги, за кустами трех здоровенных фрицев с автоматами. Солдаты застыли на месте, не сводя глаз с обнаженных по локоть рук фашистов, сжимавших оружие.

— Ком хиер, — гортанно сказал один из них. Повинуясь, подошли, сердце у Васька екнуло: «Вот и конец».

— Вир сдавайс, хотим ваш штаб.

Пошли. Васек с Иоськой впереди, немцы сзади. Прошли немного, товарищ Ваську говорит:

— Слышь, Васек, надо бы у фрицев автоматы забрать.

А те словно обрадовались, залопотали: «Битте, битте!»– и оружие протягивают. Васек повесил два автомата на плечо стволами вниз, пошел рядом с немцами, а Иоська взял наизготовку, обошел фрицев сзади.

Ребята из взвода встретили их как героев, толпой проводили до штаба. Васек, будучи старшим по званию, сдал немцев офицеру, вышел на улицу. Иоська кинулся к нему:

— Ну, что?

— Все сказал, как было.

Иоська разочарованно сплюнул:

— Дурак! Придумал бы что-нибудь героическое, ордена бы получили.

Васек драться не любил, а тут не сдержался — врезал приятелю по скуле от всего сердца, затряс рукой:

— Сволочь, они же убить нас могли, но не сделали этого, сами сдались.

* * *

Так для Василия Гавриловича Рогушкова закончилась война. Пять тысяч снарядов выпустил он из своей пушки, подбил два танка и самоходку. Вернулся домой с сержантскими погонами на плечах и тремя медалями на груди: «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». Женился на хорошей девушке; окончил университет, пятьдесят лет, как и его мать, учил детей в школе; двадцать девять из них был лучшим директором Чагодской средней школы № 1. А теперь он рисует чудесные чагодощенские пейзажи и иногда вечерами достает альбом с фронтовыми фотографиями, с которых ему браво улыбается ясноглазый Васек, чья юность пришлась на жестокое время Великой войны.

ЗИРИХГЕРАН АХМЕДХАН. 1976 г. р. Редактор отдела журнала «Дагестан». Член Дагестанского республиканского отделения Союза российских писателей. Живет в с. Кубачи, Дагестан.

Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН

НЕБО

Памяти лейтенанта Абакарова Абдуллы (Абдулкарима) Иммаевича, сгоревшего в небе Белоруссии 13.07.1941

Карим стоял на остроконечной скале, нависшей над пропастью. Он любовался нестерпимо синим, бездонным небом, вереницей уходившими вдаль зелеными горами. Карим нередко приходил сюда помечтать.

Карим мечтал летать. Мечтал с того самого дня, как увидел в Дербенте летящий аэроплан. Он, забыв про все на свете, побежал за ним. Бежал по узеньким улочкам кварталов древнего города, словно мог догнать. Он верил, что может. И он догнал — аэроплан приземлился неподалеку, на поле, куда уже мчалось множество ребят. Так что добраться до аэроплана на земле оказалось труднее, чем догнать его, когда он парил в небе. Но и тут радость Карима была недолгой. Отец, сообразив, куда побежал Карим, за ухо вытащил его из толпы.

В город они приезжали изредка — продать свои излишки да купить необходимое. Ехали по узким горным дорогам на тележке, запряженной осликом. Отец большую часть пути шел пешком, да и Карим зачастую тоже. Как же он завидовал орлам, паривших меж вершин! Кариму хотелось так же парить, а не шагать по длинной каменистой дороге. Забраться выше самых высоких вершин, рассекая крыльями воздух.

И вот теперь он увидел рукотворную птицу и летчика — веселого улыбчивого паренька в шлеме и огромных очках.

С этого дня все думы Карима были связаны с небом. Да, жил Карим намного ближе к небу, чем многие его сверстники — облака зачастую проплывали ниже его дома. Но от этого ему легче не становилось. Карим был родом из аула златокузнецов Кубачи, где все дети знали свое предназначение: быть ювелиром. Карим любил мастерство, которое передавалось от отца к сыну. Они так и работали, все в одной мастерской: дед, отец и Карим с братом. Карим, как и прежде, сидел у верстака и гравировал, но окно, которое раньше было лишь источником света, теперь превратилось в иллюминатор. Он все чаще, глядя в него, воображал себя пилотом. Особенно когда внизу проплывали облака.

Шли годы, аэроплан в горы не залетал, и в городе, куда, как и прежде, Карим ездил с отцом, он тоже не появлялся. Он даже ходил на то самое поле в надежде, но увы.

Спасали книги. Начальную школу в селе открыли, когда Кариму было шесть лет, он был одним из первых ее учеников. А вскоре при школе открыли библиотеку. Грузовик привез полный кузов книг. При разгрузке одна книжка выскользнула из рук и раскрылась.

На развороте красовались аэропланы. Карим сразу же отложил ее для себя. Он перерыл всю библиотеку в поисках книг об авиации и постоянно упрашивал заказать что-то новое по этой теме. Карим стал знатоком авиации, знал все об устройстве аэропланов, технике пилотирования, вооружении. И он знал, как воплотить свои мечты в реальность.

— Приехали, приехали! — радостно кричала ребятня, пробегая по кривым улочкам по направлению к центральной площади села.

— Ну, пора, — Карим, прижав коленом крышку, закрыл фанерный чемоданчик, который мать заполнила еще с вечера.

— Будешь проситься в летчики? — в который раз поинтересовался младший брат.

— Карим! — повысил голос отец. — Не смей!

— Папа, мне уже двадцать лет, — улыбнулся Карим.

— Что тебе даст это небо? Ты что, птица? Ты ювелир! — не успокаивался отец.

— Сынок, не спорь с отцом, прислушайся, — мама всегда была спокойна и рассудительна.

— Послужит и вернется, пап, — младший брат попытался успокоить отца.

— Да, полетаю и вернусь, — Карим подмигнул братишке.

— Все равно же в армию берут, — не успокаивался младший брат, — кто на танке, кто в коннице, а Карим наш летчиком будет.

— Удачи тебе! — вдруг улыбнулся отец. — Хорошо летай, раз уж так.

— Не будь хуже других, и все у тебя получится, — голос мамы дрогнул, но она сдержала эмоции.

— Я не подведу, — пообещал Карим.

Базарная площадь была полна народу, в центре стоял грузовик. Карим крепко обнял маму, попрощался с отцом. Братишку взял с собой в кузов, тот спрыгнул только тогда, когда грузовик покатил вниз, оставляя за собой белесую пыль. И еще долго бежал следом, постепенно исчезая, словно растворяясь в белесой мгле.

Карим стоял впереди, сразу за кабиной, и мечтал. Мечтал, что вернется сюда не на грузовике. Он прилетит, и все село высыплет на улицы, люди будут любоваться, как он парит над родным селом. Все пацаны, а первым, конечно, братишка, прибегут к месту посадки — длинному ровному полю неподалеку от дома. Именно там! Чтобы отец и мать видели.

* * *

В военкомате Карим сразу попросился в авиацию. От него сначала отмахнулись, но Карим подкупил всех своей страстью к небу, познаниями в авиации. Пусть пока и теоретическими. Он стал курсантом летного училища.

— Каримушка, вот хотел бы я орлов ваших увидать, — мечтательно закатил глаза Дима, однокурсник Карима.

— Мы теперь не хуже орлов, даже выше них летаем, — улыбнулся Карим.

— Эх, нарушим мы с тобой патриархальную тишину гор стрекотом наших ястребков! — продолжил мечтать Дима.

— Распугаем всех орлов, — рассмеялся Карим, — они привыкли парить в тишине.

— Ага, и это правильно, скоро люди перестанут на телегах плестись, на ястребке вжик — и ты на вершине! — продолжал мечтать Дима.

— В горах часто бывают туманы, — своей рассудительностью Карим частенько мешал Диме мечтать.

— Не помеха нам туманы, мы на ястребках сквозь них в момент — вжик! — воскликнул Дима.

— Мы бомбардировщики, — напомнил Карим.

— Я прошусь и буду проситься в истребители, — нахмурился Дима.

— Бомбить врага тоже кто-то должен, не всем же истребителями быть, — рассуждал Карим.

— Твоя правда, — согласился Дима.

— Бомбардировщики парят как орлы, поэтому, наверное, мне они по душе, — признался Карим.

— А мне ястребки. Как ни крути, всегда любил смотреть на них, какие они быстрые, — Дима принялся изображать ладошками воздушный бой. Карим присоединился, и бравые курсанты, словно озорные пацаны, принялись выделывать виражи и мертвые петли в воображаемом воздушном бою.

Небо, о котором так мечтал Карим, отныне было ему подвластно. Теперь он хотел исполнить заветную мечту — прилететь в родное село на самолете. Покрасоваться лейтенантской формой перед родителями, друзьями и, конечно же, девушками. Карим уже отослал домой несколько фотокарточек и получил восторженное письмо от братишки. Брат писал, что отец улыбался, рассматривая фото. Мама расплакалась и поставила фотокарточки на самое видное место. Не отправил Карим только фотографию с папиросой, боялся отцова гнева.

Вскоре Карим нашел возможность слетать домой. Для борьбы с нашествием саранчи не хватало пилотов. Узнав об этом, он вызвался добровольцем в свой собственный отпуск. Единственное, о чем он попросил, направить его в родные края. Ему с радостью пошли навстречу. А уж там он, улучив момент, слетает домой. Сделает круг над селом, посмотрит сверху на ту скалу, стоя на которой мечтал о полетах, и лихо совершит посадку. Отпуск начинался 1 июля…

* * *

— Карим, тревога! Вставай, — Дима тряс Карима за плечо, — не учебная!

— Да, да, — вскочил Карим, автоматически натягивая гимнастерку.

— Нас бомбят, все на взлет! — прокричал кто-то.

— Наш полк покажет им, как надо бомбить! — выкрикнул в ответ Карим.

— Кого бомбить ты собрался без поставленной задачи, без координат? — воскликнул Дима.

— Взлетаем все, кто могут, самолеты без боезапаса, направление на аэродром Степановка, а там по обстановке, — скомандовал командир полка.

— И без боезапаса, — добавил Дима.

Ответа Карима он не услышал, грохот взрыва заглушил все. В следующее мгновение они уже бежали по полю к самолетам, у которых суетились механики.

— Взлетели ястребки, успели! — выкрикнул Карим, как только запрыгнул в самолет.

— Да, завертелось, — ответил Дима, внимательно всматриваясь в ночное небо.

— Если б не они, нас бы уже разнесли, — пробормотал Карим, лихорадочно готовясь к взлету. — Да как их проморгали-то?

— Не проморгали же! Ястребки молодчаги! — возразил Дима, но договорить не успел, разрыв заглушил его слова, мелкие камешки застучали по обшивке самолета.

— Вот тебе и ответ! — выкрикнул Карим и, еще раз взглянув в небо, закрыл фонарь кабины.

Самолет Карима был в числе тех немногих, что уцелел в то утро. В тот же день он отправился бомбить врага.

* * *

Голубое бездонное небо нависало над Каримом. Ни единого облачка. Только бескрайняя синь, пронизанная жарким солнцем. Карим протянул ладонь, словно пытаясь прикоснуться к небу. Резкая боль заставила его опустить руку. Застонав, он закрыл глаза.

— Тринадцатое, сука, — прохрипел он.

— Каримушка, как ты? — послышался голос Димы, парашют которого зацепился за крону дерева неподалеку.

— Младший летчик-наблюдатель спекся, — не отрывая глаз от неба, прошептал Карим.

— Сбили, ну и что, главное до части добраться, — Дима отстегнул и откинул в сторону запасной парашют, отстегнул ремни основного, — в безлошадных, чай, долго не просидим.

— А где она, часть наша? Остался кто? — Карим не отрывал взгляда от неба. — Бьют нас в хвост и в гриву, с первого дня бьют, словно и не учились. Четыре года, четыре года летал! А толку?

— Каримушка, прекрати, — Дима принялся ощупывать Карима. — Куда тебя там? Сейчас перевяжу.

— И месяца не провоевал, эх, герой. Попроси у отца моего прощения, что не вернулся, не прилетел, хоть и обещал… — выдохнул Карим и затих.

— Каримушка, не смей! Не смей, я сказал! — прокричал Дима, в отчаянье тряся затихшего Карима. Но Карим ничего не ответил, смотря в небо немигающим взглядом. Спустя время затих и Дима, опустив голову на плечо Карима.

* * *

Из-за пригорка, осторожно прижимаясь к земле, появились два мальчика. Один совсем еще малой, круглолицый, с русой копной волос, Другой же заметно постарше, чернобровый, серьезный.

— Наши? — вполголоса спросил малой.

— Та вроде да, — ответил чернобровый, двинувшись к лежащим уже гораздо смелее.

— Подбило их, видно, раненые, — голос круглолицего дрогнул.

— Ты сюда плакать пришел? — нахмурился чернобровый. — Идем.

Мальчики, перестав осторожничать, подбежали к летчикам. Чернобровый после секундной заминки осторожно коснулся одного из них рукой. После, потянув за плечо, перевернул на спину. Неожиданно летчик застонал.

— Живой, живой! — воскликнул круглолицый.

— Товарищ летчик, товарищ, — чернобровый приподнял голову ожившего.

— В порядке все со мной, — пробормотал Дима.

— А вы много фрицев сбили? — воскликнул круглолицый.

— Нас… и месяца не провоевали, эх! — взгляд Димы упал на бездыханное тело Карима.

— Как так-то? — обиженно пробормотал круглолицый.

— Молчи, молчи, — чернобровый оттолкнул в сторону круглолицего.

— Каримушку бы схоронить, — Дима взглянул на ребят.

— Мы поможем, поможем, — затараторили ребята, — тут недалече заимка у нас, лопата есть.

— Ну, слетайте, — согласился Дима.

— Мы мигом! — вскочили ребята.

— Как это место-то называется? — Дима огляделся кругом.

— Никодимово деревня наша, — хором ответили ребята.

— Хорошо, идите, — махнул рукой Дима.

Проводив взглядом убегающих ребят, Дима обернулся к Кариму. Вздохнув, закрыл ладонью его глаза. Достал из внутреннего кармана документы, откуда выпала фотография, скользнув по траве. С карточки на него смотрел улыбающийся Карим с залихватски зажатой в зубах папиросой. Дима как завороженный смотрел в смеющиеся глаза Карима, потом, сделав над собой усилие, поднял карточку. Достал из кармана карандаш, попытался на тыльной стороне написать название деревни. Карандаш, сломавшись, выскользнул из рук Димы. Ругнувшись, он стал шарить по карманам Карима, но не нашел то, что искал. Найдя в траве обломки карандаша, нацарапал название села. Убрал вместе с остальными документами карточку в нагрудный карман. Дима прилег рядом с Каримом, устремив взгляд в бездонное июльское небо сорок первого года.

ИЛЬИН ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ. 1959 г. р. Член Карельского республиканского отделения Союза российских писателей. Живет в г. Костомукша, Республика Карелия.

Илья ИЛЬИН

БАБУШКИНА МЕДАЛЬ

Когда Сережка вышел на улицу, ребята уже вовсю строили песочный город. Теплый летний дождь обильно полил землю, и домики лепились хорошо.

— Давай к нам! — крикнул ему Андрюшка. И прибавил:

— Ты совок взял?

— Конечно взял. Не видишь что ли? — ответил Сережка. — У меня и ведерко есть.

И он тут же стал насыпать в него мокрый песок. Когда ведерко наполнилось, Сережка быстро перевернул его.

— Видал! — гордо сказал он. — Сторожевая башня будет.

— Зачем башня-то? — удивился Андрюшка.

— Как зачем? Мы ведь город строим, а его защищать нужно. Как же без башни? В ней охрана будет сидеть.

— Тогда я охраной командовать буду, — обрадовался Андрюшка.

Он бросил совок, вскочил и, на ходу крикнув:

— Я быстро, — побежал к дому.

— Куда это он? — поинтересовалась у ребят Светка.

— Не знаю, — пожал плечами Сережка.

— Да за пилоткой он, — уверенно ответил Вовка.

И стал высыпать из своего грузовика привезенный песок. При этом он усиленно сопел и фыркал, изображая работающий двигатель.

Андрюшка действительно вернулся в пилотке. И не только… На поясе у него был солдатский ремень, а на рубашке — настоящая военная медаль.

— Вот это да!

— Дай посмотреть!

— А она настоящая?

Ребята окружили Андрюшку, засыпая вопросами. Одна Светка не проявляла никакого интереса. Едва взглянув, она отвернулась и продолжила строительство нового домика.

— Самая настоящая! — гордо выпятил грудь Андрюшка. — Бабушке за оборону Ленинграда дали! Вот, — он показал на медаль, — видите? «За оборону Ленинграда». Так и написано.

— Так мы тебе и поверили, — хмыкнула Светка. — Ты и читать-то не умеешь. Соврешь — недорого возьмешь.

— Мне бабушка сама сказала, — покраснел от обиды Андрюшка.

— А она у тебя что, на войне была? — снова хмыкнула Светка. — Такие медали только на войне дают, а у твоей бабушки даже формы военной нет.

Андрюшка в бессилии сжал кулаки и, не зная, что ответить, усиленно засопел.

Выручил Сережка.

— Дура ты, Светка! Андрюшкина бабушка здесь в блокаду жила. Она окопы рыла и город наш от фашистов спасала. А за это тоже медали дают.

— А ты-то откуда знаешь? — огрызнулась Светка. — Тоже рыл?

— Я-то знаю, — ничуть не обиделся Сережка. — В День Победы сам от нее слышал, когда за Андрюшкой заходил.

Светка замолчала, а благодарный Андрюшка отстегнул медаль и протянул Сережке:

— На, посмотри.

Ребята потрогали тоже.

— Тяжелая, — сказал Вовка.

— А ты как думал? — обрадовался Андрюшка. — Настоящая ведь...

— Эй, пацаны! — услышали они вдруг. — Что это вы там разглядываете?

Ребята оглянулись. Придерживая рукой велосипед, к ним подходил шестиклассник Генка.

— Ого! — увидев медаль, сказал он. — Дай-ка посмотрю...

Он взял у Вовки медаль и прочитал надпись: «За оборону Ленинграда».

— Вот! А я что говорил? — тут же обрадовался Андрюшка и победно взглянул на Светку.

Генка попробовал медаль на вес, протянул Андрюшке и как бы нехотя спросил:

— Может, махнемся?

— Как это? — растерялся Андрюшка.

— Да очень просто. Я тебе пистолет. Он шариками стреляет. А ты мне медаль...

Андрюшка замялся. Он давно мечтал о таком пистолете и теперь не знал, как поступить.

— Да она не моя, бабушкина, — помедлив, вздохнул он.

— Ну так что? Бабушке-то зачем? — тут же поднажал Генка. — Война давно закончилась, а медаль у нее все равно, наверное, в коробке пылится.

— Нет, не в коробке. Не стенке у комода висит, — возразил Андрюшка и снова вздохнул.

— Это все равно, — махнул рукой Генка. — А я ее начищу и... — он немного подумал, — в школьный музей отнесу, вот.

— Точно в музей? — приободрился Андрюшка. — И все видеть будут?

— Конечно будут! Не сомневайся. Ну, по рукам?

— Врет он все, — подала голос Светка, — он у меня котенка однажды выпросил. Говорил, для уголка юннатов, а сам отдал неизвестно кому.

— Мелкая ты еще, чтобы что-то в жизни понимать, — отмахнулся от нее Генка и посмотрел на Андрюшку.

— Ну, договорились?

— Договорились, — решился, наконец, Андрюшка. — Только ты сначала пистолет принеси и шарики не забудь...

— Не забуду!

Генка торопливо сел на велосипед и уехал, а ребята окружили Андрюшку.

— Не попадет тебе? — наперебой спрашивали они.

— Не попадет, — ответил Андрюшка, — я вместо медали пилотку и пистолет повешу, вот бабушка и не заметит…

Через несколько минут он держал в руках заветный пистолет с шариками, а довольный обменом Генка быстро накручивал педали. На рубашке у него тихо покачивалась бабушкина медаль «За оборону Ленинграда»…

* * *

Много лет спустя Андрей Алексеевич приехал домой. Здесь все было как прежде, и даже у окна так же стояла старенькая швейная машинка «Зингер». Открыв дверь в знакомую комнату, он подошел к потемневшему от времени комоду и долго смотрел на стену, где когда-то, обтянутая муаровой лентой оливкового цвета с продольной зеленой полосой посредине, висела единственная бабушкина награда, медаль «За оборону Ленинграда»…

КОЛМОГОРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. 1963 г. р. Член Союза профессиональных литераторов г. Самара. Живет в Самарской обл., ст. Клявлино.

Наталья КОЛМОГОРОВА

ЗАЯЧИЙ ХЛЕБ

Самолеты в небе похожи на гигантских рассерженных жуков.

Закрывать окна и уши бессмысленно — страшный гул всепроникающ и вездесущ. «Жуки» с воем проносятся над крышей Софочкиного дома и, оставляя в небе грязный след, исчезают за линией горизонта.

Привычный и уютный мир Софьи постепенно погружается в хаос: разбросанные вещи, игрушки, документы, деньги, продукты… На маминой кровати, разинув голодную пасть, — коричневый кожаный чемодан. Мама наполняет чемодан вещами до половины… затем все убирает… затем вновь складывает — и так по несколько раз.

При других обстоятельствах Соня охотно отправилась бы в дорогу, но мамино лицо… Такое лицо она видела впервые! Выражение отчаяния и растерянности пугали Софью не меньше, чем грозовое облако на горизонте.

Софья чувствует, что происходит нечто невероятное, и ей ужасно хочется плакать. Но плакать нельзя — мама расстроится еще больше.

В этот раз мама почему-то не берет с собой в дорогу ни любимые туфли, ни новое, под цвет глаз, красивое платье. А глаза у мамы необыкновенные, цвета незабудки.

Мама одевает Софью слишком тепло: двое рейтуз, теплые штанишки, осеннее пальто. Поэтому Софья похожа на игрушечного Ваньку-Встаньку, чуть толкни — упадет.

Кошка Чернушка доверчиво трется о Сонины ботинки, перетянутые шнурочками, заискивающе заглядывает в глаза.

— Мам, мы Чернушку с собой возьмем?

— Чернушка останется дом охранять.

Соня пристально смотрит на маму, мама отводит взгляд.

Софья все-таки приготовилась зареветь, но мама неожиданно сказала:

— А вот твоего любимого Прошку мы возьмем с собой!

Голубой плюшевый заяц, одиноко сидевший на подоконнике, с радостью перекочевал в Софочкины объятия.

В этот момент сытый чемодан, наконец, захлопнул свою коричневую пасть.

Мама бросила прощальный взгляд на царивший в комнате беспорядок, поманила за собой кошку Чернушку и слегка подтолкнула Софью к порогу:

— Пора!

У калитки их ожидала подвода.

Незнакомый дяденька, обросший седой щетиной, подсадил Софью в телегу, укрыл куском брезента и, натянув вожжи, зычно крикнул: «Но-о, пошла!»

Кобыла только этого и ждала: тряхнув гривой, поплелась по грунтовой дороге, оставляя в бурой жиже нечеткие следы копыт.

Накрапывал мелкий дождь.

Темные тучи, пропитанные влагой, плыли так низко над землей, что казалось, вот-вот заденут мокрыми своими животами столбы, тихо бредущие вдоль дороги.

— Мам, а кто Чернушку покормит?

— Баба Шура покормит.

Софья увидела, как по маминому лицу торопливо сбегают капли горько-соленого дождя…

Колеса телеги поскрипывали жалобно и монотонно; холодная сырость забиралась под одежду.

— Замерзла? — беспокоилась мама.

Софья отрицательно мотала головой.

К радости Сони, вскоре к ним в телегу подсадили попутчиков — тетку в клетчатой шали и ее дочку, девочку с веселыми кудряшками, непослушно выбивавшимися из-под красного берета.

— Как зовут твоего зайца? — весело спросила девочка.

— Его зовут Прошка.

— Плошка? — переспросила девочка. Оказалось, она плохо выговаривает букву «р».

Софья рассмеялась, и девочка Даша тоже.

Так они и подружились.

— А почему у Плошки вместо одного глаза пуговица?

— Это мама пришила. Потому что один глазик потерялся.

Пейзаж вокруг постепенно менялся: вместо лесного массива все чаще попадались поля с неубранным урожаем.

Софья почувствовала, как урчит в животе, как наполняется рот слюной при воспоминании о вкусной еде.

Мамины пирожки с яйцом и капустой съели в первую очередь, после них съели курицу, которую зажарила в печке Дашина мама. Наконец, обоз остановился у какого-то села, где мама смогла купить хлеб, молоко и десяток яиц.

Чем дальше уходил обоз от родного дома, тем чаще над головой кружили черные «жуки». Иногда совсем близко слышался их страшный свистящий гул, и Софье казалось, что кто-то невидимый вбивает в сырую землю огромные гвозди: «бум-бум-бум!» Впрочем, к этому гулу она привыкла так же, как к черному ящику приемника, который ежедневно вещал в доме одно и то же: «Внимание, говорит Москва!»

В те минуты, когда начиналась бомбежка, Софья крепко зажмуривала глаза и крепко прижимала к груди зайца Прошку. И мама, как будто нечаянно, падала на Софью всей тяжестью своего исхудавшего тела. А Дашка, сжавшись в комочек, жарко дышала ей в лицо.

Обоз шел и днем, и ночью…

Иногда их пускали на ночлег какие-то сердобольные люди, кормили вкусными щами и толченой картошкой, отогревали на печи и снова провожали в дорогу.

— Господи, две недели в дороге! — сокрушалась Дашкина мама. — Когда же, наконец, приедем?

— Немного уже осталось, — отвечал возница.

За эти дни он почернел лицом, а седая щетина отросла и превратилась в небольшую белесую бородку.

— Как думаешь, Матвей Иваныч, война надолго?

— А бес его знает, — отвечал возница. — Может, на месяц, а может, на год.

Мама Софьи задумчиво кивала головой, тяжело вздыхала, а ее незабудковый взгляд становился тусклым и неярким.

Близость большого населенного пункта ощущалась все отчетливей. Все чаще на пути попадались поваленные или вырванные с корнем деревья. Руины зданий зияли черными провалами окон. Прогремевший в голове обоза взрыв разворотил грунтовую дорогу, оставив после себя глубокую дымящуюся воронку.

Острый запах гари и чего-то ужасного ударил девочке в ноздри, тошнотой подкатил к горлу.

— Не смотри, — мама мягко прикрыла глаза Софьи теплой своей ладонью.

Софья уткнулась носом в солому, вдыхая аромат того, что осталось далеко позади: вызревшего хлеба, земли, родного села.

— А я вся чешусь, — весело сообщила Дашка, запуская пальчики в свои светлые кудряшки.

Софья тоже чувствовала неладное: под ее капором стоял невыносимый зуд, не дававший уснуть.

— Только вшей нам не хватало! — Дашина мама достала из сумки неприятно пахнущий кусок мыла. — Не зря говорят — «вши любят голодных».

— А вы запасливая, Антонина! — заметила Сонина мама.

— Я почти что врач, всю жизнь в ветлечебнице проработала… Как же давно это было! Да и было ли вообще, — горько добавила женщина.

— А я учителем в сельской школе работала. Учила детей грамматике и пунктуации.

— «Жи» и «ши» пиши с буквой «и»… Господи, кому теперь это нужно? Война…

Дашкина мама горько вздохнула и отвернулась.

Софью вывел из сна долгий протяжный гудок.

— Тпру-у! Стой, каурая, приехали.

Матвей Иваныч с трудом слез с телеги, сделал несколько неуверенных шагов, разминая затекшие ноги.

— Мам, мы приехали? — Дашка приподняла брезент, выглянула наружу.

— Слава богу, добрались, — Дашкина мама вытащила из кудрявой шевелюры дочери застрявшие там соломинки, поправила берет, отряхнула пальто.

— Матвей Иваныч, а как же вы? Куда теперь?

— До хаты, куды ж еще. Там меня бабка Феня дожидается.

— А вдруг немцы в село придут?

— Не-е-е, не придут, Красная Армия не дозволит, — возница снял с головы шапку, поднял взгляд к небу. — А коли придут… Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Мама Софьи проворно соскочила с повозки, порывисто обняла старика и, выудив из кармана пальто какой-то предмет, вложила в широкую, по-крестьянски сильную ладонь:

— Спасибо, Матвей Иваныч, за все!

Дед вскинул удивленный взгляд и поднес подарок к выцветшим глазам: на ладони поблескивала янтарная брошь.

— Зря ты, дочка, это придумала. На хлеб обменяешь али на сахар, когда нужда приспичит. У тебя вон, дитенок малый.

Матвей Иваныч громко сглотнул, отвел повлажневший взгляд.

— Берите-берите! Пусть на память останется! Эту брошку мне муж подарил, когда я Софочку родила. А деньги на продукты у меня есть, не переживайте.

— Ну, тогда спасибо. Возвертайтесь, как все закончится. Привык я к вам, с кровью теперича от сердца отрываю, — с болезненным надрывом сказал старик.

Мама в одну руку взяла тяжелый чемодан, в другую — холодную Софочкину ладошку и, не оглядываясь, устремилась вперед. Софья, держа Прошку за правую переднюю лапу, старалась не отставать.

Даша с мамой двинулись следом.

Софочка оглянулась: каурая кобыла, истощавшая до неузнаваемости, стыла на осеннем ветру, понуро опустив голову. Матвей Иваныч стоял подле, одной рукой придерживая лошадь под уздцы, а другую подняв в крестном знамении…

На рельсах, выпуская клубы серо-голубого дыма, томился пассажирский состав. Людское море на перроне волновалось и гудело, точно морская пучина в штормовую погоду.

Софье стало страшно: отстань она от мамы хоть на шаг, пропадет в этой бездне, потеряется навсегда! И Софья еще крепче вцепилась в мамину руку.

Небольшое здание рядом с вокзалом украшала вывеска «Эвакуационный пункт». Софья с мамой встали в хвост очереди, за ними примостились Дашка с мамой. Стоявшая впереди женщина в крепдешиновом платье и безрукавке явно с чужого плеча бесцеремонно спросила:

— Куда, барышня, едете?

— В Куйбышев едем.

— А я в Кинель, нам практически по пути. Хочу вам дать небольшой совет: не садитесь в закрытый пулитцеровский состав.

— Почему?

— Говорят, там судимых перевозят. Ограбят или, хуже того, изнасилуют.

— Спасибо вам.

Софья не успела до конца прочесть надпись на плакате, как усатый дядька с воспаленными красными глазами, проверив мамины документы, изрек:

— Следующий поезд прибывает на второй путь.

И, наклонясь к Софье, подмигнул:

— А заяц едет с вами, мадемуазель?

Софья вдруг смутилась.

— Мам, я кушать хочу... и в туалет, — она нетерпеливо потянула мать за руку.

— Столовая и туалет — там, — дядька махнул рукой в сторону барака. — Ступайте, там вам все объяснят.

На раздаче в столовой худая и высокая, как «журавель» у колодца, тетка выложила перед ними два серых, пахнущих заплесневелой мукой брикета:

— Триста грамм хлеба и суп.

Софья придвинула к себе тарелку с горячим бульоном (кажется, с вермишелью) надкусила кусочек серого хлеба, поморщилась. Немного подумала, сунула под нос Прошке:

— Ешь и не капризничай!

Заяц к хлебу не притронулся, видимо, тот оказался совершенно невкусным.

Краем глаза Софья увидела, как Дашка с мамой обедают за соседним столиком. Последние силы покинули ее, и Софья, уронив голову на стол, уснула так легко и естественно, как будто в теплой кровати родного дома.

Разбудил ее истошный крик. Софья вздрогнула — рядом голосила толстая тетка в фуфайке, очень похожая на квашню:

— Ой, горе-е-е-горюшко-о-о! Дура криворука-а-я! Россомаха я-а-а! — причитала тетка, сидя на грязном полу столовой. У ног ее разлилась небольшая белая лужица, из которой острыми прозрачными льдинками поблескивали осколки стекла.

— Ну что вы! Не убивайтесь так, — увещевала Сонина мама несчастную, собирая в ладонь осколки стекла. — Это молоко?

— Сли-и-вки-и! Для Сашеньки-и! Хворы-ый он!

Соня обернулась: мальчик с желтушным лицом, примерно такого же возраста, как Дашка, безучастно смотрел на происходящее. И только голосящая мать осознавала всю трагедию случившегося...

Софья опустилась рядом с мамой на корточки и опустила пальчик в молочно-грязную смесь.

— Не тронь, — строго сказала мама и легонько шлепнула дочь по руке.

Перрон гудел, точно сотня ульев.

Ругань, плачь, гудки паровоза, металлический скрежет, крики, толкотня — все слилось в непрерывный, дикий, угрожающий шум. Софье на миг показалось, что она попала в сельскую кузню — тот же смрад, запах разгоряченных тел, раскаленного железа… Запах войны. Запах горя. Запах страха.

Мама, расталкивая толпу локтями, пробивалась вперед.

— Софья, держись крепче, не отставай!

— Дашка! Дашенька!

Софья искала в толпе знакомое лицо в обрамлении веселых кудряшек и не находила.

Заяц Прошка пребывал в состоянии неописуемого ужаса, наверно, поэтому его глаза косили сильнее обычного.

Чьи-то сильные руки, оттесняя всех остальных, подняли Софью на подножку вагона, следом закинули кожаный чемодан. Мама, запутавшись в полах своего пальто, чуть не рухнула на пол грязного тамбура.

Софья бросила прощальный взгляд на толпу, беснующуюся на перроне, и вдруг поняла: Дашку она больше не увидит. Никогда.

Паровоз дал прощальный гудок, и поезд тронулся с места…

— Мам, а Куйбышев далеко?

— Далеко, дочка.

— А что мы будем там делать?

— Будем жить.

— Я не хочу в Куйбышев, я хочу обратно домой.

— Софья! — укоризненно сказала мама.

— Хорошо, мамочка, — тихо ответила Софья.

Мама прислонилась к обшарпанной стенке вагона и прикрыла глаза.

Голова ее на тонкой изящной шее беспомощно, с поездом в такт, закачалась из стороны в сторону, будто зажив собственной независимой жизнью. Мамины губы, всегда такие яркие и по-девичьи пухлые, превратились в бледную скорбную полоску на исхудавшем лице.

Сон сморил не только маму. Люди спали вповалку, положив под голову баулы, или уронив тяжелую от горестных мыслей голову на плечо соседа.

Софья не знала, куда едет и зачем, лишь бы рядом всегда была мама и заяц Прошка.

Прошка за эти дни из опрятного голубого зайца превратился в серого невзрачного зверька. И все-таки Прошка оказался большим молодцом! За все время путешествия он ни разу не пожаловался на холодную сырую кровать в школьном классе, куда их с мамой поселили на несколько дней. Не жаловался на урчание в животе от чувства голода, непропеченного хлеба или невкусной еды. Не жаловался на грудных детей, постоянно плачущих и не дающих Софочке спать.

— Прошка, ты тоже не хочешь в Куйбышев? И я не хочу, — прошептала Софья и взглянула в окно. Позади — война. Впереди — незнакомый Куйбышев.

Софья вздохнула и, уронив голову на мягкие Прошкины лапы, забылась тревожным сном…

— Слава богу, добрались! Пойдемте, милые, со мной. Я тут неподалеку живу, — седовласая опрятная старушка обратилась к ним так, словно знала давным-давно. — Устали, небось? Намаялись?

Софья огляделась: толпа встречающих, привокзальные часы с застывшими стрелками, большая вывеска «Куйбышев»…

Старушка внимательно поглядела на Софью:

— Как зайчишку-то твоего зовут?

Но Софья ничего не ответила. Она спрятала зайца за спину, а сама спряталась за маму, и не потому что стеснялась, а потому что слишком устала, чтобы казаться приветливой.

Оказалось, старушку звали бабой Симой, и проживала она в небольшом деревянном двухэтажном доме, очень похожем на сказочный теремок — те же резные наличники, красивая мансарда, высокое крылечко с витыми перилами.

Никогда прежде Софья не видела столько красивых предметов, как в доме у бабы Симы! Кружевная вязаная скатерть, белые фарфоровые слоники (Софья насчитала целых двенадцать штук), фотографии и картины в позолоченных подрамниках.

На какое-то время Софья забыла про зайца Прошку (он сиротливо сидел на диване, прислонив ушастую голову к маленькой атласной подушке). Софья забыла про пурпурное зарево на горизонте и смрадный запах, исходивший от убитой лошади. Забыла про столб дыма, достающий до самого неба… И даже забыла про папу!

Мирно тикали ходики в уютной комнате…

Вот, дребезжа колесами, проехал трамвай. По асфальту, будто дождь по железной крыше, весело простучали женские каблучки. И ничего в Софьином мире более не было, кроме этой тишины, домашнего уюта, шепота ранних осенних сумерек и осторожного постукивания первых капель дождя по оконному стеклу.

Сон накатил теплой волной, легким дурманом окутал сознание.

И в этой странной мгле и странном тумане откуда-то вдруг появилась незнакомая тетка. Она протягивала Софочкиной маме стеклянную бутыль, до краев наполненную алой жидкостью.

— Это сливки для вашей Сонечки! — улыбаясь, сказала тетка.

Мама с благодарной улыбкой приняла подарок, но бутыль вдруг выскользнула из слабых рук и разбилась вдребезги. Вместо сливок по полу растеклась красная густая жижа…

Мама истошно закричала, и дикий ужас исказил ее красивое лицо.

Вдруг Сонечка увидела, как на мамин крик, раскинув в стороны руки, бежит отец. Он выглядел точно так же, как в тот самый последний день: зеленая гимнастерка, кирзовые сапоги, высокая фуражка с красной звездой.

Софочка бросилась отцу навстречу, но, споткнувшись о невидимую преграду, замерла на месте от страха: один глаз у отца оказался

карим, с длинными пушистыми ресницами, а вместо второго глаза на лице его болталась плохо пришитая пуговица.

Софья закричала и… проснулась. Или не проснулась?

Она лежала в кровати тихо, боясь пошевелиться. Пусть мама думает, что Софья спит.

А Софья, кажется, и правда спала, крепко, глубоко, туго смежив веки. И ей казалось, что когда она проснется, то ничего уже не будет — ни умирающих от голода детей; ни замерзающих на улицах Ленинграда стариков; ни ночных артобстрелов, обстрелов и налетов мессершмиттов, не будет газовых камер и Бабьего Яра. А будут только близкие и дорогие люди, родной дом и заяц Прошка. И на его веселой заячьей мордашке вместо пришитой пуговицы словно по мановению волшебной палочки появится прежний глаз-бусина. А отец, неожиданно протопав тяжелыми кирзовыми сапогами по скрипучим половицам, крикнет: «Вот я и вернулся!»

Софья осторожно, чтобы не разбудить маму, сползла с кровати, прошлепала в комнату, где спал Прошка, и, взяв его на руки, вернулась обратно. Она осторожно достала из-под подушки кусок белой булки, припрятанной за ужином, откусила кусочек и поднесла к заячьему носу. Хлеб оказался удивительно вкусным, сладким и совсем не горьким. Совсем не похожим на тот, который из Ленинграда.

— Кушай, Проша! Это заячий хлеб. Правда, — шепнула Софья, обняла зайца и провалилась в сон.

В Куйбышеве стояла холодная осень сорок первого года.

КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. 1950 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Санкт-Петербург.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

ТОЛЬКО БЫ ЗИМУ ПЕРЕТЕРПЕТЬ… ИРОЧКА. ИРА. ИРИНА

Ирочка

До войны ее дома именно так называли. Это от няни пошло и от бабушки. А ей самой казалось, что Ирина звучнее. Теперь ей так не кажется. Все, что было до войны, то счастье. А сейчас — беда…

В сентябре обычно флоксами пахнет, яблоками антоновскими и свежей краской от школьных парт. А нынешней осенью — пожаром, дымом горьким. В воздухе повисла черная гарь. Горели бадаевские склады с продовольствием: мука, сахар. Некоторые люди набирали на пепелище сладкой земли, разводили водой, процеживали и пили. Чай получался царский.

Но у них некому было пойти за такой землей. Папа все дни пропадал в своем Гидрографическом управлении, тетя Тамара на работе, в госпитале, и Миша, сын второй маминой сестры, Эли, тоже там раненым помогал. А мама, бабушка, няня, двоюродная сестра Оля и кот Тигрик еле передвигались по дому.

В сентябре 41-го вместо учебного года началась блокада. Ирочка перед войной в шестой класс перешла, но на учебу не было сил. Никому из взрослых и в голову не пришло на нее сердиться. Все стало как в скверном сне. Когда хочешь проснуться, а не можешь. Главное слово теперь не «хочу», а «должна». Надо было отоваривать хлебные карточки, добывать воду и дрова. Ничего этого Ирочка не умела. Есть люди, которые от природы способны добыть, но в их семье умели лишь отдавать. Они любили делать подарки. А еще книги читать. Только эти умения сейчас не очень пригождались.

Выходить на улицу становилось все труднее — ноги не шли. Они тоже просили есть, а хлебная норма таяла. Тигрик так похудел, что у него полоски сузились (у кота на спине полоски были, словно у тигра), а глаза, наоборот, стали огромные, как фонарики.

В начале осени мама еще бродила по квартире, каждый день стараясь сварить что-нибудь горячее. Хотя бы жидкую кашу: полукаша-полусуп. Ирочка потихоньку делилась с Тигриком. Из своей тарелки. А потом ей пришло в голову, что выходит не по справедливости. Тигрик ест языком, а она ложкой. В ложку больше помещается. Тогда и Ирочка стала лизать полукашу языком.

Тигрик был член семьи, как все остальные. Он помнил то же самое, что помнили все: как хорошо было дома до войны!

До войны семья набиралась большая: папа, мама, бабушка, няня, дяди, тети, их дети, Ирочкины братья и сестры. Они так часто сходились в большой комнате, где рояль, что Ирочке казалось — они

и живут вместе. Хотя квартиры у всех были разные. На семейных праздниках родные садились за большой стол, покрытый хрустящей белой скатертью. На столе красовалось угощение. Столько вкусностей… (Но об этом лучше сейчас не думать.)

А потом семья дружно переходила в гостиную, где стоял важный и торжественный, как слон, рояль. Он занимал полкомнаты — старинный, красного дерева. У рояля был удивительный звук, как будто лес поет. В его голосе помещалось сразу все: и шелест, и шум, и журчание, и гром, и рев, и трель. Под эту музыку мама романсы исполняла…

Ирочка тоже на рояле играла, ее с малых лет учили, особенно ей нравились сонатины Бетховена. Бабушка ее водила в Музыкальную школу в Кузнечный переулок и в хор Капеллы.

До войны в жизни много было хорошего. А теперь всех радостей — когда Тигрик свернется в теплый клубочек у нее на руках, вернее, на кровати, потому что поднять Тигрика, даже такого похудевшего, Ирочка уже не может.

И вдруг Тигрик пропал. Его долго звали, плакали. А потом мама увидела на черной лестнице ссохшуюся полосатую шкурку. И сказала Ирочке: «Тигрика больше не ищи…»

Это была первая потеря у их семьи.

Как-то в начале зимы Ирочка маялась в хлебной очереди, в самом конце. Дома все, кроме Тигрика, еще живы были. И хлеба ждали. Ирочке до заветного окошка ползти и ползти. Очередь множилась, нескончаемая, завиваясь змеей. И тут к Ирочке подрулила знакомая девочка, со двора:

— Давай мне свои карточки! Передо мной совсем мало человек осталось, я тебе отоварю!

Ирочка протянула ей мешочек с карточками. Ждала, ждала, замерзла совсем, а девочки нет и нет. Ирочка протопала вдоль всей очереди, потом еще раз, но девочка как сквозь землю провалилась. Ирочка заплакала — карточки-то были на всю семью! С девочкой, наверное, что-то случилось! Что теперь мама, бабушка и няня целый месяц есть станут? Где хлеба взять?

Ирочку спасла девушка-сандружинница, старшеклассница из их школы.

— Где она живет, знаешь? — спросила. — Та, что карточки забрала?

Они пришли во двор, и Ирочка показала сандружиннице окна.

Самое тягостное произошло, когда спасительница вывела девочку. Девочка начала кричать, что Ирочка врет, а потом ударила ее по голове и побежала. Хорошо, что у Ирочки шапка была толстая, меховая — смягчила удар. Старшеклассница догнала обидчицу, справедливость была восстановлена, но Ирочка оцепенело стояла и смотрела на пустую улицу. Ей было не больно, но жутко. У них в доме никто никогда не врал и не брал чужого…

Перед самым Новым годом папа спросил дочку:

— Что бы ты хотела получить в подарок?

Ирочка ответила, не задумываясь:

— Жмых!

Из жмыха варили суп, кашу, пекли лепешки. Лепешки — это было самое вкусное! Ирочка мечтала о лепешках, они ей и во сне снились. Но с подарками ничего не вышло. Папу положили в больницу, потому что он совсем ослаб. Какой уж тут жмых!

Зима выдалась просто лютая. Она косила людей, словно траву.

Тетя Тамара была хирург, она дневала и ночевала в госпитале. Даже когда воздушная тревога прогоняла людей в бомбоубежище, тетя продолжала оперировать. Но не в операционной, а в подвале, при свете керосиновой лампы. Раненые не могли ждать.

Раз в неделю Ирочке давали в больнице стакан соевого молока. Идти за ним приходилось далеко. Надо было одолеть всю улицу Радищева и половину улицы Чайковского да назад добраться. В блокаду улицы будто удлинились — плетешься, плетешься, и конца-краю не видно. Но Ирочка заставляла свои ноги двигаться вперед. Она не могла лишиться молока, несла его домой, чтоб всем по глоточку досталось. Улица встопорщивалась сугробами: «Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас!» На третий раз Ирочка упала прямо в снег — от голода сильно закружилась голова, мостовая уехала в одну сторону, а ноги в другую. Очнулась Ирочка в стационаре. Диагноз там у всех детей был один: дистрофия. Возраст разный, а диагноз один.

На первом этаже размещались малыши. Старожилами были брат с сестренкой, Сонечка и Сережа. Сонечка вроде помладше, а точнее-то не угадаешь. На вид обоим было лет по пять. Оба беленькие и стриженые, точно одуванчики с облетевшими пушинками. А по росту и по весу одинаковые, как два гусенка из довоенной сказки Братьев Гримм. Сейчас все сказки казались довоенными.

Однажды Сонечке с Сережей принесли от мамы передачу — кусочек хлеба. Сонечка поделила его надвое. Но хлеб сильно крошился — видно, опилок туда много добавили, когда тесто замешивали. Сестра бережно сгребла все в ладошку и сказала брату:

— Ты мужчина, мужчинам больше сил нужно, крошки ты ешь.

Ирочка как раз по первому этажу проходила и услышала. И подумала: «Такие маленькие, а такие рассудительные!» С этой думой в свою палату вошла. Кроме нее, там лежали еще две соседки. Одна помладше, другая по виду ровесница.

Та, что ровесница, вдруг предложила ей:

— Давай я тебя нарисую. Я хорошо умею, до войны во Дворце пионеров занималась.

— А карандаш у тебя есть? — спросила Ирочка.

И услышала:

— Карандаш всегда со мной. Я ведь художница. Только не шевелись!

Не шевелиться просто. Проще, чем шевелиться.

— Только можно лежа? Лежа — еще легче.

Художница подумала и согласилась.

Ирочка позировала, позировала, да и уснула. Назавтра смотрит — рисовальщицы в палате нет, перевели, наверное, куда-то. А на столе рисунок: «Ирочке на долгую память». Здорово

получилось. А главное, похоже как! Только она тут вроде постарше, чем на самом деле. Может, Ирочка теперь взаправду повзрослела?

Соседнюю кровать занимала кроха, которой под одеялом было почти не видно. Не девочка, а камышинка. В кулачке она сжимала крохотный квадратик хлеба.

— Возьми себе, — прошептала она Ирочке. — Мне уже не надо…

Ирочка не могла присвоить ее хлеб, не смела. Ей казалось — вместе с ним она заберет у девочки жизнь. Но и отвести взгляд от коричневого ноздреватого квадратика тоже не могла. А когда за окном затеплился серенький рассвет, девочка затихла. Так ее и унесли, накрыв белой простыней, вместе с хлебом. Никто и не заметил, что там — Хлеб!

За окном падал и падал снег, как и положено в Новый год. Круглые сугробы поблескивали, будто булочки, облитые помадкой, — такую сдобу до войны выпекали. Но не было ни булочки, ни помадки. Была блокада…

Ира

К весне 42-го в доме совсем не осталось мебели. Ни стульев, ни табуреток, ни этажерок. Никто из взрослых уже не поднимался — ни мама, ни бабушка. Ира с Олей посовещались и решили: надо обязательно согреть им чаю. Чаем в блокаду называли кипяток. Кипятка без огня — не бывает!

Девочки ходили по квартире и искали, чем бы растопить буржуйку. Растопить было нечем. Со всех сторон на них смотрели книги — старинные, с толстыми гладкими страницами. Книги были самой большой ценностью дома. Сестры знали: книги жечь нельзя. Ни Пушкина, ни Гоголя, ни Сервантеса, ни Гете. Ни детские, ни взрослые. Ни те, что на иностранных языках. Бабушка, Ольга Сергеевна, внушила это им с младенчества. Уважение к чужому языку — тоже. Бабушка окончила Павловский институт благородных девиц, там языкам очень хорошо обучали. По-немецки бабушка с няней любила беседовать (няня была из прибалтийских немцев), а по-французски — со своей сестрой тетей Настей. Девочки эти языки тоже немножко понимали. А раз понимали, значит, могли потом прочитать. Потом, когда не будет холода и голода. Ведь не будет же когда-нибудь! Няня говорила, мир длиннее войны. А значит, война все равно кончится.

Бабушка им тоже много чего рассказывала. Например, про музей «Эрмитаж». Его называют сокровищницей. Там такие картины, что от них делается светло. И статуи беломраморные, они давно живут на свете, не одну войну уже пережили. Сейчас, правда, сокровища эвакуировали в Сибирь, от врагов подальше. Вот победим, и ценности вернутся в свой дом. Сестры пока в Эрмитаже не были, до войны маленьких в музей не пускали, только старшеклассников иногда водили. Но после войны сокровищницу опять откроют, и Ира с Олей туда обязательно пойдут.

Минуя комнату за комнатой, они брали книги в руки и вздыхали. В некоторых говорилось как раз про музеи, эти книги девочки тоже возвращали на полки.

И вдруг на глаза им попалось два толстых-претолстых тома на неразборчивом языке. С картинками, правда. Картинки красивые, но не очень понятные. А главное, страницы у этих томов были толстенными. Жалко, конечно, ценные, наверное, издания. Но ведь толстое долго горит. Сколько стаканов чаю можно накипятить…

Девочки взглянули друг на дружку и пошли советоваться с бабушкой. Без спроса в этом доме ничего не свершалось. Тем более если надо было принять серьезное решение.

Оказалось, книга написана по-итальянски.

— Будешь когда-нибудь говорить на итальянском? — спросила Оля сестренку. — Я нет!

— И я — нет! — ответила Ирочка.

Самый этот вопрос посреди черной беды казался им чем-то нереальным. Все равно что радуга зимой. Радуги зимой не бывает!

— Можно, мы пожертвуем этой книгой? — спросили они у бабушки. — Мы, наверное, не будем говорить по-итальянски.

Бабушка посмотрела долгим взглядом на них, маленьких, растерянных, прозрачных от истощения, и скорбно кивнула головой…

Бумага в фолианте была плотная, одного листа хватило на стакан чаю. И в комнате сразу стало теплее. Книга умудрилась продлить людям жизнь. Название книги Ирочка отчего-то запомнила навсегда. Название было странное — «Божественная комедия»…

Ирина

Ира возвращалась из школы, пересекала улицу Некрасова, почти уже проскочила на Восстания, как в угловой дом угодил снаряд. В доме мгновенно образовалась черная дыра, и оттуда с третьего этажа на мостовую вывалилась кровать вместе с женщиной, которая еще минуту назад была жива. Минуту назад она была жива, а теперь уже нет. С адским грохотом волна начала вышвыривать из дома разные вещи. И тут Ира заметила какого-то остолбенелого военного. Схватила его за руку, и они побежали вперед что было сил.

Военный сказал Ире:

— У нас на фронте не так страшно, как у вас здесь! В окопах знаешь, откуда смерть полетит, а тут попробуй определи!

А у Иры страх за себя куда-то делся, перегорел. В голове стучала тревога: «Как там мама, няня, бабушка? Целы ли? И тетя Тамара? Она ведь зайти обещала…»

Но оказывается, к ним еще тетя Настя пришла, бабушкина сестра — ее дом в этот день разрушил снаряд. Тети Настин дом Ира хорошо помнила. Тоже угловой, только у Таврического сада. Тетя Настя была красивая, как дореволюционная царица, высокая, с прямой-прямой спиной. Она никогда не горбилась, хотя была старше бабушки. Ире казалось, что мебель в комнате у тети Насти держит такую же гордую осанку, как хозяйка. Старинное бюро,

старинный шкаф, старинный буфет — все из красного дерева. Это дерево считалось вечным, может, крепче самого дуба. Тетя Настя говорила: «Бюро меня переживет». А теперь вот у ее дома нет ни стен, ни крыши… На семейном совете решили поселить тетю Настю на Васильевском острове, в квартире маминой сестры Эли. Там жили тетя Эля, ее муж, дядя Сережа и их сын Миша, Ирин двоюродный брат. Теперь жильцов стало четверо. Но совсем ненадолго.

Тетя Настя умерла первой, 27 января. А потом папа.

Папа хотел семью эвакуировать на последней барже Гидрографического управления, но не успели они на ту баржу. А баржу разбомбили на Ладоге, и все погибли. Но об этом дочка потом узнает, а папа не узнает никогда.

Папа умер 3 февраля, его тело перевезли в больничный флигель, но тут в здание попала бомба, начался пожар, и все сгорело вместе с папой.

Сразу за папой умерла тетя Эля, потом ее сын Миша, Ирин двоюродный брат. После тяжелой работы в госпитале, изнемогая от усталости, он едва дотащился к ним на Радищева — до Васильевского ему было не дойти. Он не был дома два дня и не ведал, что его мамы уже нет в живых. А Ирина мама знала. Но она поскорее уложила Мишу отдыхать. Он все спрашивал про тетю Элю, Ира слышала, как он спрашивал, но сама она в тот момент, наверное, онемела, а мама произнесла:

— Все нормально, Мишенька. Отдохни сначала, я тебе завтра все расскажу.

Миша уснул и не проснулся. Это было 5 февраля.

А через три недели не стало его отца, замечательного дяди Сережи. У дяди Сережи были очень сильные руки. Когда в детстве у Ирочки случался приступ астмы, дядя брал племянницу на руки, носил ее, что-то приговаривал, и приступ унимался… А теперь все трое, тетя Эля, дядя Сережа и Миша, скрылись навсегда в ледяной февральской вьюге.

За ними ушла и няня. Няню звали Анна Мартыновна. Она напоминала Ире фею из «Золушки». Нянюшка часто гладила Иру по голове и говорила: «Главное, зиму перетерпеть, детоЧка. Весной сытней станет, трава вырастет, детоЧка». Звук «ч» у нее звучал жестко, по-немецки, а глаза были самые добрые на свете…

Няня не дожила до весны один день. Перед этим Ирочку определили в стационар, из-за сильной дистрофии. Но она видела: в няне душа едва теплится. Так хотелось прибавить Анне Мартыновне сил! В стационаре говорили, что сила в масле. Ира решила масла не есть, а копить для няни. На завтрак им выкладывали в блюдца по маленькому кубику, она прятала масляные кубики в баночку — потихоньку. И порошки ценные приберегала, и таблетки. Вернулась со своими гостинцами, но было уже поздно…

Тогда Ира взяла самую большую и лучшую простыню, белую-белую, из тех, что лежали в старинном шкафу, и принялась ее сшивать няниной иголкой. Гроба-то не было. Но похоронить няню без ничего — нет, ни за что! Девочка решила сшить саван. Про-

стыня была длинная, нитки путались, Ира, закусив губу, начинала снова — стежок за стежком. Она никогда раньше не шила, няня шила, а она нет. Но теперь другое дело. В горе надо быть сильной. И Ира такой будет. Она закрывала глаза, чтобы слезы не выкатывались, но они все равно пробивались, и жгли солью веки, и еще где-то в груди жгло.

Плохо, что пальцы немели от холода. Дом выстудился, как двор — топить было нечем. Ира четыре дня шила. Но дошила до конца. Няню завернули в саван и вынесли.

А в марте умерла бабушка. Маму забрали в больницу, и девочка осталась одна.

К тому времени Ира опять пошла в школу. Школа в те дни сделалась домом родным. Учителя стали как родственники, а самая любимая из всех — Нина Васильевна Тихомирова. Нина Васильевна учила их петь и танцевать. Несмотря на 43-й военный год. Дети и в госпитале выступали. Одна школьница, самая маленькая, исполняла песню про валенки: «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки...» Зрители аплодировали, не жалея ладоней. Ире казалось, эта девочка поет лучше всех, почти как Русланова, и она внушала себе: «Я тоже так буду». Выходила сразу после нее и старалась спеть не хуже. А еще играла на пианино. И декламировала стихи.

Раненые плакали и одаривали их кусочками хлеба и сахарком. Дети думали: «За то, что мы артисты!» А взрослые думали: «За то, что дети, а не сдаются».

Дети и взрослые помогали друг другу побеждать.

В городе действовал комендантский час, поэтому ребятишек развозили на грузовиках. Машина тоже добавляла артистам весу. Ира сидела счастливая, прижавшись к шершавому борту полуторки: в кармане лежали два кусочка сахара и горбушка черного хлеба, заработанные ею лично. Вот и передача маме в больницу!

А потом ребята тимуровскую команду организовали. Тимуровцы были в каждой школе. Ходили по квартирам и спасали тех, кто без них пропал бы. Ире и предписание выдали. Мобилизационное! В нем говорилось: «На вас возлагается обязанность быть стойким и мужественным бойцом групп самозащиты местной противовоздушной обороны...» Иру в документе называли по-взрослому: Ириной. А ей только-только стукнуло четырнадцать.

Ленинградских школьников было за что награждать медалями. И взрослели они мгновенно: вчера еще была Ирочка, а сегодня уже Ирина...

Ирина Алексеевна Куреева

А жизнь сложилась так, что когда война закончилась, Ирина изучила именно итальянский язык. По своей профессии Ирина Алексеевна Куреева — филолог-итальянист. Свободно говорит на языке Данте. Сразу после университета пришла в музей, о котором ей когда-то рассказывала бабушка, и проработала в Эрмитаже больше полувека. Она руководила музейным Школьным центром. Ирина Алексеевна — заслуженный работник

культуры, у нее много разных медалей и почетных знаков. Но одна награда особенная.
Однажды накануне Дня Победы директор Государственного Эрмитажа академик Михаил Борисович Пиотровский провел для кружковцев Музея урок памяти. В то утро я увидела, как Ирина Алексеевна показала своим воспитанникам скромную зелененькую медаль и произнесла: «Из всех моих наград эта самая дорогая».
Медаль была «За оборону Ленинграда».
Каждый из ребят взял медаль в руки и молча подержал, напряженно всматриваясь. Они передавали ее друг другу в полной тишине, осторожно касаясь потускневшего металла, стараясь не сопеть и не шуршать. Это напоминало некий священный ритуал. А тишина звучала красноречивее любых слов...
Теперь в Эрмитаж приходят дети любого возраста. Школьный центр устраивает для них прекрасные праздники. Например, выставку и маскарад Изостудии накануне Нового года. Ирина Алексеевна вымечтала это студеной зимой 1942-го, так и не дождавшись новогоднего подарка. Зато смогла одарить радостью всех ребятишек, сидящих в сказочном Эрмитажном театре...

Как-то в Изостудии появился мальчик-итальянец Пьетро Чамполи. Этот мальчик очень хорошо рисовал. Но стал рисовать еще лучше, продвигаясь вперед семимильными шагами. Его отец Этторе долго размышлял, что бы такое подарить этой удивительной женщине, которая сумела разглядеть в его ребенке талант. Что бы такое, от чего она не смогла бы отказаться? Что было бы не материальным, а скорее духовным. Принадлежащем к тому же вечному миру, что и ее Музей, храм искусства.

Отправившись в Италию, Этторе долго бродил по Ватикану и, в конце концов, нашел там одну книгу. Он решил, что она вполне подойдет для этого человека.

Книга называется «Божественная комедия», написал ее Данте Алигьери.

Многие отрывки из этой бессмертной книги Ирина Алексеевна знает наизусть...

КУЗИЧКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1958 г. р. Редактора альманаха «Новый Енисейский литератор» (Красноярск). Председатель Красноярского регионального отделения Союза писателей России. Живет в г. Красноярск.

Сергей КУЗИЧКИН

НЕ СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ…

И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой?
Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

Библия. Книга Бытия (гл. 4, ст. 9)

Накануне наступления у рядового Лохова разболелись зубы. Всю ночь мучился мужик: с боку на бок переворачивался, и пепел, и махру прикладывал — не помогало. Лишь перед самым рассветом чуть отпустила боль, одолела его дремота. И приснились ему эти самые зубы. Будто выпали они все сразу, и выплюнул он их на ладонь, а второй ладонью вытер кровь с лица.

Проснулся Лохов весь в поту, ощупал челюсть — вроде все зубы на месте и как будто уже и не болят. Подивился Лохов странному сну, повернулся на другой бок и снова уснуть попробовал. На этот раз увидел он во сне брата своего младшего Васятку. Приснился ему тот самый случай из детства, когда Петька Марченко отобрал у шестилетнего Васятки туесок со смородиной. Обнял тогда Лохов младшего братишку, прижал к себе, погладил по белокурым волосам.

Вновь проснулся в поту боец, перекрестился украдкой, осмотрел землянку. Спят вроде бы все. Толкнул легонько похрапывающего рядом Марченко. Вместе воевали односельчане, в одной роте, с самого призыва в действующую армию, с августа 1941-го.

— Ну че тебе? — нехотя отозвался Марченко. — Болят все?

— Да вроде тише. Уснул даже… Петро, ты случаем не знаешь, к чему зубы снятся? И кровь?

— Да бес их разберет, сны эти, — сказал Марченко, укладываясь поудобнее.– Думаешь про них, вот и снятся. Говорили раньше: кровь видеть — к родне. А где ее здесь, родню-то, увидишь? Во сне разве что?

— А я во сне Васятку нашего видел, — проговорил Лохов. — Где сейчас он? Ни слуху ни духу. Мать в письме писала, что еще в конце 41-го бумагу получила: без вести пропал, мол… Так больше ничего и неизвестно. Слышь, Петро, а, Петро?..

Лохов хотел сказать еще что-то, но оттуда, где лежал Марченко, уже слышалось легкое посапывание.

Наступление в самом начале развивалось успешно. Они преодолели две линии траншей неприятеля и вышли к третьей. Их группа человек из десяти, во главе с командиром роты старшим лейтенантом Зубаревым, решила зайти к противнику с фланга. Они уже пересекли лесную дорогу, березовую рощу и незамеченными побежали по открытой местности, представляющей собой низину

у подножия холма с мельницей. Когда же до мельницы оставалось всего ничего — метров пятьдесят, — оттуда неожиданно застрочил пулемет. Лохов с разбегу плюхнулся наземь и, пропахав носом добрых полметра, замер, раскинув руки, крепко зажмурив глаза.

Минут пять-шесть было тихо. Слегка приподняв голову, Лохов обнаружил, что находится за небольшим пригорком, а чуть сзади него — Марченко и командир роты.

— Вот сын собачий, — проворчал сквозь зубы Зубарев, — ловко, шельмец, нас уложил. Теперь все коту под хвост, вся атака наша… И ни хрена, главное, не придумаешь: ни назад, ни вперед не дернешься.

Минут на пять снова наступила тишина. Затем ее нарушила короткая пулеметная очередь, и кто-то вскрикнул, вскинув руки вверх.

— Не высовываться! — что было мочи заорал Зубарев.

С мельницы снова послышался пулеметный треск, и стая пуль, взрыхлив землю, окопалась на вершине пригорка, прямо над головой Лохова.

— У, мразь, лихо замаскировался! — выбрав еще пару крепких выражений, выругался командир роты. — Как тебя выкурить-то оттуда?..

Зубарев осторожно, но внимательно стал осматривать местность. Казалось, будто время застыло, и прежде чем ротный проговорил следующую фразу, Лохову показалось, что прошла вечность.

— Слушай, Марченко, — наконец подал голос командир, его слова словно разорвали тишину, — сможешь пробраться вон к тому пню?

Зубарев кивнул на широкий обгорелый пень метрах в двадцати от мельницы.

— Понимаешь, надо засечь его, гада. Он пока на тебя внимание переключит, а я в это время его вычислю…

— Я… я сильно крупный… Он меня сразу накроет, — сказал, пряча глаза, грузный Марченко.

— Да, верно, — согласился Зубарев.

Еще на одну минуту над ними снова тишина. Где-то вдали со стороны леса послушалось щебетание птиц.

— А может, ты, Лохов? — снова проговорил Зубарев, заглушая своим голосом птиц. — Ты и порасторопней. Я, конечно, приказывать не буду, сам видишь, положение какое… Только прошу: выручай, браток.

— Что ж, можно и попробовать, — согласился, выдавливая из себя слова, Лохов и глянул на Марченко.

Тот отвел взгляд.

— Молодец, — похлопал его по голяшке сапога Зубарев. — На, возьми мой пистолет, а мне свою пушку передай.

— Ты, Петро, чуть чего — матери напиши, ладно? — попросил, обращаясь к земляку, Лохов.

Марченко кивнул и снова отвернулся.

— Ну, давай, милок, — подбодрил Лохова командир роты. — Пригибайся только пониже к земле. Если сделаешь как нужно, то с мы его сбросим оттуда… Фрица этого…

Лохов «прошел» на брюхе добрую половину пути, а пулемет все молчал.

«Выцеливает, гад. Хочет, чтоб наверняка, чтоб сразу точняком прихлопнуть».

Преодолев еще несколько метров, Лохов осмотрелся: до пня оставалось метров восемь-девять. Пулемет молчал по-прежнему, и он решил рискнуть. Вопреки здравому смыслу, резко поднялся и, пригибаясь, побежал.

Он не помнил, как достиг цели и «приземлился» у самого пня. В себя он пришел только тогда, когда услышал над головой посвистывание пуль и почувствовал, как на каску его и гимнастерку посыпались щепки от пня. Лохов попробовал было пошевелиться, но новая свинцовая порция прошила обгорелый пень и заставила его прижаться к земле еще теснее.

— Что, не удался номер? — послышалось откуда-то сверху. И послышалось так неожиданно, что Лохов даже вздрогнул.

— Теперь-то ты у меня на самом крючке, браток!

Первое, что пришло в голову Лохову, — что он сходит с ума.

Кто ему мог здесь кричать? Откуда? Разве что с мельницы?

Однажды такое с ним уже было, когда они долго добирались до фронта на эшелоне и попали под бомбежку. От взрывной волны его тогда отбросило на откос, и он увидел и услышал и мать, и отца, и брата. Они шли по железнодорожной дороге и звали его. Они были близко, он тянул им навстречу руку, но они прошли мимо. А нашел его и окликнул тогда Марченко.

— Чего молчишь? Наложил небось в штаны со страху-то?

Теперь сомнений не было: кричали с мельницы. И кричали по-русски. Лохов чуть приподнял голову. Пулемет молчал. Лохову вдруг захотелось ответить кричавшему, и он отозвался.

— А о чем мне говорить с тобой, сволочь фашистская? — крикнул он, еще не веря, что разговаривает с тем, кто недавно стрелял в него.

— Ну хоть помолись вслух перед смертью. Маму вспомни...

— Незачем мне молиться... Неверующий я...

— Атеист, значит. А может быть, еще и большевик-коммунист?

— Да нет, не коммунист. О чем сейчас очень сожалею.

— Сочувствующий, значит? Ну-ну. Недолго тебе сочувствовать осталось. Так беспартийным и помрешь. Я об этом позабочусь, не сомневайся.

Лохов уже точно не сомневался, что с ним говорит русский. Он слышал о предателях, перешедших на сторону немцев солдат Красной Армии и завербованных из концлагерей. Из них создавались целые батальоны. Видимо, этот был из них.

— И как тебя такого земля держит? — забыв об опасности, Лохов приподнялся, почти присел.– А ведь мать-то тебя, наверное, в России рожала, да еще и мучилась, как все русские бабы.

— А ты мою мать не трожь. Не тебе судить о ней, понял? Такой женщины, как она, во всем районе нашем, да и по всему низовью Бирюсы нету, не было и не будет. Ясно?

— Врешь! — подскочил Лохов. как ужаленный пчелой.

— Чего?

— Врешь, говорю, сволочь, что в низовьях Бирюсы жил! Твои земляки за Одером на Гитлера молятся…

— И, тем не менее, браток, родом я с берегов сибирской речки Бирюсы, и деревня моя Родники называется. Слыхал, может?

Лохов стоял уже в полный рост.

— Собака! Холуй! — закричал он не своим голосом. — Да в нашей деревне не было предателей и не будет, понял?

— Лохов, ложись! Лохов! — послышался сзади окрик ротного.

Лохов на секунду обернулся. Зубарев бежал к нему, одной рукой прижимая к груди автомат и размахивая другой. В это время под крышей мельницы приоткрылась створка окна и блеснул ствол пулемета. А еще через секунду короткая очередь уложила командира роты наземь.

Но этих мгновений и секунд хватило Лохову, чтобы сориентироваться, выхватить из-за голяшки сапога пистолет и дважды выстрелить. Пулемет умолк. Вторая створка мельничного окна со скрипом отворилась, и из оконного проема выпал человек в черной военной форме. Он ударился обнаженной головой о землю и лежал теперь неподвижно лицом вниз.

Лохов подошел к убитому, перевернул на спину. Перед глазами поплыли круги. Он присел на корточки и легонько провел ладонью по окровавленному лбу и белокурым волосам убитого.

К мельнице шли оставшиеся в живых бойцы. Ковыляя и прижимая ладонью правой руки раненое плечо, подошел Зубарев.

— Власовец, мать его, — пробормотал он, — А ты, Лохов, молодец, не растерялся… Скажу начальнику штаба, чтобы к награде тебя представил…

Лохов продолжал теребить рукой волосы покойника.

— Лохов, ты чего? Чего ты, Лохов? — забеспокоился Зубарев, глядя на бойца, — Ты сдурел, что ли?.. А ну встань! Встань сейчас же!.. Живо! Встать! — закричал старший лейтенант.

Двое солдат взяли Лохова под руки, подняли, отвели в сторону.

— Товарищ старший лейтенант, так ведь то брат же его, — тихо сказал Марченко, перевязывая рану ротного.

— Брат? Какой еще брат? Ты что, Марченко? Какой такой брат! Лохов — брат?!..

На глаза Лохова навернулись слезы. Зубарев присел на пригорок, одной рукой с трудом отстегнул от ремня фляжку и сделал два длинных глотка, поморщился, затем, с трудом поднимаясь, прохрипел:

— В походную колонну… По двое!

Марченко взял Лохова под руку, поставил рядом с собой.

— Бегом! М-марш! — скомандовал Зубарев. Они побежали. С каждым шагом все дальше и дальше удаляясь от мельницы. А налетевший невесть откуда легкий летний ветерок тихонько коснулся белых Васькиных волос, потрепал их, качнул доселе неподвижные крылья ветряной мельницы и отозвался скрипом в жерновах…

КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ. 1946 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Красноярск.

Сергей КУЗНЕЧИХИН

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА

Памяти брата Николая

Катерина поправила одеяло на ребенке, завернула в косынку пяток яиц, прикинула узелок на вес и вздохнула.

Идти предстояло шагов сорок, от силы пятьдесят, но по длинному барачному коридору, мимо соседских дверей, из которых в любой момент могут выглянуть и спросить, куда, мол, она, и придется объяснять, зачем ей понадобилась Зинка, и, не дай бог, кто не поверит — разговоры пойдут, стыда не оберешься. «Вот уж, воистину, сопливого утрешь да поцелуешь, да кабы не нужда, неужто бы я к ней, шаболде, таскалась», — заранее оправдывалась Катерина.

В коридоре было темно. Понаставленные вдоль стен то кадки с водой, то санки, то беркуны с кусковым торфом лезли под ноги. Торопясь и опасаясь наделать шуму, она обмирала при каждом шаге и от переживаний вспотела.

В Зинкиной комнате играл патефон: «И кто в этом крае Челиту не знает, она так умна и прекрасна…» Катерина задержалась, готовая сразу повернуть назад, если пойдут мужицкие голоса, но, кроме пластинки, ничего не услышала. Табаком тоже не пахло, и она толкнулась в дверь. Песня ударила громче. Зинка стояла возле окна и смотрела на улицу.

— Ты чего это, девка, раскрытая, или ждешь кого?

Зинка повернула голову.

— Жду… когда война кончится. Чего пришла-то? Или посидеть?

— Куда мне с мучителями моими сидеть. Письмо получила. Отписать бы теперь надо, — Катерина протянула спрятанный за спиной узелок. — Куда бы положить, ты уж не побрезгуй.

— Да положи где-нибудь, на стол, что ли.

На одном из яиц серело пятно помета. Ругая себя, что не проверила дома, Катерина отвернулась от хозяйки и, поплевав на косынку, вытерла скорлупу.

— Бумаги принесла?

— Да вот. Только Юрка, меньшой мой, начертил на ней маленько, так я ножичком подчистила. Последнюю тетрадь у Саньки начала, а когда новых дадут — не знаем.

— Пишет-то чего?

— Да чего он, баламут, напишет. Байки свои рассказывает. Будто я дура совсем и радио не слушаю.

— Они, Катьк, все такие. Думаешь, нас успокаивают? Форс у них это мужицкий. Ну ладно, садимся, пока свет не выключили.

Глаза у Зинки были плохие, и она низко наклонялась над листом, но писала быстро.

Стараясь ничего не пропустить, Катерина передавала Михаилу о ребятишках, о поселковой жизни. Таить было нечего, в бараке все на виду, и если уж о чем не говорила, так это чтобы лишний раз не тревожить его душу. Диктуя, она посматривала Зинке через плечо — хватит ли места для всего, что собиралась поведать мужу. А когда на последней странице осталось пять или шесть строчек, Катерина замолчала.

— Все, что ли? — Зинка повернула к ней веселое лицо и смотрела, поигрывая глазами.

Катерине стало жарко. Она с тоской посмотрела на дверь, захотелось домой, к детям, под их защиту.

Зинка еще немного подождала и встала. Высокая, справная, белолицая, и при этом всего на три года моложе Катерины. Да при такой и заикнуться о мужике стыдно. Ну что она, Катерина, по сравнению с ней? Какое она имеет право на собственного мужика, когда такие вот незамужними ходят? Да и собственный ли? Может, кто пожалел и отпустил к ней Михаила на время, чтобы утешил да возвращался поскорей к такой же справной и белолицей?

— Все так все, заклеиваем, значит?

— Нет, подожди,– еле выговорила Катерина.

— Забыла чего? — голос у Зинки был спокойным, а глаза так и дразнили.

— Ну как это… ну что ты дура, что ли? Чего надсмехаться над человеком? Добавь что-нибудь про наше, про бабье. Не мне же тебя учить.

На «дуру» Зинка не обиделась.

— А я уж думаю, неужели так и отправишь и поцелуйчика не передашь? Только смотри, захоровожу твоего Михаила. Вернется с фронта, вспомнит, какие письма я ему писала.

— Да ладно, не дело говорить. Будто тебе без моего мало.

— А может, и мало. Про это, кроме меня, никто не знает.

Она поставила новую пластинку. С намеком выбрала: «В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама», — и дописывала под веселую довоенную песню. Только сердце в груди у Катерины не таяло, а почему-то останавливалось.

* * *

Письма с фронта приходили не часто, но приходили. Катерина брала узелок и отправлялась к Зинке. А осенью, снег уже выпал, прибежал Санька на работу к ней и закричал, напарницу не замечая:

— Мам, я письмо от папки получил! Он велит, чтобы я теперь ему писал, и незачем тебе к Зинке ходить.

— Ладно, беги домой — Юрка там один, если чего натворит, будет тебе и письмо, и ремень на ужин, — и уже вслед сыну проворчала: — Болтает чего попадя…

Отругала, прогнала и себя же исказнила — мальчишка с радостью, а она — даже письмо прочитать не попросила. Еле дора-

ботала и прямехонько домой. Покормила ребят, потом младшего спать, а старшего за стол, ответ сочинять.

— Только ошибок не наделай.

— У меня пятерки по диктантам! — закричал Санька, вскакивая.

— Ладно, грамотей, сиди уж.

А сама задумалась. Непривычно было говорить мальчонке о житейских заботах. И понимала, что он все видит, а все равно как-то неловко было, и, сердясь на себя, наставляла сына:

— Ты поизрешней выводи.

— Выводить-то пока нечего. Сколько яиц зря перетаскала.

— Поговори мне! Пиши: здравствуй, сокол синеглазый…

— Разве соколы синеглазые?

— А ты не сбивай, пиши, что тебе говорят.

И она продолжала, не заметив, как пропала скованность, — много чего накопилось от письма до письма, обо всем надо было рассказать, все уместить на бумаге. Санька, высунув кончик языка, выводил каждую букву. Строчки получались прямые, ровненькие, и Катерине подумалось, что и слова в этих строчках должны быть одно к одному, чтобы порадовать мужа складным письмом, чтобы не стыдно было ему, мало ли что — неграмотная, так ведь не последняя же дура.

— Ну-ка, Санечка, почитай, что у нас получилось.

Санька неуверенно посмотрел на мать.

— Сначала, что ли?

— Ну да, читай, а то набуровим чего попало. Сердиться папка станет.

С первых же слов Катерину взяло удивление. Не могла она так говорить. Почему сизокрылый, если он синеглазый, во всей округе таких синих не было. Потом поняла, что сын читает о том, чего она не диктовала. А когда присмотрелась — заметила, что он и в листок-то не заглядывает.

— Ты чего мне тут написал? Ты что, дурить меня вздумал?

Санька смотрел в пол. В сердцах мать шлепнула его. Не сильно, для порядка только, но он заплакал. Даже не заплакал, а просто слеза выскочила. И глядя на него, Катерина всхлипнула сама.

— Ну ладно, Саня, читай, что написал, только честно. Не след тебе родную мать обманывать.

Санька поднял голову. Вытер ладошкой слезы. Катерина улыбнулась как можно ласковее. И он стал читать, сначала тихо, пришмыгивая носом, потом осмелел, в голосе появилась звонкость, и закончил с выражением, как стихотворение на уроке:

— Бей, папка, этих фрицев поганых! Ни их не жалей, ни себя!

— Что ты городишь, ирод проклятый? Отца на смерть посылать надумал, будто он без тебя не знает, как ему воевать, поди, и без твоих подсказок в каждой бочке затычка!

Санька сжался и втянул голову в плечи. Но не убегал, ждал подзатыльника. Волосы у него отросли, пора было снова брить, а на макушке завивался вихор, точно такой же, как у Михаила. Горло у Катерины сдавило. Голос пропал. И потекли слезы. Она отошла к кровати и легла.

— Мам, мамочка, что с тобой? — закричал Санька и подбежал к ней.

— Тише, сынок, братишку разбудишь.

— Не плач, мам, ну хочешь, я его порву и новое напишу?

Он кинулся было к столу, но Катерина удержала:

— Не надо рвать. Бумага тебе для учебы нужна, только зачеркни про наган-то. Зачем ты его просишь? В кого тебе здесь стрелять? А на остаточке от меня добавь помельче.

— Мам, а почему ты про то, что дядя Иван без руки пришел, сказала, а про орден Красного Знамени забыла?

— Господи, опять он за свое! Тебе что, батька не нужен, что ли? Орденов ему подавай!

И снова подзатыльник. И снова плач. Теперь уже Юрки — проснулся от ее крика и заголосил.

— Ох, наказанье мое, ох, живодер, ну что я тебе дам?

Катерина расстегнула кофту и села к младшему на кровать. Санька стоял рядом и смешил брата рожицами.

— Там осталось еще местечко? — спросила она шепотом.

— Есть немного, говори, чего писать.

— Ладно, погоди, подумать надо.

Она хотела передать, как тоскует по Михаилу, как переживает за него, но разве напишет об этом мальчишка, и у Зинки не найдется таких слов, ни у кого не найдется…

А Юрка сопел, кусался, тянул последнее молоко. Сильный стал. Шутка ли сказать — второй год доходит, а родился перед самой войной, скворцы как раз прилетели и радостно так насвистывали, подруг в скворечни заманивали, двух лет не прошло, а кажется — все двадцать.

КУМОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА. 1988 г. р. ЧОУ ДПО «Высшая школа режиссеров и сценаристов». Живет в г. Санкт-Петербург.

Дарья КУМОВА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИРЕНЬ

Через заклеенное крест-накрест окно, которое навсегда останется символом блокадного Ленинграда, Тонины глазки упрямо всматривались во двор.

Сколько она себя помнила, в этот день, день ее рождения, ровно в шесть двадцать папа в своем сером костюме шагал мимо стройных липок с огромным букетом сирени для нее. И тогда Тоня бежала звать за праздничный стол соседей по коммунальной квартире: балагура дядю Федю, красавицу Лизоньку, деда Семена и Журавлевых с сыном Сережей, Тониным ровесником.

Она, конечно, понимала, что сегодня, в ее двенадцатый день рождения, папа не прошагает мимо липок с букетом сирени. Липки холодной блокадной зимой спилили на дрова. А папа сейчас бьет фашистов где-то в предгорьях Кавказа.

— Тонечка! Давай к столу! — окликнула дочь Алла Егоровна.

Тоня обернулась. За изысканно сервированным столом с белой кружевной скатертью ее ждали гости, всего трое. Дед Семен в парадном пиджаке и нарядная тетя Катя Журавлева сидели чинно и как будто ничуть не тяготились ожиданием. Только сын тети Кати Сережа жадно буравил взглядом свой кусочек хлеба на фарфоровом блюдце.

Алла Егоровна в своем лучшем платье, которое теперь стало ей безнадежно велико, торжественно разливала по тарелкам угощение — жиденький суп из вареной травы с капустой. Дед Семен старался придать скудной трапезе атмосферу праздничного пира:

— А как пахнет-то! — прищелкивал он языком. — Хозяюшка у нас — волшебница! Тонь, давай, пока горячий!

— Минутку еще! — прошептала Тоня, умоляюще глядя на маму.

— Почтальона ждет, — объяснила гостям Алла Егоровна, — папа же должен письмо прислать на день рождения, поздравить.

— Миленькая, так письмо же с фронта идет! Может быть, что и задержится. Тут уж солдат не виноват, — пустился было в объяснения дед Семен.

Но Тоня увидела в окно почтальона! И с радостным визгом со всех ног побежала встречать долгожданную весточку.

Ее провожали добрые улыбки. Они все мысленно бежали к почтальону вместе с Тоней. Тетя Катя с Сережей — за приветом от своего папы. Дед Семен ждал письмеца от двух внуков.

— Ну а мы начнем, пожалуй! — весело сказала Алла Егоровна, усаживаясь за стол.

— Тонька у тебя, конечно, папина дочка, — умилялась Журавлева.

Соседи тоже вспомнили, как Тонин папа таскал дочке на день рождения охапки сирени. Правда, разговор быстро перешел в обсуждение съедобности сиреневых соцветий.

— А я как раз видел, во дворе тридцать третьего дома хорошая такая цветет! — вставил дед Семен, — Надо бы на будущую зиму насушить, пока не оборвали. Витамины, как-никак.

— Не будет здесь уже немцев к зиме! — возмущенно запротестовал Сережа. — Наши Москву отстояли — и Ленинград скоро освободят!

Взрослые неуверенно покивали и погрузились в свои думы. Но вот послышались быстрые шаги Тони в коридоре. Алла Егоровна в нетерпении поднялась со стула навстречу дочке, но тут же рухнула обратно, как только увидела девочку.

Бледная как смерть, Тоня, пошатываясь, подошла к маме. В ее руке дрожала развернутая похоронка.

— Царствие Небесное на поле брани убиенному Афанасию, — тихо пробормотал дед Семен, опуская глаза. Потупилась и тетя Катя.

А Сережа не мог отвести глаза от беззвучно плачущей в материнских объятьях Тони. Он помнил, как чуть не умер от горя дед Семен, когда точно такая же похоронка пришла на его единственного сына. Сережа уже не раз видел, как эти страшные письма приходили в семьи его друзей. Но Тоня сейчас казалась ему самой несчастной во всем мире. Так не должно было быть!

Скорбную тишину резко разорвал сигнал воздушной тревоги. Деду Семену и тете Кате Журавлевой хватило двух секунд, чтобы, обменявшись единственным взглядом, разделить обязанности. На плечо Сереже легла рука пожилого соседа:

— Давай, парень, пошли!

— Вставайте, милые, надо в убежище. Налет начинается, — ласково поднимала Тоню с мамой тетя Катя.

Бомбоубежище было оборудовано в подвале соседнего дома. Строгий дежурный местной противовоздушной обороны — парнишка лет шестнадцати — торопил входящих.

Бредущая как в тумане Тоня два раза споткнулась и упала. Мама с соседкой почти внесли ее в подвал под сокрушенные вздохи деда Семена. И сразу за ними дежурный громко лязгнул дверным засовом.

От этого звука тетю Катю как током шарахнуло.

— Сережа! — она шарила глазами по углам.

Никто не отзывался.

Соседи беспокойно оглядывались по сторонам. Но мальчика в бомбоубежище не было.

Он со всех ног бежал по двору, а в небе уже гудели страшные немецкие самолеты.

— Ну куда он побежал, что ему в голову взбрело, а? — растерянно причитала Журавлева.

Дед Семен безуспешно пытался ее успокоить:

— Увидел кого-нибудь. Приятеля… А может, девчонку… Дело молодое. Да не рви ты душу так! Все обойдется. Он у тебя парень с головой.

Вжимая голову в плечи при звуках взрывов, парень пересекал двор тридцать третьего дома. Да! Вот она — сирень, о которой говорил дед Семен! Несколько веточек с пышными цветами красовались на самом верху. Сережа был уже около заветного куста. Только бы допрыгнуть!

Взрыв раздался совсем рядом.

Каждый из сидящих в бомбоубежище узнал грохот рушащегося дома. Люди начали гадать:

— Это тридцать пятый, что ли?

— Скорее, тридцать первый.

— О! Значит, в наш уже не попадет.

Тетя Катя закрыла лицо руками. «Да черт с ним, с домом! Черт со всеми вашими домами! — думала она. — Там ведь мой Сережа!!!»

Дед Семен осторожно гладил ее по голове и твердил:

— Обойдется. Прибежит. Обойдется…

На месте тридцать третьего дома осталась груда камней, из которой торчали тлеющие деревянные балки и обломки мирной жизни: погнутый абажур, мельхиоровая вилка, обгоревшая дамская шляпка.

Как только прозвучал отбой воздушной тревоги и строгий мальчик-дежурный открыл дверь бомбоубежища, Журавлева бросилась туда. Алла Егоровна и Тоня побежали за ней. Следом, еле поспевая, ковылял дед Семен.

— Сережа!!! — срывалась тетя Катя. — Сережа!!!

— Тоня, ну ты-то куда?! — Алла Егоровна еле удержала Тоню, которая собралась вслед за соседкой лезть на обломки тридцать третьего дома.

— Сережа!!! — обезумевшая мать спотыкалась, падала, вставала и снова что есть сил звала сына. — Сережа! Сережа!!!

Тихо утер слезу дед Семен.

И вдруг откуда-то, как из-под земли, донесся слабый голос мальчика:

— Я здесь!

Соседи замерли, переглядываясь. Каждый боялся, что это только почудилось.

— Мама, я здесь! — крик казался уже ближе.

Тетя Катя ринулась на голос.

Из окошка подвала соседнего, целого дома выкарабкался перепачканный Сережа и побежал ей навстречу, бережно прижимая полу куртки. «Неужели зацепило!» — мелькнуло в голове у женщины.

— Мама! — сын бросился ей на шею.

Она заливалась счастливыми слезами:

— Вот куда тебя понесло, дурень ты мой? Мать чуть с ума не сошла! Сыночек мой любимый, золотой! Цел?

— Прости, мам!

— А куда тебя черти носили?

— Я…

— Ну что?

Сережа, смущаясь, аккуратно достал из-под пыльной куртки веточку сирени.

— Вот. Это я… — совсем красный, он повернулся к стоящей рядом Тоне. — Это тебе. С днем рождения!

Тоня протянула руки и бережно взяла ветку с пушистой гроздью. Нежные цветы даже не примялись? А Сережка стоял со смущенным поцарапанным лицом, всклоченный, весь в пыли и саже.

«Тогда-то я и влюбилась в тебя на всю свою жизнь», — думала Тоня, поправляя седую прядь. От улыбки глубже прочертились солнечные лучики морщинок вокруг ее глаз. Это был ее семьдесят пятый день рождения. Она стояла у окна и смотрела, как по двору ковыляет любимый старенький Сережа с традиционной охапкой их ленинградской сирени.

МАЙОРОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1953 г. р. Член Союза журналистов России, Международной федерации журналистов, Союза российских писателей. Председатель Орловского регионального отделения Союза российских писателей и Орловского Союза журналистов. Живет в г. Орел.

Геннадий МАЙОРОВ

МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Из цикла «Мне о войне рассказывал отец»

Мартовское утро не принесло с собой весеннего тепла. Седое, невыспавшееся солнце отливало холодным блеском, а студеный ветер, пикирующий сверху на потрепанную березовую рощу, обжигался о кусты взрывов, тут же становился горячим. Снег таял под подошвами сапог, превращаясь в чавкающую грязь, не успевая затвердеть на легком морозце.

Младший лейтенант Егоров ежился в шатком блиндаже, когда простуженно чихнул телефон. Ефрейтор-связист натренированным движением моментально отреагировал, схватив трубку; небритое лицо его посерьезнело:

— Товарищ младший лейтенант, вас комбат вызывает.

Грохот постепенно смолкал: противники нуждались в передышке, и опытный фронтовик понял, что за коротким отдыхом последует которое уже за день наступление — на последних нервах и жилах, то самое, решающее, в котором или-или…

Егоров видел, как измотались, осатанели солдаты. Четвертые сутки наши войска никак не могли выбить эсэсовские части из-за пятиметровой насыпи, раскинувшейся вдоль небольшой венгерской речушки. Так бывает на войне: где-то не заладилось, не получилось сразу, с ходу — и застопорилось все дело. А в спешке исправлять положение — только больше дров наломаешь.

Младший лейтенант поправил на боку планшет и отправился на командный пункт. По дороге он окинул взглядом поле боя и вспомнил письмо домой балагура и весельчака подразделения — рядового Осипова, которое осталось недописанным на ящике в блиндаже: «…Все нормально, мама, на душе весна, и воевать осталось не так уж много. Только вот никак не могу закончить это письмо: фрицы настойчиво зовут меня к себе в гости. Ну да ладно, вот схожу еще разок в атаку, побеседую с ними на нашем, русском языке, вернусь и докончу…»

Стрельба почти утихла, когда Егоров добрался до КП. Комбат нервно жевал папиросу и о чем-то горячо спорил с замполитом. Заметив вошедшего Егорова, майор придавил в банке давно погасший окурок, взглянул на часы и тяжело выдохнул:

— Что думаешь, комсорг, насчет чертовой насыпи?

Младший лейтенант растерялся. Распухшая от бессонницы голова плохо соображала, и он признался, что не готов к ответу.

Комбат неодобрительно цокнул и жестом пригласил Егорова к столу.

— Тогда давай рассуждать вместе. До насыпи почти два километра, впереди голое место — только неубранные кукурузные стебли… Да ты и сам все прекрасно видел. Вот тут, заняв траншеи боевого охранения немцев, залегла четвертая рота — наш, так сказать, плацдарм. До них примерно километра полтора. Так вот. Проберешься к ним вот в этом месте, — майор ногтем оставил на карте жирный неровный след, — здесь мертвое пространство, немцы с насыпи не достанут. Обрати внимание, четвертая рота находится как раз на линии атаки. И если попробовать совершить стремительный рывок, можно с ходу ворваться на эту чертову горку…

Комбат оторвался от карты и вцепился в Егорова покрасневшими от чрезмерного напряжения молящими глазами:

— Я тебе честно скажу, комсорг: на тебя вся надежда. Больше офицеров нет. А роту надо во что бы то ни стало поднять в атаку. Понимаешь, надо! Полчаса всего продержаться, чтобы батальон успел развернуться.

Замполит подошел сбоку, легонько похлопал Егорова по руке. Сказал мягко, спокойно, не то что комбат:

— Вы должны понять, как важно это задание. Возможно, в четвертой роте не осталось офицеров и связи нет. Скажу честно, командование поставило нам жесткие условия: занять позиции к вечеру. Если вам не удастся поднять роту, жертв будет намного больше…

Младший лейтенант козырнул и вышел. Приказ был понятен. Знать бы только, как его выполнить, как совершить то, что не удавалось за прошедшие три дня. Егоров сунул в карманы две гранаты, за пазуху — запасной автоматный диск. Эх, была не была!

Ловким движением он перемахнул через бруствер и пополз. Откуда-то с фланга тотчас подал голос пулемет. Совсем рядом брызнул водой распоротый пулями набухший снег. «Если заметили, надо торопиться», — пронеслось в мозгу. И Егоров по всем правилам тактики короткими перебежками рванулся вперед, к мертвому (а значит — спасительному) пространству, куда не могла дотянуться смерть из фашистского пулемета.

Еще одна очередь заставила залечь. Стрелок, видать, был отменный, прямо-таки снайпер. Он уже успел продырявить Егорову шапку и срезать каблук на левом сапоге. Теперь каждое новое движение давалось младшему лейтенанту с трудом. Пулеметчик, похоже, вошел в азарт и забавлялся, заставляя офицера падать в самую грязь и несколько минут лежать в холодной жиже.

Егорову однажды уже пришлось столкнуться с войсками СС, когда эти головорезы пытались рассечь линию фронта и опрокинуть в Дунай наши части, находящиеся между двумя озерами — Балатон и Веленце. По сорок-пятьдесят танков в день бросали немцы на позиции полка. Дрались гитлеровцы отрешенно, как фанатики. Запомнились на их рукавах зловещие нашивки с именем фюрера. Сейчас за насыпью сидели такие же черти и упорно сдерживали продвижение стрелкового корпуса.

Земля пахла пробуждающейся жизнью. На небольшом, рваном от осколков пригорке Егоров заметил малюсенький зеленый

росток. Потянулся к нему обветренными губами. И тут же нестерпимая тоска по дому, по родной земле, по маме перехватила дыхание. Как все-таки страшно и обидно умирать в конце войны, в этом месиве, да к тому же не выполнив задание, не узнав, чем закончится наше наступление!

А до кукурузных стеблей еще довольно далеко. Егоров неимоверным усилием заставил себя собраться для очередного броска и, опережая пулеметчика, оторвался от земли. Вместе с настигающими его пулями младший лейтенант нырнул в неглубокую воронку, налетев на чье-то тело. Свинец шлепнулся рядом, обдало грязью. Отдышавшись, Егоров перевернул тело солдата на спину. Осипов! На бледном перекошенном лице от переносицы до подбородка застыла полоска снега. Младший лейтенант вспомнил незаконченное письмо, которое уже никогда не попадет в руки матери, и ему, Егорову, как комсоргу батальона, если посчастливится остаться живым, придется писать незнакомой женщине, что ее сын «пал смертью храбрых» на далекой венгерской земле. Погиб, не провоевав и полгода, не получив ни одной боевой награды.

Чуть сзади гулко ухнул взрыв, затем другой. Егоров продолжал ползти, экономя силы для последней пробежки. Пулемет молчал, словно выжидая, когда младший лейтенант приподнимется, чтобы сбить его с ног на встречном движении.

Ветер колючими порывами студил разгоряченное лицо, капли пота обжигающе скатывались по щетинистым щекам, а пересохшая глотка хрипела от натуги, но Егоров уже верил, что доползет, доберется, перехитрит в последнем броске эсэсовского снайпера.

Его давно заметили автоматчики четвертой роты, и какой-то солдат, то и дело поправляя на голове не по размеру подобранную каску, махал ему рукой:

— Сюда, товарищ лейтенант, сюда!

Сильные ловкие руки втащили его в траншею, заботливо стряхнули с бушлата грязь и снег.

— Где ротный? — спросил Егоров, с любопытством разглядывая мужественных пехотинцев, которым выпала нелегкая доля быть первыми.

— Я здесь, — послышался голос командира роты лейтенанта Постникова. Он курил, прислонившись к осыпавшейся стене траншеи.

— Комбат приказал во что бы то ни стало поднять роту в атаку и завязать бой на насыпи, чтобы батальоны успели…

— Слушай, ко́мса, пошел-ка ты… — грубо оборвал Егорова ротный. — Тоже мне, деятель выискался. На пальцах-то оно легко. А вот поди ж, попробуй. У меня в роте осталось десять человек, ты — одиннадцатый.

С командного пункта в небо взлетела ракета.

— Ладно, ты не серчай на меня, — уже спокойно после паузы сказал Постников, — сам видишь, в каких условиях воюем. А приказ… Что ж, приказ выполнять надо.

Он, как-то странно прищурившись, посмотрел на Егорова и совсем по-домашнему, по-обыденному просто спросил:

— Лет-то тебе сколько, младшóй?

— Девятнадцатый, — Егоров смутился, тут же почувствовав себя мальчишкой среди этих рослых, задубевших от времени и стужи людей. Хотел было намекнуть лейтенанту, что не место, дескать, здесь, при подчиненных, такие разговоры заводить. Но Постников словно сам догадался, отдал распоряжение:

— Медведев, людей по местам, приготовиться.

Все разошлись.

— А на фронте с какого года? — Постников испытующе смотрел прямо в глаза, словно хотел влезть в душу, довериться, сказать что-то очень важное.

— С сорок третьего, с осени.

Ротный заскрипел зубами. Только теперь Егоров заметил, что лейтенант ранен в ногу и, судя по всему, серьезно.

— С сорок третьего, значит, — тихо повторил ротный. Потом замолчал, тяжело дыша, стойко переносил очередной приступ боли. — А я, брат, с сорок первого, с начала.

Он вновь посмотрел на Егорова глубоко запавшими бесцветными глазами, в которых не было ничего, кроме неизбывной тоски и леденящего предчувствия чего-то страшного, непоправимого. Ротный сильно потянул Егорова за рукав, рывком привлек к себе и зашептал на ухо быстро, скороговоркой:

— Мне, понимаешь, помирать никак нельзя, не имею я права детей на бесчестие обрекать. Двое их у меня, младшенькая уже без меня родилась, в тылу, в июле сорок первого. Я ведь капитаном был. Ранен под Гомелем. Плен, два года лагерей, побег. Обо всем долго рассказывать. Ты ведь знаешь, что такое из плена вернуться… Штрафбат. Самое пекло. Закон один: чтобы искупить вину, надо или награду заработать, или ранение получить… Я трусом никогда не был (Егоров кивнул поспешно: конечно, знаю), везде лез на рожон, веришь, сам пулю искал. А она не брала. И до медали дело не доходило. Вот, до лейтенанта дослужился, роту дали, вроде бы поверили, вроде бы смыл позор… Но это все слова, их к делу не подошьешь. Понимаешь, как мне нужна хотя бы самая маленькая медаль, самая что ни на есть простенькая…

Постников откинулся на спину, крепко сомкнул закипающие от слез глаза, громко раздавил комок в горле.

— Никому не плакался, комсорг, всю войну. А вот под конец не выдержал. Потому что вдруг страшно стало. Не за себя, нет. За наследников своих, за детей. Мне ведь теперь не выкарабкаться. В лучшем случае ноги лишусь. А в худшем — пулю в висок, когда эти сволочи попрут. И тогда все: перемелют, перемешают землю вместе с косточками. Вместе с именем…

Егоров сидел на корточках возле теряющего силы лейтенанта, ощущал его горячее, больное дыхание и не мог заставить себя подняться, принять решение. Выручил ротный. Он приоткрыл глаза и перешел к делу:

— Я подскажу тебе, пожалуй, единственный путь до насыпи. Через небольшую лощину, видишь, где домик маленький стоит. Там кустарник… Там все мои лучшие разведчики лежат… Сержант

Медведев знает: вчера ночью они этот путь разведали. У самой насыпи, за домиком, немцы из пулеметов не возьмут. А там все гранаты разом жахнете — и вперед! Главное — пулеметы захватить.

Постников непослушными пальцами долго расстегивал карман гимнастерки. Вытащил документы, протянул Егорову:

— Об одном прошу, мне ведь больше просить некого: если случайно, вдруг — я понимаю, что это нереально, и все же! — если вдруг отыщется моя семья, расскажи обо мне все, всю правду... Мне стыдиться нечего и некого... Вот только с медалью не повезло. Обидно!

Подошел сержант Медведев:

— Товарищ лейтенант, все готовы.

— Коля, — глухо сказал ротный, — вас поведет младший лейтенант, комсорг нашего батальона, покажи ему дорогу.

И, переждав подкравшуюся боль, продолжил:

— Это будет наша последняя атака сегодня. Если не залезем на насыпь, батальоны попадут под перекрестный огонь. Коля, назад дороги нет, ты меня понимаешь?

— Так точно, товарищ лейтенант, — пробасил сержант Медведев и добавил деловито: — Мы постараемся.

— Ну, с богом, — ротный легонько оттолкнул Егорова и отвернулся. — Поспешайте, пока у фрицев обед.

— Вам охрану оставить? — пересохшими губами прошептал младший лейтенант, не зная, как проститься с Постниковым.

— Иди, иди, комсорг, — так и не поднимая глаз, ответил ротный, — тебе каждый человек пригодится. А у меня вот, пушка есть, — и он для убедительности потряс в руке пистолетом.

— Тогда до свидания, товарищ лейтенант.

— Прощай, комсорг. Живи долго.

Солдаты, один за другим, натренированно вылезали из траншеи и начинали осторожно пробираться к редкому кустарнику, за которым и была та единственная нащупанная разведчиками тропа, ведущая к самому уязвимому месту немецкой обороны. Егоров не удержался, издали обернулся. Увидел только голову ротного: тот силился приподняться, чтобы в последний раз посмотреть на своих бойцов, благословить их на этот решающий жестокий штурм, чтобы затем сползти на дно траншеи и умереть с чистой совестью.

Медведев продвигался сноровисто и бесшумно. Егоров едва поспевал за ним. У ветхого сарайчика, служившего, по всей видимости, земледельцам укрытием от непогоды, младший лейтенант остановился, подождал, пока подтянутся остальные. Все молча вытащили гранаты. Секунду постояли, как бы собираясь с духом. И наконец Егоров решительно кивнул: «Пошли!»

Треснула от взрывов тишина, эхо атаки раскатилось по полю. Вслед за дымом и гарью на вражеском укреплении появились десять страшных в своем порыве, готовых к рукопашной солдат. Они навалились, смяли первое пулеметное гнездо, затем второе. Горячий осколок боднул младшего лейтенанта в плечо, но он не ощутил боли и не услышал громогласного «Ура!» наступающих цепей батальона.

…А когда враг был выбит с насыпи и обращен в бегство, когда молоденькая медсестра перевязала кровоточащую рану младшего лейтенанта, все порывавшегося вслед за ушедшими вперед подразделениями преследовать фашистов, появился комбат с командиром полка и, обняв растерянного Егорова, улыбнулся:

— Стройте роту, лейтенант, благодарить буду.

И то ли от обилия нахлынувших чувств, то ли от потери крови Егоров ощутил, как у него закружилась голова, задрожали, ослабли ноги. Вцепившись в плечо медсестры, он крикнул срывающимся голосом:

— Рота лейтенанта Постникова, ко мне!

Пятеро бойцов приблизились к Егорову, попытались построиться в шеренгу на неровной, изгрызенной металлом высотке — весь личный состав четвертой роты.

Командир полка оглядел каждого, рывком снял фуражку и слегка наклонил голову:

— Спасибо вам, солдаты. За стойкость, за мужество ваше… — и через плечо адъютанту: — Всех представить к ордену Красного Знамени.

Полковник уже отошел на добрый десяток шагов, когда Егоров спохватился, рванулся за ним следом, не удержался — упал:

— Товарищ полковник, а как же Постников?.. Постникова не забудьте… Это ведь он прорыв начал… Ему никак нельзя без медали…

— Не забудем, лейтенант, — обернулся командир полка, — никого не забудем, не волнуйтесь.

Подбежала медсестра, помогла Егорову подняться, повела в медсанбат. А Егоров непонимающе крутил головой, не слыша и не видя никого, и все время повторял:

— Ротного не забудьте, ему без медали никак нельзя. Не забудьте, товарищ полковник.

Бойцы успели подхватить его, потерявшего сознание, понесли в тыл.

Через полчаса шальная мина накрыла «Виллис», в котором ехал командир полка со своим адъютантом. Полковник, рассказывали, до этого прошел всю войну без единой царапины.

ОКУНЬ МИХАИЛ ЕВСЕЕВИЧ. 1951 г. р. Член Союза российских писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в г. Санкт-Петербург.

Михаил ОКУНЬ

ЛЕЙТЕНАНТ СЕВА, ИЛИ В ОЖИДАНИИ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

…И когда майор Горлов, налившись пьяной кровью, расстегнул кобуру, выдернул ТТ и приказал: «Пей, лейтенант!» — Сева понял, что дело плохо…

Сева полюбил выпивать еще в курсантские годы. Вернее, полюбил он не выпивку как таковую, а сидение в ресторане как процесс.

Разве не замечательно? Чинно усаживаешься за столик, скажем, в «Метрополе» на Садовой. Солидный пожилой официант — еще, может быть, старорежимный — в легком поклоне принимает заказ. Хоть заказик и скромный — сельдь с гарниром, сто пятьдесят граммов «Московской» — делает он это невозмутимо, виду не подает. И, выдержав положенное, приносит запотевший крошечный графинчик, рюмочку с насечкой под хрусталь, селедочку с ломтиками холодной отварной картошки, свеклы, колечками лука, сдобренную растительным маслом с каплей уксуса.

И тут наступает сущее блаженство: звучит оркестр, графинчик расходуется экономно, распечатывается пачка папирос «Норд»… На тебе новенькая форма, ловишь взгляды, «Вы позволите пригласить вашу даму?..» А в двух шагах ждет вечерний Невский.

И ничего удивительного, что, выйдя в туалет и засмотревшись на себя в полный рост в огромное зеркало до полу, не замечаешь патруля, как из-под земли возникшего в вестибюле ресторана. Рассекая акваторию, зловеще устремляется к тебе военмор, капитан-лейтенант, в фарватере которого следуют, посмеиваясь, два курсанта Фрунзенки. Попался, зеленый…

Вообще-то военную форму Сева надел не по своей воле. Поступил он в нормальный гражданский вуз Политех, доучился до второго курса. И вдруг приказ наркома обороны: в обязательном порядке студенты младших курсов переводятся в Академию связи им. товарища Буденного и становятся курсантами. И никаких уклонений! Исторические тридцатые подходили к концу.

Сева начал учиться в Академии. Жить курсантам старших курсов, начиная с третьего, разрешалось на квартирах. Но Сева время от времени злоупотреблял доверием командования. Несколько раз его походы по злачным местам Ленинграда заканчивались, как тогда в «Метрополе», объяснениями с патрулем и сигналом в Академию о поведении, позорящем честь и достоинство красного курсанта. Как и следовало ожидать, кончилось дело тем, что Севу вновь перевели на казарменное положение.

При всем том учился он хорошо, радиотехнику любил. И когда подкатили выпускные экзамены, сдавал их исключительно на отлично. Но на марксизме-ленинизме Севу ждала катастрофа.

Уверенно ответив на все основные вопросы по великому учению, которое «всесильно, потому что оно верно», Сева безмятежно ждал вопросов дополнительных. Они последовали, но совершенно неожиданные.

Преподаватель Краско спросил: «Теорию, товарищ курсант, вы освоили, а вот как с практикой? Как на практике осуществляете вы постулаты марксистско-ленинской теории? В быту, например…» И, выдержав паузу, добавил: «Такие, как вы — гнойная язва среднего военно-технического начальствующего состава!» Вот так, без запинки.

Сева понял, что погиб, что ресторанные сидения не прошли даром. Но при этом он машинально подумал, что этому самому среднему составу абсолютно незачем стыдиться своих язв.

С оценкой «удовлетворительно» по «основному предмету» рассчитывать на хорошее назначение было невозможно. И новоиспеченный воентехник 2-го ранга, что соответствовало званию лейтенанта, два кубаря в петлицах, отправился служить, куда послали. От папы-мамы, из уютной квартиры на Большой Московской — на границу с далекой и неведомой, но братской Монголией.

— Не стреляйте, ваше превосходительство, господин есаул! — попробовал отшутиться Сева. — А то до Читы не доберусь.

Как и многие на Руси, майор любил выражаться короткими словесными связками, но тут разразился длинной тирадой повышенной этажности, а закончил почти литературно:

— Пей, Сева, — почти ласково повторил он, держа лейтенанта под прицелом. — Пей! А за командировку не журись — доставим на вокзал в лучшем виде.

Энск на границе с Монгольской народной республикой значительно отличался от Ленинграда, и Сева сильно затосковал.

Вскоре началась Великая Отечественная. В ожидании нападения из Манчжурии миллионной Квантунской армии боеготовность повысили, пайки урезали. Хотя они и так были не слишком сытными. Даже среди офицерского состава начались случаи дистрофии, были и смертельные исходы. По ночам снилась еда. Где она, балтийская селедочка, где гарнир при ней?.. И графинчика не надо — лишь бы хлебушка вдоволь! Будучи высокого роста, Сева после двух лет службы тянул всего килограммов на шестьдесят с небольшим.

Впрочем, «графинчик» имелся, и весьма изрядный. Нацеживался он из запасов технического спирта, и счастливцы, имевшие доступ к полковому вентилю, ценились в своей среде высоко. К ним относился и потомственный представитель забайкальского казачества (как он сам утверждал в офицерских застольях) майор Горлов. Не в меру на зелие падкий…

В тот злосчастный день Сева снарядился в командировку в Читу. Но бес попутал, и стукнуло ему непременно запастись в дорогу спиртом, хоть полфляжкой. Устроить себе дорожный праздник, этакий крошечный ресторанчик в объеме вагонного купе: банка пайковой тушенки, буханка чернушки, спирт до полной баклаги разбавить.

И ведь в попутчики может попасться кто-нибудь приятный! В самом невероятном, но все же возможном случае, — какая-нибудь молодая женщина. Он представлял ее себе: какая-нибудь бухгалтерша, учительница… Красивая, изящная, но скромная — время-то военное. Она согласится разделить компанию, пригубит из винтовой крышечки фляжки, зажует хлебным ломтиком. Они хорошо разговорятся… За окном в чернильной тьме будут появляться и исчезать дальние редкие огоньки…

О том, что вокруг будут торчать другие пассажиры, Сева не думал. Не хотел думать и все тут.

Не найдя Горлова в казармах, Сева сообразил, где он может быть. И отправился в хорошо известный в офицерской среде домишко на окраине Энска. Там майор частенько проводил времечко, повышая боеготовность в обществе одной разведенки.

Войдя в дом, Сева обнаружил за столом компанию, состоящую из Горлова и двух малознакомых офицеров, один из которых спал, уткнувшись лбом в столешницу. На столе красовались полулитровые банки, пустые или отчасти наполненные светлой жидкостью. Хозяйки дома не было. Дым стоял коромыслом. Майор Горлов хрипел своему последнему слушателю, капитану с опухшей помятой физиономией, о былой удали забайкальского казачьего войска.

Сева сразу сообразил, что зашел некстати. То есть приди он парой часов раньше, могло бы быть и кстати, но теперь пьянка зашла уже на ту стадию, когда догонять ее не имело смысла. Памятуя, тем более, о вечернем поезде. И засомневался, стоит ли ему обращаться к Горлову с просьбой о граммах двухстах.

Майор поднял смутный взор на Севу, робко тершегося у дверей, и сказал:

— А-а, гнилая до нас снизошла… (Горлов имел в виду интеллигенцию.) Поглядим, на что способна! Штрафную, ленинградец! — и, достав из-под стола старое оцинкованное ведро, твердо налил до краев пустовавшую пол-литровую банку.

Сева, заикаясь, сказал, что не осилит. И тогда майор тяжело поднялся из-за стола, расстегнул кобуру, выдернул ТТ и приказал: «Пей, лейтенант!»

Кренившийся набок капитан за столом блаженно улыбался. Существовать более-менее осмысленно ему оставалось пару минут.

Сева остро пожалел, что оставил собранный в дорогу вещмешок в расположении части — все же там была закуска. А на столе валялась только подсохшая половинка луковицы.

И вновь, глядя в черную дырку ствола, он забормотал о командировке. Но как сквозь вату услышал: «…в лучшем виде …пей!»

У Севы не осталось сомнений в том, что потомственный казак-алкоголик дошел до того градуса воспаления, когда уже не отступит, нажмет курок и пристрелит его, Севу. А там будь что будет. А может, и ничего Горлову не будет, замнут дело.

И лейтенант Сева усилием воли сделал первый глоток…

Теплый спирт обжег горло, пищевод. Две резкие струйки потекли по подбородку. Сева постарался отвлечься, вспомнить о чем-нибудь родном и хорошем. Почему-то подумалось о фазовой модуляции высокочастотных колебаний. И допил-таки…

Дыхание перехватило, глаза вылезли из орбит. Он схватил банку, как ему показалось, с водой, прихлебнул было, но и там оказался спирт. Схватил половинку луковицы, судорожно зажевал ее, чувствуя, что проглоченный спирт рвется обратно, и позор этот надо во что бы то ни стало предотвратить. Хруст лука был последним, что осталось у него в памяти…

Майор Горлов слово сдержал, и бесчувственного Севу к поезду доставили. Проводник, как мог, противился посадке (впрочем, назвать это «посадкой» можно было с большой натяжкой). Но майор отработанным движением расстегнул кобуру, и Севу в конце концов уложили на нижнюю боковую полку. Состав отбыл в Читу. Лейтенант, несмотря ни на что, поехал в свою командировку.

Однако утром, по прибытии в Читу, перепуганному проводнику растолкать спецпассажира не удалось. Через час поезд должен был отправляться обратно в Энск. Чтобы освободить место, мертвецки спящего Севу затолкали на багажную полку, под потолок. И он отправился в обратный путь.

В Энске Севу, наконец, добудились, и он, прочухавшись, совершенно обалдел от рассказа проводника о своей поездке в Читу. И отправился в казармы, абсолютно не понимая, что же делать дальше. В отключке он пробыл около двух суток.

Дело, естественно, должно было закончиться трибуналом. Но тут вступили какие-то неведомые силы, заработали тайные пружины. По военному городку поползли упорные слухи, что молодой лейтенант выпил почти смертельную дозу спирта под дулом пистолета некоего старшего офицера.

В итоге дело замяли. Сева отделался дисциплинарным взысканием и продолжил службу в том же звании и на той же должности. Только майора Горлова он стал упорно избегать, хотя тот и готов был искупить свою вину делом, понимая, что лишь чудом не подвел лейтенанта под трибунал.

Прошло три с половиной года, наступил сорок пятый. Квантунская армия все наращивала численность, но не нападала. Сева был уже начальником связи полка, ходил в звании капитана. Впрочем, некоторое время он побыл даже майором, но опять проштрафился, хотя и косвенно. Машина радиосвязи, находившаяся в его подчинении, при выполнении разведзадания пропала без вести в бескрайней монгольской степи. В результате этого ЧП Сева и по-

платился, обратно разменяв большую майорскую звезду на четыре маленькие, капитанские.

Вскоре после победы над Германией Сева получил новое назначение и отправился в Западную Украину. А навстречу его составу в обратном направлении, на Дальний Восток, уже тянулись через всю страну воинские эшелоны с победителями. О начале войны с Японией Сева узнал уже во Львове.

Квантунская армия оказалась колоссом на глиняных ногах. И на то, чтобы его свалить, ушло меньше месяца. А Сева лишился медали «За победу над Японией», о чем, впрочем, он не слишком тогда сожалел.

Во Львове в темное время постреливали просочившиеся бандеровцы, но это были, конечно, уже не боевые действия. Через несколько месяцев Севу демобилизовали, наградив напоследок медалью «За победу над Германией». Он вернулся в Ленинград, сам тому не веря. Бог ты мой, как это? — можно по Летнему саду пройтись…

На гражданке Сева — теперь уже, естественно, Всеволод Львович — преподавал в Арктическом училище, потом в радиотехническом техникуме. Позже работал инженером, дослужился до начлаба в НИИ. Выпустил несколько книг по приемно-передающим устройствам, мечтал о кандидатской диссертации, но не получилось.

Женился, развелся, женился, родился сын, развелся, женился, развелся… Под старость женился в четвертый раз на четной, второй жене. Своему сыну Сева привил разносторонние любови. С одной стороны, любовь к шумным компаниям, сидению в забегаловках. С другой — к чтению, шахматам (правда, без особой взаимности). А вот любви к радиотехнике привить не сумел, хотя и добился определенных успехов.

В первые послевоенные годы, постепенно наводя справки, Сева узнал, что никого из его однокашников по выпуску Академии связи, бывших студентов-политехников, отправившихся служить в европейскую часть СССР, не осталось в живых. Ни одного! Получается, не ходи Сева по ресторанам, не имей задержаний патрулями, не поставь ему «уд» преподаватель Краско — и, глядишь, пропал бы в мясорубке первых месяцев войны. Вот уж, действительно, человек предполагает, а Бог располагает!

Выпивку Сева не оставил. Были и рестораны, и опохмелка перед началом рабочего дня у пивных ларьков, где в старые годы продавалась водка в разлив (было такое, и даже бутерброды с икрой на закуску).

Был и неоднократно повторенный рассказ о случае с майором Горловым, ставший за давностью лет веселой застольной байкой. Были и новые эпизоды — начали в распивочной, а закончили тем, что ехали на барже, груженной песком, по Фонтанке, и, сидя на песчаной куче, приветственно махали шляпами гуляющей по набережной публике. И множество других историй в том же роде…

Позднее все ушло вглубь, на квартиру.

Курил трубку. После войны это было модно. Имелись у Севы две трофейные трубки, купленные по случаю на барахолке еще во Львове. Черепа, искусно вырезанные из черного дерева, побольше и поменьше размером. Обе трубки номерные. Продавец утверждал, что снял их с трупа самолично застреленного им на Курской дуге офицера танковой дивизии СС «Мертвая голова», которому они были положены по форме.

Впоследствии трубки пропали из дому — сначала одна, потом другая. Как, впрочем, и хранившийся издавна в семье резной костяной чубук со сценами оленьей охоты и серебряной крышечкой. Гость к Севе ходил разный.

Несмотря на полученную медаль, ни ветераном, ни даже «участником ВОВ» Севу не признали.

Свои последние годы Сева, так и не оправившись от инсульта, провел в инвалидном кресле. В нем пересидел он все российские потрясения конца восьмидесятых — первой половины девяностых годов.

Жизненный круг, все уменьшаясь в диаметре, в конце концов стянулся в точку. Уже перед завершением пути Севе вдруг стали сниться монгольская Степь, люди в военной форме, Энск, эпизоды его пятилетнего ожидания Квантунской армии. Которую лично он так и не дождался.

Никита БРАГИН
Александр БЕКИШЕВ
Сергей БЕРСЕНЕВ
Георгий БОЙКО
Виктор ГВОЗДЕВ
Александр ГОЛОЗУБОВ
Нина ГРОШОВАН (ОСТАФЕЙЧУК)
Александр ЁЛТЫШЕВ
Александр ЕСЬКОВ

IV

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»

ПОЭЗИЯ

СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Александр КЕРДАН
Галина ЕФРЕМОВА (КУЗНЕЦОВА)
Евгений КАМИНСКИЙ
Елена КИРИЛЛОВА
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Ольга МОЛОДЦОВА
Ольга ОЖГИБЕСОВА
Евгений ПЕККИ
Сергей ПОДОЛЬСКИЙ
Лариса РАТИЧ
Лев РУДКОВСКИЙ
Виктор СБИТНЕВ
Юрий СЕЛИВАНОВ
Ольга ТАРАКАНОВА
Николай ТИМЧЕНКО
Галина УЛЬШИНА
Андрей ФИЛИНОВ
Светлана ХОХЛОВА
Борис ЦУКЕР
Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ
Галина ЯКУНИНА

БРАГИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ. 1956 г. р. Геологический институт Российской Академии наук. Член Союза писателей России. Живет в г. Москва.

Никита БРАГИН

БЛОКАДНЫЙ РЕЙС

Невесомую жизнь удержав на руках,
над невидимой смертью взлетаем,
и несется машина в густых облаках,
и гремит, словно клетка пустая.

Пассажиры у нас тише зимнего сна,
терпеливее всех на планете —
по губам синева, на глазах пелена,
ведь они ленинградские дети!

Им не страшно лететь, им не хочется есть,
им не больно, они засыпают.
Не идут к ним ни радость, ни добрая весть,
только смертушка бродит слепая

и наощупь берет одного за другим
в костяной колыбельке баюкать,
и сжимается горло захватом тугим,
и по ребрам колотится мука…

И уже расплывается кровь на стекле
(или это над Ладогой брезжит?),
и пылает мотор на пробитом крыле,
и взывает, и плачет надежда!

НЕЖНОСТЬ ПЕПЛА

Земля, ты столько бережешь
в себе, за пазухой шинели:
сошник, подкову, царский грош,
жестянку из-под карамели,
любви и времени осколки,
кусочки драгоценных ваз,
припрятанные втихомолку
от посторонних глаз.

Родная, черная, прости!
Поклон твоим цветам и злакам!
Как горестно держать в горсти
тебя, наполненную прахом!
Но, чтобы память не ослепла,
и слово не сдалось огню,
в сосуде сердца нежность пепла
я мысленно храню.

Три поколения войны,
мальчишки, их отцы и деды,
что до сих пор не сочтены
и ждут поныне день победы –
кто на высотах, кто в болотах,
кто мхом укрыт, кто муравой...
На поле боя ждет пехота
салюта над Москвой.

Насколько лучше нас они,
настолько тяжелей утрата.
Не скажешь времени — верни
и не услышишь голос брата.
Есть только память о родимых
и поминальные венки,
и от Рыбачьего до Крыма
бессмертные полки.

БЕКИШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 1956 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Омск.

Александр БЕКИШЕВ

ТАНК

Сюда затянут на буксире,
взнесен на белый монолит.
«Ну, здравствуй, Т-34!» —
А Танк молчит, как будто спит.

Легенда середины века —
какая мощь, какая стать!
...Безбожной волей человека
рожденный, чтобы убивать.

Сегодня дети и туристы
К нему влезают на плечо.
Нетрезвый тип с лицом землистым
в стальное брюхо ткнул «бычок».

И я стучусь и беспокою
в броню, как в запертую дверь:
«Скажи мне, старый гордый воин,
о чем ты думаешь теперь?

Живешь, наверно, в тех сраженьях,
давным-давно тому назад?
Браслеты траков с напряженьем
по вражьим косточкам хрустят,

От дыма солнце — цвета сливы,
дрожит израненная твердь,
Оскалившись, нетерпеливо
копытом бьет об землю смерть?»

«Оставь меня! — из преисподней
как будто простонал мне Танк. —
Я ничего уже не помню,
ни маршей тех, ни тех атак.

Я все забыл, как вы забыли
немое старое кино.
Друзья стальные, те, что были,
все переплавлены давно.

Теперь одно тревожит цепко,
и днем и ночью снится мне:
березка сломанною веткой
в бою хлестнула по броне.

Иди, ступай своей дорогой.
И лишь запомни наперед:
чужого прошлого не трогай,
пускай оно во мне умрет».

…Сюда затянут на буксире,
взнесен на белый монолит.
«Простите, Т-34…»
Я ухожу. А Танк — стоит!

Берсенев Сергей Витальевич. 1960 г. р. ГБУ Досугово-Спортивный Центр «Мир молодых». Член Союза писателей России. Живет в г. Москва.

Сергей БЕРСЕНЕВ

ГОЛОС ЛЕВИТАНА

Стояла жаркая пора
за десять суток до июля.
Ходили слухи по дворам,
гудел страны пчелиный улей.

Еще был вечер трудовой,
еще не выпрямилось тело,
но отчего-то вдруг домой
оно взволнованным летело.

Там — тещи милое нытье,
там — культ Вождя и культ Орловой,
и к счастью светлому ведет
газеты «правильное» Слово.

Возьмет ли первенство «Спартак»?
Забьет ли Киеву Федотов?
А все не выстроится так,
как расписали день по нотам.

Арест соседа — не беда:
ну, прямо взяли по заказу!
Спросить вдогонку бы: «Когда
накроют вражью нечисть разом?»

Ответ, точней — девятый вал
заставит вспомнить о наркозе.
И где-то фоном напевал
об утомленном солнце Козин.

И ни один не смог кроссворд
вместить подкравшуюся тайну —
о чем поведает вот-вот
могучий голос Левитана.

ГЕНЕРАЛ ФОН БОК

Не перед каждым Федором* столица,
встречая гостя, жаждет поклониться.
Неважно, что по матери он русский —
за ним войска без приглашенья рвутся.

Он рад бы сапогом ступить на землю,
чей дух ему упрямый неприемлем!
И вот она, Москва, как на ладони.
В крови через мгновение утонет!

Простушка с виду, не чета Парижу.
Разведка коль не врет — на ладан дышит!
Сулят приметы легкую прогулку
по улицам пустынным, переулкам.

От мысли черной сердце замирало
в груди зазнавшегося генерала.
Всего-то сотня жалких километров...
Да кто бы смог преодолеть кометой?!!

— Всю мощь Гудериана, Гота** бросим!
Споткнуться им об цифру «двадцать восемь»,
бессмертный клич политрука Клочкова!
— Что в русских есть особого такого?!!

---

* Федор фон Бок — генерал-фельдмаршал, командующий группы армий «Центр» во время вторжения в СССР. Командовал наступлением на Москву осенью 1941 года.

** Гейнц Вильгельм Гудериан и Герман Гот — командующие танковыми группами немецкой армии в битве под Москвой.

Послать к чертям скорей мечту о фото —
героем у Кремля Великий Федор!
Удача посмеялась над Фон Боком…
Кто прав, кто виноват — живем под Богом.

А в новом веке — новые потери…
Мы добрые, пока не сносят двери!
Не раз нам вражьи полчища грозили,
но до сих пор стоит, стоит Россия!

ЗА ЭТОТ КРАЙ!

За этот край, за каждый лепесток…
Василий Романенков

И дался им, настойчивым, Восток
с могучей Волгой, вольными степями…
За этот край, за каждый лепесток
веками насмерть русские стояли.

За этот край любой из нас готов
бросаться в схватку с голыми руками…
Не сосчитать, сколь сложено голов,
каков на вес давящий душу камень!

Доверчивы… Иваны от сохи,
привыкшие не видеть дальше носа.
А войны обували в сапоги,
в сердца впивались пули, словно осы…

Кто только не пытался взять в полон,
согнуть железный стержень в коромысло…
Сломал себе хребет Наполеон,
Рейхстага лоб кириллицей исписан.

Реки кровавой высохнет исток,
укроет зеленью щетину чаща…
За этот край, за каждый лепесток —
наполненная Богом чаша счастья!

БОЙКО ГЕОРГИЙ ЛЕНМАРКОВИЧ. 1957 г. р. АО АЮЭ. Член Союза писателей России. Живет в г. Москва.

Георгий БОЙКО

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Шлет донесение накануне:
Если не в мае, тогда в июне!
— Дезинформация, снова-здорово!
До рокового двадцать второго
Не достучаться к ним, не пробиться…

Слушать никто не желал «провидца»!
Двадцать второго вдруг стало ясно –
Не доверяли ему напрасно...
Ну и теперь за промашку эту
Могут кого-то призвать к ответу!
Даром, что он отработал честно, —
Нужно ему поскорей исчезнуть,
Чтобы не вспомнили даже имя.
Лучше руками убрать чужими!
Прочь конспирации все основы! —
Консул советский в роли связного.
А самураи куда как зорко
Бдят, с кем общается этот Зорге.
— Что-то неладно! — поймут немедля.
Туже и туже сжимают петлю...
Но напоследок, эфир пронзая,
В Центр шифрограммою от Рамзая —
Весть, что японцы в войну не вступят.
Воду толочь неуместно в ступе,
Если источник разведал точно:
Двадцать дивизий дальневосточных
(Пусть на востоке фронт оголится!)
Мчатся на запад спасать столицу...
Но у Победы другие «отцы».
Сделано дело — и в воду концы.
Будет в июне двадцать второе,
Вспомним героя.
Вспомним героя!

ГВОЗДЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. 1957 г. р. Член Союза российских писателей, член лито «Радуга». Живет в Пензенской области, г. Заречный.

Виктор ГВОЗДЕВ

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ

Я видел бой, я в бой ходил,
Шел насмерть в схватке рукопашной.
Друзей любил. И хоронил.
Я — воин, без вести пропавший.

Стоял под Брестом и Москвой
Да так, что танки отступали.
Я закрывал страну собой,
Как будто был отлит из стали.

И Сталинграду отдал кровь.
Нас жгли, месили — мы стояли.
Победных не дождался слов,
И грудь моя — не под медали.

Я из земли взойду травой,
Цветком, лозою винограда…
Как хорошо, что ты живой!
И мне других наград не надо.

Я в общем списке — рядовой:
Пацан, школяр, студент вчерашний,
Отец и брат, и дед седой…
Я — воин, без вести пропавший.

ДВЕ ГВОЗДИКИ АЛЫЕ

В День Победы из дому
Выйду на проспект,
Здесь, как было издавна,
Духовой оркестр.

Горькое и грустное
Никуда не деть…
Вновь такие чувства
Навевает медь.

Миг — частица вечного.
Слава — навсегда.
Здесь пятиконечная
В золоте звезда.

Думая про главное,
То, чем дорожу,
Две гвоздики алые
Здесь я положу.

И шаги чеканные
Около огня
Поколенью славному —
Тоже от меня.

СВИНЦОВАЯ МЕТЕЛЬ

Как холодна свинца метель!
Крюками пальцы занемели.
Но я навел прицел на цель
И «вдарил» по «живым мишеням».

Мой пулемет ревел как зверь.
Враги голов поднять не смели.
Дай бог удачи мне теперь —
Чтоб наши подойти сумели.

Не мне бесславно умирать!
И я не жду от жизни чуда.
Намерен только побеждать,
А если так, то драться буду

За каждый метр родной земли,
За вас, кто звал мальчишку братом,
За то, чтоб вновь сады цвели
И не краснел за сына батя.

Но вдруг умолк мой пулемет.
В меня гранаты полетели.
Пусть вам, ребята, повезет.
Как хорошо, что вы успели!

ВОТ ТАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК

Эх, гармошечка-тальянка,
Ты за просьбу не жури,
Утром, прямо спозаранку,
Ты со мной поговори!

Ах, какой сегодня праздник!
Просыпайся, тишина!
Никакой я не проказник —
Просто кончилась война.

Просыпайтесь поскорее,
Разве можно вечно спать?
Вон как солнце в мае греет,
Без причин — пора вставать!

Жаль, не все сегодня спляшем,
Но давайте хоть на миг
Мы друзей погибших наших
Вспомним только как живых!

И для них споем и спляшем,
Вспомним всех до одного.
Угостим солдатской кашей
Не забыть бы никого!

Вот такой сегодня праздник...
Просыпайся, тишина.
В этот день — и грусть, и радость,
И победная весна.

ГОЛОЗУБОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ. 1959 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Курской области, г. Обоянь.

Александр ГОЛОЗУБОВ

ВЫСОТА 206

Сгорали села, жизнь сгорала
В районе курских Понырей.
Земля от вражьих мин дрожала,
Дрожали кроны тополей.

Здесь за деревней Ольховатка
В седом дыму туманной мги
Сошлись войска в жестокой схватке
На фасе северной дуги.

Фашисты нагло наступали
Железной танковой стеной,
Но оборону не прорвали
У высоты двести шестой.

Успехом бой не увенчался,
Для немцев стал он роковой.
Наш русский воин храбро дрался!
И каждый воин был герой!

Лежат бойцы в могиле братской.
А неизвестные — в полях…
Но слава доблести солдатской
Сегодня в наших сыновьях!

ГРОШОВАН (ОСТАФЕЙЧУК) НИНА АФАНАСЬЕВНА. 1959 г. р. Теоретический Лицей имени Н. В. Гоголя, город Бельцы. Член Союза писателей Молдовы им. А. С. Пушкина. Живет в Фалештском районе, с. Реуцел, Молдова.

Нина ГРОШОВАН

МОЙ СОЛДАТ — МОЙ ГЕРОЙ

Посвящается моему отцу Остафейчуку Афанасию Ивановичу,
участнику Великой Отечественной войны

Мой солдат — мой герой,
Все молчишь, как чужой.
Перед снимком твоим
Я застыла немой.

Догадаться хочу,
Как молитву шепчу:
Почему ты молчал,
На судьбу не роптал?
Почему ты о том, что
Пришлось пережить,
Своим дочкам родным,
Никогда не вещал?..
Почему ты молчал,
Как в окопах лежал,
Как от страха дрожал?
Как под взрывы снарядов
Железного града
Ты в атаку бежал?
Почему ты молчал,
Как по смерти шагал
От Москвы до Берлина —
Обезвреживал мины?
И, в любую погоду
Расчищая дорогу,
Жизнь в молитвах своих
Доверял только Богу?
Почему ты молчал,
Как Победу встречал,
Как друзей фронтовых
Ты домой провожал?
Сам два года предлинных
До Москвы от Берлина
Все разыскивал мины —
С отголоском войны воевал*.
Почему ты молчал?!
Ты же нами дышал,
Нас любил, баловал и лелеял...
Почему ты молчал?!
Ты нас так защищал,
От войны уберечь хотел нас?
Эх, сапер, ты же мой
Настоящий герой!
И молчанье твое я прощаю.
Я ведь, дочка твоя
(Уже старше тебя),
Молча, папа, тебя понимаю.

* После войны отряды саперов еще долгое время занимались разминированием полей, дорог, гражданских объектов.

ЁЛТЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. 1950 г. р. Заместитель главного редактора литературно-художественного альманаха «Енисей». Член Союза российских писателей. Живет в г. Красноярск.

Александр ЁЛТЫШЕВ

ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ

80-летию обороны Диксона

В глухом тылу, в полярном рейсе,
вблизи от наших берегов,
вступили в бой немецкий крейсер
и ледокол «Сибиряков».

Плавучей крепости огромной
пытался перекрыть проход
для мирных будней сотворенный
простой трудяга-пароход.

Моряк вовек не станет драпать.
Неравный бой, пробитый борт…
«Горим, прощайте!» — емкий ра́порт,
по-мореходному — рапо́рт.

От парохода — лишь руины,
но сквозь разрывы и ветра
над безысходною пучиной
гремит победное ура!

Вот так уверенно вершился
грядущих подвигов гарант,
и суперкрейсер не решился
на берег высадить десант.

Таймырец верою проникся,
что будет порт родной спасен,
и выстоял поселок Диксон,
по-мореходному — Диксо́н.

Росла тревога все острее
от фронта главного вдали.
Корабль спугнули батареи —
защита северной земли.

Победы зов сильнее жажды,
и враг с позором удирал,
когда в атаку рвался каждый,
по-мореходному — аврал.

ЕСЬКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 1959 г. р. Военный пенсионер. Руководитель ЛИТО «Успенские вечера». Живет в Московской обл., Одинцовском р-не, пос. Горки.

Александр ЕСЬКОВ

ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Шел месяц май сорок второго.
Бои, налеты и обстрелов шквал,
А Митька под ступенькою порога
Нашел конфету, кто-то потерял.

Стоит и смотрит он на счастье,
Забыл уже и вкус, и даже цвет,
Ее бы съесть, но как же Настя?
Сестрице ведь поменьше лет.

Летел пацан к малой сестренке,
Зажав конфету в кулаке, домой.
Пусть будет радость у девчонки...
Вдвоем остались лютою зимой.

Вот поворот, еще, а дальше прямо,
Туда, где был когда-то магазин...
Но вместо дома — груды камня, яма.
В руке конфета. И один...Один...

Шел месяц май сорок второго.
Бои, налеты и обстрелов шквал...

ЕСТЬ ПАМЯТНИК ТАКОЙ В РОССИИ

Этот памятник никто не ставил. Русская печь одной из изб деревни Большое Заречье Волосовского района Ленинградской области, которую в октябре 1943 года сожгли немцы. Заживо были сожжены шестьдесят шесть сельчан и беженцев из блокадного Ленинграда, которые надеялись здесь укрыться. Из них 19 детей. Это самый потрясающий памятник Великой Отечественной войны. Ежегодно в мае кто-то белит его. Да и печник был явно из тех, кто делал свое дело на совесть. Потому печь и стоит вот уже 70 с лишним лет под дождями и снегом.

Под дождями и снегами
Печка русская стоит.
Не разрушившись с годами
Память вечную хранит.

Побеленною трубою
Смотрит прямо в небеса.
Печка с горькою судьбою...
Это вам не чудеса!

Прислонись ты к этой печке
Обнаженною душой.
Слышишь, как в трубе трепещет
Детский плач и бабий вой?

Дикий хохот изуверов
И горевших бревен треск.
Где такого горя мера?
Где спасительный тот Крест?

Что за матери рожали,
Тех, кто жег здесь матерей?!
Как своих детей ласкали?
И сжигали вы детей!

Им смеяться бы беспечно,
Детский смех нам свой дарить.
Но осталась только печка…
Словно Крест она стоит.

Здесь сгоревшею свечою
Устремились души ввысь…
Ты приди сюда с семьею,
Печке русской поклонись.

И вы поклонитесь…

КЕРДАН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. 1957 г. р. Член Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в г. Екатеринбург.

Александр КЕРДАН

НЕЗАБУДКИ

А рядом с окопом цветут незабудки…

Николай Домовитов

Кто-то память о прошлом похоронил —
Жить, наверное, легче, когда беспамятен…
Но цветут незабудки на кромках могил
Безымянных,
Как главный и искренний
Памятник.
Значит, помнит земля,
Не забыла она
Всех, кто в ней,
Кто по ней еще ходит израненный…
Вновь цветут незабудки
И снова весна,
Словно символ
Победы.

Единственный.
Правильный.
...И когда он наступит,
Черед мой уйти,
И рванет мое сердце
Последней гранатой,
Незабудкою мне бы суметь прорасти
Рядом с вами, отцы,
Рядом с вами, ребята...

ЛЕЙТЕНАНТ

Две искристые звездочки — сила
И карьеры счастливый разгон,
Две слезы, что любовь уронила
При прощанье на новый погон.

Два осколка стальных, неопасных,
Что пронзили рассветную рань,
И просвет голубой, а не красный,
Как на маминых окнах герань.

Сколько будет и слез, и осколков,
Сколько шишек еще он набьет...
Лейтенанту не страшно нисколько
Распланировать все наперед.

В песне жизни в начале куплета
Нота искренна и высока...
О количестве звезд и просветов
Ничего-то не ясно пока!

Да, еще ничего не известно
О судьбе, что в огне и в дыму,
де и смерть не старухой — невестой
Улыбается нежно ему.

РЯДОВОЙ

Ах, как землица неровна...
Неровности землицы
Любить заставила война,
Чтоб мог солдат укрыться.

Любая ямка, бугорок —
Спасение от пули.
И, крепко заучив урок,
Солдат живым остаться смог
В сорок втором, в июле.

Вжимался плотно в землю он,
Мечтая слиться с нею.
И был Победой награжден —
Стирал портянки в Шпрее.

И вот — землей навеки стал,
Привнес в родной суглинок
Своих осколков драгметалл,
Полученный в Берлине.

Да прах, что прорастет травой,
Да память, что нетленна…
Итог как будто рядовой
В судьбе обыкновенной.

ДЕВЯТОЕ МАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОГО...

Александру Тульникову

Шли они по улицам колонной,
Ордена горели на груди.
Алые победные знамена
Мерно колыхались впереди.

Заглушая медный гул оркестра,
Вдов согбенных приглушенный стон,
Плыл над ними благовест чудесный —
Их наград чуть слышный перезвон.

…Много после видел я парадов,
Сам во многих свой печатал шаг,
Но не вспомню, сущей правды ради,
Чтобы сердце билось гулко так,

Как тогда, той памятной весною,
После долгих умолчанья лет…
Перезвон качался над страною,
Ослеплял наград лучистый свет.

Их впервые — в праздник разрешенный —
Вынули из-под глухих замков…
Шла в тот день по Родине спасенной
Армия отцов-фронтовиков —

Всех живых и тех, кто не вернулся,
Пав в смертельном яростном бою,
Но сегодня будто бы очнулся
И незримо шествует в строю

Сверстников суровых и красивых —
Впору всех героями назвать!
Чтобы никогда, пока мы живы,
Не забыли, не могли предать

Этот день, когда в расцвете силы,
В блеске славы орденов своих
Шли они, и, замерев, Россия
Через сердце пропускала их.

УРОК

Победный день оркестров гром венчал...
Мальчишкою в истоптанных сандалях
Я по отцовским фронтовым медалям
Устройство всей Европы изучал.

Чтоб лет, так скажем, через пятьдесят
Оставить в назидание потомкам
Империи распавшейся осколки,
Что на чужих медалях заблестят...

ЕФРЕМОВА (КУЗНЕЦОВА) ГАЛИНА ПЕТРОВНА. 1958 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Галина ЕФРЕМОВА

* * *

Дедам и отцу

1

Ни света, ни жалости за гранью той,
во тьме рыщут танки... Мой дед молодой,
казалось, меня не увидит, а смог,
хранил в этой бойне его сам Бог.
Осталась бабуля (четыре рта),
еще год минет — проводит сынка,
отца моего... И станет ждать,
и всех сохранит смиренная мать.
На прииске будет день ото дня
на место деда вставать у «огня».
Мы, дети, не видевшие войны,
болеть ею будем, видеть сны,
мечтать о нитях волшебных, что
живыми всех выведут на плато,
вернув ту точку отсчета вновь,
где нет ценнее, чем жизнь и кровь...

2

Я снов боюсь, они о войне,
и на устах эти «нет» и «не»,
теперь во мне этот стойкий ген —
землею ставшая память стен.
«Берлин увидел я и упал, —
он говорил нам, — я так устал…»
Он был уже на второй войне —
мой дед, когда о победной весне
провозгласили на небесах,
а он все думал о сыне… Страх
его вызывали не раны — Восток,
где мой отец, его первый сынок,
двадцатилетний связист-боец,
с другого края ковал конец
жестокой и страшной этой войне.
Вернулись оба они. По мне —
случилось чудо! Из этих лет
живым восстал и другой мой дед.
Такая вот Победа побед:
мои все вернулись!
Меня еще нет…

3

Твое дело — сплошной переход,
на пути вновь сверкает река,
твое дело — болезненный счет,
мое дело — стоять у станка…
Твое дело — идти и туда,
где уже полегли все полки,
твое дело — беда и звезда,
мое дело — тачать сапоги…
Твое дело — лежать на снегу
и стрелять, и стрелять во врага,
твое дело — просить огоньку,
мое дело — плести кружева…
Твое дело теперь обнимать
облака, ты на небе в чести,
твое дело, солдат, — отдыхать,
мое дело — наш крест донести…

КАМИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ. 1957 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Санкт-Петербург.

Евгений КАМИНСКИЙ

«БЕЗУМНАЯ ГРЕТА»

Мир выгорит дотла, но много позже,
когда погаснут камни. А теперь
шаг — и восторг мурашками по коже,
другой — и шевельнулся в сердце зверь.

Да будет тьма без проблеска рассвета!
Пусть колокол безумный бьет и бьет —
безумная, идет сквозь пепел Грета,
хватая жадно пепел ртом, как мед.

Вперед, вперед, огня и пепла фея,
вперед, ударам колокола в такт.
Глаза пылают, звякают трофеи...
И у колена — кухонный тесак.

В горячей схватке с гадами средь ада,
вдыхая горечь выжженных сердец,
забудут люди, кто они. И гады
равны им духом станут наконец.

И птицезвери, рыбочеловеки
с немыми ртами, скользкой чешуей,
самих себя забывшие навеки,
без боли станут черною землей.

ДИАЛОГ ПАДАЮЩИХ СОСЕН

— Цепляться сучьями за твердь
и вбок валиться...
Но разве это грех, ответь,
быть там, где птицы?

Как это больно — ясным днем,
под небом синим...
Скажи, мы просто упадем
и просто сгинем?

— Мы упадем, а все ж держись!
Совсем не просто —
по-птичьи рассекая высь
вершиной острой.

Мы сгинем, но осталось нам,
где насмерть бьются,
еще сломаться пополам,
но не согнуться.

— Скажи, но, боль стерпев свою,
над миром светлым
мы станем птицами в раю?
— Мы станем пеплом.

* * *

Землей укрыты, спят устало
с песком во рту
по эту сторону Урала
и спят по ту.

И те, что — навзничь — у окопов,
КП, и те,
кто возле шпал — ничком и скопом —
на мерзлоте.

Молвой овеяны, хулою —
почти песок, —
лежат на запад головою
и на восток.

На все четыре части света
лежат вокруг...
Земле ничто деленье это
на «враг» и «друг».

Ей ото всех одна нагрузка.
Едины ей
бурят, татарин, немец, русский,
казах, еврей.

И к небу одному — живою,
где б ни легли, —
все тяжело встают травою
из-под земли.

КИРИЛЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. 1959 г. р. Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). Член Союза российских писателей. Живет в г. Томск.

Елена КИРИЛЛОВА

* * *

Как далеки пилотки и шинели —
Почти как всадник ратный на коне!
И если мы родиться не успели,
То ничего не знаем о войне.

Не восстановят кадры киноленты
Тоску разлуки и сражений дым,
И передышек светлые моменты,
И возвращенье к близким и родным.

Как хрупок мир и призрачен порядок!
Не существует мира — навсегда.
Ведь рядом с кем-то падают снаряды
И караулит черная беда.

И так же танки едут без дороги,
Село чужое, дальнее горит...
А у ларька «афганец» одноногий
За подаянье нас благодарит.

МОЕМУ ДЕДУ ВАСИЛИЮ МУРАШКО ПОСВЯЩАЕТСЯ

Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля...

Николай Букин

Холодная магия слова
И музыки — вроде простой:
Я слушаю снова и снова,
Как волны шумят за кормой

И стонут — в любую погоду,
Ревут — в устрашенье врага.
Откроется через полгода,
Чем песня мне так дорога:

Расскажут, что дед мой Василий
Три года от дома вдали
Стоял за победу России
На славном участке земли.

Мой дед — на «гранитном линкоре»*,
Где немцы — с одной стороны,
А с трех — безграничное море,
Куда уплывают сыны

Старинных рыбацких становищ,
Далеких и братских краев.
С судьбою, увы, не поспоришь —
Вернутся ли все из боев?..

«А волны и стонут, и плачут»,
И строем идут корабли,
И тонет в тумане Рыбачий —
Окраина Русской земли.

* «Гранитный линкор» — так моряки называли полуостров Рыбачий.

* * *

После сапог останется пыль.
После привалов останется дым.
После боев — железный костыль.
Ладно хоть, что не погиб молодым.

Вот и вернулся с фронта домой.
Что ж не жениться-то — выбор велик!
Только не хочет, ходит смурной,
Курит и кашляет, словно старик.

Вечером выйдет он за село,
Смотрит и смотрит куда-то за лес.
А через месяц, как рассвело,
Вышел из дома, мелькнул и исчез.

Что б ни случилось, ночью и днем
Память по жизни шагает с тобой.
Выжжена степь вчерашним огнем,
И никогда не кончается бой…

КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. 1950 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Санкт-Петербург.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Фрагмент документальной поэмы, посвященной семье Парнес: Александре Львовне, Давиду Исааковичу, их сыну Льву

СТЫНЬ. АЛЕКСАНДРА

Блокадное небо — без солнца и птиц,
Белесые надолбы — без границ.
Застыли деревья, застыла душа,
И аэростаты, два карандаша,
Повисли, как морок, голодный мираж,
Как две колбасины от мессера — страж.
…Нет, все-таки стражи. Их два, не один.
Мы ворогу город не отдадим!
Запутались мысли мои, как в клубке,
Где порваны нитки. Ни крошки в руке!
Не думать о хлебе, пусть пальцы не гнутся,
Но папа велел к книжной полке вернуться.
В чернильнице лед. Да и пол ледяной.

Лед в сердце вползает голодной змеей.
А папа все водит пером по бумаге,
Работает, пишет в любой передряге.
Мой папа ученый, святой человек.
Мы книги не жжем. Глухо падает снег
В пробитую бомбой оконную щель.
А мама все варит из клея кисель…
Кисель расплывается и застывает.
Зима, Новый год. Что ж он не наступает?
А в школе молитва у нас родилась.
Сложили мы руки, как будто молясь,
Почти застывая, как камень и лед,
Мы всею гурьбой повторяем в налет:
«Снаряды, снаряды,
вам падать не надо
на наш Ленинград,
на наших ребят!»

СУШЬ. ДАВИД

Степная дорога среди войны.
Солнце черное.
Чума коричневая.
Пыль под ногами серая, как зола.
Ай, юдо, юдо, в гетто печи дымят…

Пыль в горле — судорогой,
Пыль в глазах — жгучей слезой,
Пыль в душе — страхом,
Желтой змеей с коричневым жалом.
Ай, юдо, юдо… Спаси Господь!

Мать и сын — на линии горизонта.
Ни шагу в сторону, кругом гетто.
Горячечный сон. Заклинание:
Спаси Господь мою маму!
Спаси мою маму!

Пусть погибну я, четыре года уже прожил,
Потому что был с мамой.
У меня волосы черные, а у нее рыжие,
Может, ее не примут за юдо?
Спаси Господь мою маму!

Как высохло все! Очень хочется пить.
Хотя бы глоточек воды из колодца.
Сыночек, дай, руку свою — на прощанье!
Спасайся во ржи! Вот поле шумит.
Спаси Господь моего сына Давида!

Мать и сын — на линии горизонта.
Их руки не разнимаются.
Молятся оба, мать и сын,
Молятся молча. Друг за друга.
Вымаливая друг друга у лиха…

А жернов судьбы все крутился, крутился,
Беда перемелется — му́ка будет.
Бесстрастна та мельница, мелет и мелет…
Мельница-Рок с колесом-кругляшом,
Вверх-вниз, вверх-вниз,
Как бытие.

Схватили обоих — и сына, и мать.
Копайте могилы, и вам в них лежать.
Вам нечего делать на этой земле,
И сгинете, юдо, в коричневой мгле,
Навек в кабале…

Но тот, кто выше неба,
Кто все слышит и видит,
Внял молитве матери,
Внял молитве сына
И перевел стрелки.

На полвека вперед,
Год в год, миг в миг.
И День был отмолен.
Точней, взят в заклад.
Ай, юдо, юдо… Вот тебе сад!

СЧАСТЬЕ. ЛЕВУШКА

Тот мальчик Давид стал прекрасным врачом,
И Ангел блокадный за правым плечом —
Жена Александра.
И сын ненаглядный… Левушка…

МОЛОДЦОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА. 1959 г. р. Член Пушкинского Общества г. Новомосковск, литературных обществ НЛО (Новомосковское литературное общество) и «У камина». Живет в Тульской области, г. Новомосковск.

Ольга МОЛОДЦОВА

* * *

Дед отбивал косу на клеверах.
Еще сирень цвела в глухих дворах
В зеленом шуме теплых переулков,
Дед отбивал косу на клеверах
По-праздничному весело и гулко.

И слышался протеза жесткий скрип
Под хлюпанье галош на босу ногу.
Вдыхая часто хмель цветущих лип,
Дед повторял: Ну вот, и слава Богу!

Рядки чуть влажной скошенной травы
За ним тянулись неустанно следом.
Да ласточки из мирной синевы
О чем-то дружно щебетали деду.

Дед побывал за тридевять земель,
Все ради жизни, а не ради славы.
От пули скаткой сберегла шинель,
А вот нога осталась под Варшавой.

Протез скрипел, врезался болью в плоть,
Дед в первый год не сделал даже шагу.
Осилил — видно, в помощь был Господь.
И с ним медаль « За доблесть и отвагу».

РУССКАЯ ДУША

Чужая речь звучит на все лады,
Неловко слушать разговор нездешний.
Но в сорок первом, отхлебнув беды,
По-тюркски звал солдат к Победе вешней.

Свою он веру сквозь огонь понес,
Да был в бою убит, вот здесь, быть может.
Став русским навсегда в краю берез,
Не разобравшись в русской речи тоже.

Остался мир и в родниках вода,
Под жатву хлеб — он будет «нан» по-тюркски.
На Спасской башне главная звезда
Одне светила русским и нерусским.

Все нынче Божьей воле вопреки —
Поправит дед на крестике тесемку:
Мне из окопа до сих пор с руки,
И вы вставайте под ружье, потомки.

Что враг своих сапог не износил,
С высот орлиных ясно видит горец.
Так повелось: нерусским на Руси
Был каждый третий русский полководец.

ПАМЯТИ МОЕГО ДЯДИ МИХАИЛА ЛУЧКИНА, ПОГИБШЕГО В БОЯХ ЗА ЛЕНИНГРАД У ДЕРЕВНИ ДОБРОЕ

Снится мне, что я — живой!
Вешним гулом дышат дали.
Прошлой жизни фронтовой
На груди блестят медали.

Снится мне, что я — живой!
Будто вновь под отчей крышей.
Не в траншее за рекой
В свете смертоносных вспышек

В тех боях за Ленинград,
Где не просто было выжить,
Где шальных осколков град
Заставлял приникнуть к жиже.

Снится мне, что я живой,
Полковой ошибся писарь,
Не под мраморной плитой
Первый слева в скорбном списке.

Снится мне, что я — живой!
Под нарядною черешней
В майский полдень золотой
Птицам мастерю скворечню.

ОЖГИБЕСОВА ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА. 1960 г. р. Член Союза писателей России. Живет в Московской обл., Ступинском р-не, с. Верзилово.

Ольга ОЖГИБЕСОВА

САНИТАРКИ

Сандружинницам 308-й стрелковой дивизии посвящается

Тяжким грузом за плечами скатки.
Кандалами на ногах кирза.
— Что, устали, дочки?
— Мы в порядке!
Только солнце… Только пот в глаза…

Лето. Фронт натянут, как пружина.
Слишком много брошено на кон.
Пешим строем топает дружина —
Санитарный женский батальон.

Ну какие их позвали трубы?
Им теперь не до девичьих чар —
Сушит нецелованные губы
Беспощадный полудневный жар.

— Вы откуда, дочки?
— Из Тюмени
И еще оттуда два часа...
А в степи — ни деревца, ни тени.
Оседает пыль на волосах.

— В школу приходили из райкома.
Комсомольский выступил вожак.
Говорил: сидеть не время дома!
Слишком близок и опасен враг.

Говорил, что хочет взять с наскока
Немец славный город Сталинград.
Мы ушли с последнего урока...
— И куда же?
— Да в военкомат...

— Вот глупышки! Рано вам в солдаты!
Доучиться — и куда с добром.
— Мы потом получим аттестаты.
Вот с войны вернемся... Все — потом.

Триста верст идет, идет пехота.
Марш-бросок, а после — сразу в бой.
Им такая выпала работа —
Не искать ни славы, ни почета,
Заслоняя родину собой.

Боевые сводки без истерик
И без слез ведут сухой подсчет:
Наши безвозвратные потери...
И еще потери... И еще...

Комсомолки, им бы помолиться!
Может быть, тогда бы спас Господь
В той степи, где некуда укрыться
От свинца, взрывающего плоть...

И лежат в земле у Котлубани,
Встретив свой последний, судный день,
Санитарки Варя, Таня, Аня
Из сибирских дальних деревень.

Жизнь была короткой. Смерть — напрасной?
Так ли, нет — судить не вам, не мне.
Просто жаль их — юных и прекрасных
Девочек, убитых на войне.

ПОХОРОНКА

На дочку получили похоронку.
Беда приходит, где ее не ждут…
По крыше дождик барабанил звонко,
Как над могилой воинский салют.

В ограде тополь, скорбно свесив ветки,
Листом осенним осыпал порог…
Вздыхали сердобольные соседки,
Тайком крестясь: Не к нам… Помилуй Бог…

А мать кричала в голос под окошком
И не могла рыдания унять…
И под столом напуганная кошка
Людское горе силилась понять.

И вот уже отвыли, откричали
И справили по дочке сорок дней.
Отплакали бессонными ночами,
Но только боль — чем дальше, тем сильней.

Зима была тяжелой, как простуда.
Тянулись дни, тревогами полны.
И вдруг под новый год случилось чудо:
Пришло письмо — от дочери! С войны!

Писала, что жива и не болеет,
Что повезло — попала в медсанбат.
Бои — один другого тяжелее,
Но не сдадут фашистам Сталинград.

Мать снова в крик: жива моя девчонка!
И мир вокруг стал ярче и теплей.
Соседки, получая похоронки,
Теперь уже завидовали ей…

А там, где над землею Сталинградской
Опять всходил рассвет, сменяя ночь,
Осталась навсегда в могиле братской
Чужая неоплаканная дочь.

ПЕККИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1951 г. р. Член Карельского республиканского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Петрозаводск, Республика Карелия.

Евгений ПЕККИ

ДОРОГА ЖИЗНИ

Рассказ военного шофера

Ты помнишь, как Ладога встала?
А утром приказ — в автобат,
И группы мы формировали,
И грузы везли в Ленинград:

Сахар, патроны, снаряды,
Валенки, водку и рис.
Четыре полуторки рядом
И старый потрепанный «ЗИС».

Напрасно мы бога молили
Колонной достичь Ленинград,
Нас «Юнкерсы» все же накрыли,
Тогда мы увидели ад.

Лупили зенитки заслона,
Гремели от бомб небеса,
Смертельная эта охота
За нами велась два часа.

Я помню, от взрыва фугаса
Тряхнуло машину мою,
А сзади машина Тараса
С разгона ушла в полынью.

Прибыли в Питер досрочно
И грузы доставили в порт,
А в путь через Ладогу ночью
Блокадников взяли на борт.

Не все привезли мы снаряды
И валенки, водку и рис,
Но сотня детей из блокады
С нами в детдом добрались.

А трассу, где жизни мы клали
Без похорон и могил,
Дорогою жизни назвали
Те, кто до Победы дожил.

АТАКА

Две красных ракеты — атака!
Две зеленых — траншея взята.
И вроде все просто, однако
Впереди нас дымит высота.
И взять ее нужно «в пятнадцать»…
Командиры сверяют часы.
…Сколько́м здесь придется остаться,
Чтоб сто метров пройти полосы?

За нею змеятся окопы,
Там зарылись в бугор егеря,
Покорившие пол-Европы…
Ты поднимешься, их матеря,
Лишь сигнал подадут для роты,
Политрук приготовит ТТ,
В штыковую, на пулеметы,
Устремишься броском к высоте.

Как же хочется в землю вжаться,
А не в ливень свинцовый бежать,
Тем, кому всего восемнадцать,
С хриплым криком: «За Родину-мать!»

Как визжат осколки гранаты…
С трехлинейкою наперевес
Догонишь чужого солдата
С ненавистной эмблемой СС,
Зрачки обреченного зверя
Увидишь невольно в упор
И в праведном гневе, зверея,
Исполнишь штыком приговор.

За друзей осушив «фронтовую»,
Так напишешь две строчки домой:
«Ходил в первый раз в штыковую!
Не дай Бог, пойти во второй!»

ПОДОЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ. 1950 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Уфа, Республика Башкортостан.

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

...Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой

В свою Москву он был влюбленный,
Тихоня робкий и смешной,
Жил паренек на Малой Бронной,
А может быть, на Моховой.
Вздыхала мать: «Мое ты горе!
В кого же уродился ты?»
Со всеми сдержан в разговоре
И вежлив. Ну до тошноты!
Он робким был в ребячьей драке,
Не укротил велосипед.
Зато дворовые собаки
Хвостом ему виляли вслед.
В семнадцать был совсем ребенок,
Идти на танцы не хотел.
А в разговорах про девчонок
Лицом стремительно краснел.
Он не пускал махорки кольца,
Все Чехова читал взапой.
Но в сорок первом добровольцем
Под Вязьмой принял первый бой.
Дрожит под танковой лавиной
Через речушку хлипкий мост.
Но он с горячим карабином
Никак не мог оставить пост.
И в том дворе на Красной Пресне
Его домой напрасно ждут.
Не бросит мальчик неизвестный
Пост в Александровском саду.

РЕКВИЕМ СТАЛИНГРАДУ

Вечер стынет в объятьях метели.
Мне мороз и метель нипочем.
Ворон черный рвет ворот шинели,
На мое примостившись плечо.
Я погиб от разрыва гранаты
И застыл на кровавом снегу.
«Треугольник» от мамы, ребята,
Я уже прочитать не смогу.
Бог! Меня оживи на минутку!
Сжав кисет, шевельнется рука:

Напоследок сверну самокрутку,
Ведь в раю нет, браток, табака.
Я побрел вдоль траншеи, бесплотный,
У разбитой землянки присел.
Похоронку выписывай, ротный:
Рядовой Иванов Алексей.
Не хочу неизвестным солдатом!
Хоть мамаша поплачет навзрыд.
Мне в ответ лейтенант виновато:
Я ведь тоже, Алеша, убит.
А в полку как поступят, известно:
Мол, исполнив задачу свою,
Каждый званье «пропавший без вести»
Получил в отгремевшем бою.
Кто-то струсил, кто бился геройски —
Не узнают, кто прав, кто неправ.
Все мы в списках небесного войска
Внесены в постоянный состав.

ЛАДОГА

Месяц желтой горбушкой меж тучами
Льет на Ладогу призрачный свет.
В свете фары поземка колючая
Заметает полуторки след.
Дом разрушило бомбой фугасною.
Сиротинок везут на Урал.
И водитель в фуфайке промасленной
Свой паек ребятишкам раздал.
Он баранку рукою накручивал,
Сокрушаясь: «Замены все нет.
Третий день сплю от случая к случаю.
Да сухарь погрызешь на обед».
В кузовах дети холодом скручены.
Жив ли рядом притихший сосед?
«Доберемся! Хватило б горючего!»
Над Кобоной забрезжил рассвет.
Обнимая в кабине мальчонку,
Словно ангел-хранитель, солдат
Объезжал от бомбежки воронки,
Ценный груз твой спасал, Ленинград.
Жить и помнить мне вами поручено —
Теми, кто не увидит рассвет.
В свете фары поземка колючая
Заметает полуторки след.
Позабыты мной лица родителей.
Одного я, друзья, не забыл:
То лицо фронтового водителя,
Что паек свой со мной разделил.

РАТИЧ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА. 1960 г. р. ГБОУ СОШ № 333. Член Союза писателей России. Живет в г. Санкт-Петербург.

Лариса РАТИЧ

СМОТРИТЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙНЫ...

Смотрите!!! Вам надо все это увидеть!
Понять про фашизм, чтоб его ненавидеть!
Смотрите, не прячьте в ладони лицо!
Пусть вас не обманет пустое словцо

и пусть не туманят фальшивые речи,
чтоб стало вам больно от бед человечьих!
Пусть сердце страдает, как рана сквозная,
чтоб вы повторяли: Я помню! Я знаю!!!

Смотрите глазами, где гнев не погашен!
Пусть будет вам муторно, горько и страшно!
Пусть ноет душа, как от раны, удара:
вот фото убитых из Бабьего Яра,

вот фото растерзанной девушки Зои!..
Пусть вам не случится забыть про такое!
Вот печи концлагеря! Тонны волос!
Так надо, чтоб все вам увидеть пришлось!

Смотрите. Смотрите! Не смейте не знать,
чтоб больше фашистам ни шанса не дать!!!
Смотрите на снимки великой войны,
чтоб больше вовек не платить той цены...

МИЛОСЕРДИЕ

Колонна пленных немцев через город
сожженный и разграбленный брела:
не гордо, не победно и не скоро,
от своего позора тяжела.

Небритые, побитые, хромые...
Куда девался тот арийский лоск?
И молодые, и немолодые, —
покорным стадом воинство плелось.

Смотрели люди, вглядываясь строго,
имея право на суровый суд:
ведь поделом! Врагам досталось много.
В могилу краше, говорят, кладут.

Никто не проклинал; а тишь стояла
такая, что слыхать, как падал снег.
И вдруг седая женщина достала
из узелка кусочек черный — хлеб!

Шагнула робко — не остановили
и протянула крайнему: «Возьми!»
Затравленно взглянул, перекрестился:
«Ох… данке, муттер!!! Бог тебя храни!»

Нигде и никогда на белом свете
щедрее не бывало той руки.
Когда враги беспомощны, как дети,
Россия — это хлеб. Не кулаки.

ОДИН КИЛОМЕТР

Нам осталось пройти до Волги всего один километр, но мы никак не можем его пройти. Мы воюем за этот километр дольше, чем за всю Францию, но русские стоят, словно каменные глыбы…

Из письма немецкого солдата

* * *

Мы стоим… Километр до матушки-Волги,
четверть часа прогулки, рукою подать.
Мы стоим, словно глыбы, и молча, и долго.
И за нами землицы врагу не видать.

Мы не Франция, нет. Мы попроще, поплоше.
С белым флагом, культурно, сдаваться не нам.
Что ж, не очень большая и Красная площадь,
а весь мир наблюдает, что делают там…

Мы не камни, сердца наши гордо-упрямы
и горячею кровью колотится пульс.
В километре безропотно молятся мамы,
хоть не жалует Бога Советский Союз…

Бог и Правда — одно. Потому он, как Совесть:
атеистов хранит, если Совесть чиста.
… А в заметках небесных напишется повесть:
Повесть каменных воинов. Их высота.

РУДКОВСКИЙ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1960 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Воронеж.

Лев РУДКОВСКИЙ

Я НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ

В небе раскаты слышны.
Было начало войны.
Гулкою ночью во сне
Видел я маму в окне,
Сдавленный голос узнал,
Крепко обнял и молчал...

В поле, над узкой траншеей,
Небо казалось светлее.
Завтра — решающий бой.
Мама, я рядом с тобой!

Страшно далек отчий дом —
Я до сих пор в поле том...
Ночи в июне темны —
Я не вернулся с войны.

СБИТНЕВ ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ. 1955 г. р. Главный редактор литературного альманаха «Костромской собеседник». Член Союза российских писателей. Живет в г. Кострома.

Виктор СБИТНЕВ

РЖЕВ

При атаках на крохотный городишко Ржев погибло более миллиона советских солдат и офицеров, то есть много больше, чем англичан, американцев и французов за всю вторую мировую войну.

Из костромской энциклопедии

Взглянул, как угли мне вдавил
Под сгибы скул, под струны жил.
Взглянул — и роту в полный рост
Под жар свинца, под холод звезд.

И только боль, и только ритм
Огней, проклятий и молитв,
И только сердце — раз и раз!
И смысла нет. Но есть приказ!

Пусть рубит в рост. Пусть в клочья рвет,
Взахлеб срываясь, пулемет...
Я буду жить... Как Боль и Крест —
печальный ангел этих мест.

СЕЛИВАНОВ ЮРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ. 1956 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Ставропольском крае, г. Минеральные Воды.

Юрий СЕЛИВАНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОСЛЕВОЕННОМ ДЕТСТВЕ

В промерзших полях, где вчера умирала пехота,
Где чей-то отец перед боем окоп свой отрыл,
Остались стоять, где повзводно, а где и поротно,
Фанерные звезды у свежих солдатских могил.

Мы ржавую каску в окопе нашли пацанами
И долго смотрели на пулей разорванный бок.
И нам показалось, что пули свистели над нами,
Я каску надел и за бруствер окопа залег.

Мы приняли бой, и врагов захлебнулась атака.
Свисала фуфайка с костлявых мальчишеских плеч.
Друг выдал патроны, по десять патронов на брата,
И взросло добавил: «Ребята, патроны беречь!»

Скулили осколки, на бруствере землю бодая,
Как будто взаправду лежат под обстрелом полки.
Но вот по цепи раздается команда простая:
«Гранаты достать и примкнуть на винтовки штыки!»

И, встав в полный рост — пули хлещут
меж нами
впустую, —
Гремя сапогами, бегут пацаны по жнивью.
До хрипа — «Ура!»

Мы впервые пошли
в штыковую,
И всем нам казалось, что мы в настоящем бою.

ПЕРЕВАЛ

Полуночная дробь пулемета,
Ледяное безмолвье вокруг,
Но все выше уходит пехота,
По ступеням идет на Марух.

Черных трещин зловещих провалы,
Снега хруст и дыханье лавин.
Сколько ляжет их здесь, безымянных,
С беспредельных российских равнин!

Скоро бой. Ледяные могилы
Эти судьбы сольют на века.
Им сверкают Архыза вершины,
И шумит, провожая, река.

Значит, время их нынче настало,
Значит, им уходить в облака
В это хмурое утро с туманом
Над холодною сталью штыка.

ПОЛКИ

«Славянку» играют. Пора
Собрать все, что прожито было:
Летящие искры костра
И время, что с баржей уплыло.
Разбросанных судеб с утра
Собрать не получится с ходу.
Из прошлого дуют ветра,
И ноет плечо на погоду.
Оркестр устало замолк,
Осенняя ночь захолустья,
Проселком израненный полк
Уходит, чтоб снова вернуться.
Полки отступают в ночи,
Вселенская грязь под ногами,
Внизу переправа молчит,
И я отступаю с полками.
В бреду переправ и смертей
Осталась полоска рассвета,
И смех нерожденных детей,
И шепот ушедшего лета.
Бой кончился, выживший лес
Кивает с усталым усердьем,
С винтовками наперевес
Солдаты уходят в бессмертье.
Разлука стучится в стекло,
Оркестр «Славянку» играет.
И время с полками ушло,
Лишь медные трубы сверкают.

РОСТКИ ПОБЕДЫ

Детям войны посвящается

Наше детство и юность
Опалило войною.
Твердь земли изогнулась
Под тяжелой бронею.

Близко пули свистели,
Рикошетя от стали.
Самолеты летели
И качали крестами.

Были боль и потери,
И закончилось детство.
Вот такое мы время
Получили в наследство.

Горизонты чернели,
Бомбы ухали глухо,
Хлеб с мякиною ели
Вперемешку с макухой.

Мы прощались с отцами
Под дожди проливные
И с перронов кричали:
«Возвращайтесь, родные!»

Гари въедливый запах,
Фонари, перегоны.
Уходили на запад
Каждый день эшелоны.

Что мечталось, не сбылось —
Только боль похоронок.
Воронье все кружилось
У глубоких воронок.

По глубинным законам
Мы к станкам встали гордо —
Выпускали патроны
И снаряды для фронта.

В мае травы проснулись,
Лихолетия дети,
Мы ростками тянулись
К Великой Победе!

ТАРАКАНОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА. 1957 г. р. Руководитель Межрегиональной ассоциации литературных объединений юга Красноярского края и республики Хакасия «Сибирская лира». Член Союза писателей России. Живет в Красноярском крае, г. Минусинск.

Ольга ТАРАКАНОВА

ПОМОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, МАМА

Я в бою поседел,
Только старым я, мама, не стану.
Взвод за взводом редел,
Помолись за друзей моих, мама.

Помолись за меня,
Но уверовал я не от страха.
Где взрывалась броня,
Там порой защищала рубаха.

Я коснулся земли.
Мама, в этой последней атаке
С нами мертвые шли,
А живые бросались под танки.

Для меня все смешалось в одно:
Кровь, железо, молитва,
Куликово… Бородино…
Сталинградская битва.

ЛЕНИНГРАД

Историю страны не забываю,
Присматриваюсь долго к новизне,
Как в юности, сегодня называю
Я Ленинградом город на Неве.

Ведь выстланы костьми там все болота!
В чести лишь государевы дела.
На куполах сияет позолота,
Но поминальную звонят колокола.

Санкт-Петербург — царя Петра творение,
Но после самой страшной из блокад
В сорок четвертом новое рождение
Отпраздновал спасенный Ленинград!

И Ленинградом всюду в мире будут
Хоть раз в году сей город называть,
Пока на Пискаревском будут люди
В молчанье скорбном свечи зажигать.

ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ

Мы очень трудным шагом шли два года!
Пришлось с боями отступать назад,
Земля вскипала яростью народа,
От напряженья жилы рвались у солдат.

«Ни шагу вспять!» — хрипели комиссары,
Стихи Бергольц под вьюгу слушал Ленинград,
Для отраженья мощного удара
Собрал всю волю раскаленный Сталинград.

Нет на войне дорог счастливых, всюду пули,
Но от Орла на Запад все пути ведут.
И в честь того, что мы вперед шагнули,
Впервые прозвучал в Москве салют.

Мечтал фашист пройти Россию маршем,
Легко, как по Европе он прошел,
Но потому, как в Бресте бились наши,
Исход войны уже был предрешен.

Так пусть же вечной будет наша память
О тех, кому в полях, в цветах лежать.
Вовеки слава тем, кто бился насмерть
За каждую земли родимой пядь!

ТИМЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1950 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Красноярском крае, г. Сосновоборск.

Николай ТИМЧЕНКО

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Как часты войны в мире нашем,
Как тяжек труд солдатских дней!
Все, уходя с заводов, пашен,
Ушли от жен своих, детей.
Былых сражений рядовые
В работе адской знали толк.
Они сегодня, как живые,
В строю — вошли в бессмертный полк.

Кто в мирной форме, кто в военной,
С портретов смотрят в тишину.
Они в строю! В том нет сомнений!
Чтоб не забыли мы войну.
Нам не нужны разруха, беды.
Исполним свой гражданский долг:
В строю шагаем в День Победы,
И в том строю — бессмертный полк.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ГОД

Случилось то, конечно, не со мною.
Мой дед был взрослым давней той порой.
Прошел пожар трагедией земною
Войны великой мировой — второй.
Металл кипел от пушечного зноя,
Пространство резал пуль смертельный рой.
Солдатский путь прошел дед в год длиною,
Пал без наград, но для меня — герой.

ЗА «КОЛЮЧКОЙ»

Дахау, Белжец, Сосибор,
Освенцим, Хелмно и Треблинка,
Колючий лагерный забор —
Все это быль, не слов картинка.
А за забором детвора —
Худы, измучены, бесправны.
До темной ноченьки с утра
Их муки с взрослыми на равных.

Полны надежд, что их спасут,
Пусть не сегодня, а когда-то,
Освобождение несут
И им советские солдаты.
Не всем дождаться суждено —
Вблизи фашистский крематорий,
А в нем, с дровами заодно,
Конец их жизненных историй.

УЛЬШИНА (КОЙСУЖАНКА) ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА. 1952 г. р. Член Ростовского регионального отделения Союза российских писателей. Живет в Ростовской области, г. Батайск.

Галина УЛЬШИНА

НАДПИСЬ НА ДЕРЕВЕ

За рекою — гора, за горою — гора, и кизил
сердоликами капель набух,

за осиной — платан, за каштаном — орех, и овраг
собирает осеннюю дань...

Под ольхою — грибы, под иголками — мох,
бирюзовая сойка скликает сестер;

тащит лист муравей, на коре, высоко:
«Здесь был Коля» — и далее: «42-й»...

КАПУТ

Разинул пасть футляр баяна,
который тем и знаменит,
что лишь когда хозяин пьяный,
футляр расстегнут и раскрыт.
И, соблазняя позолотой,
сверкало кнопок домино,
и светлоокая Шарлотта
на скатерть капала вином —
там, в искореженном Бунцлау…
О как же, Господи, давно
Шарлотта — Сталину во славу —
за их капут пила вино,
и был и цел, и юн хозяин,
плескался вальс «Осенний сон»,
и столько было просто мая,
что не баян, а бандонеон
притангивал мотивы страсти
и юбкой ноги обвивал,
что не было ни стран, ни старости —
одной любви девятый вал!
…Он забывал потом про лагерь,
про искалеченную кисть,
и огнедышащие флаги
с его окна слетали ввысь
в разреженную синьку мая.
И водку, молча, сам с собой
он пил, Бунцлау вспоминая
и день, когда был молодой!

РАЗГОВОР С ПАМЯТНИКОМ

Ты плачешь, солдатик, железный и стойкий солдатик,
в Батайских лугах не согнувший немые колена?
Прикован к кровати, в последней атаке — к браваде —
твой друг, ветеран неимущий, избегнувший плена.
Он держит медаль «За отвагу», не чтит юбилейных,
сегодня пошел бы в атаку, да жалко — болеет.
Был орден, да он затерялся, герой был! —
сейчас седой…
Спасибо, что жив остался на поле со снежной лузгой,
где то ли метель, то ли «Мессеры» стонали
и выли о смерти,
где выжить в кровавом месиве
не удавалось и СМЕРШу,
где падали в поле белое, в его заливные луга,
ребяточки наши смелые, шедшие на врага,
словно пшеница — падали, в небо глаза уставив,

это по ним памятник выплавился из стали.
Когда разбитные мальчишки греются
Вечным пламенем —
ты подойди поближе — может, они услышат? —
и, словно в молитве (амен!), стой! — и читай список
сгинувших — с нами фронт!
Стой же!.. Как грают близко жадные стаи ворон...

БАТАЙЧАНКА

Мы — дети колосков и кизяков,
родителей испуганно спешащих
и каравана мраморных слонов,
куда-то на комоде уходящих...
Война! — она витала над столом
да с фотографий всматривалась строго,
и разговоры наполняли дом,
и на Берлин! — была одна дорога...
...Потоком шквальным шли грузовики-
полуторки, телеги, люди, танки...
Регулировщицы отчаянной флажки
взлетали здесь крылами батайчанки —
они метались, танки разводя,
и трепетали, тучи разгоняя,
они смыкались, Родину храня, —
валькирия поруганного края...
А может, просто беленьким платком
махала улетающей тачанке,
чтоб через годы, словно молоком,
плеснуть стихом на губы батайчанке?

Я ТАК ЖДАЛА...

Я так ждала — глаза мои темны, как жухлая
от сырости солома,
и в хронике хронической войны узнать пыталась
милых и знакомых...
Почтовый ящик тщательно прибит, и ключ
на старом месте, под порогом,
и чугунок с картошкою накрыт — я дочерей
воспитывала строго...
Читала твои письма наизусть пред ликами
застывших фотографий —
так я ждала...Так может только Русь — писательница
горних биографий...
Пока надежды вытертая нить, стянув клубок,
не оторвет потерю —
я попрошу тебя не хоронить, я буду ждать,
надеяться и верить...

МЕХАНИК АВИАПОЛКА

Механик авиаполка —
белесый китель, конопатый —
взглянул на летчика слегка,
едва промолвил: Ты уж пятый! —
и разбирал, чинил и мыл,
латал карающую птицу,
чтоб только этот, пятый, жил,
чтоб только не менялись лица
над истребительным крылом
и над трепещущей гашеткой,
в сердцах крестил аэродром
березовой зеленой веткой!

ФИЛИНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1957 г. р. Директор филиала ФГУП ВГТРК — «ГТРК-Владимир». Член Союза российских писателей. Живет в г. Владимир.

Андрей ФИЛИНОВ

* * *

Ветры пепел с полей унесли,
И поля от пожаров остыли,
И окопы — морщины земли —
Тракторами разглажены были,
Чтобы дали ростки семена,
Чтоб ростки ощетинились колко…
Только скрипнет зубами война,
Когда лемех скользнет по осколку.

ВЕТЕРАН

В землю накрепко вросли костыли,
Он откалывает лед от земли.
Недолет ли, перелет — не смогли
Пули тело оторвать от земли.
Видно, время не хотело того,
Чтоб душа отлетела его.

Он на дре́ва обопрется, и вот
Содрогнется над ним небосвод,
Он склонится над миром челом —
В твердь вонзится сверкающий лом.
Он поднимет израненную плоть,
Чтобы лед от земли отколоть.

ХОХЛОВА (ПЕЧЁНКИНА) СВЕТЛАНА ИВАНОВНА. 1957 г. р. Член Союза российских писателей, ассоциации «Поэты Тюменской области», ТООО «Русская культура». Живет в г. Тюмень.

Светлана ХОХЛОВА

РАТНОЕ ПОЛЕ

Эти долгие версты войны
Наши деды в боях прошагали,
На защиту встав нашей страны,
Они Родину нам отстояли.
А на поле — огонь, гарь и мгла…
Третье ратное поле России![*]
Здесь под Курском громили врага,
Выходили из боя седыми.
Колосятся под солнцем хлеба
На земле сплошь пропитанной кровью.
Обелиски хранят имена
Всех погибших, дав им свою кровлю.
Отгремели давно здесь бои,
Отшумело немало метелей,
И поют на заре соловьи
Там, где танки когда-то горели.

ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА...

Давно закончилась война,
Была одержана победа.
Хранятся в семьях ордена,
Есть фото прадеда иль деда.
Они погибли на войне,
Страну родную защищая,
Любить нам Родину вдвойне
На поле боя завещая.
Мы жили просто все тогда:
Учились, строили, мечтали…
А по Европе в сапогах
Фашистов армии шагали.
Прекрасен, крепок был союз
Свободы, равенства и братства!
Переплетенье прочных уз —
Народа главное богатство.
Июнь, свои, забрав права,
Благоухал в садах и парках.
Никто не ждал: к нам шла беда

[*] Первое ратное поле — Куликовское, второе — Бородинское, третье — Прохоровское.

И поутру явилась залпом.
— Война! Будь проклята, война! —
Сердца неистово кричали,
И, как в былые времена,
На фронт любимых провожали…
Четыре года шли бои,
Страну родную отстояли.
Не допустите, чтоб враги
О Дне Победы забывали!
Горит огонь у стен Кремля.
Горит и всем напоминает,
Как славной армии солдат
Страну родную защищает.
Давно закончилась война,
Была одержана победа.
Хранятся в семьях ордена,
Есть фото прадеда иль деда.
В душе мы бережно храним,
Передаем все по наследству,
Погибших помним и скорбим,
Навечно память в нашем сердце.

ЦУКЕР БОРИС ЮРЬЕВИЧ. 1956 г. р. Школа 450 Курортного района Санкт-Петербурга. Член Союза писателей России. Живет в г. Зеленогорск.

Борис ЦУКЕР

* * *

Даниилу Гранину

Пожары в этот черный Новый год
Светили ночью, не тревожа холод.
Наш полк в районе Пулковских высот
Фашисту перекрыл дорогу в город.

Но, проведя сквозь минные поля,
Заставив всех изрядно удивиться,
Насмешливо блокадная земля
Прислала к нам в блиндаж двух пьяных фрицев.

Фельдфебель был угрюм и очень зол,
А лейтенант — веселый, как синица.
Он все кричал фельдфебелю: «Осел!
Пойми, дурак, нам это просто снится!»

Им жизни сохранил передний край,
И мы вели их в тыл, теряя силы.
А по дороге — умерший трамвай,
Который пассажирам стал могилой,

А по дороге — трупы на санях,
И дети, как ожившие скелеты,
И лейтенант шептал, скрывая страх:
«Не может быть! Мне просто снится это».

И мой напарник фрица меж бровей
Ударил — тут уж было не до шуток.
И закричал: «А ну-ка, комм скорей,
Пока еще не потерял рассудок!»

«А знаешь, — продолжал негромко он, —
Мы одолеем — в этом нет сомнений.
Но свалят все они на страшный сон,
Когда поставим гадов на колени!»

* * *

Он ни разу не ругнулся матом,
Даже если смерть была близка.
Рядовой Шовкат Абдусаматов,
Кашевар пехотного полка.

Был улыбчив, незлобив и ловок,
От войны не откосил ни дня,
И черпак нередко на винтовку
Без напоминания менял.

А еще, когда осколком мины
Выбило обозного коня,
Плов из неожиданной конины
Помогал почище артогня.

В феврале боец был так изранен,
Что искали смертный медальон.
В третьей рукопашной под Любанью
От полка остался батальон.

Выжил. И в далеком Самарканде
Старший внук, уже почти солдат,
Раз спросил за чаем на веранде:
«Он красивый, этот Ленинград?»

Дед коснулся пальцами медали,
На ладони покачал металл:
«Мы ведь просто город защищали,
Я его ни разу не видал».

* * *

У Ксении Егоровны всегда опрятный вид,
Хотя душа Егоровны отчаянно болит
За мужа, что отправился в небесные полки,
За сына, что на Муринский вернулся без руки.

Но Ксения Егоровна не требует покой
И медсестрой работает с болезными душой.
Ведь до Удельной ходу ей десятка два минут,
А там военнопленные строительство ведут.

Как первый раз увидела — чуть не сошла с ума:
Так ясно вдруг припомнилась блокадная зима!
Но скоро попривыкла к ним и замедляла шаг,
И немцы с ней здоровались: «Гут морген! Гутен таг!»

Ах, до чего отходчива блокадница-вдова!
Шагнула как-то к пленному, коснулась рукава
И подарила гансику — не дрогнула рука —
Вареную картошину и пачку табака.

Ругался сын отчаянно на следующий день.
Да норов у Егоровны потверже, чем кремень.
Приобняла увечного и, закурив «Казбек»,
Сказала: «Полно, Витенька: он тоже человек».

СИМФОНИЯ

Повсюду светофорные триоли,
Наполнен город ритмами оркестра.
Кричат гудков диезы и бемоли,
И машет жезлом лейтенант-маэстро.

Трамвай ритмично собирает ноты,
Дробя по стыкам болеро Равеля,
Тяжелый КРАЗ простуженным фаготом
Пыхтит, плетясь вдоль бровки еле-еле.

Поют свистки, как будто флажолеты,
И воет медью труб сирена «скорой»,
Глушитель дряхлый треском кастаньеты
Вокруг рассыпал оханье мотора.

Ну, вот и все. Скользят по снегу ноги,
Прими меня, тепло родного дома…
Не дай Господь симфониям дороги
Смениться мертвым стуком метронома!

ЭЛЬДЫШЕВ ЭРДНИ АНТОНОВИЧ. 1959 г. р. Народный поэт Республики Калмыкия. Председатель Калмыцкого республиканского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Элиста, Республика Калмыкия.

Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ

НЕИСПОЛНЕННЫЙ ВАЛЬС

Рассказ военной медсестры

Памяти санинструктора 28 Армии
Антонины Хониновой

Я знала дядю твоего
Могу признаться смело:
Мы с ним дружили...
Ах, всего
Полвека пролетело...

Постой, послушай. Я тебе
О дне прощанья с дядей —
Печальный знак в моей судьбе!
Все расскажу... Присядем.

Когда войны железный град
Ударил в стекла громко,
И я пошла в военкомат,
Учителка-девчонка.

А там людей полным-полно,
И юных и постарше.
Девчонки, парни — все равно! —
Сейчас готовы в марше

Идти на бой, куда зовет
И Родина, и Совесть,
И звонко музыка поет
О чьей-то славе повесть.

И духовой оркестр звенит,
Бабахают фанфары,
А у ребят беспечный вид,
Кружатся в танце пары.

Как будто вовсе нет войны
И смерти за плечами,
И этой слезной пелены
Пред нашими очами.

И вот тогда он подошел
Ко мне — Оджа, твой дядя,
Смущаясь, разговор завел,
В глаза несмело глядя:

— Давай станцуем, Тонь, с тобой..
— Не надо! Ой, ну что ты!
Ведь мы пришли сюда, чтоб в бой
Отправиться… Заботы

У нас другие быть должны…
— Да нет же, Тонь, послушай,
Я буду там, среди войны,
Подстреленную душу

Вот этим вальсом оживлять:
Полетом, счастьем, светом…
Тогда меня ничем не взять —
Ни пулей, ни наветом!

Вот так твой дядя говорил,
Взволнованно дыша,
Но я сказала: «Погоди,
Свой вальс тебе, Оджа,

Я в День Победы подарю,
А нынче, милый друг,
Я, как и все вокруг, горю
Бедой, тревогой… Вдруг —

Команда: «Р-рота, становись!»
И в криках, суете
Он шепчет: «Помню… Я — всю жизнь…»
Шагнул… Пропал в толпе…

О, сколько я прошла в боях —
Лихая круговерть!
В крови, коростах и бинтах
Пред мной плясала смерть!

Но вот пришла она, Весна
Победы над врагом!
И снова музыка слышна
И светел старый дом.

К военкомату в тот же час
На звуки духовых
Сошлись неспешно те из нас,
Бывалых, фронтовых,

Кто уцелел, переступил
Кровавую черту…
А запах — головы кружил,
А яблони — в цвету!

Гремели вальсы, и душа
Сама просилась в круг,
И плыли пары… Но Оджа,
Но где же ты, мой друг?!

Он не пришел к нам в этот час —
Пропал без вести он...
Не возвратился — вальс не спас! —
К себе в родной хотон.

О, неисполненный наш вальс!
Я все ждала, ждала...
Я проклинала свой отказ
Тогдашний, как могла!

А вдруг бы этот танец мог
Спасти... Помочь... — Как знать! —
Среди смертей, среди тревог
Солдату устоять?

Как смела я в последний час
Читать ему мораль...
О дивный вальс, летучий вальс!
Темна моя печаль!

Я и сегодня жду его,
Прощения молю.
Я знала дядю твоего...
И по сей день
Люблю!

Перевод Александра Соловьева

ЯКУНИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА. 1957 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Владивосток.

Галина ЯКУНИНА

НАСЛЕДИЕ

И все же тайна есть в моем народе,
И крест его ни с чем нельзя равнять.
Какие поколения уходят,
Нам только предстоит еще понять.

Их маем небывалым осиянны,
Ценой его стократ оглушены,
Сейчас мы открываем не романы,
А письма, песни и стихи Войны.

Великое и страшное наследство
Предсмертных и бессмертных этих строк
Послевоенным нам, послесоветским
Оставлено на самый крайний срок.

Чужим его присвоить невозможно.
Лишь наши дрогнут души и уста,
Узнав сквозь время, сквозь мороз по коже,
Сквозь слезы несомненного родства:

«Вставай, страна…» Неумолимый график
Смертей и смут диктует наш черед
Из песен отчих, писем, фотографий,
Из пепла на крови собрать *народ*.

ТРЕТЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Вдоль строя великих столетий
по главным дорогам страны
идут рядовые третьей
Отечественной войны.

Войны, о которой не знали,
что это война во плоти,
без боя почти все отдали,
почти проиграли… Почти.

Враг гением был. Но не ведал,
спеша уничтожить народ,
что, подло глумясь над Победой,
нам силу и ярость вернет.

Немного в истории нашей
столь грозных, отчаянных лет,
когда призываем мы павших
на помощь и на совет.

Когда в спину бесов несметных
в рассветный спасительный час
ударил полк *наших,* бессмертных —
Как нечисть рванула от нас!

Война не закончена эта —
и мы продолжаем идти
на запад, как шли наши деды.
Но верится: Русь до рассвета
почти достояла.
Почти…

V

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА

СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Александр РАЛОТ
Владимир ПЕЧНИКОВ
Людмила РОГОЧАЯ
Дина РЫЧКОВА
Виктория СЕМИБРАТСКАЯ,
Елена АДИНЦОВА
Павел СЫСОЕВ
Вячеслав ХАРЧЕНКО
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ
Баадур ЧХАТАРАШВИЛИ
Анатолий ЯНЖУЛА

РАЛОТ (ПЕТРЕНКО) АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. 1954 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Краснодар.

Александр РАЛОТ

КРЫЛАТЫЕ ШТРАФНИКИ

Имена и фамилии в этом рассказе придуманы автором, совпадение с реальными людьми — чистая случайность.

1942 год. Приказ Верховной Ставки № 227. «Ни шагу назад». Директива № 170549:
«Ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части летного состава».

3 июля 1942 года. Аэродром Мовино в Подмосковье

— Гляньте, хлопцы, яка цаца летит, — техник Подопригора, прикрывая ладонью глаза, второй рукой указывал на сверкающий в небе самолет, — такой на нашей кепке* отродясь не садился. Новехонький. Видать, прямиком с завода шпарит.

* * *

Через несколько минут истребитель ЛаГГ-3 уже аккуратно подруливал к заправочному комплексу. Высунувшись из кабины, пилот, перекрикивая шум мотора, приказал:

— Давай, заливай по самое не могу. На фронт спешу. Каждая минута дорога. Фрицам эту птицу во всей красе показать надо!

— Нету у меня таких правов. Туточки в заявке этой цацы нема. Надоть до командира сходить, чтобы, значит, вписал или хотя бы устный приказ… — Подопригора протянул пилоту листок.

— А такое разрешение тебя устроит? — крикнул летчик, доставая из кобуры табельный пистолет.

Тверь. Местный аэродром. Штабное помещение

Командующий воздушной армией проводил оперативное совещание.

Скрипнула дверь, и молоденький лейтенант-связист, стараясь не привлекать к себе внимания, положил перед генералом расшифрованную телеграмму.

«На Горьковском аэродроме захвачен новейший истребитель.

Летчик-испытатель Петр Федотов дезертировал. Произвел несанкционированную дозаправку в Мовино и улетел в направление Калининского фронта».

* Синоним слова аэродром.

Генерал был лично знаком с шальным летуном. Сам вышел к только что приземлившемуся и окруженному охраной аэродрома истребителю.

К удивлению солдат и офицеров, приказал арестованного немедленно освободить, после чего обнял пилота, громко, чтобы все слышали, произнес:

— Долетался, Петя! ЛаГГи воруешь? За это, сам понимаешь, полагается тебя под трибунал отдать.

— Товарищ генерал! А что оставалось делать? Месяц конструктора Лавочкина забрасываю рапортами: отправьте на фронт! А Семен Алексеевич ни в какую. Вот я со штатного испытательного полета и рванул в Тверь своим ходом. Между прочим, к вам летел, за помощью.

— Герой-дезертир! Надо же! — командующий снял фуражку и почесал затылок. — Пока суд да дело будешь служить инструктором. Ставка формирует специально для таких как ты штрафные эскадрильи. Как только закончит, отправишься прямиком туда, вину искупать!

Кремль. Из доклада командующего ВВС Красной Армии

«Из четырехсот истребителей, выделенных для участия в операциях фронтов, за пять дней боевых действий сто сорок самолетов вышло из строя, в том числе восемьдесят девять — по техническим причинам».

Решение Ставки

«Усматриваем в этом «наличие явного саботажа со стороны летного состава. Изыскивая мелкие неполадки в самолетах, некоторые пилоты таким образом уклоняются от боя».

Август 1942 года. Кабинет Верховного главнокомандующего

— Товарищ Сталин, как вы и просили, здесь сводка по летчикам, нарушившим устав и совершившим иные должностные преступления. Все наказаны и отправлены в штрафные батальоны… — офицер Генштаба положил на стол папку с документами.

Хозяин кабинета на нее не взглянул. Раскурил трубку и подошел к окну.

— Мы тратим на подготовку этих разгильдяев немалое количество времени и средств. Как бы то ни было, они летчики. А некоторые из них даже ассы*. Зачем же их в окопы? Эту практику надо запретить и немедленно. Пусть искупают вину в небе. Для них мы создадим специальный институт штрафных эскадрилий.

---

* Ас (*фр.* as — туз; первый в своей области) — военный пилот высшего класса.

Штаб одной из воздушных армий

Седовласый майор-кадровик поочередно раскрывал папки с личными делами летчиков, откомандированных в создаваемую штрафную эскадрилью, и читал вслух:

— Младший лейтенант Валентин Рублев, проходил службу в истребительном авиаполку. Был замечен в пьянках, в одной из которых пустил в ход табельное оружие. Совершил столкновение с другим самолетом при посадке. Приговорен военным трибуналом к десяти годам. Однако ввиду отсутствия места отбывания наказания вернулся в полк, прошел переучивание на новую боевую технику, — офицер захлопнул папку, передал ее командиру эскадрильи и открыл следующую.

— Находясь в краткосрочном отпуске, офицер Корнаухов отправился в гости к тыловикам, где, придя в ярость, разбил дорогую посуду, а сервант с хрусталем опрокинул на майора интендантской службы. Лишен офицерского звания и всех наград. В чине красноармейца проходил службу в штрафбате на Ораниенбаумском плацдарме, после чего откомандирован к нам.

* * *

У старенького барака, служившего казармой для штрафников, выстроились его обитатели. Командир эскадрильи, моложавый подполковник, проходя перед летчиками, вглядывался в лицо каждого. Обойдя шеренгу, скомандовал:

— Смирно! — затем с минуту помолчав, продолжил:

— Изучил документы. Решением трибунала вы лишены воинских званий, кроме одного — рядовой Красной Армии, то есть солдат. Но не простой, а летчик. И еще вам оставлено одно право и обязанность: смыть позор и искупить вину в бою.

Он хотел еще что-то добавить, но его перебил один из стоящих в строю:

— Кроме этого у нас еще какие-нибудь права имеются?

Полковник подошел вплотную к наглецу и сухо произнес:

— Нет! Но вы остаетесь пилотами, и священное право летать у вас никто не отнимал!

— А награды за сбитые «Юнкерсы» будут? — раздалось с другого конца.

— Ставка не разрешает представлять штрафников к государственным наградам, вам также не полагается денежное вознаграждение за боевые заслуги. Более того, пребывание в штрафной эскадрилье не засчитывается в срок, определяющий присвоение очередного воинского звания, — командир сделал два шага назад и стал так, чтобы его было видно и слышно всем присутствующим. — Еще вопросы?

— А если собьют, тогда как? — пробасил рядовой с седой головой.

— Семье назначат пенсию из оклада по последней занимаемой должности до направления в нашу эскадрилью.

Из приказов по армии

«28 февраля 1943 г. сержант Котенко Борис Борисович при штурмовке высоты 101 попал под сильный заградительный зенитный огонь. Несмотря на то, что были перебиты тяги и пробиты бензобаки, бомбы положил точно в цель, после чего посадил самолет на линии фронта и под пулеметным огнем лично эвакуировал его на 20 км в тыл».

«При выполнении боевого задания 28 марта 1943 г. на самолете У-2 пилот старшина Казарянц Владимир Егишевич, будучи обстрелянным зенитно-пулеметным огнем, получил ранение в ногу и, истекая кровью, привел самолет на свой аэродром».

«Пилот сержант Смирнов Георгий Кузьмич при выполнении боевого задания на самолете У-2 15 февраля 1943 г. был подбит над целью, получил осколочные ранения в руку и ногу, несмотря на боль, посадил поврежденный самолет под минометно-пулеметным огнем у линии фронта, после чего эвакуировал его в тыл»*.

* * *

За пять лет войны не зафиксировано ни одного случая, когда бы летчики-штрафники перелетали на сторону противника, несмотря на то, что такая возможность была у каждого из них!

* URL: http://old.redstar.ru/2008/01/16_01/4_01.html

ПЕЧНИКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ. 1963 г. р. Методист Петропавловского РДК. Член литературного межрегионального объединения «Живое слово автора». Живет в Воронежской области, Петропавловском р-не, с. Петропавловка.

Владимир ПЕЧНИКОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК И ВОРОН

Черными дымами давились города, горели растерзанные поля, пылали беззащитные села. Торопилось шибко коричневое войско, непонятный говор лился на восток, чужая песня пелась, тоннами сталь скрежетала по израненным в кровь дорогам. А наделали той стали тьму-тьмущую, да все на смерть — на погибель людскую.

«Будь здрав, сынок, — читал Федор письмо, бог весть как попавшее на передовую, видно командование решило взбодрить солдат перед сражением. — Пишет твоя мать Прасковья Спиридоновна. Живем мы, как бог дал. Бабой-солдаткой теперича прозывают. Убили батьку твово на войне проклятой. Мы-то здоровы. Вот только дед твой помер и твоя Татьяна тоже. От горя померли оне. Детишек, Тимошку и Матвеешку, что перед войной народились, бомба убила вместе с домом вашим. Да бог прибрал твоих сестриц малых Марью и Катерину. Отмучились. На том свете им легче будет, сынок. Мы ничего. Тобой тока и живу ишо. Собрали желудей. А у других и того нету».

«Что это? Почему? За что так?» — словно камнем каким придавило голову с мыслями проклятыми, с болями невыносимыми. Нахлынуло горе лавиной, сметая все на своем пути. В миг один душевная пустота образовалась, рухнули в одночасье надежды на будущее, терпение вместе с ними. «За кого воевать-то? — мычал Федор, уткнувшись лицом в землю. — Был бы там-то, хочь всяко выручил… От голода хочь бы!» — ревел он навзрыд.

— Пули схотел, боец?! — орал лейтенант-особист, оказавшийся случайно рядом. — Под трибунал за речи таковые! Мы за Родину! За всех нас!

— Уйди, гадина! — взревел дико Федор! — Пришибу!

— Ты… Перед боем… — передернул пистолет особист…

Федор приподнялся, сверкнул глазищами и стал наваливаться всем телом, пытаясь громадной пятерней на вытянутой вперед руке отодвинуть от себя подальше опостылевшую морду орущего на него зверя. Бах! — выстрел прогремел совсем неожиданно. Пуля вышибла глаз у Федора напрочь. Бойцы, поздно спохватившись, опрокинули лейтенанта на землю.

— Стоять! — орал тот, извиваясь змеищей. — Я вас всех…

— Охолонь маненько, гаденыш! — кричал один из старых вояк. — Вяжи яво, робяты. Видели все и знаем, как было.

— Отставить! — приказал подбежавший командир взвода.

— Жди атаки! Особиста развязать и под арест! Я с вами!

Вражеская артподготовка не заставила себя долго ждать — началось… Разве для того родят детей, чтобы они снопами лежали на полях? Снаряды рвались, словно готовя пахоту под посев, таким

вот диким ужасным способом. Следом пошли танки… Со всего взвода в живых остались только раненый в голову Федор и особист — привалило в блиндаже. Под утро их откопали в результате массированной контратаки.

— Я тебя из-под земли достану, тварь! — очнувшись, неистово рычал Федор, плюясь кровью на лейтенанта, когда вытащили из-под завала. — Лучше бы меня там убило!

В лазарете стало ясно, что левую руку не спасти. Доктор с сожалением отвернул от тела руку раненого, сдавленную в блиндаже бревном и висевшую словно плеть. Пришлось ампутировать. Пуля же прошла через висок навылет, выбив глаз.

Федор не стал рассказывать правды. Побоялся. На вопросы отвечал, что не помнит ничего. Получил орден. Искал врага заклятого — не нашел. С того момента особист исчез из поля зрения на всю оставшуюся жизнь. Далеко после войны Федор увидел однажды портрет в газете со знакомым лицом и знакомой фамилией. Это было лицо первого секретаря обкома одного из областных центров.

— Ну что, рок судьбы моей, — спрашивал Федор ворона, сидящего на заборе. — Эх ты, предвестник огорчений, найти што ль ево-та? А? Как думашь? Придушить бы…

— Каррр… — качал головой ворон.

— Куды мне, инвалиду… Тама, — показывал Федор на проплывающее облако, — тама я с ним беседу проведу по всем вопросам жизни и смерти, по всей политике партии сагитирую.

Несмотря на свой возраст, а уже девяносто на горизонте маячило, Федор суетился по неказистому дому с земляными полами, хлопотал с одной рукой по огороду, печь топил, пока газ не подключили за счет государства. Нет, конечно, не давала страна мучиться в деревенских условиях, квартиру власти подарили однокомнатную в элитном квартале большого города. Квартиру эту Федор подписал деревенской Катьке из детдома, когда та забеременела неизвестно от кого и ютилась в лачуге-развалине, что ей выделили по известной программе.

— А на что мне она, квартира? — улыбался Федор. — Помереть в том городе, что ли? Детишки пусть растут. Войны давно нет, а оне мыкаются.

— Каррр, — как будто слов других не знал, отвечал одобрительно ворон.

Ворон тоже постарел. Его Федор еще мальчонкой в деревне приметил. Прыгал в реку с обрыва вместе с другими пацанами, а с дерева вороненок свалился на голову. На ветку в самодельное гнездо посадил его Федька, что сам соорудил из травы и веток. На следующий день пришел малец, чтобы проведать птенца, а гнездо на земле валяется… Уже забывать стал, вдруг к концу лета заявился ворон. Уселся на плетень, поздоровался:

— Каррр!

Сразу его узнал мальчишка, взвизгнув от радости. Так и подружились. На следующий год ворон пропадал незнамо где и вот вновь появился, да не один, а с вороной. Многие годы ворон и Фе-

дор встречались редко. Что поделаешь, ведь у каждого были свои заботы. Чаще они стали встречаться, когда Ворон потерял верную подругу. Деревенские ребята баловались с самострелом да и подстрелили серую. Федор крепко побил своего дружка за это дело, но ничего тут не поделаешь…

— Что, дружище? — спрашивал Федор птицу, прилетевшую в очередной раз к бочке с водой, а ее наш герой возил на конике колхозникам в поле. — Жив еще, каркаешь на воле?

— Каррр!

К Татьяне, девушке-красавице, прежде чем Федор стал отношение иметь, тот самый ворон стал подлаживаться. Танюшка бежала с коромыслом на плече, повизгивая ведрами, к колодцу деревенскому. А Ворон задиристо уселся на верхотуре жердины журавля и спокойно так и важно наблюдал за молодухой.

— Кыш! Кыш, оторва! — кричала та, махая ведерками.

Куда там!

— Каррр! — только и услышала.

Дернула Танюшка журавля из стороны в сторону, вот ворон и взмахнул крыльями, но тут же обратно уселся. Взлетел. Встал на крыло. Дождался, когда одно ведро достали из колодца, и снова за свое. В другой раз у клуба — ровно над Танюшкой ворон уселся на крыше, а тут и Федор заявился прогуляться в вечер. На другое лето ворон наблюдал со своим вороньим любопытством Танюшку, как та, счастливая, радовалась своим первенцам-двойняшкам, кареглазым, розовощеким, как мама, сынишкам. «И че тут радоваться? — думал ворон, а сам удовлетворенно мотал из стороны в сторону клювом. — Вон у меня сколько их, воронят, а где теперь они? И где ворона моя верная?»

— Каррр!

— Не каркай, — радовался и Федор, — живи, дружище, у тебя еще все впереди.

Улетел ворон. Улетел надолго. Явился он только в тот момент, когда Танюшка со слезами на глазах, с распущенными волосами на ветер, бежала по пыльной дороге — Федора на фронт провожала. Упала. Билась она в пыли в истерике. А ворон к поезду помчался, только вот отстал от него. А потом над Татьяной кружил долго, переживал по-вороньи.

Явился Федор с войны без руки и без глаза. Посмотрел на огромную яму, что бомба вместо хаты ему оставила. Сходил на могилы всех родных, к тому времени и мать ведь померла — не дождалась. Горько плакал Федор. Поднял единственный глаз, а на вершине деревянного креста ворон сидит, клюв повесил. Услышал Федор с щемящей болью, что въелась в сердце, уже не «Каррр», а как будто ворон и в самом деле говорил:

— Неутешными вдовами вдруг пошли по земле нашей печаль и прощание. Плакали в каждом дворе, не только в нашем. Чаще всего я слышал страшное слово «война». Люди радовались приходу почтальона — приносил треугольники из бумаги. Почему же, думал я, не носит хромой человек почаще эти бумажки, раз люди радуются? Не знал я, что они приносят не только радость,

но и большое горе. Бабы читали и, отчаянно вскрикнув, падали там, где стояли, рвали на себе волосы, прижимали к себе детей и долго-долго вздрагивали всем телом. А еще я видел этих баб, идущих к колодцу в черных платках, из-под которых выбивались пряди волос, посыпанные мукой. И ты увидишь много вдов и детей-сирот, может, чем-то им поможешь… Ведь у них к материальной нищете прибавилась душевная яма.

Вот и жил-был после этого Федор с одной рукой и без глаза, помогая, чем мог, окружающим его людям, у которых война отняла все, что имели. Жил и ворон, то улетая надолго, то возвращаясь. Оба радовались друг-другу при встрече, как единственному родственнику, оставшемуся на белом свете.

— Привет, старый! — кричал ворон, усевшись на крыльцо, завидев Федора, решившего с утра выйти в огород.

— Живой ишо? — спрашивал тот, улыбаясь.

— Я до трехсот лет могу, — каркал ворон, — а сам-то?

— А может, и я могу… Вишь вон, все живу как-то…

Старик и ворон сидели себе возле неказистой хаты, прислушиваясь к улице, к ветру, который менял и менял белые с серыми взлохмаченные облака вместе с погодой.

РОГОЧАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА. 1949 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Краснодарском крае, станице Кущёвская.

Людмила РОГОЧАЯ

Я С ВАМИ

Сталинград стоял. Разрушенный, искореженный, с черным от копоти и красным от крови снегом и затянутый густым дымом пожарищ. Победы еще не видно, но вера, вопреки здравому смыслу, жила в сердце каждого бойца и командира.

Поредевший взвод младшего лейтенанта Хвощева оборонял госпиталь, в котором еще оставались несколько десятков раненых и врачей. Солдаты падали от усталости и недосыпания. Почти до утра они выбивали немцев с территории ремонтно-механического завода и надеялись, что после эвакуации госпиталя им дадут, наконец, выспаться.

Алексей Инин, призванный в армию перед войной, несмотря на свои двадцать два года, считался опытным бойцом. Именно поэтому Хвощев послал его ликвидировать пулеметную точку противника, мешающую полной эвакуации госпиталя. Усилиями взвода дорога, пусть временно, была расчищена, и только одинокий пулеметчик, расположившись в доме на другой стороне улицы, в бывшем общежитии техникума, все строчил и строчил.

Пока ребята по приказу взводного отвлекали внимание немца, Алексею удалось незаметно подобраться к дому. Забросить в окно гранату он не мог — второй этаж. Значит, надо пробираться туда и зайти пулеметчику со спины. Да, недаром командир понадеялся на него. Алексей повесил автомат на плечо, ловко по водосточной трубе поднялся на второй этаж и влез в окно с выбитыми стеклами.

Длинный коридор… В какой же комнате пулеметчик? И вдруг четко из одной из открытых дверей донеслось: та-та-та! Осталось только забросить гранату.

Довольный выполненной работой, боец спустился на первый этаж и вышел через парадную дверь.

Вражеская пуля сбила его с ног. Кажется, задела. Он прислушался к своему организму. Особой боли не было. Разве что саднило голову и шапку сбило. Стреляют из того же здания, только из другого окна. Значит, там еще остались фашисты. Но все равно надо уходить с открытого пространства. Он, по-пластунски двигаясь, замирая и вновь продолжая движенье, оказался, наконец, у фундамента разбитого здания. Сделав рывок, Алексей перебросил ноги, через фундамент и лег. Тут даже снайпер не достанет.

Кровь застилала глаза. Он пошарил рукой вокруг себя и наткнулся на что-то мягкое, сквозь залипшие ресницы увидел тряпку. Вытер ею глаза и понял, что у него в руках никакая не тряпка, а детская кукла. Наспех сделанная, с нарисованными чернильным карандашом глазами и ртом, завернутая в замызганный лоскут бумазеи со следами крови, по-видимому, его…

Где сейчас та девочка, что играла ею? Жива ли?

Алексей закрыл глаза. В памяти всплыл затуманенный образ дочери.

Тонечка, Тошечка-Антошечка…

Он вспомнил, как засияли глазки у маленькой, когда жена ей сшила куколку, как она заворачивала ее вот в такие же лоскутки. Глаза Алексея наполнились слезами нежности и умиления.

Когда же придет победа?! Когда наступит мир? О господи, как хочется обнять мать, жену, дочку, напиться воды из деревенского колодца, поесть домашних шанежек с густой сметаной и думать о простом, мирном, обыденном… О том, например, что пора перебирать картофель на посадку или высеивать овощи на рассаду. Только это очень далеко и нескоро… Глаза слипались.

Нет, надо туда, к товарищам. Алексей заставил себя подняться, огляделся. Вроде тихо. Можно идти.

И тут тишину нарушил гул мотора вражеского бомбардировщика. «Мессершмитт» — определил он и распластался на разбитом полу разрушенного дома. И тут раздался взрыв…

* * *

Больно, очень больно. Невыносимо. Кажется, тело разрывается на куски…

Мелькнуло в мозгу: «Лучше умереть».

И боль ушла. Стало необъяснимо легко, как будто душа отделилась от тела.

Да-да, он вдруг увидел свое разорванное тело. Но оно не вызвало у него печали, как следовало ожидать. Оно лежало, неестественно перегнувшись, забросанное камнями и штукатуркой, с широко раскрытыми, устремленными в небо глазами…

Потом он увидел улицу, госпиталь, откуда выносили и выводили раненых и грузили их на машину. Он даже узнал лейтенанта Хвощева, который махал руками и что-то кричал. И Шурочку, санинструктора, восемнадцатилетнюю девчушку с непослушными кудряшками, то и дело выпрыгивающими из-под армейской шапки. Она с трудом тащила к машине деревянный ящик с медикаментами. «Хоть бы помог кто…» — подумалось Инину, и его будто услышал верный боевой товарищ Федя Ежиков, перехвативший ящик из рук Шурочки.

А вот уже весь город под ним. Разрушенный, задымленный, с очагами пожарищ и черными обугленными остовами строений.

И тысячи его товарищей бросаются на врага, обороняются, прорывают окружение, погибают…

Алексею хочется крикнуть: «Держитесь, ребята! Я с вами!» Но он не может крикнуть. Зато его душа действительно с ними, идет в этот, для кого-то, быть может, последний бой.

К небу от земли поднимаются тысячи святящихся точек, и чем выше поднимается Алексей, тем этих светлячков больше. И все они в едином порыве, как и он, Алексей Инин, жаждут победы для тех, кто там остался, кто может держать в руках автомат. И с этой

небесной поддержкой бойцы становятся крепче, сильнее, бесстрашнее, словно в одном строю с живыми на врага идут и мертвые…

* * *

После полной эвакуации госпиталя взвод перевели на новый рубеж.

Проходя мимо разрушенного здания, один из солдат заметил тело Алексея.

— Товарищ младший лейтенант, смотрите, наш Инин!

— Санинструктор, за мной! — воскликнул Хвощев и бросился к бойцу.

Слов не было. Он снял шапку. Все молча сделали то же самое. И только санинструктор Шурочка наклонилась над солдатом и подняла окровавленную тряпочку с нарисованными глазками и улыбающимся ртом.

— Куколка, — прошептала она дрожащими губами и заплакала.

РЫЧКОВА ДИНА МИХАЙЛОВНА. 1959 г. р. Учитель. Член республиканского отделения Союза писателей России в Республике Марий Эл. Живет в с. Марисола Сернурского района, Республика Марий Эл.

Дина РЫЧКОВА

СОН? ИЛИ…

Стояла июньская жара. Как обычно, как всегда, мы шли по своему указанному маршруту. Задание тоже вроде бы обычное: найти место гибели раненых солдат. На первый взгляд кажется, что легко. Но!.. Как? Где?

Поиски наши не увенчались успехом. Вот уже целую неделю кружимся в одном квадрате. Бойцы мои даже приуныли. Вот и сегодня устали до изнеможения. Поставили палатки, кое-как поужинали и сразу же растянулись во сне. А я подкинул в костер сухих подобранных веток и снова достал маршрутную карту, начал разглядывать уж сотый раз: «Ну где вы, ребятки? Где вы, раненые солдаты, которых в спешке наступления не успели эвакуировать в госпиталь?»

Я сидел у костра, смотрел в огонь и представлял, как советские солдаты бегут в атаку. Кругом грохот снарядов, свист пуль… Вижу, как падают наземь раненые… Вижу, как медсестры перевязывают их, взваливают на себя крепких вояк и ползут в безопасное место… Да еще тащат винтовки иль автоматы, потому что нельзя оставлять оружие никогда. Таковы военные правила.

Вот представляю, как собирают раненых в одном укромном месте, где-нибудь в ложбинке иль овраге… Вот сестричка подносит к губам ребят фляжки с водой, а может, даже со спиртом, чтобы облегчить страшную боль… Многие без сознания… О-о-ой как страшно! Мурашки бегут от своих же представлений! Ой, страшно!

Языки пламени поднимаются ввысь, разлетаются искры. Я дежурю у костра, охраняю сон своих товарищей. Да все мы теперь уж не товарищи даже, а настоящие родные братья! Сколько дорог пройдено нами! Сколько имен вернули из забытья! Пусть отдохнут мои родные, завтра снова поиски.

Вдруг замечаю — к моему костру приближается человек в шинели. Погоны офицерские. Пряжка заблестела на огне. На голове фуражка с красной звездой.

— Здорово, браток, — слышу спокойный голос.

— Здравствуйте. Присаживайтесь к огню. Вот чаек с травами, — предлагаю я. И почему-то ничему не удивляюсь.

— Махорочку бы, а?

— Махорочку мы не курим, да сейчас и не продают уж ее, — засмеялся я. — Вот у нашего Генки «Мальборо» в кармашке рюкзака, сейчас достану.

Офицер взял сигарету, с любопытством осмотрел ее и вернул обратно:

— Лучше махорки ничего нет.

Тогда я протянул кружку с крепким чаем. Он взял обеими руками. Показалось, что он греет руки. И вообще, было такое впечатление, что он сильно замерз и радуется теплу костра.

— Долго же мы ждали вас, ребятки, ой, долго… — вдруг произнес человек. — Тогда вот не дождались. А сейчас рады вам. Теперь люди будут знать о нас. А вот ты, браток, понимаешь? Оказывается, очень плохо быть без вести пропавшим. Очень! Командиры не знают, куда нас причислять, — то ли к погибшим, то ли к пропавшим. А куда пропавшим? Может, струсившим и сдавшимся… или к дезертирам… Кто такой без вести пропавший? И дома не знают, что и как думать. Дома до сих пор еще ждут живыми. Похоронки-то не было.

А мы вот до сих пор и лежим тут, в овраге, куда перетаскали нас на своих хрупких плечиках наши ротные сестрички. «Потерпите, миленькие… Потерпите, родненькие…» — говорили они, глотали слезы и уползали за другими ранеными. А потом вовсе и не пришли — их тоже убили фашистские пули и снаряды.

Живые бежали в атаку, вперед, прогоняли врага с родной земли. Потом обозники на поле боя искали, собирали раненых и погибших. А мы были в овраге. Сестры думали нас забрать после боя, но сами погибли. А остальные не знали и не заметили нас. А зима была холодная. Все раненые за ночь окоченели. Потом нас укрыло снегом. Под снежным одеялом было, конечно, тепло. Но мы уже не дышали.

Хорошо, что вы пришли сюда. Теперь я спокоен. Теперь родные моих солдат да и все будут знать, что мы никуда не сбежали… Мы просто погибли. А солдаты мои воевали геройски! Они настоящие герои! Перед наступлением я всем своим солдатам раздавал медальоны, чтобы написали свои имена и не теряли их. Медальоны эти у них у всех в карманах гимнастерок. Вы их обязательно найдите и сообщите их родным. Пусть все знают, что они честно сражались за свою Родину!

Вот завтра утром идите в сторону того леса, спуститесь вниз, в овраг, и ищите моих солдат под кустиками. А я лежу чуть повыше них, на возвышении. Просто я выполз из оврага, чтобы позвать на помощь, чтобы крикнуть, когда будут проходить обозники. Да не дождался я никого… А вас дождался, очень хорошо! Я специально пришел сказать тебе об этом, командир. Я теперь спокоен. Я спокоен теперь… Солдаты мои будут найдены. Они все герои…

Офицер встал, еще раз потер руки над костром, будто грел их. И направился в сторону указанного им леса. На спине было отчетливо видно кровавое пятно. Он повернулся ко мне и ясно сказал:

— Я буду ждать вас на пеньке, как и всегда…

— Постой, сигару-то возьми! — протянул я ему сигаретку.

Он не обернулся. Скрылся в лесу.

— Ты что, командир, я же не курю… — услышал я голос своего заместителя. Чур! Я открыл глаза. Из палатки выползал мой боец. Небо уже алело, значит, скоро утро. Я огляделся. Напротив меня, по ту сторону костра, стояла кружка с чаем. Неподалеку лежала пачка сигарет с одной сигаркой наверху.

Я вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, куда ушел офицер. Мне показалось, что он ждет меня, что он смотрит мне в глаза.

— Подъе-е-м! — крикнул я во весь голос. — Строиться!

Мои бойцы с удивлением смотрят на меня. Кто надевает форму, кто берцы…

— Быстрее одеваемся! Берем инструменты и вперед за мной! Двое остаются дежурить, готовить еду! Бегом за мной!

Я бегу в сторону леса. Ребята за мной. Вот и овраг. Внизу кустарники. А вот на пологом склоне и пень! Я остановился как вкопанный. Почему-то мне показалось, что трава у пня потоптана. Да и на самом пне не было ничего такого, но мне он показался гладким, будто на нем часто сидели… Дыхание мое остановилось. Неужели это и вправду! Да неужели я сегодня разговаривал с погибшим командиром?!

Я выхватил из рук своего бойца металлоискатель и начал шарить вокруг пня. Чуть пониже мой аппарат запищал.

— Скорее, братцы, он тут!

— Кто он?

— Их командир! Он ждал нас! Он очень долго ждал нас! Я видел его! Я разговаривал с ним!

Мои бойцы внимательно посмотрели на меня. Видимо, даже испугались моему состоянию. Чтобы их успокоить, я сказал:

— Я видел сон. Это он привел нас сюда.

Ребята не первый раз встречаются с такими необычными случаями и облегченно вздохнули. Начали осторожно копать. Да и копать-то не надо — тут же вышла кокарда фуражки с красной звездой, остатки погонов с маленькими звездочками, бляшка с остатками ремня, почему-то не офицерского… Остатки командирского планшета и ложка тут же, с буквами. А вот и медали, ордена… Кости… А вот самая ценная находка — медальон. Открывать его на воздухе нельзя. С ними работают в лабораториях. Нашли подошвы сапог. Все сложили в специальный пакет.

— Прости нас, командир, что мы так долго не приходили к вам. Прости. Теперь мы нашли вас, — молвил я.

— А теперь спускаемся вниз, ищем под теми кустами, — сказал своим бойцам.

Наш металлоискатель пищал долго. Все раненые, видимо, лежали отдельно друг от друга, рядышком. Поэтому нам легко было находить скелеты и вещи. Да они и не были зарыты в землю, просто их никто не находил в дальнем лесу. Просто они были укрыты слоями опавших листьев. Каждого складывали в отдельный пакет. И действительно, у каждого находили медальон. Это очень радовало нас. Ведь мы возвращали людям, их родным, без вести пропавших отцов, братьев, сыновей. Настоящих героев!

Когда сложили рядами два десятка пакетов с их командиром вместе, я по обычаю налил своим бойцам по пробке водки.

— Благодарность вам от нашего поколения, дорогие советские солдаты. Спасибо, что защитили нашу Родину. Простите нас, что так долго ждали, простите.

Помянули. Выпили. Занюхали, как полагается, черным хлебом, закусили. На душе было грустно. Оттого, что находим не живых. Но было и радостно. Потому что вернули имена героев из безвестья.

К ночи подъехали военные грузовики с красными гробами. Июньские ночи светлые. Мы сложили в белые простыни все скелеты, как полагается, пронумеровали, чтобы затем определить имена солдат.

Эксперты не заставили ждать. Вскоре на Мемориале Славы в близлежащем поселке появилось двадцать новых могил с именами погибших героев. А к их родным и в военкоматы страны полетели извещения — весточки с прошедшей войны.

И пусть эти весточки напомнят молодому поколению, что за свою Родину всегда нужно сражаться, бороться! Что нужно всегда быть готовыми к защите Отчизны! И пусть былые герои остаются примером мужества и отваги! Всегда нужно помнить о прошлом, чтобы настоящее и будущее обходились без потерь!

Вот я и рассказал одну историю из нашей поисковой практики. Я до сих пор не могу понять, было ли это наяву или это все же сон? А сколько еще таких без вести пропавших солдат по нашей родимой земле, где шли бои! А они, оказывается, ждут до сих пор! Ждут, когда их найдут! О Всевышний, сделай так, чтобы никогда не было наших без вести пропавших солдат!!!

СЕМИБРАТСКАЯ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. 1976 г. р. Член Союза писателей ДНР. Живет в г. Донецк.

АДИНЦОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. 1974 г. р. Член Союза писателей ДНР. Живет в г. Донецк.

Виктория СЕМИБРАТСКАЯ
Елена АДИНЦОВА

КАТЮША

1

Иван Кузнецов отложил в сторону мел и щеточку. Начищенные медали и латунная пряжка на ремне горели зеркалом, поймавшим солнечный луч. Офицер окинул придирчивым взглядом парадную форму и, не найдя в ней изъяна, подошел к окну. Распахнул скрипучую створку и выглянул на улицу. Холодный ноябрьский воздух ворвался в комнату, наполнил ее чужими запахами и звуками.

Сегодня ровно полгода, как я застрял в этом пряничном австрийском городке, отметил про себя Иван, так и не дошел до Берлина, зато дожил до Победы. А это уже немало. Мысли мелькали отрывками, затеняя волнение, охватившее мужчину.

Где же носит этого мальчишку? Между пшеничными бровями пролегли две глубокие бороздки. Неужели что-то случилось? Ну не мог Люка опоздать в такой день. Праздничный концерт в Доме офицеров — событие нерядовое. Сколько времени репетировали, и что теперь? Иван бросил взгляд в угол комнаты, где на венском стуле стоял трофейный аккордеон, и вспомнил день знакомства с маленьким артистом.

По улицам оживающего под майским теплом Айзенштадта далеко разносился задорный голос аккордеона. Красноармейцы где-то раздобыли инструмент. Для командира постарались, знали, скучают пальцы музыканта по клавишам, да и самим хотелось песни. Почему не спеть, если на душе хорошо? Скоро домой.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой*.

Иван аккуратно опустил аккордеон на землю, взял видавшую виды алюминиевую кружку. Удержать в руках кипяток было невозможно, отставил в сторону. Развернул складной нож. Лезвие приятно заскрежетало по окружности металлической консервной банки. Нос защекотал аромат приготовленного мяса. Аккуратно отрезал ломоть серого хлеба и намазал тушенкой. Сделал длинный вдох, наслаждаясь моментом. Прикрыл глаза.

Как там соседка Маша? Наверное, совсем взрослая стала. Помнит ли, как в переглядки играли? Смутившись мыслям, Иван улыбнулся почти детской улыбкой. Двадцатидвухлетний младший

* В рассказе использованы стихи Михаила Исаковского из песни «Катюша».

лейтенант, гордость заводской самодеятельности, сегодня командир взвода. Домой вернусь — женюсь, птицей трепыхнулось сердце.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла*.

Иван раскрыл рот, намереваясь разделаться с приготовленным солдатским бутербродом. Рука с хлебом остановилась на полдороге. Напротив на бордюре сидел мальчонка лет восьми в сером чистом костюмчике. Из-за бледности и худобы личика зеленые глаза казались огромными. Не мигая, пацан смотрел на Ивана.

— Эй, иди сюда, — офицер поманил ребенка, — иди, не бойся!

Мальчик нерешительно заерзал, но с места не двинулся.

— Голодный, бедолага? Возьми, — Иван вытянул руку со своей нехитрой снедью перед собой, — я поделюсь, иди!

Мальчик неторопливо встал и осторожно шагнул навстречу. Налетевший ветерок подтолкнул ребенка в спину, взъерошив аккуратно причесанные русые волосы.

Мальчонка приблизился к младшему лейтенанту. Тонкая рука потянулась за хлебом.

— Катюша? — малец повторил только что пропетое Иваном различимое слово.

— Катюша-Катюша, — звонко рассмеялся командир и уверенно вложил сдобренный тушенкой хлеб в детскую руку. — Ешь и расти большой. Как зовут тебя?

— Катюша, — повторил парнишка фортовое, незнакомое слово, откусывая добрый кусок от внезапного угощения.

Никогда не угадаешь, чем обернется случайная встреча. Маленький Люка привязался к Ивану Кузнецову. Каждый день пацаненок бежал через весь город к русскому офицеру. Мать мальчика, фрау Мозер, узнав о том, куда исчезает ее сорванец, устроила ему взбучку и настрого запретила посещать «русских варваров».

Боевого офицера Красной Армии и маленького австрийского мальчика объединила любовь к музыке. В свободные от службы часы Иван не расставался с аккордеоном, а Люка всегда носил в кармане губную гармошку. Пацаненок удивлял сообразительностью. На лету схватывал мелодию, запоминал труднопроизносимые русские слова.

Маленький австриец обладал красивым голосом. Так неожиданным образом сложился дуэт. Иван аккомпанировал на аккордеоне, а Люка пел. Дискантом выводил «Катюшу» так, что бывалые бойцы задумчиво качали головами: «Немчонок, а русскую песню чувствует. Эх, война, проклятая…»

За окном проехала телега местного старьевщика. Тягучий звук плохо смазанных колес вернул Ивана к действительности. Полдень. Люка не придет — догадка переросла в уверенность. Разочарование и пустота комом стали в горле. Ничего, нам к потерям не привыкать. Младший лейтенант подхватил инструмент и вышел.

Праздник седьмого ноября сорок пятого собрал полный зал красноармейцев и офицеров. Иван до самой последней минуты не отрывал глаз от входной двери. Где ты, постреленок? Через пять минут начало концерта.

Люка не появился. Не пришел он ни на следующий день, ни потом. Встретились они случайно на стихийной барахолке. Иван отправился с другом выменять часть сэкономленных продуктов из офицерских пайков на вещи.

Люка стоял в самом конце торговых рядов и крепко держал почти новую мужскую шляпу.

— Отцова? — однополчанин Ивана Тимофей нахлобучил головной убор, ожидая услышать мнение друга. Но Кузнецов, не отрываясь, смотрел в лицо Люки.

— Кто тебя так разукрасил, подрался с кем-то? — младший лейтенант привык к способности местных, не зная языка, понимать смысл сказанного по интонации.

Люка опустил голову, стараясь спрятать фиолетово-желтые отметины. С разбитых губ не до конца сошла припухлость, и говорить мальчишке, судя по всему, было больно.

— Это мамка твоя, фрау Мозер тебя так? Не нравятся ей наши песни, мы ей не нравимся?! — волна обиды за мальчишку накрыла Ивана с головой. Он выкрикивал слова, перекрывая мерный гул торговли.

— Иван, оставь мальчонку, — Тимофей потянул друга за рукав шинели. — Ты чего от них ждешь? Благодарности, понимания? Да они никогда не простят нам нашу победу! Посмотри на них, как они живут, разве война выжгла их, как нас? Чего им вообще не хватало? — левую сторону лица Тимофея исказил нервный тик — последствие тяжелой контузии. — Забудь, — увлекая Ивана в гущу народа, от души посоветовал боевой товарищ.

Отойдя на приличное расстояние, Иван вдруг резко развернулся и бросился к месту, где стоял Люка.

— Вот, возьми, — сунул в руки ребенка вещмешок с приготовленными для обмена банками консервов.

Больше они никогда не встречались. Вскоре младший лейтенант Иван Кузнецов демобилизовался. Вернулся домой, женился. Стал счастливым отцом, дедом. Дождался правнуков. Вспоминал ли его когда-нибудь Люка, Иван не знал. Но даже спустя 75 лет в памяти ветерана всплывали эпизоды далеких событий.

Последняя совместная репетиция, на которой Люка в подаренной солдатской пилотке, с сияющими глазами, старательно выводил слова «Катюши». Тяжелая встреча на рынке: детская согбенная фигурка с отцовской шляпой в руках.

2

— Что нового в мире происходит, Алексей? — поинтересовался Иван у правнука, просматривающего новостную ленту на мониторе ноутбука.

— Да все то же, дед, что вчера. По всей Европе локдаун. Новоявленные переписчики истории орут на все голоса свою «правду». Кто-то выложил новую публикацию в нашу группу.

Алексей с дедом вот уже два года вели в социальных сетях тематическую группу «Мелодии военных лет». Подросток гордился растущей популярностью созданного ими сообщества и живо обсуждал с прадедом каждый новый пост.

— Дед, смотри, — парень с ноутбуком в руках подсел поближе к Ивану, — народ не обмануть! Помнят нас. Вас, дед, помнят! Вчера студенты из Африки, Австралии, Америки спели наш «День Победы». Сегодня пришел ролик из Австрии. — Правнук щелкнул «воспроизведение».

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет*.

Что-то горячее толкнуло слева. Сколько раз Иван пел эту песню! Сколько приходилось слышать! Но память упрямо возвращала его в неприветливый Айзенштадт, к пацаненку с огромными зелеными глазами и пронзительным высоким голосом.

На видео у старинного камина сидела большая семья, четыре поколения. В центре — старик лет восьмидесяти. Все улыбались и с немецким акцентом дружно распевали одну из самых любимых песен военных лет. Подросток аккомпанировал на губной гармошке.

— Леш, прочитай подпись, кто поет?

— Есть подпись, дед. Люка Мозер и его семья, Австрия, федеральная земля Бургенланд, город Айзенштадт.

В груди больно сжалось, сбилось дыхание. Набежала слеза.

— Жив, постреленок!.. — только и выдохнул.

— Дед, что ты? — засуетился Алексей. — Ты это брось! Сейчас накапаю валокордин. Тебе надо быть в форме. Не забыл? Вечером записываем нашу «Катюшу». С дедом, отцом, братьями, сестрами созвонился. Ровно в восемнадцать часов начинаем.

Иван сидел во главе большого праздничного стола. Рядом его жена Маша, верная подруга. Трое детей. Семеро внуков. Двенадцать правнуков. Не все съехались на главный праздник семьи, Родина большая. Но с каждым была налажена видео связь. В назначенное время Алексей помог надеть на плечи Ивана ремни раритетного аккордеона и зазвучала песня. Через годы, границы и сердца:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой*.

СЫСОЕВ ПАВЕЛ Николаевич. 1974 г. р. Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (служба механизации и транспорта), пенсионер МВД. Член Карельского республиканского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Петрозаводск, Республика Карелия.

Павел СЫСОЕВ

ПЕРЕПЕЛА В ТРАВЕ

— Тихо у нас, будто и нет войны вовсе, — Алексей Егорович потянулся на скамеечке у дома, пощурился от ласковых лучей заходящего солнца и погладил по голове маленькую Полину.

Для деда Полина была, конечно, очень маленькой, если считать по годам, — ей тринадцать, а Алексею Егоровичу шестьдесят восемь, но ростом она уже перегнала немного сгорбленного, сухощавого старика. Вдвоем мыкались они на затерянном в полях и перелесках хуторе, вдалеке от войны, немецких тыловых гарнизонов и партизанских отрядов. До ближайшей жилой деревни с комендатурой и развязными полицаями было километров двадцать, и интереса посещать полусожженый и разграбленный еще в первые месяцы войны хутор не было ни у местной власти, ни у самих фашистов. В начале лета мать Полины заглянула на пару дней повидать отца и дочь и снова ушла в партизанский лагерь, в глушь болот и чащобу, что начиналась в соседней области.

— Не стреляют, не ездят, можа, конец всем делам? — продолжал рассуждать дед, разговаривая сам с собой.

Полина ушла задать корма двум козам и немногочисленным курам, помогавшим прокормиться. Алексей Егорович аккуратно насыпал цигарку и, жмурясь на еще щедром тепле, задымил.

— Слышь, чего говорю-то, — продолжал он, когда Полина вновь появилась. — Перепелка стенается на полях. Слышишь ли?

— Слышу, деда, конечно, слышу, не глухая я, — устало отмахнулась Полина. — Мне еще ужин варить.

— Ну-ну, поспешай, не держу, — деловито кивнул дед. — Тут я тебе не помощник.

— А где ты помощник-то, — вполголоса огрызнулась внучка, вздохнула и исчезла в домишке.

Это хорошо, что война далеко, что выжили они, просеялись обратно на родную землю через огненное сито, не сгинули, как многие тысячи несчастных, никогда не державших в руках оружия. Когда шли первые месяцы войны, немцы практически не трогали местное население, уповая на их покорность, принятие новой власти и оказание большой помощи. Но, потерпев поражение под Москвой, завязнув на долгие месяцы в кровопролитных боях, столкнувшись с мощным партизанским сопротивлением на захваченных территориях, фашисты озверели день ото дня. Карательные операции, показательные казни и расстрелы происходили все чаще. Каждый успешный рейд партизан оборачивался непредсказуемыми последствиями для той или иной деревеньки.

— Полинка, завтра пойдем яйца собирать, вон как разошлись перепелки. Ты только корзинку приготовь. Да чего там с ужином? — Алексей Егорович махнул рукой в сторону поля и повернулся к дому.

В этот миг вдалеке что-то загрохотало и над горизонтом, за дальним перелеском, показался столб черного дыма. Полина выскочила, столкнулась в дверях с дедом, и оба долго молча глядели, как растекается по небу зловещая паутина…

…Еще до рассвета в оконную раму кто-то забарабанил. Полина проснулась, подбежала к занавеске и осторожно выглянула во двор. В сумерках различила знакомую долговязую фигуру брата Митрохи, который вместе с матерью ушел к партизанам. Ему было почти шестнадцать, и он слыл в отряде самым быстроногим,

— Отвори, я на минутку, — по губам прочитала Полина и метнулась к дверям.

Лязгнул засов, закряхтел и завозился на лежанке дед. Брат вошел, поставил автомат в угол и черпнул ковшиком воды.

— Чего стряслось, Митрофан? — Алексей Егорович подошел боком к окну, поглядывая то на внука, то на узкую рассветную полоску.

— Немцы сюда идут, полицаи идут, наши на ветке вчера состав с танками подорвали, еле ушли болотом. Скоро здесь каратели пройдут, как раз туда, — махнул рукой парень в сторону поля.

Значит, из деревни вышел отряд и, замыкая круг от болота до станции, пытается настичь партизан.

— Уходить вам надо, бежать отсюда подальше, только не со мной, куда-нибудь в сторону, — протараторил Митроха, закидывая автоматную лямку. — И побыстрее бы надо.

Дед привычно сощурился, раздумывая. Шестьдесят восемь лет прожил он на этой земле, дальше станции и райцентра никогда нигде не бывал, и родители его жили тут же, и похоронены здесь, около хутора. Куда бежать-то? Здесь его родина, его крепость, здесь будет и его могила.

— Не пойду я никуда, меня, старика, никто не тронет, пройдут, как в лесу мимо трухлявого пня. Полинку вот забери, она шустрая, добежит, — Алексей Егорович сел за стол, показывая, что не сдвинется с места.

— Останусь я, — как бы извиняясь перед братом, промолвила Полина. — Пропадет деда один. А фашисты пройдут мимо, может, и не заглянут сюда.

Митрофан задумчиво покачал головой, махнул рукой.

— Ну, как знаете, прячьтесь, не высовывайтесь, — и вышел за дверь.

— Мамке привет передай, — только успела крикнуть вслед Полина.

Начинало светать. Дед приказал одеться, собрать немного еды и решил, что переждут они проход немцев не в доме, а в одном из полуразрушенных соседских сараев, неприметно стоявшем на кромке поля.

Каратели появились через час, несколько мотоциклов и три здоровенные машины с крестами, поодаль ехал открытый грузовик

с полицаями. Офицер в высокой фуражке махнул в сторону дедова дома, и тотчас туда послушно свернула машина. Парни с засученными рукавами принялись обходить двор и огород. Сами фашисты высыпали кучками, растянулись в цепочку, и поскольку дорога заканчивалась, пошли прямо по полю. Впереди ехали мотоциклисты, позвякивая оружием о коляски. От незнакомого шума, которого не было здесь давно, перепела слетали с насиженных мест, бросая свои гнезда. В промежутках тишины глуховатое, но избирательное к звукам ухо Алексея Егоровича слышало, как давится под немецкими сапогами яичная скорлупа. Эта агония только зарождающейся жизни холодным штыком колола его сердце.

— Ах вы, перепелушки мои, кто ж вас защитит! — сокрушался дед, глядя в щелку между нестругаными обгоревшими досками.

Через полчаса пустые машины ушли обратно, грузовик с оставшимися полицаями также попылил следом. Для верности отсидевшись в укрытии еще немного, дед с внучкой вылезли на дорогу.

— Кажись, никого, пошли, — потянул Алексей Егорович Полину к покосившемуся забору.

За домом кудахтали куры, и дед даже повеселел, что не тронули его живность. Он смело открыл калитку и пошел к своей скамейке.

Полина запоздало вскрикнула, увидев возле огорода мотоцикл. Дед оттолкнул внучку и упал на траву.

— Куда ж вы, Алексей Егорович? — толстый пожилой полицай положил руку на верхушку забора, отделявшего двор от огорода.

Дед поднял голову и признал в говорившем бывшего сторожа Борисенко. Нехороший человек, угрюмый и завистливый, одинокий как перст. Рядом подскочил молоденький Андрюха в черной униформе с повязкой на рукаве. Он учился в сельской школе с Полиной, когда та бегала еще совсем маленькой, а сейчас ему минуло двадцать.

— Вот так встреча! — по-боевому воскликнул парень. — А как выросла твоя внучка, дед, и не узнать!

Полицаи глумливо переглянулись.

— А где мать-то твоя, где брат? — растягивая слова, спросил Полину Борисенко.

— Чего пристали к девчонке, откуда ей знать? Иди-ка, Полинка, и дом, а мы тут поговорим, — стрельнул глазами дед.

— Э-э, нет. Тут, Егорыч, наша власть, кому куда идти. Давайка, Андрюха, допроси ее по-взрослому, — и бывший сторож пнул сапогом по забору.

Полицай догнал Полину у первой борозды и грубо толкнул в спину. Девчушка упала на землю, перевернулась и заверещала что есть силы.

— Не тронь, сучье отродье, она же совсем ребенок! — кинулся следом дед, но Борисенко дулом винтовки так ткнул ему по ногам, что тот охнул и упал.

— Не суетись, папаша, а то тебя вперед нее пришьем, — над ним склонилось небритое лицо.

— Молчу, молчу, — уткнулся лицом в траву Алексей Егорович и тихо заплакал.

Борисенко небрежно перешагнул через него и, словно приплясывая, приблизился к Андрюхе, который уже навалился на девчонку.

— Да ты не торопись, молодой, я подожду, — хохотнул полицай и прислонил винтовку к поломанной яблоне.

Вилы прошли насквозь, все четыре зубца, почти сразу потекла кровь на обе стороны, и бывший сторож Борисенко, много лет знакомый Алексею Егоровичу, медленно осел на подвернутую ногу. Дед не посмотрел в его лицо, наполнившееся внезапным ужасом и недоумением. Он шустро подобрал Андрюхину винтовку, мигом щелкнул затвором и, когда парень привстал и замахнулся, чтобы влепить Полине по лицу, выстрелил почти в упор. Полицай мгновенно обмяк и свалился набок. Едва не обезумевшая от страха внучка выкарабкалась, встала на коленки и теперь совсем по-детски зарыдала.

— Ну-ну, милая, все позади, все позади, пташка ты моя ненаглядная, — дед, словно наседка, склонился над ней, не решаясь прикоснуться руками.

Сухой выстрел громыхнул за спиной. Глаза Алексея Егоровича округлились от боли, он ткнулся на колени и уперся ладонями в землю. Через его плечо Полина увидела, как Борисенко уронил на себя винтовку, как за его тучным телом протянулся кровавый след, как качнулся виловый черенок в предсмертной агонии.

— Беги, Полинушка, беги, перепелушка моя, скоро сюда придут… — хриплый шепот из дедовой груди оборвался вместе с ручейком темной крови.

Натискав его холодеющую руку, проревевшись, она, наконец, встала и забежала в дом, схватила теплую кофту, побросала в котомку все съестное, что лежало на виду, и выскочила обратно. Со страхом озираясь на лежащие тела полицаев, она склонилась над дедом, на прощание провела пальцами по его седым волосам, еле сдерживая рыдания, приткнула кулак ко рту и побежала к лесу. Туда, где маячило пятно тумана над спасительным болотом, откуда начиналась дорога к партизанам. Туда, где ее ждали мать с братом.

ПЕС

Бомбежка в этот раз длилась недолго. Мишка плакал, иногда останавливаясь и набирая воздуха для очередного захода. Плач его, как маневр самолета, казалось, вот-вот закончится и стихнет, но потом из секундной паузы возвращался вновь. С подачей сигнала отбоя мальчик замолк, с готовностью встал и вперед матери поспешил наверх.

— Миша, Миша, да куда же ты! — бессильно звала мать, устремляясь следом.

На середине улицы она догнала сына и по его рыскающим взглядам, окрикам поняла, что пропала собака, беспородная дворняга, затисканная до мозолей. Весь путь до дома мать участливо кричала: «Кубик, Кубик!», крепко держа Мишу за руку. В эти страшные голодные дни ей было, конечно, не до собаки. Знакомые женщи-

ны с фабрики напугали, что в Ленинграде участились случаи воровства детей и что якобы местами находят человеческие кости. Поэтому отпускать сына она не хотела ни на шаг, а когда уходила в смену, запирала на замок и наказывала сидеть как мышь. Гулял мальчик под ее личным надзором либо с дедом Иваном, у которого на иждивении была внучка.

Кубик вылетел из арки, заливисто приветствуя своего приятеля. Мишка опустился на коленки, заревел и прильнул к псу, то отстраняясь от его мокрого языка, то обнимая за лохматую голову.

— Ну вот, нашелся твой дружок, давай-ка домой, — осторожно подтолкнула мать.

В этот вечер пса впустили в дом, и мало-помалу пригрелся Кубик у Мишкиной кровати. Доставались ему самые жалкие крохи со стола — пришел ноябрь, и в блокадном Ленинграде стало остро не хватать самого необходимого. Но пес как будто не чувствовал этой беды, сам гулял и приходил обратно, облизываясь и укладываясь на тряпье. Мать не раз наблюдала в окно, как ловко Кубик гоняет кошек, ворон, голубей, еще остававшихся в окруженном городе.

— Этот не пропадет, — она ласково трепала Мишкину голову. — Да и друг тебе, двоим-то веселее.

В середине декабря не стало деда Ивана. Утром прибежала Аленка, плачет — а ничего не понятно. Пошла мать проверить, а дед уж холодный лежит. Как уснул с вечера, так больше и не проснулся. Пожила с ними девчонка несколько дней, а потом ее забрали — оставшихся одних детей в первую очередь эвакуировали через Ладогу.

— А моего как же, Мишеньку? — пристала к незнакомой тетке, забирающей Аленку, мать.

— Не волнуйтесь, гражданка, и до вашего сына очередь дойдет. Все хотят, всем надо, а дорога одна, — и она сурово цыкнула губами.

Январь выдался на редкость суровым. Словно русская зима хотела заморозить врагов, держащих город в кольце, но от этих ледяных объятий тысячами гибли и обессиленные, измученные голодом люди — без тепла, хлеба, потерявшие всякую надежду на чудо.

Длинным январским вечером Мишка сидел у окна. Мать почему-то задерживалась с работы. Закутанный в кофту и шарф, он смотрел в замороженное окно, на котором, как ромашки, отпечатались две его ладошки. Сквозь эти следы виден был кусочек улицы с двумя фонарями и кривая тропинка в снегу, по которой все время приходила мама. Мальчик задумчиво дожевывал остатки горбушки, предварительно рассасывая кусочек и наслаждаясь теплым кислым вкусом хлеба.

Прошло еще сколько-то времени, а мамы все не было. Мишка покосился на пыльные часы с гирьками, сухо щелкающими в потемках, и поежился. К печке мать запретила подходить, и мороз заметно выстудил комнату. Кубик, весь день гулявший на улице, уже не раз прибегал к нижним дверям и звонко лаял. Когда луна скрылась за черными тучами, мальчик потерял всякую надежду,

что мама вернется. Он заревел, сначала тихонько, словно прислушиваясь к шагам на лестнице, а потом громче и отчаяннее. Вскоре снизу опять послышался знакомый лай собаки, и Мишка прильнул к окну. Кубик прыгал во дворе, то подбегая, то удаляясь от двери, словно куда-то звал. Дворняга как будто слышала плач друга и поэтому не успокаивалась.

Примерно через час входная дверь подалась — Мишка кочергой расковырял доску вокруг замка. Накинув пальтишко поверх кофты и шарфа, он нахлобучил шапку и выбежал на мороз. Кубик тут же подскочил и заплясал вокруг. Тревога передавалась от его кружений и поскуливаний, и мальчик, как на веревочке, пошел следом. Собака вела его по одной улице, потом по другой, и Мишка узнал дорогу — так раньше они с мамой ходили на работу. Размазывая холодные прилипающие слезы, он судорожно закашлялся и остановился. Кубик пробежал немного вперед и встал, наклоняя и поднимая голову, словно принюхиваясь. Метель, что мела в этот вечер, звучно завывала и несла тысячи и тысячи белых хлопьев, которые покрывали все вокруг. Мишка протер глаза. Собака выхватила из сугроба темную материю и стала тянуть на себя, упираясь лапами. Ужас охватил мальчика, когда он увидел руку в коричневом рукаве. Страшно закружилась голова, мысли его смешались, он кинулся к дворняге, упал на четвереньки, схватил пса за хвост и отчаянно, сглатывая воздух и судорожно икая, заверещал:

— Не… не… не… Аг-аг… Не н-н-надо… А-а-а-а-а…

На крики подошли два худеньких парня, лет по тринадцать, которые сидели поблизости на крыше и караулили немецкие «зажигалки». Оттащив собаку и Мишку, они проводили их до дома, растопили буржуйку, накипятили кружку кипятка из снега и пообещали зайти утром. Приладив к двери палку изнутри, они ушли на пост.

От усталости и переживаний Мишка свалился на кровать, как подкошенный, и забылся тяжелым сном.

…Мама подошла к кровати, ласково приложила теплую ладонь к Мишкиной голове, прикоснулась сухими губами. Ее лицо было в полумраке, и только угадывалась добрая улыбка. Потом она совсем пропала, и вдруг из-за занавески показалась рука, тянущаяся к Мишке, а в ней — заснеженный коричневый рукав… Сверху, посреди комнаты, как театральная люстра, падает огромная глыба изо льда и рассыпается на миллионы острейших осколков, в каждом из которых отражается этот рукав, преломляется и становится похожим на сгусток крови…

Мишка дернулся и проснулся от собственного крика, открыл глаза. Кубик стоял передними лапами на кровати и облизывал его лицо, тревожно подвывая. Сквозь окна смотрело хмурое январское утро.

Поделившись с товарищем последним куском хлеба, Мишка выбежал на улицу. Его словно магнитом тянуло туда, где он видел коричневый рукав. Но когда они добрались до вчерашнего места, то ничего, кроме снега и разных следов, не нашли. Поодаль показались мальчики, которые провожали Мишку, и какая-то вроде бы знакомая тетенька.

— Вот, это тот мальчик, — кивнули подростки, когда все подошли.

— Ты, кажется, Миша? — строго и утвердительно спросила женщина.

— Миша, — несмело ответил ребенок.

— А дом твой… — она как будто промычала и назвала адрес.

— Да, — коротко ответил мальчик.

— Ну, пойдем, — и кивнув подросткам для ясности, тетенька пошла в сторону Мишкиного дома.

Ребята зашушукались и быстро пропали за углом. А Мишка поплелся за женщиной, следом потрусил и Кубик.

— Что за пес у тебя? — спросила она металлическим голосом.

— Собака моя, друг Кубик, — Мишка вдруг стал бояться эту тетку.

— Не бойся, я хорошая, — словно поняла его женщина. — Сейчас мы соберем твои вещи и пойдем к Дому культуры, туда придет машина.

Мишка не понимал, что происходит — почему тетка говорит про вещи, машину. Разве надо куда-то уезжать? А если мама придет и будет его искать? Как же так?

— Собаку придется оставить, а мама… — Мишке показалось, что она слышит его мысли. — А мама приедет к тебе потом, она сейчас занята, очень занята, она там…

Женщина шла и громко повторяла последние слова. Отправляя ежедневно десятки ленинградских детей, потерявших близких, она так и не могла к этому привыкнуть и сдерживать слезы. Отвернувшись и продолжая бормотать, прокрутила недавний разговор с начальством: мальчик такой-то, мама такая-то, не дошла до дома и замерзла, то ли от голода, то ли от чего другого, подростки сообщили место, похоронная команда ее забрала, у ребенка больше никого не осталось, подлежит эвакуации в детский дом…

А Мишка немного воспрял духом — значит, мама просто занята. И тетенька все делает правильно. Аленку ведь тоже она забирала.

Собрав скромный узел вещей, куда поместилась Мишкина постель, кое-какая запасная одежда, кружка и пара игрушек, женщина перебрала бумаги в мамином шкафчике с документами, что-то взяла и подтолкнула мальчика к дверям.

— Пойдем, Миша, а то опоздаем на машину, — она вдруг широко и судорожно вздохнула.

— А без Кубика я не поеду, — просто промямлил Мишка.

— Извини, но с собаками никак, — натянуто улыбнулась тетенька.

Скуксившись до тихих слез, мальчик держался за край узла и покорно семенил рядом. Кубик, недоуменно тараща глаза, забегал вперед и тыкался мордой в его лицо и руки.

— Я повторяю, с собаками нельзя. Не пропадет твой пес, — женщина продолжала тянуть Мишку.

Через несколько домов Кубик пропал в одной из подворотен. Мальчик молча плакал и слезы ледяными горошинами катились вниз, оставляя на лице холодные следы. Когда они вышли на небольшую площадь, у дома с красивым входом уже стоял грузовик.

Около него топтались несколько ребятишек разного возраста и двое взрослых — полный дяденька в очках и высокая стройная девушка.

— Нифонтов? — издалека крикнула она звонким голосом.

Мишка услышал свою фамилию и вопросительно посмотрел на ведущую его женщину.

— Ты-ты, отвечай же, забыл, что ли, фамилию свою? — пожурила она.

— Не-е-ет, — ответил мальчик и утвердительно кивнул стоящим взрослым.

В этот момент из-за угла вылетел Кубик, захлебываясь непонятным лаем. Из крытого кузова с любопытством высыпали дети. Мишка отпустил узел и обернулся. В пасти собаки была какая-то сумка, то ли брезентовая, то ли холщовая, с чем-то внутри. Оттого собачий лай и был странным — пасть-то занята. Дворняга положила сумку к Мишкиным ногам и чуть присела на задние лапы. Хвост ее подметал грязный снег, как хорошая метла.

— Вот так номер! — дяденька в очках поднял сумку и заглянул внутрь. — У кого же ты стащил такое?

Он взял что-то сверху, и это оказалась половинка хлебной буханки. Оглядевшись вокруг, он не увидел погони за собакой и вопросительно посмотрел на тетку.

— Что это, Ирина Сергеевна? — он интеллигентно поправил очки, сделав ударение на «это».

— К…К…Кубик, — только и смогла ответить женщина. — Собака вот его. Миши Нифонтова.

Мишка жалобно и широко посмотрел на дяденьку.

— Меня зовут Николай Трофимович, я воспитатель, я с вами еду до места и остаюсь с вами, — сказал он медленно, снова поправляя очки.

Глаза у него были внимательные и добрые. Почти как у мамы. Значит, все будет хорошо. Мишка присел на корточки и обнял собаку за шею. Дети столпились вокруг и притихли. Ирина Сергеевна закусила бесцветную губу, многозначительно кивнув в глаза стройной девушке. Повисла тишина, и только поскрипывал от мороза снег. Мишка от страха закрыл глаза.

— Так, все в машину, вещи эти примите, — вдруг скомандовал Николай Трофимович ребятам, указывая на Мишкин тюк. — А вы — к самой кабине, и чтоб тихо было, ни звука. Высажу!..

И он улыбнулся, шутливо погрозив пальцем. Как обрадовались дети, эти полуголодные, закутанные, бледнолицые мальчишки и девчонки, почти бессильные, почти угасшие… Дети нисколько не боялись, что впереди их ждало суровое испытание коварным ладожским льдом и лютой метелью, ведь за всем этим была новая жизнь. Они дружно расселись по скамьям, оберегая самых младших, и прижались друг к другу. Кубик недоверчиво косился на открытый кусочек улицы. Его хвост беспокойно подрагивал и подметал пол в кузове. Собака молча и благодарно тыкалась мордой в протянутые со всех сторон детские руки.

Через минуту грузовик затарахтел по ленинградским улицам, увозя самый бесценный груз к Дороге Жизни.

ХАРЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ. 1971 г. р. РНКБ, Симферополь. Член Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Живет в г. Симферополь.

Вячеслав ХАРЧЕНКО

НЕРВИЧЕСКИЙ СМЕХ

Рассказ в рассказах

Он

В детстве мне казалось, что в нем два метра, что у него толстые руки-шпалы и могучие дубы-ноги. Он брал меня на руки и поднимал над землей, и земля кружилась и летала вслед за его резкими, угловатыми движениями.

Я не видел его двадцать лет, и когда он вышел в зону прилета, я удивился: росту он был ниже меня (ниже среднего), сгорбленный и скрюченный, от могучей грудной клетки осталась тоненькая прослойка, руки высохли до ивовых удилищ, а ноги еле держали.

Он не мог без чужой помощи пройти и двадцати метров. Я пытался помочь ему при ходьбе, но он больно бил меня локтем по почкам, так что боль зависала в воздухе и не давала мне дышать.

Всю дорогу он рассказывал, что для покупки билета в его возрасте требуется разрешение врачей. Он сходил в больницу, и ему выписали справку. Врачи написали, что он годен в космонавты. Но я не верил ему. Он явно хорохорился.

Неожиданно он обернулся и показал рукой на зеленый корт, видневшийся за оградой какой-то респектабельной усадьбы. «Вот бы картошкой засеять, — пробормотал он. — Нам в 43-м так не хватало картошки, ели в основном сухую».

Потом он искал Чернышевские казармы, где стоял его дивизион в 1942 году, потом поволок меня в Подольск.

Потом сел на лавочку возле моего дома, я сгонял за «Агдамом», но он уснул. Я не будил его два часа, но когда вечером похолодало, он сам проснулся и, забыв про алкоголь, отталкивая меня локтем, побрел на второй этаж моей квартиры, чтобы прожить там две недели. Вплоть до окончания своего отпуска.

Мать

30 июня меня с трактора вызвали в военкомат в Чегдомыне и погрузили в поезд. Пока стояли, я сбегал за тремя бутылками «Спотыкача», а он такой сладенький, нас и развезло. А тут бабы пришли к составу, а моя мать больше всех воет. Я слушал, слушал, спрыгнул с поезда и сказал: «Мамаша, не позорьте меня перед товарищами. Еще война не началась, а вы меня хороните». Ну, и дальше матом. Послал ее домой, а сам в вагон обратно.

Приехали мы в Хабаровск, там ползали на брюхе, рыли окопы, кололи чучела, а через месяц прилетел полковник Семенов, командир дивизии. Всех нас построили и выбрали пять человек. Меня

направили на границу с Японией, на заставу под командованием сержанта Веселова.

— Ты, — говорит Веселов, — будешь поваром, а мы, старослужащие, станем границу охранять.

Вот я и закашеварил. Как научился, не знаю. На ощупь. Бил кирпичами ленка в затонах (он там прям вился). Воровал на пасеке мед. Приду с винтовкой и достану рамку — а кто мне что скажет? Один раз подстрелил медведя и слепил пельмени. Собирал по лесу грибы и орехи. Их там видимо-невидимо.

Но тут явился из штаба дивизии майор Ебрукевич. Вызвал меня и спрашивает:

— Хочешь, боец, в контрразведку?

— А что такое контрразведка? — отвечаю.

— Это когда мы с нашей советской земли всю гниду и сволочь выметаем, — заулыбался Ебрукевич и протягивает мне папиросу «Казбек».

— Так и отец у меня безграмотный, и мать тоже, сам я три класса, — говорю и разминаю папиросину.

— На вот, подпиши, — дает майор листок. И стало мне так нехорошо, что подписал я, не читав, и пошел на кухню к тазам. Сам думаю: «Зря я мамашу обматерил».

Все пошло по-старому. Научился силки на зайцев ставить и на тетеревов свистульки делать. Веселов и ребята меня хвалят. Особенно хохол Наливайко:

— Тебе, Петя, трэба в бабы итить, — и ржет.

Но через три месяца опять возник майор Ебрукевич и вызывает к себе в землянку:

— Ну, как дела? Что делаешь, рассказывай?

— ???

— Ты же теперь контрразведчик? Что же ты, Петя, врага идейного, замаскировавшегося просмотрел?

— Какого?

— Вот сержант Веселов пишет, что боец Наливайко был недоволен пайком. А ты чего молчишь, — и хитро так жмурится.

Я ничего не сказал. Наливайко же через три дня исчез. Стал я после этого каждый день писать полковнику Семенову письма, чтобы направили меня на фронт. Не знаю, что там случилось (говорят, Ебрукевич попал под обстрел), но через месяц перевели меня на фронт, в Тулу.

В Туле назвался я не поваром, а шофером, как в колхозе. Откомандировали меня в дивизион прожекторов. Ездил на ЗИС-5.

Машину по кузов в землю зароешь, скаты из ямы сделаешь и светишь по ночам в небо, а фашисты летят так, что хочется самоубиться. Небо же ночное чистое, звездное, яркое. Редко когда мы их сбивали. Только в перекрестие Клавдия поймает — мессер в сторону, а зенитчики не успевают выстрелить. Поэтому вечером только мы порядок наведем, а ночью бомбежка: рельсы перекорежены, вагоны перевернуты, пыль и кровища.

А начальник станции, которую мы охраняли, оказался врагом народа. У него лампа была в трубе дома. Он ее включал по ночам, и немцы знали, где бомбить.

Там же наш дивизион и попал под начальство генерала Рокоссовского. Мы с ним и блокаду снимали, и Белоруссию освобождали, и Зееловские высоты брали.

Только перед этими высотами вызвали меня в контрразведку.

Сидит там капитан и смотрит на меня внимательно:

— Что же вы, Петя, не сказали нам, что вы контрразведчик?

А я стою и молчу, не знаю, что ответить.

Капитан посмотрел на меня и говорит:

— Ладно, Петя, идите в дивизион. Мы с тобой после боя разберемся.

А бой тот был за Зееловские высоты, и из всех прожекторов в живых осталось восемь человек, а меня контузило. Провалялся я в госпитале до конца войны. Только в сентябре в Чегдомын вернулся, а мама умирает.

Лежит на печке и только:

— Мла-мла-мла.

Я:

— Чего, мама, чего?

А она только:

— Мла-мла-мла.

Я ей уксусом грудь смочил, а она голову откинула, стали ее глаза мужскими, и пошел из них светло-зеленый свет — и прямо мне в лоб.

Я никогда в Бога не верил, но точно знаю, что что-то есть.

После смерти мамы я пообтерся и пошел в колхоз шоферить.

А через десять лет после войны меня вызвали в райком и сказали:

— Вы, Петя, человек надежный, контрразведчик, будете секретаря райкома возить.

Так я и крутился всю жизнь с Иваном Ивановичем, пока перестройка не началась.

Электрод

— Что ж у тебя прожектор не горит! — сказал нам лейтенант и послал меня за электродом.

— Беги, Клава, скорее, а то сейчас начнут! — прокричал вослед из-за баранки Петя и улыбнулся.

Костры жгли на второй линии, и я накинула шинель, хотя стоял апрель, и было не холодно, но по ночам на лужах намерзал хрупкий последний ледок.

Когда я уже подходила к костру, то там, сзади, у Зееловских высот, прожекторы осветили небо, и ночь засверкала, как в театре, как у бабки в Архангельске во время Северного сияния.

А потом с того берега Одера немецкие батареи стали прямой наводкой бить по прожекторам, и, наверное, электрод был уже ни к чему, но я нашла его у обозников, растолкав двух гревшихся интендантов, и побежала к машине. Два раза я спотыкалась, а однажды электрод выпал у меня из брезентовой рукавицы и упал на землю. Я наклонилась и нашла его в первой малосильной траве, еще не зеленой, но уже свежей.

У машины была воронка, а сама она валялась перевернутая. Лейтенант лежал с вывороченным лицом возле переднего колеса, опрокинувшись на землю. В левой руке он крепко сжимал свой любимый трофейный Вальтер.

Я стояла и повторяла: «Петя, где Петя». Пети нигде не было, но потом я увидела его в десяти метрах, в кустах, без сознания, но сердце билось.

Я взвалила Петю на спину и потащила в лазарет, который тоже разбомбило. Тогда сестры сказали, что отвезут его в Лодзь, в польский госпиталь.

Я положила Петю на подводу и в карман гимнастерки засунула бумажку: «Егорьевский район, деревня Сосновка, Клавдия Климова», а сама пошла обратно в дивизион, но все сто прожекторов были уничтожены.

Я села у нашей машины и облокотилась о помятую дверь. Так и сидела часа четыре, пока не пришли из тыла и не сказали, куда идти.

Миша

А тут по нам загрохотало, и я очнулся в большой белой комнате. Там лежало двенадцать человек. Кряхтят, стонут, а один какой-то бормочет.

Смотрю, из окошка солнце светит. Лучик по стене скачет, а за ним котенок прыгает. Встал я, вдоль стены пошел за котенком и упал на пол. Лежал минут двадцать, пока санитары не пришли, наклонились надо мной и чего-то лопочут по-польски.

Я спрашиваю:

— Где я?

А они:

— Lodz, Lodz.

— Где мой дивизион?

— Wojna si skonczya, — и улыбаются.

— А число сегодня какое?

— Pandziernika, 5 октября.

Поднялся я самостоятельно с пола, собрался и пошел на станцию. Думаю, что с Клавой случилось. Мы с Клавой из одного расчета. Хорошо ее адрес остался: деревня Сосновка Егорьевского района.

В Егорьевске сошел с поезда, а там грязища по колено. Чернозем жирный, липкий, ногой пошевелишь — пять килограммов налипает. А передо мной сидит на лошади милиционер: форма на нем новенькая, ремни скрипят, а лошадь сытая и мордастая.

— Ты знаешь, где Сосновка?

— Да я как раз туда.

Посадил он меня на лошадь, и ехали мы почти час. Прямо возле Клавиного крылечка высадил, а сам в сельсовет.

А Клава в это время полы мыла. Окликнул я ее, Клавдия обернулась и от неожиданности таз с водой выронила. Грязная вода по ступенькам закапала прямо мне под ноги.

Стою я в луже воды, а тут выходит ее брат Андрей, здоровый-здоровый, и спрашивает:

— Нравится тебе Клава?

— Нравится, — говорю.

— Ну, давай тогда свадьбу играть, — а у меня денег ни копейки.

Но они пошли к сахарному заводу, набрали два мешка сахарной свеклы и сварили самогонки.

Набилась вся деревня в избу, но когда уже выпили по третьей, начался крик. Пришел ее прошлый Мишка, с которым они до войны в один класс ходили, и дружков привел.

Я нож со стола взял и засунул его в рукав, а сам спиной к окну стал, чтобы, когда резать начнут, можно было раму выбить и из дома выпрыгнуть.

Но то ли Мишка совсем пьяный был, то ли Андрей заступился, но остался я жив.

А потом нас повели в баню, но мы там не мылись, а пришли знахарки и стали траву сыпать, молитвы читать, шептать что-то. Наконец на меня повесили иконку, а я всю войну прошел без иконок, а старуха, совсем сгорбленная, сказала, что будет нам счастье.

— Все равно я Мишу люблю, — прошептала Клава и меня поцеловала.

— Как же вы любили друг друга, если полгода с войны прошло, а вы не поженились?

А потом мы поехали на Дальний Восток, в Чегдомын, а Миша долго не пожил, через два года умер.

Пришел я с покоса, а Клавдия ревет, письмо от Андрея показывает. Прочитал я и говорю:

— Что, умер твой Миша?

Три бутылки

Петр Иванович у Клавдии Сергеевны много крови за совместную шестидесятилетнюю жизнь попил. И за девками бегал, и в канавах пьяный валялся, и трижды уходил из дома, но возвращался, потому что любил уют. А какой без Клавы уют — одно название.

Петр познакомился с Клавдией на войне. Были они из одного расчета. Петра Сергеевича контузило, и он лежал в Лодзи.

Когда же Петя выздоровел, то закончилась война, и они разъехались в разные стороны Советского Союза. Клава в Подмосковье, в Сосновку Дачу, а Петя на Дальний Восток, под Хабаровск. Правда, предварительно Клава дала Пете адресок.

Ехал он на поезде, ехал десять суток, и уже Хабаровск показался, но тут развернулся Петя и покатил в Подмосковье, в Сосновку, искать Клаву.

А у той отец погиб и за старшего — брат Андрей. Стал Петя брата просить, чтобы отдал Клаву в жены, но тот никак. Говорит, не любит тебя Клава. Любит Мишку. Заперлась в сарайчике и ревет. Тогда достал Петя из вещмешка три бутылки водки и распил с Андреем. Андрей захмелел и отдал Клавдию.

Вез ее Петя через всю страну в Чегдомын, даже зашивал в мешок на границе запретной зоны, потому что просто так не пускали.

Когда Клавдию зашили и бросили на багажную полку, то Клава думала, что ее выкинут и ограбят, но Петя ее после постов достал и вынул на свет.

Но все равно всю жизнь Клавдия Сергеевна вспоминала Петру Ивановичу три бутылки водки. Даже после четвертого ребенка их забыть не могла. Даже после трехгодичного лежания в постели, когда отказали ноги, когда умирала, говорила: «Не люблю я тебя Петя, купил ты меня за три бутылки водки».

Петр Иванович же после смерти Клавы вытащит из шифоньера ее кофточки и платья, разложит вокруг себя на диване, откупорит ноль пять и пьет граненым стаканом. Посидит, захмелеет и скажет: «Как же я тебя люблю, Клавочка».

Ксения

Приехал я в Чегдомын и долго ходил среди могил родственников на Новоегорьевском кладбище. У бабушки могила была самая свежая, ни травяного покрова, ни принявшихся кустиков цветов, а только свежее рыжее жирное земляное полотно да гранитный камень: Ксения Сергеевна Умец 11.12.1922 — 01.09.2010. Фотография двадцатилетней девушки в военной форме. Налил себе и ей, покрошил половину печенюшки на могилу, а вторую отправил в рот. И вот когда уже выпил и закусил, увидел, что бабушка та была Клавдия, а на могиле стоит Ксения. Расстроился и стал звонить маме: куда смотрели, как так получилось, что столько родственников было рядом в день смерти, а ошибку попустили на памятнике?

Но мама только заулыбалась. Просто когда в части в 1942 году бабушке выдавали документы, то было шесть Ксений, и писарь решил ее сделать Клавдией. Так она и осталась Клавдия. И после войны, когда паспорт давали, то заполнили по венным документам.

Я знал бабушку тридцать пять лет, а об элементарной вещи не подозревал. И дед ничего не говорил, и мама. Да и сама бабушка смирилась, что она Клавдия.

Нервический смех

Как-то они узнавали день, когда дед получал пенсию, а пенсия была большая, ветеранская, которой хватало не только для оплаты коммунальных услуг, но и на жизнь. Жил дед после смерти бабушки Клавдии скромно. Продукты ему мы покупали и носили в однушку, убираться я приходил, поэтому оставаться должно было очень много по меркам нашего небольшого городка. К тому же дед и дом собственноручно рубленый продал, деньги на карточку положил. Продал по дешевке. Приехал армянин, поцокал, походил, заглянул в сараюшку, зашел в гараж, зачем-то пнул собачью будку, осмотрел пятнадцать соток огорода, назвал цену, мы, конечно, поторговались, но у нас же покупателей совсем нет, все уезжают в Москву и Сочи.

В день пенсии и начиналось. Звонили фармацевты, какие-то дипломированные врачи, менеджеры медицинских компаний и предлагали все что душе угодно за бешеные деньги.

В принципе, дед крепкий, у него в восемьдесят восемь даже не было медицинской карты в поликлинике, и все зубы целы, ни одной коронки. Это только когда у него ноги заболели, я повел его к знакомому физиотерапевту Тамаре Давидовне, но после Зееловских высот дед очень врачей не любил и не доверял им.

Там, на Зееловских высотах, из четырехсот человек в живых осталось восемь, включая моего деда и мою бабку. Бабку лейтенант послал за электродами. Вот она и выжила. Когда высоты ночью осветили, немцы стали по прожекторам бить прямой наводкой, деда отбросило взрывной волной. Бабушка вернулась, лейтенант мертв, дед в воронке лежит. Потащила она деда в санчасть на себе, а оттуда его на попутке отправили в Польшу, в Лодзь, в госпиталь. Там он до окончания войны и провалялся, и в сознание пришел не сразу, только в октябре его выписали, а война закончилась в мае.

Вот с того дня он врачей и невзлюбил, не доверял им и лечился только народными средствами. Помню, в детстве дед косой порезался, кровь хлещет из лодыжки, а ему хоть бы хны. Взял бы йод и бинт, нет, подорожник сорвал, в колодце вымыл, потер и приложил к порезу. Прошло, даже не хромал потом.

Привел я его к Тамаре Давидовне, а та говорит:

— Сядьте, встаньте, согните, разогните, вот мазь, можно уколы поделать, побольше тепла.

А дед, вижу, злой сидит, лицо воротит, словно его опять в госпиталь направляют. Или он, может, в этот момент думал, что ему вечно восемнадцать будет, что у него никогда ничто не заболит. А может, он вспомнил, как в Лодзи валялся, его же там одного бросили, русских совсем нет, одна польская речь.

Спрашивает:

— Сколько времени лечиться?

А Тамара Давидовна:

— Ты, Петр Иванович, себе в паспорт-то посмотри, тебе девяносто лет.

Вот, наверное, тогда дед и очумел.

Пришел домой, разлил портвейн «Агдам», взял «Экспресс-газету», которую ему бесплатно в почтовый ящик подбрасывали, и стал всех этих профессоров новоявленных, петрушек московских обзванивать, а те ему: электрические локаторы, электронные дифрагментаторы, симбиозные диффузеры, биогенетические пластыри, наноиспускатели, термобелье, посылка из Санкт-Петербурга, бандероль из Одессы, курьер из Иерусалима. Только деньги переводи.

А там, как я понимаю, единая база данных. Один раз свой телефон оставил, и вся шайка-лейка о тебе знает, перенаправляют из рук в руки, как передовое красное знамя, пускают по кругу, пока все не выдоят.

Странно даже, когда Клавдия Сергеевна, бабка моя, жена деда, после инсульта слегла, и говорить ничего не могла, и лежала почти

без движения, он почему-то лучших врачей позвал и лечил ее самыми действенными лекарствами. Может, это его и подкосило, что лечили бабушку лучшие врачи, а ничего сделать не смогли, никак ей не помогли, так она в беспамятстве и померла. А она же деда с Зееловских высот на себе тащила, он ее потом по всему Подмосковью искал, потому что Клавдия Сергеевна ему адресок в гимнастерку засунула. Этих Сосновок в Подмосковье знаете сколько?

Он только в третьей или четвертой деревне ее нашел. Уже ноябрь наступил, скрипел первый снежок, и собаки ростом с теленка подвывали, когда он к ее дому подходил. Вышел однорукий брат Андрей и долго не мог понять, что деду нужно, но потом сказал:

— В бане она, в бане моется.

Вот Петр Иванович и ждал ее в стылой прихожей. Когда Клавка пришла, румяная и раскрасневшаяся от пара, чуть в обморок не упала, просто осела по стеночке, а потом говорит:

— Я уже думала, ты погиб.

— Нет, — сказал дед, — я приехал, — и забрал ее к себе на родину.

Ехали они семь дней, через всю страну, насмотрелись всякого: разруха, техника покореженная лежит, мосты взорванные и люди с глазами измученными, но полными радости и счастья от победы. По приезде им дали леса, дали пятнадцать соток земли, дом он построил, бабка родила четверых детей.

А двенадцатого апреля в квартире деда случился пожар. Пожарники говорят, что нашли паяльник. Паял, небось, свои аппараты. Наверняка забылся или пошел на кухню, тут и заполыхало, а у Петра Ивановича пластиковые панели на стенах, они горят, как порох.

Был солнечный, холодный и ветряный день. Съехались Нефедовы, Петровы, Поспеловы и даже Харченко из Москвы.

Несли гроб по очереди, на Петра Ивановича старались не смотреть, чего уж тут скрывать, обгорел он.

Папа на кладбище запретил Шопена играть. Сказал, пусть звучат военные марши.

За гробом несли подушечку с наградами. Так деда и похоронили с ними. Когда опускали гроб в могилу, всплакнули, хотя когда на проминках сидели, то почему-то не плакали, даже дочери и внуки. Более того, улыбались, а иногда и смеялись. Вспомним что-нибудь хорошее и смеемся. Вспомним замечательное и смеемся. Мы же так давно не виделись.

Хотя мой брат Витя сказал, что это от стресса. Что это смех нервический.

Петенька

— Петя, Петенька, иди ко мне.
— Не хочу, мама.
— Иди, смотри какая коровка! Встань на подоконник.
— Коровка.
— Как мычит коровка?

— Мууууу.
— А это собачка
— Гав-гав.
— А это кошка.
— Кошка!
— Кис-кис. А это свинка!
— Это не свинка.
— Почему?
— Свинка розовая, а это черная.
— Ну, это Петенька черная свинка.
— Не бывает черных свинок, все свинки розовые, как свинка Пепа.

Оля засмеялась и сняла Петеньку с подоконника деревенского дома. Петенька побежал на крыльцо и уже в дверях обернулся и посмотрел на маму.

— Это черная свинка Пепа?
— Да, Петенька, это черная свинка Пепа.

ЧАЙКОВСКАЯ ОКСАНА БОРИСОВНА. 1969 г. р. Томский областной художественный музей. Член Союза российских писателей. Живет в г. Томск.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ

ТРИ ПОХОРОНКИ ДЛЯ МАТЕРИ

Моему деду, солдату Великой Отечественной

Тетку Варвару Макаренко по имени в деревне называли редко. Или по отчеству величали — Семеновна, или по мужниной фамилии кликали неласковым прозвищем «Макаренчиха». А меж тем имя у нее было хоть и не такое уж редкостное по тем временам, но все же красивое.

Помнится, мать ласково звала Варварушкой, отец — Варюшкой, самый любимый брат Арсюша — Варюхой. А жених и первый муж Ваня называл ее Варенькой. Нонешний муж, Афоня, был у нее уже пятым по счету мужем и звал ее по-деревенски грубовато — «старуха», хотя ей едва сравнялось сорок пять. Афоня на ласковые слова был не мастер — и пасынка никогда не приголубит, и для родных своих детей доброго слова жалел.

Варвара к детям относилась сердечно и жалостно, ей всегда хотелось накормить голодного ребенка, приободрить обиженного. В своем единственном сыне Васеньке она души не чаяла, да и приемным, Афониным детям старалась по возможности заменить родную мать. Но дети удались, видать, в отца или, может, в неведомую тетке Варе свою кровную мамоньку. Были грубоватыми, мачеху признавать не спешили. Как в народе говорят — с рук ели, а волком глядели… Разве что самый младший, названный в честь отца Афонечкой, который в двухнедельном возрасте остался сиротой, воспринимал ее как мамку. Ходил за ней хвостиком и «мама» успел ей сказать…

Варваре было тогда уже под сорок, еще родить детей она не собиралась и Афонечку пестовала как родного сына — из рожка выкормила, на ножки поставила. Он уже шагать хорошо научился, когда пошла по деревне косить младенцев неведомая хвороба. Несколько малышат-годовичков схоронили в две недели, и Афонечку в том числе. Опять ей дал Бог радость, да ненадолго. На детей Варе не везло, как и на мужей. Все четыре предыдущих ее брака закончились тем, что она оставалась вдовой. То ли ее собственная несчастная бабья доля в том повинна, то ли годы, на которые выпадали ее короткие замужества.

Времена были неспокойные. Первый муж, за которого она вышла еще в 1912 году, сгинул, как она говорила «на империалистической войне». Второй в революционный год погиб от шальной пули. Он при царской власти служил не то жандармом, не то городовым. В 1918-м зимой он как-то ночью возвращался домой, и его пристрелили, не то случайно, не то со зла. Прямо у калитки родного дома!

Варенька, тогда двадцати с небольшим лет, как раз была в положении, хоть и не видимом еще постороннему глазу. Услышав тот выстрел, будто почуяла неладное, выскочила на заснеженную тропу чуть ли не босиком… У нее на руках Илюша и умер, не удалось сохранить и ребенка. Опять осталась она молодой вдовой, с душой и телом, полными пустоты.

Третий муж был уже из красных, офицер небольшого чина. Крепкий, надежный, но вся надежность рухнула, когда его однажды забрали «по линии НКВД», как шепотом говорила она потом, рассказывая эту историю особенно доверенным подругам. И снова примерно на том же сроке был потерян малыш. Судьба смилостивилась над ней не то в четвертый, не то в пятый раз, когда она снова ждала ребенка и смогла его выносить. Четвертый муж, Стасик, детей очень хотел. Он был уже в годах, самостоятельный мужчина, Варю очень любил и сильно мечтал о сыне. Жену он очень жалел и берег, едва узнал о будущем ребенке — ничего делать не позволял, все хозяйство на себя взял. Так и перескочили опасный рубеж… Васенька родился в марте двадцать пятого, был крепким, толстеньким младенцем. Но повитуха недобро поджимала губы, купая и запеленывая его. Прощаясь с роженицей, она наказала Варе беречь этого мальчика пуще глаза — мол, видение ей было, что недолговечный он и где-то в этой земле ляжет до сроку. Варя в бога не верила, предрассудков не слушала, но напугалась всерьез. Эта повивальная бабка Микулиха тем и славилась, что судьбу всех детей, которых принимала на свои руки, видела в окне хаты, когда заглядывала за стекло, прежде чем в дом к роженице войти…

Так что за Васеньку своего Варвара страшно боялась. Но прежде беда случилась с мужем. Вдруг заболел, стал задыхаться, невесть откуда взялась астма. Сник и быстро умер, золотой души человек, ее любимый Стасик. И снова стала Варя вдовой, только теперь уже сорокалетней и с сыном-подростком.

И надо же было в ту пору овдоветь мужичку из соседней деревни — Афоне Макаренко. Его жена, родив пятого ребеночка, через неделю умерла от горячки, и мужик был убит горем. Что ему одному делать, когда орава — мал-мала меньше, а старшему всего десять лет… Тут кто-то и присоветовал посвататься к Варе, серьезной и работящей женщине.

Когда он появился в доме Варвары, где все было налажено и обустроено умелым хозяином, искусным столяром и плотником Станиславом Михайловичем, и сел на сделанный им табурет, опершись на сколоченный им столик, у Вари сердце зашлось от тревоги и бесприютности. А гость сразу начал звать замуж, нажимая на то, что без нее сиротки пропадут. Варя уже понимала, что ни радости, ни счастья ей этот брак не принесет. Но было ужасно жаль неповинных ни в чем детей. И она почти дала согласие. Едва жених ушел, к ней набежали соседки — отговаривать от такой обузы. Она слушала, кивала, но на следующий день сходила-таки в его село Ювалу посмотреть на дом и деток.

Дом был неухожен больше, чем можно было предположить. Видно, покойница была не из чистюль. Дети — понурые, младенец

в зыбке так ослаб, что почти не орал. Девчонка лет девяти смотрела на нее враждебно, исподлобья, а крепкий парнишка постарше — дерзко и нахально. Ей стало неуютно и захотелось тут же уйти из этого чужого дома. Но тут вдруг через порог перескочил пацаненок лет двух-трех. Бесштанный, с замурзанной мордашкой, он подбежал к ней с криком «Мамка!» и вцепился в передник, прижался к ее ногам, крепко их обхватив. Потом, разглядев лицо, будто отпрянул, но снова приник и никак не отцеплялся. Высвободиться из его ручонок у нее не было сил…

Как уж там жили в мирное время, с горем пополам, теперь, в войну, почти не помнилось, но казалось — и сытно, и счастливо. А война пришла — стало в сто раз тяжельше. Когда объявили мобилизацию, в семье не было никого в призывном возрасте, думали, обойдется. Все в совхозе работали, даже ребятишки в сентябре в школу не пошли… Но справным мужикам в деревне только урожай собрать дали да технику чуть-чуть подготовить к новому сезону. Вышел им приказ в областной центр отправляться — на эвакуированных заводах нужны были работники. Афанасий, хоть и было ему уже под шестьдесят, все равно был мобилизован — в город, в трудармию, на казарменное положение.

Старшим пацанам — и Василию, сыну тетки Варвары, и Петру, сыну Афони, — тогда сравнялось уже по шестнадцать лет. Они в совхозе работали как взрослые — Васе трактор дали, Петру конюшней управлять досталось. Варвара работала тоже от зари и до зари, всю домашность бросила на единственную дочь Маринку да на меньшого Колю. Подросток Ванечка повсюду успевал: в школу по зиме ходить начал и работал после уроков с другими ребятами из класса. На ферме, на току, на совхозных погребах…

Вскоре один за другим были призваны воевать все молодые парни с их заимки. Настала очередь и Пети да Васи. Очень они сожалели, что отправляются на фронт не вместе — за эти годы они стали настоящими братьями, сдружились. А в войну, враз повзрослев, забыли про все детские раздоры. Но Петра, более крепкого, рослого, и физически сильного, взяли в какое-то училище для командиров, а Васю определили рядовым в пехоту…

Сыновья писали мало и нечасто, но, получая эти редкие весточки, мать была необычайно рада. Так она знала хотя бы, что совсем недавно они были живы-здоровы. Старательно вглядывалась в нечеткие, мутные штемпели. Хотя и слыхала уже, что почта порой подводит, и пришедшее письмо вовсе не означает, что солдат и сейчас еще живой.

Почтальонка Дуся, соседская девчонка-подросток, еще не на выданье, но уже долговязая и выносливая — на три села одна почту получала и разносила — сперва просто опускала глаза, когда не было писем тетке Макаренчихе. А после и вовсе норовила мимо прошмыгнуть, подальше от вопросов. Но не удалось избежать неприятной встречи — сколько их было за войну у Дуси! — пришла горькая весть и в Варварин дом. Сначала тетка Варя, было, обрадовалась, завидев синюю жакетку Дуси у своей калитки. Но по лицу девчонки тотчас же поняла: что-то не так. И верно, вместо

треугольничка из плохой бумаги со знакомым почерком и синими кляксами цензорских помарок Дуся протянула ей сероватый крепкий конверт. В нем был официальный бланк похоронного извещения на Васю.

В казенной бумаге сообщалось Варваре, что ее сын, Гвардии сержант — дальше бледными лиловыми чернилами от руки были вписаны фамилия имя и отчество Васеньки — погиб смертью храбрых в боях за Родину. Сообщалось, что похоронен он далеко-далеко от Сибири, на Украине. Случилось это в боях за освобождение нашей земли, недалеко от города Градежск, не то Сумской, не то Полтавской области.

Свет померк в глазах у матери. В тот момент, конечно же, не пришли ей на ум слова знахарки-повитухи о недолговечности сына.

Они вспомнились потом. Повивальная бабка тогда наказывала матери беречь парнишку. Но как его сберечь? От всего можно уберечь — от глубокой реки, от высокой лесины, от дикого зверя. Только от войны не убережешь…

Уж она оплакивала Васю, оплакивала, но не вернуть того, кто потерян навсегда!.. Однако когда сам не хоронишь человека, труднее поверить в его смерть. Мать и не верила. Никак не верилось ей, что совсем нет на земле ее кровиночки. Не укладывалось это в голове, не принимало сердце, не мог осознать ум. Все надеялась она, что сын живой, что это ошибка… Но не успела мать еще отплакать по Васе, как снова Дуся принесла казенный конверт. На сей раз извещение было на Петра. Где похоронен, как погиб — ничего не сообщалось. Место гибели Василия вместе с учительницей Коля нашел и хотя бы показал ей на карте, в затертом довоенном учебнике. А где сложил голову Петро?

Мать будто оцепенела. Ребятишки плакали по Петьке в голос, Маринка сидела на лежанке у печки, прижав к себе братнин полушубок, который с гордостью донашивала после его отъезда на фронт. Тулупчик был ей почти до пят, но она им очень дорожила, форсила перед девчонками, подпоясывалась солдатским ремнем. Берегла тулуп, хотела вернуть брату в сохранности, когда вернется. А Коленьке шапка Петра досталась, но эти вещи не считались «наследством», они ждали хозяина. А теперь вот как получилось! Не вернется он, некому тулупчик возвращать…

Варя замерла над военкоматовской бумажкой, сидела над ней всю ночь. Не могла решить, как сообщить Афоне о похоронке. О телефонах тогда и не слыхивали, их в деревнях не было, и письмо такое нехорошее слать тоже не хотелось. Самой бы в город съездить, с глазу на глаз все сказать!.. Афоня хоть и грубиян и не сентиментален, но первенца потерять — это даже для мужика большое горе. Тем более что старший сын для деревенского хозяйства — главная основа, опора.

Стояла глубокая осень. Санный путь до города уже был, а вот река еще не встала. Совхоз на днях собирался отправлять в город обоз с продуктами. По раскисшей, присыпанной снегом дороге груженые сани ползли с натугой, и то хорошо. Ведь идти так

быстро, как может лошадь, старуха Макаренчиха — а она вдруг в несколько дней и в самом деле превратилась в настоящую старуху — не смогла бы. Она да еще несколько баб из соседних деревень напросились Христа ради вместе с обозом сходить в город, мужиков своих навестить. А это почти сто километров, не один день идти нужно. Варвара среди всех баб была самая старшая, ее натруженные ноги едва могли преодолеть эту дорогу, а еще и санки с поклажей надо было тащить.

Хоть и скудно жили, а набрались полные салазки гостинцев: картошка, морковь, малость крупки, сушеная ягода да лист смородинный — чай заваривать. Медку баночка, квашеной капусты бадейка… Так нагрузила санки — едва с места сдвинешь. А они и сами тяжеленные, из толстых брусков, на кованых полозьях. Еще Станислав-покойничек мастерил. Спасибо хоть позволили ей возницы привязать свои санки к большим саням. Но все равно надо было идти следом, смотреть, чтоб поклажа не опрокинулась. Иногда пешим бабам позволяли присесть на возы, но ненадолго. Возницы пожалостней уступали им свое место, сами спускаясь с саней «поразмяться».

Шли по целому дню и по темноте тоже, ночевали по пути в чужих деревнях, в клубах или в пустых амбарах. Мерзли у почти застывшей реки, ожидая парома, одного из последних в ту осень. Лишь к исходу третьего дня пришли. По городу, где еще снег не лежал, до самого завода, где работал ее мужик, Варвара тащила свои санки из последних сил. По грязи Заисточья было еще ничего пробираться, а по булыжнику мощеных городских улиц тяжелые полозья противно скрежетали. Как ножом по сердцу полосовали.

Чем ближе оставалось ей пути до Афони, тем страшнее было того мига, когда покажет ему похоронку, прихваченную с собой. Афоня стал за это время какой-то чужой, совсем уж непонятный. И раньше между ними не было особенного лада и мира, а сейчас, глядя на его морщинистое лицо, заросшее по-деревенски неопрятной бородой, Варвара поняла, что не жить им больше вместе. А что — любви и ласки никогда и не было, а ребят она ему честно вырастила.

Муж долго держал перед глазами шероховатую бумажку с жирным шрифтом и вписанной от руки фамилией. Он был не особо грамотен и не один раз прочел все, что написано, шевеля губами. Потом скомкал бумагу в руках, пропахших машинным маслом с въевшейся в кожу металлической пылью. После расправил на колене, вдавливая в ткань стеганных ватных штанов.

— Эх, Петро-Петро! Как же так? Было четверо пацанов — а теперь один меньшой в дому остался! — только и сказал он.

…Ночевала Варя в городе у брата Арсентия. Его жена Фенечка казалась ей такой счастливой — у нее один только сын, Михаил, на фронте. А остальные дети — девки, правда, и им несладко в войну пришлось. Маша в 15 на работу пошла, Зинка, старшая, учительствует, младшая, школьница Тамарка, с пионерами над госпиталем шефствует. У самого Арсюши легкие больные, его на фронт не

призвали… Хоть и устала Варвара ужасно, а всю ночь со снохой просидела за столом. И поговорили, и поплакали.

Обратно из города добрались скорее. И грязь взялась морозцем, и возы порожняком шли легче. Сама Макренчиха ехала на больших санях, а ее пустые салазки свободно болтались позади. Но и эта дорога оказалась не легче. Мысли горькие были тяжелее поклажи. Однако надо было снова жить. Тащить на себе хозяйство, кормить детей.

Ванечку, материного любимчика, мобилизовали на войну последним из сыновей, как только вошел в призывной возраст. Это было весной сорок четвертого. Он поначалу стоял в городе, правда, недолго — мать еще успела съездить, привезти ему продуктов и попрощаться. Она прижималась к долговязой худой фигуре, целовала, неловко нагибая к себе обритую наголо голову, потихонечку, крадучись, крестила его. И вспоминался ей в эти минуты бритый наголо пятилетний мальчишка, с любопытством разглядывающий ее. Первый из пасынков, признавший в ней, мачехе, мать, нежный, добрый и безобидный парнишка. Вспомнилось вдруг, как порезал он палец однажды в детстве, и полилась из ранки кровь. Он зажал ее ладошкой и прибежал к Варваре с криком: «Ой, мамка, я порезался, глянь, кровь, и кишки лезут!»

Завязав рану чистой тряпочкой и успокоив его, мать потом долго ему объясняла, что из пальца кишки никак не могут полезть.

Пришло от Вани всего только три письма. Два — с учебы, одно — с дороги. После первого боя он почему-то не написал, а во втором его не стало. Он погиб в сентябре 1944 года в Эстонии, недалеко от деревушки с трудным названием, и никто из темной деревенской родни так и не побывал на его могиле. Друг, видевший его смерть, прислал потом фотокарточку, которая хранилась у Вани в нагрудном кармашке гимнастерки. На ней была заснята вся семья в далеком 1938 году. Следов крови на карточке не было, друг писал, что осколок попал Ванечке в живот. Он зажал огромную рану руками и только успел пробормотать: «Ой, больно, кишки лезут…» Долго не мучился, умер сразу.

Неизвестно, как бы пережила тетка Варвара эту третью похоронку, но незадолго до того, как принесли извещение о гибели Ивана, с ней случилось чудо. То самое, о котором в годы войны все мечтали. После похоронки пришло настоящее новое письмо от родного сына Васеньки. Оказывается, он был жив, только очень тяжело ранен и контужен. Однополчане приняли его за мертвого и подали документы на похоронное извещение, а другая воинская часть позже подобрала. В госпиталь направили, долго лечили. Теперь комиссовали окончательно, поскольку чашечка коленная раздроблена, и одна нога не сгинается совсем, стала чуток короче другой.

Господи, как радовалась Варя, как молилась Богу о спасении двух других сыночков, как благодарила его за спасение этого сына — своей родной кровиночки! И небывалое случилось снова, хотите, верьте, хотите нет! Чудо повторилось в этой семье во второй раз! Сначала на Петра пришла бумага, что похоронная ошибочна, что

он без вести пропал, а потом, уже к зиме сорок пятого года, он сам вернулся — без предупреждения, как снег на голову… Худой, бритый налысо, изможденный, да еще с пустым рукавом! Оказалось, был он все это время в плену, в фашистском концлагере. А руку левую ему отняли еще на пути в Польшу, где он пробыл до самого освобождения наших пленных Красной Армией. В эту руку его ранило в том памятном последнем бою. С перебитой рукой в грязи валялся, в колонне голодных пленных шел, рука не заживала, стала гнить. Как, кто и чем ее отпиливал, Петька матери не сказал, а она и не допытывалась. Рада была тому, что живой.

…Сейчас в деревне, из которой уходили на фронт сыновья тетки Варвары, не осталось ни одного фронтовика. Умерли все, и приезжие, и те, кого от этой вот совхозной конторы под гармошку провожали на войну. Последним ушел из жизни однорукий Петр Афанасьевич, сын бабки Макаренчихи и деда Афони. Петру поставили на кладбище хороший мраморный памятник, половину стоимости которого оплатил военкомат. Это самый красивый и добротный памятник на их маленьком старом деревенском погосте. На фотографии Петр уже пожилой, в строгом костюме, при медалях. Вася лежит на этом же кладбище, только попал на него почти на полвека раньше — погиб он в сентябре пятьдесят седьмого на том поле, которое пахал всю жизнь, за родной околицей. Над могилой, на вершине металлической пирамидки, сияет звезда из нержавейки. Весной, когда все празднуют годовщину Победы, в околках вокруг кладбища ярко пламенеют кусты оранжевых цветов. Это жарки, или «огоньки». А на поляне за кладбищенской оградой и дальше, на покосах, распускаются нежные лиловые и сливочно-желтоватые подснежники на мохнатых ножках.

Потом приходит пора душистой земляники, сладкой, с хрустящими семечками лесной клубники, терпкой дикой смородины… Все это мальчишки — Петя, Вася и Ваня — собирали тут в давние времена, в детстве. Когда погост был еще новым и совсем маленьким. Они здесь выросли, выросли здесь и их дети, внуки. Семеновна же до самой глубокой старости проводила долгие летние дни у могилы сына, обихаживая ее. И маленькую правнучку из города с собой привозила. Так она и выросла «на могилках».

Из-за того случая с «неправильной» похоронкой имя Василия ошибочно попало в Книгу Памяти. Впрочем, не очень-то долго судьба позволила себя обманывать, недолго пожил солдат после своего чудесного спасения.

В центре поселка, у клуба, стоит скромный обелиск, на котором написаны имена всех, кто ушел из этого села на войну и не вернулся. Правнучки Пети и Васи кладут к ним дикие ромашки, повсюду растущие тут, на заброшенной площади, похожей на пустырь. А от Вани на этой земле не осталось никого. Только фотокарточка сохранилась — та самая, вынутая товарищем у мертвого парнишки из кармана гимнастерки. На ней он совсем мальчишка. А за кадром — огромный мир. Мирный мир, до которого он не дожил.

ЧХАТАРАШВИЛИ БААДУР МИХАЙЛОВИЧ. 1952 г. р. Пенсионер. Живет в г. Тбилиси, Грузия.

Баадур ЧХАТАРАШВИЛИ

АНАРХИЧЕСКИЙ ХРОМЕЦ

Виссарион: просторная блуза синей саржи, томик Кропоткина в кармане, орденские планки, негнущаяся нога — размашисто ступал на каблук, пронзительный взгляд, дикие кустистые брови, встрепанные вкруг обширной лысины седые космы, бугристая ринофима (винный нос по-народному) — сопатка гаера походила на лежалую еловую шишку, однако, вопреки, употреблял всего раз в год — фронтовые сто грамм на День Победы. Презирал право, государство, собственность, в ожидании скорого прихода анархо-коммунизма скрепя сердце подчинялся общепринятым нормам поведения.

Заведовал околотошной библиотекой. Обязанностями своими манкировал — отпускала книги, принимала почту, отвечала на входящие письма и тянула прочую рутину тощая желчная библиотекарша, — сам же, сколько я его помню, исписывая фиолетовыми чернилами ученические тетрадки в линеечку, трудился над кодексом городского самоуправления — по параграфу на тетрадь. Набрав с десяток, составлял сопроводительную записку и сдавал рукопись в канцелярию горисполкома. Из-за предсказуемого отсутствия ответной реакции властей был угрюм, раздражителен, проявлял свое недовольство тем, что многотомные труды идеологов диктатуры пролетариата сваливал в самом пыльном и темном углу абонемента.

Над рабочим столом держал портреты Кропоткина, Бакунина, старейшины грузинских анархистов Варлаама Черкезишвили и… Сталина — это по прошествии двадцатого съезда, прошу отметить. Партийные органы закрывали глаза на чудачества Хромца, и тому была веская причина — его военное прошлое.

Как и его кумир Кропоткин, Хромец был географом. В довоенные годы истово увлекался альпинизмом. Сочетая увлечение с профессиональными обязанностями, облазал глухие ущелья Абхазии, Сванетии, Кабарды — составлял тематические карты малоизученных уголков Большого Кавказа.

Пришла война — Гитлер рвался к хлебу Кубани, к бакинской и грозненской нефти, к вольфраму Тырнауза, марганцу Чиатуры, а анархист истово рвался на фронт, но, увы, «козья ладонь» — в давней экспедиции отморозил на склоне Ушбы и потерял средние пальцы на правой руке — сделала его непригодным к строевой, вот и поставили гаера собирать гранаты в одном из цехов полностью перепрофилированного на нужды фронта Кировского станкостроительного. Долгий первый год войны набивал он тротилом «консервные банки» РГ-41, засыпая одновременно письмами с требованием направить автора в действующую армию все мыслимые инстанции, но — тщетно.

21 августа 1942 года пластуны горно-стрелковой дивизии вермахта установили флаг рейха на вершине Эльбруса. Сердце честного анархиста не смогло выдержать подобного надругательства над седыми вершинами *его* гор, и он предпринял попытку прорваться в кабинет командующего Закавказским фронтом Тюленева, был нейтрализован и препровожден во второй отдел известного здания на Дзержинского. Суровые чекисты приступили было к разработке вероятного диверсанта, но, опознав в нем автора бесчисленных эпистол с угрозами приступить в частном порядке к террору в расположении противника, передали его под опеку особиста родного предприятия. Однако начальство предполагает, а Пишущие судьбу располагают: ровно через неделю после неудавшейся диверсии на завод нагрянул с инспекцией замкомандарма оборонявшей перевалы 46-й армии, гроза тыловиков генерал Ищенко. Наш анархист, и так пребывавший в смутном состоянии, воспринял появление на своем жизненном пути фронтового начальника как знак судьбы, спарив, обмотал изолентой только что собранные «изделия», и стал дожидаться появления обходившего цеха высокого гостя. Далее разыгралось короткое, но очень насыщенное действо: сопровождаемый охраной и заводским начальством генерал вступил в дверь, анархист вышел из-за рабочего стола, выставил перед собой связку и сунул палец в кольцо одной из гранат. Гости смешались, охрана наставила на протестанта стволы, назревала тяжкая развязка, не смутился только повидавший виды генерал — двадцать пять лет в строю: Гражданская, отлов гайдамаков и петлюровцев, борьба с бандитизмом на Харьковщине, отсидка в Харьковском централе, реабилитация, комдив на турецкой границе, с сентября сорок первого на Кавказе, на передовой, — Ищенко, с большим интересом разглядывавший трагикомичную фигуру.

— Кто таков? — обратился Яков Андреевич к особисту.

— Местный псих, — раздул ноздри вертухай, — альпинист отбракованный, на фронт рвется…

— Альпинист? — генерал ступил к Виссариону, хлопнул по плечу. — Так ты мне и нужен! Бросай жестянки. За дурака меня держишь? — во избежание несчастных случаев гранаты и запалы к ним доставлялись в подразделения раздельно. — Бегом к моему автомобилю. Я у вас его забираю, — обернулся к заводским. — Сообщите в военкомат: отбыл в распоряжение сорок шестой армии…

В августе немцы прорвались к перевалам. 1-я горнопехотная дивизия захватила седловину Марухского, но у входа в ущелье противника остановили части 810-го стрелкового и лишили тем самым возможности проникнуть в долину Чхалты, на Кодори и Сухуми.

7 сентября к бойцам 810-го полка подошло подкрепление — несколько батальонов 107-й стрелковой бригады с батальоном 2-го Тбилисского пехотного училища, к которому и был приписан инструктором по альпинизму наш смутьян.

К тому времени война здесь затеялась минометно-пулеметная, без продвижения сторон: наши готовились к контрнаступлению —

служба тыла с ног сбилась; немецкие пластуны отлеживались после тяжелого рывка к вершинам.

От щедрот интендантской команды экипировку для Бесо подобрали наилучшего качества: куртка «канадка» цвета первой травы, штаны «гольф» того же колора и так называемые «студебеккеры» — ленд-лизовские ботинки с квадратными носами, — однако появляться в подобном наряде на линии огня днем было чревато, ибо на снегу движущееся ярко-зеленое пятно являлось отличной мишенью, вот и наладился новобранец лазать в блиндаж разведроты, проситься к стереотрубе: мол, присмотрюсь к ландшафту, намечу будущие колонные тропы, запомню места вероятных камнепадов — как инструктору, при наступлении пригодится. Торчал он там дня три, а на четвертый пришел в ночь, опять приник к трубе — разведчики уже привыкли к визитам частого гостя, не обратили внимания, что на сей раз тот явился с полным подсумком. Бесо посопел у трубы, выкурил с бойцами цигарку, ступил за бруствер и ушел в темноту, к котловине. Образовалась паника: послали за смершевцами, те сунулись было вслед, но быстро вернулись — забоялись мин, которыми была нашпигована пустошь. Примчался комбат, орал на ротного:

— На передовую сошлю!

Тот огрызался:

— Вот она, передовая, в бинокль видна...

Пока суетились, седловину осветила вспышка, негромкий хлопок в ночной тиши раздался.

— Капец перебежчику, — сплюнул старший особист, — на мину нарвался...

Сели писать рапорт. Пока спорили — никак сговориться не могли, явился сам «перебежчик»: весь в снегу, замерзший, сунулся к печи обогреться. Его сгребли — и в штрафную землянку, в вязки. А утром разведчики высмотрели на противоположном склоне свежую воронку и остатки разметанного взрывом пулеметного гнезда.

Тут уже полковое начальство зашевелилось, прибыл прознавший о случившемся Ищенко, объявил подопечному благодарность от имени командования, велел впредь инициативу пластуна не зажимать и предоставил ему недельный отпуск с отправкой в Сухуми, в реабилитационный санбат. Бесо от отпуска отказался, двое суток отсыпался, после явился к разведчикам, набил подсумок гранатами и снова ушел в ночь. Через час-полтора — вспышка, хлопок, к утру усталый, но довольный донельзя, отогревался чаем со сгущенкой у жаркой печи. На пятую ходку вернулся с трофеем — пригнал сильно побитого оберста-«эдельвейса», который на ломаном русском умолял защитить его от «этого дикого горца». «Горца» с языком отконвоировали на вторую линию, в штаб полка, где герою устроили триумф. Поглядеть на Бесо прибыл сам командарм Леселидзе, обнял, расцеловал в обмороженные щеки, наколол на лацкан «канадки» медаль «За отвагу», велел штабным оформить наградной лист, усадил в свой «виллис» и увез в неизвестном направлении. Вернули опухшего от злоупотребления генеральским коньяком анархиста через сутки. Не нарушая заведенного им

самим распорядка, Бесо отоспался, дождался ночи и опять ушел в седловину…

В декабре Ищенко направили в Тамбов, «поднимать» службу тыла сформированной для усиления Сталинградского фронта 2-й гвардейской армии. Яков Андреевич забрал с собой полюбившегося анархиста — ординарцем и, по совместительству, личным шофером. По прибытии, на ходу доукомплектовывая армию, пошли на соединение с войсками Еременко. Встали на пути поспешавшей на выручку к Паулюсу группировки Манштейна, после с боями шли к Ростову, освобождали Новочеркасск. Все это время Ищенко с верным водилой провели на колесах, в бесконечной гонке: боеприпасы, горючее, продовольствие, медикаменты, эвакуация больных и раненых — бесконечные эшелоны с передовой и на передовую, перешивка разоренных путей, зачастую под бомбами все еще сильного врага. Снаряды, снаряды, снаряды: плотность артиллерии — двести пятьдесят-триста стволов на километр фронта, это колонны грузовиков со снарядами… В этой кутерьме Бесо нагнала медаль в пару к первой: перед убытием с перевала неугомонный пластун разыскал и грохнул потайной склад «эдельвейсов» с внушительным боезапасом — сутки полыхало и рвалось.

На подступах к Донбассу встали в резерве у Миусского укрепрайона противника, стояли до июля сорок третьего. Деятельный анархист затосковал, впал в хандру, вот тогда-то и пришел к Ищенко командир 13-го гвардейского корпуса Чанчибадзе:

— Наслышан, Яков Ильич, про художества твоего ординарца. Отдай мне земляка (Бесо, как и Порфирий Георгиевич, родом был из Озургет) — по нему разведка плачет.

Так анархист попал в разведроту только что вышедшей из окружения 3-й гвардейской дивизии.

Комроты, жесткий старлей-сибиряк, сразу же загнал Бесо на гауптвахту, ибо тот заявил, что привык работать в одиночку и не приемлет коллективные походы в расположение врага.

После отсидки оппоненты вновь сцепились, чуть до драки не дошло — запахло штрафбатом. Пришлось самому Чанчибадзе разруливать, гасить конфликт. В результате обстоятельной профилактической беседы — а генерал мастерски умел укрощать строптивцев — сговорились: анархист прекращает какую бы то ни было самодеятельность, строжайшим образом подчиняется действующему боевому уставу, после завершения испытательного срока без провинностей, в виде поощрения, будет допущен и к персональным заданиям.

Стреножили неистового, на неделю отправили к саперам — ознакомиться с премудростями подрывного дела, привели к гвардейской присяге и зачислили в группу ночного поиска — сплошь матерые, прошедшие Сталинград сибиряки-тихоокеанцы, которым фанатичный новичок пришелся по душе за холодное бесстрашие и за необъяснимую способность чуять на расстоянии мины и ловушки.

После были бои за Донбасс, освобождение Молочанска, Каховки, Херсона, Евпатории, Севастополя — здесь и нарвался Бесо

на «свою» мину: негромкий хлопок и вспышка в ночи. Вынесли товарищи, ползком, через «колючки», в обход вражеских дзотов, — разведка своих не бросала, ни живых, ни мертвых. А Бесо на удивление всем оказался жив, хоть и беспамятен. Эвакуировали, приложив медали и документы (на задание разведчики уходили пустыми — ни бумаг, ни наград, ни знаков различия), после череды полевых лазаретов попал в родной Тифлис, в эвакогоспиталь № 1434 на Калинина. Пишущие судьбу вернули Бесо к самому порогу его дома — проживал он сызмальства на Кирочной...

Чинили анархиста долго, до осенних дождей, а в ноябре — гора с горой не сходится — прибыл в госпиталь на лечение (сказалось тяжкое переутомление первых дней войны) успевший дослужиться до звания бригадного генерала Войска Польского (помогал Рокоссовскому обустроить Главную интендантскую службу) Ищенко, можно сказать — крестный Бесо. Встреча была трогательной и хмельной — с соизволения главврача раздавили бутылку-другую кахетинского.

— Порфирий знает, что ты здесь? — поинтересовался Яков Андреевич.

Анархист пожал плечами:

— От комкора до рядового, да еще и списанного...

— Разберемся! — подмигнул дважды генерал, указал на две сиротливые медали, пришпиленные к больничной пижаме. — Что, за все твои художества всего-то пара бирюлек? Разберемся! — подозвал госпитального сексота: — Слышь, чека, организуй-ка мне прямой провод с командармом-два. Тебя, Бесо, когда покорежило, в мае? Значит, не знаешь, что Георгиевич нынче нашей гвардейской командует...

В феврале сорок пятого похорошевший Ищенко укатил командовать тылом Белорусского округа, а Бесо вернулся на родной станкостроительный — командовать цехом, в котором раньше собирал «изделия». В марте пришли наградной лист и третья «Отвага», а в середине июня Бесо вызвали в штаб округа, вручили орден Славы I степени, нарушив при этом обязательную очередность степеней, парадную форму нового образца и велели в ночь на двадцать третье число быть готовым лететь в Москву:

— За вами заедут.

Летели разномастной компанией: обвешанный орденами суровый танкист, капитан артиллерии с деревянной рукой, троица веселых военморов ну и сам Бесо — в новенькой гимнастерке и с негнущейся ногой. Приземлились на Ходынском поле, ночевали в Лефортовских казармах, где им раздали пропуска на парад Победы. К девяти часам утра Бесо уже протискивался сквозь толпу высокопоставленных гостей к гранитному парапету трибуны у Кремлевской стены...

Откуда мне известны подробности жизненного пути анархиста? Несмотря на существенную разницу в возрасте — мне двенадцать, ему под пятьдесят, — были мы закадычными друзьями, вплоть до того, что Бесо позволял мне просматривать его

дневники фронтового периода, а, пристрастный к мемуаристике и педант при этом, практиковал он их тогда исправно. Мало того, допустил он меня в «закрытый» абонемент библиотеки — специальную комнату с подшивками периодики тридцатых годов, так что я, любопытствующий запретной темой, подавляя зевоту, изучал стенограммы обвинительных заключений по троцкистско-зиновьевскому, пятаковскому, бухаринскому делам. Когда патетический слог Андрея Януарьевича утомлял мои юные извилины, я откладывал в сторону подшивку «Известий» и отдыхал душой, просматривая занимательнейшие книжки «Огонька» с захватывающими описаниями полета в стратосферу Константина Годунова, дрейфа папанинцев, перелета Чкалова — Беляева — Байдукова… Вот такая была у нас дружба, на доверии, ибо ляпни я где-нибудь про посещения запретной комнаты, схлопотал бы мой старший товарищ серьезные неприятности — стояли последние, мрачные дни хрущевщины.

Лето шестьдесят четвертого я отбалбесил в деревне у родни, а когда к началу учебного года вернулся в город, ждало меня горькое известие: Бесо умер, без мучений, заснул и не проснулся. Жил он бобылем, сбережений ввиду скудного жалования не оставил, похоронила его, как фронтовика-орденоносца, военная комендатура города, награды, за неимением наследников, сдали властям…

ЯНЖУЛА АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ. 1947 г. р. Управление Федеральной почтовой связи по Красноярскому краю. Член Союза писателей России. Живет в г. Красноярск.

Анатолий ЯНЖУЛА

КОЛПАК ЛЕЙТЕНАНТА НИКОШИНА

«Когда она кончится, эта проклятая дорога! Да и дорога ли это вообще? Правы те, кто говорят, что в Забайкальской степи нет дорог, а есть только направления». ЗИС-5, натужно подвывая мотором, упрямо выползал на бесконечно пологий склон очередной сопки. Двигатель должен вот-вот закипеть, но Андрюха решил не останавливаться и вытянуть на гребень. Лейтенант Никошин спал, натянув фуражку козырьком до самого носа и спрятавшись в угол кабины. Но безжалостное солнце достало его и там. Тонкая полоска сонной слюны потянулась из уголка рта, губы оттопырились, придавая лицу детское выражение. «Пацан совсем, а уже лейтенант…» Андрей в душе немного завидовал этим молодым стрижам с лейтенантскими кубарями. Они были из другого мира и жили совершенно иной жизнью. Их учили создавать незримую границу между ними и солдатами, даже если по службе иногда и приходилось тянуть одну лямку. Все это понимали, в дружбу друг к другу никто не напрашивался, и каждый жил своим миром. В армии так и должно быть, иначе это уже не армия, а базар. Но у Никошина была другая точка зрения. Он командир Красной армии, ему вместе с кубарями дали власть над людьми, и они должны чувствовать это. И чувствовать постоянно. Желание показать окружающим, что он не просто Витя Никошин, порой выпирало, и выпирало с напористой злостью и высокомерием. Молодые командиры сторонились его, он бесился еще больше, и солдаты стонали от придирок и наказаний. А что поделаешь, придраться и к столбу можно. В отместку приблудному и пустолайному кобелю дали кличку «Никотин», и с удовольствием, где надо и не надо, громко окликали его.

Никошин часто ездил с Андрюхой по разным делам. Особенно, правда, не придирался, да и Анрюха, зная его паскудный характер, поводов не давал. «Кесарю кесарево, а слесарю слесарево», хотя порой было и обидно, что тебя держат за бессловесное быдло. Опять же, армия есть армия. Да и черт бы с ним, с этим Никошиным.

Андрей, высунувшись в окно почти по пояс, пытался заглянуть на задние колеса. В кузове лежал бетонный колпак ДОТа, рессоры просели до упора, и за задними скатами нужен глаз да глаз. Не дай Бог спустят, запоешь тогда матку-репку. С такой бетонной дурой в кузове уж точно не поддомкратишься.

Лейтенант проснулся, утер слюни и вертел головой, пытаясь определить, куда уже заехали, пока он расслабился.

— Ну что, Боженко, правильной дорогой едем?

— У каждого своя дорога, товарищ лейтенант. Эта наша.

— Ну-ну… Смотри мне.

И, правда, дорог тех в степи — как звезд в небе, выбирай любую. Андрюха уже научился ориентироваться по своим, только ему одному известным приметам. Где-то там, на западе, шла жуткая война, а здесь, в глухом Забайкальском краю, вдоль границы с Маньчжурией, бешеными темпами происходило зарывание в землю. Миллионы кубометров вынимались из земной глубины солдатскими руками. Строился оборонительный пояс. Глубоко эшелонированный, глубоко спрятанный в складках местности, закованный в броню и сталь, он должен был остановить миллионную Квантунскую армию японцев. Каждый день на западном фронте гибли тысячи людей, а японский император ждал сигнала, чтобы ударить в спину. Такие вот жестокие правила войны.

Андрюха тоже ехал на ту войну. Ехал да не доехал. Весной 41 года срочная служба на Дальнем Востоке заканчивалась. Можно было собираться домой, на родную Украину… Но пришло 22 июня. Его посадили в эшелон и повезли на запад, воевать. За Уралом паровоз вдруг перецепили к хвосту поезда, и эшелон пошел обратно. Почему — никто не знал. На станциях динамики хрипло говорили, сколько городов уже заняли фашисты… А эшелон упорно шел обратно, на восток, где войны не было. И только на станции «Борзя» им объявили, что у них будет другая война. Без взрывов, пуль и снарядов, но с тяжелейшим трудом и полуголодным пайком. Все для фронта — все для победы. Летом жара под 50 градусов, а зимой морозы. Тоже за 40. Вода летом и дрова зимой — по выдаче и норме. А норма простая: только чтобы не подохнуть. Но человек ко всему привыкает. Андрюха тоже привык жить впроголодь, воду пить понемногу, а ездить по звездам.

Никошин достал планшетку с картой и, прикладывая компас, попытался привязаться к местности.

— Ничего не пойму. По карте здесь абсолютно плоская равнина. Никакой гряды…

Лейтенант еще долго мусолил карту, прикладывая к ней компас и бормоча что-то себе под нос. Андрюха знал, что на точке его обязательно накормят, и терпеть на голодное брюхо поиски товарищем лейтенантом его неведомого маршрута стало невтерпеж.

— Товарищ лейтенант, я бы повернул.

— Да… — Никошин обрадовался, что Андрюха взял на себя решение вопроса и вывел его из тупика, куда он сам себя и загнал. — Ну, тогда поворачивай. Но гляди, Боженко. Заблудимся — спрошу по полной.

— Так я могу и не поворачивать.

— Ты доиграешься у меня сегодня Боженко. Ей-богу, доиграешься.

Да, Виктор Михайлович Никошин, лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии. Знал бы ты, голубь ясный, кто сегодня доиграется, так язык бы поприжал. Негоже под Божьим именем подличать. Все под ним ходим. И сегодня он уже решил, кто доигрался. Жди, милок.

Через пару часов еле заметная, белесая от притоптанной травы колея привела на склон сопки. Да, эту высотку можно без натяжки назвать господствующей. Место для оборонительной точки выбрано грамотно. За пологим склоном открывался каньон между грядами сопок, тянущийся почти до горизонта. Если на противоположной сопке поставить еще такую же заградительную точку, то пройти противнику по этой узкой долине будет практически невозможно. Выцветшая на беспощадном солнце, почти белая палатка стояла чуть в стороне, укрытая парой чахлых кустов, в маленькой ложбинке, плавно стекающей под уклон. Дощатый стол со скамейками да тренога с котлом — вот и все украшение бивуака. ЗИС, пискнув тормозами, остановился у края котлована с бетонными кольцевыми стенами. Придерживая винтовку, подошел часовой.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант.

— Здорово, человек с ружьем. Что же ты нас подпустил к самому объекту? Или службы не знаешь? — лейтенант прошел мимо солдата и остановился у края котлована. — А? Бдительность потеряли!? Сусликов считаешь. Как фамилия? Где сержант?

— Соков я... Красноармеец Соков, товарищ лейтенант! А сержант... Дык он эта... Он по воду пошел. Воду у нас... эта... сами знаете.

— Все я знаю и поэтому объявляю вам трое суток ареста, красноармеец Соков. По прибытии в часть отсидите.

— Дык я вас, товарищ лейтенант, еще когда заприметил. Я вас видел...Дык я же знаю вашу машину.

— А если бы ее враги захватили? И вообще... — лейтенант резко разозлился. — Прекратить разговоры. Пять суток ареста!

Андрей из за спины замахал руками солдату, чтобы он не спорил с Никошиным. Тот, заметив его жесты, разозлился еще больше.

— А ты чего тут размахался! Тоже под арест захотел? Махальщик... Я вам устрою кузькину маму. Один сусликов считает, другой, понимаешь, руками машет!

— Ну а я-то что вам плохого сделал? — Андрей махнул рукой и пошел к машине.

— Стоять! Красноармеец Боженко, ко мне! Я вас отпускал? Разболтались, как хвосты собачьи! На фронт захотели?

Андрей остановился, наклонив от солнца голову, исподлобья осмотрел снизу вверх на распетушившегося Никошина.

— Не пугайте ежа голой задницей, товарищ лейтенант. Я фронта не боюсь. Это у вас, я смотрю...

— Что «у нас» Боженко? Это у вас десять суток ареста!

— Да хоть сто, товарищ лейтенант.

— Ты что, под трибунал захотел?

— За что?

— За саботаж!

— Ну ничего себе. Это я саботирую...

— Товарищ лейтенант, это я виноват, что не стрелил в вас, когда вы подъезжали. А Андрюха-то здесь при чем?

— Ты чего, сдурел? — Никошин вытаращил глаза. — Зачем в нас стрелять? Ты чего городишь!

— Ну, я в смысле, «стой, стрелять буду».

— Ну а стрелять-то зачем?

— А если бы вы не остановились. А вы бы не услыхали, чего я кричу, и точно бы не остановились. В следующий раз обязательно стрелю. Прямо по кабине.

— Прекратить дурацкие разговоры!!! — от Никошина уже дым пошел. — Где сержант, тудыт вашу …?!

Из котлована на шум стали вылезать остальные солдаты.

— Здравия желаем, товарищ лейтенант. Чего за война?

— Строиться! Я вам покажу дисциплину!

— Чего это он вызверился? — солдаты, отряхиваясь и вытирая от глины и бетона руки о траву, неторопливо становились в короткую извилистую линию.

— Равняйсь… Смирно! — Никошин упруго заходил вдоль жидкого строя. — Тут что, бардак или секретная строительная точка? Один колупай сусликов считает, другой… — посмотрел на Андрея. — Этот вообще пугать меня вздумал.

— Да кто вас пугал? Это вы меня фронтом…

— Молчать в строю! Устроились тут как на курорте. Где сержант, я спрашиваю? — Никошин свирепо посмотрел по сторонам. — Кухарку из младшего командира сделали, понимаешь. Кто доложит состояние дел на объекте?

Все стояли молча. Таким разъяренным лейтенанта еще не видели. Парнишка был, конечно, с гонором, но чтобы так орать…

— Разойдись. Рядовой Сидорчук, показывайте объект.

— А чего тут показывать? Лезем у нору, там и побачимо.

Лейтенант с Сидорчуком полезли по лестнице в глубину, а солдаты столпились вокруг Андрюхи. Он достал кисет, и все дружно сунули в него руки.

— Змея гремучая его укусила? Чего ты его так разозлил?

— Фронтом меня давай пугать. А у самого штаны трясутся. Да пошел он… Приедем, напишу рапорт, чтобы в действующую отправили. А то будет каждое… пугать.

— Ну и дурак.

— Да чего дурак? Я тоже хочу писать. Может хоть нажрешься досыта перед смертью, чем тут с голоду подыхать.

— Да, сейчас. Приготовили там тебе сала с маслом.

— Но все равно не так кормят.

— Тише, услышит, точно настучит.

— Ну и пусть барабанит. На фронт хотим пойти, а не к девкам.

Тяжело отдуваясь, на склоне холма появился сержант Фролов. На плече держал канистру с водой. Лоб мокрый от пота.

— О, у нас гости! Колпак привезли! Хорошо! — опустил канистру на землю. — А где лейтенант?

— В котловане оне. Осматривают. Сейчас и тебе «хорошо» будет.

— А чего у вас такие рожи кислые?

— Заздря улыбаешься. У тебя сейчас тоже сведет.

— Что случилось?

— Злой как собака. Ваське пять суток объявил, а Андрюхе десять.

— Ни фига себе примочки. Это чего вы тут успели натворить без меня?

Из котлована показалась голова Никошина. Лестница было коротковата, и чтобы вылезти окончательно, лейтенанту пришлось подтянуться на руках и встать коленями на край ямы.

— Черт! Не могли лестницу по-людски сделать! — лейтенант, не глядя ни на кого, долго охлопывал вымазанные сухой глиной галифе. — Сержант Фролов, почему бардак на объекте?

— Здравия желаю, товарищ лейтенант, — Фролов службу знал и сразу понял, что зубатиться бесполезно. — Как доехали, товарищ лейтенант, что нового на фронтах?

— На фронтах идут бои, а вы тут...

— Товарищ лейтенант... Мы идем с опережением графика. Колпак вот ждали. Может, чайку холодненького? Товарищ лейтенант, пройдем в палатку, там и поговорим.

— Пройдем, — лейтенант, по-прежнему ни на кого не глядя, решительно шагнул к палатке.

— Ну, щас он ему даст...

Солдаты потихоньку двинулись в ту же сторону. Андрюха, махнув рукой, пошел к машине. Обида тихо ныла в душе. Ясно, что с арестом на десять суток лейтенант прокукарекал для публики. Кто ему, дураку, позволит садить шофера под арест. Шоферское дело — руль крутить, а не под арестом сидеть. Как вот только с ним потом в одной кабине ездить. «Ну, лейтенант, следующий раз ты будешь дорогу показывать. Посмотрим, куда ты заведешь, свистун лупоглазый».

Сержант вышел из палатки с серьезным лицом, но, слегка повернувшись к бойцам, подмигнул им одним глазом.

— Вам все понятно, Фролов? На объекте должен быть порядок.

— Будет, товарищ лейтенант.

— Готовьте покати для колпака. Боженко, быстренько подгоняй ЗИСок к яме.

«Еще быстренько ему. Засранец...» Ворча, Андрей осторожно развернулся на склоне, и ЗИС-5 тихим ходом, подвывая коробкой, подъехал чуть сбоку к краю котлована. Сержант, запрыгнув в кузов, размотал лежавший там трос и завел один конец в стальную петлю на краю колпака.

— Деев, Толкачев, крепите лебедку, — и, размахнувшись, кинул конец троса. — Андрюха, тащи солидол, бревна намажем, чтобы легче шел.

Андрей, одев верхонки, обильно смазал брусья и бревнышки покатей солидолом и закрепил их скобами к полу кузова. Лейтенант, проверив крепление лебедки, махнул рукой:

— Давай помалу... Крутите на натяжку троса.

Лебедка, тонко подвывая подбитой собакой, методично постукивала собачкой.

— Сержант, что, не могли лебедку смазать? Ох и бардак у тебя... Останови.

Трос натянулся стрелой, но колпак с места еще не тронулся. Он должен проползти по направляющим в кузове к наклонным покатям и аккуратненько лечь на краю котлована. Подняв бетонные стенки ДОТа до верхнего уровня, его все той же лебедкой затянут сверху. Отделение сержанта Фролова заканчивало строительство уже четвертой оборонительной точки и на команды лейтенанта особенно не реагировало. Много таких крикунов видели. На всех не накрестишься. Фролов залез под правую покать, ногтем поскреб древесину.

— Не нравится мне, товарищ лейтенант, это бревнышко.

— Чего оно тебе не нравится? А ну-ка, подвинься… — Никошин долго разглядывал бревно, тоже поскреб его ногтем, понюхал содранную кору. — Бревно как бревно, не хуже других.

— Гнильцой припахивает. Как бы…

— Другое есть?

— Нет.

— Что предлагаешь?

— Не опускать на этом. Может подломиться.

— Значит, ты предлагаешь ехать с колпаком обратно, найти хорошее бревно и опять ехать сюда?

— Выходит так, — Фролов вылез из-под кузова и в раздумье скоблил грязь на ладони.

— Умный ты, товарищ сержант, не в меру, — понизил голос. — Ты хочешь, чтобы надо мной весь гарнизон смеялся?

— Может подломиться, — Фролов шумно вздохнул и, словно ища поддержки у товарищей, оглянулся по сторонам.

— А ну как подломится, товарищ лейтенант? — Васька Соков, поддергивая винтовку, тоже попытался заглянуть под бревно.

— А ты опять с поста ушел?! Тудыт-твою растуды, развели тут… ассамблею. А ну, марш на пост, советчик! Сержант, сгружайте колпак, а то мы тут с вашим шалманом до ночи будет рассуждать, чего делать.

— Есть, товарищ лейтенант. — Махнул рукой в сторону лебедки: — Давай помалу.

Трос, коротко зыкнув натянутой струной, стронул колпак с места, и он по жирным от солидола бревнам пошел к краю кузова. Сержант, еще раз глянув на правую покать, перепрыгнул через трос и перешел на левую сторону. Лейтенант закурил и, сжав зубы, исподлобья смотрел на тихо движущийся колпак. Его еще можно было остановить, он еще не дополз до края… Может, и правда остановить, не рисковать? Но представив на секунду железный взгляд комбата Зигаева, его желчное: «В чем дело, лейтенант?», Нокишин молча смотрел, как, миллиметр за миллиметром, колпак приближался к покатям.

Все, обратно его уже не подашь! Колпак медленно навис над наклонными бревнами, чуть качнулся…

Сила тяжести потянула его вниз и немного вперед…

Вот он коснулся передней кромкой наклоненных бревен…

Покати, спружинив, чуть прогнулись… Левая выпрямилась, а правая…

В напряженной тишине послышался тихий хруст…

Дальше все было стремительно и страшно…

Бревно, сухо хрякнув, проломилось, колпак, как ударенный ножом в сердце поросенок, резко завалился вправо и, вырывая вместе с комлями земли лебедку, перевернулся на горб. Затем, встав на ребро, вновь перевернулся… И, уже ничем не удерживаемый, пошел кувыркаться вниз по склону. Лебедка, попрыгивая, суматошно моталась на тросе, периодически взлетая и поднимая клубы пыли. Все с ужасом смотрели на склон, понимая, что случилось непоправимое. Лейтенант, защищаясь от происходящего, поднял руки, пытаясь закрыть лицо.

Внизу, последний раз дернувшись в перевороте, колпак затих, прижав кромкой зеленую траву, окаймлявшую ручей. Потрясенные происшедшим, все стояли молча. Сидорчук держал в руках кривой рычаг, оставшийся ему от лебедки. Испуганно взглянув на лейтенанта, стараясь не шуметь, аккуратно положил его на землю. Сержант Фролов, шумно выдохнув, разразился длинным и затейливым матом, вспомнив все закоулки человеческой жизни. Плюнув, сел на землю, неловко и косолапо согнув ноги в стоптанных сапогах.

— Че делать-то будем, лейтенант?

Никошин, обхватив голову руками, пошел в сторону палатки.

Всю обратную дорогу лейтенант невидящими глазами тупо смотрел на набегавшую колею. Лицо его посерело до мертвецкой бледности. Казалось, даже нос заострился. «Да, летеха… Похоже, дела твои аховы. Это тебе не Ваську Сокова во фрунт ставить. По нынешним временам отвалят по полной». Сержант Фролов тоже поехал в гарнизон и сидел в кузове молчком. На перевале за грядой мотор опять нагрелся, и пришлось остановиться. Все молча разошлись в стороны.

Фролов, крякнув, длинно сплюнул и, присев на корточки, что-то рисовал пальцем на пыльной обочине.

— Товарищ лейтенант…Я вот тут…

Никошин посмотрев пустыми глазами, молча отошел в сторону.

— Товарищ лейтенант… — сержант поднялся, отряхивая руки. — Андрюха, я вот тут думал… А что если мы его танковыми лебедками, а?

— Кого, лейтенанта?

— Дура. Колпак, говорю. Если мы его танковыми лебедками затянем обратно?

— Ты че. Там метров двести, и в гору. Не мешок с сухарями.

— А мы перехватом. Смотри, — Фролов показал пальцем на бороздки, что нарисовал на пыли. — Одной подтягиваем, второй перехватываем, а ту выше поднимаем. И так в перехват.

— А лебедку за что крепить?

— Так ломы кувалдами в склон.

— Да… Такую дуру в гору тащить.

— А как люди пирамиды строили.

— Какие пирамиды?

— Книжки читать надо. Товарищ лейтенант… Ну чего вы, ей-богу?

— Товарищ лейтенант. Тут Фролов дело говорит.

Лейтенант подошел, встал, засунув руки в карманы галифе чуть не по локти. Желваки бугрились на скулах, и было видно, что и руки в кармане в кулаках.

— Товарищ лейтенант, а что если его на танковых лебедках по склону поднять? Я вот туточки нарисовал, смотрите. Других шансов у нас нет. Замордуют.

— Тебе-то чего? Меня замордуют.

— Да, а меня наградят! Строем в штрафбат пойдем, товарищ лейтенант Никошин. Говорил я вам, что бревно дешевое, так вы… — Фролов выматерился в сторону. — Выкручиваться надо.

Битый час все втроем ползали на карачках вокруг фроловских каракуль. Прикидывали и так, и так. За что цеплять и как тянуть, какой длины нужны тросы, и как врастяг крепить лебедки. Лейтенант немного ожил, выложил пачку папирос на траву и курил одну от другой.

— Ну что, вроде все понятно. Едем к комбату, товарищ лейтенант, — сержант вздохнул. — Встретит он нас… горячими пирогами.

— Да… — Никошин вспомнил колючие глаза Зигаева, и холодок прошел по лопаткам. — Едем… Все одно…

Андрюха сидел на подножке ЗИСа, спрятавшись в тень кабины, и ждал. Недавняя обида уже прошла, и было жалко и сержанта, и Никошина. Он представлял, что сейчас творится в кабинете комбата. Зигаев, как и многие командиры, всеми силами держался за свое места, считая, что выдернул козырную карту — Забайкальский военный округ, когда на фронте люди гибли тысячами. Терять за просто так этот дар судьбы он не собирался, и шансов, что он прикроет лейтенанта, было ноль целых и ноль десятых. Из оставшейся лейтенантской пачки Андрюха вытянул последнюю папиросу, прикурил, лег спиной на крыло. Братва уже знала, что произошло на точке, настороженная тишина висела около штаба, и никто не приставал с расспросами.

Тихая буря длилась около часа. Когда Никошин с сержантом вышли на крыльцо, все кто был во дворе остановились, глядя на них. Андрюха вскочил с подножки, быстро подошел. Лейтенант хлопал себя по карманам, пытаясь найти папиросы. Пот струйками стекал по щекам и шее, глаза как у загнанной собаки. Сержант быстро свернул самокрутку и сунул ее Никошину.

— Товарищ лейтенант, вы тут пока посидите в тенечке, — о каком тенечке он говорил, когда кругом не было ни кустика, ни полкустика? Никошин огляделся кругом и сел прямо на ступеньки. — Вы посидите, товарищ лейтенант, а мы с Андрюхой мигом. Мы это… за лебедками… Мы мигом. Андрюха, погнали к танкистам.

Сержант Фролов выглядел куда как лучше лейтенанта. Хотя сзади на гимнастерке тоже чернел круг пота.

— А тебе чего, мимо уха просвистело? — Андрюха выруливал вокруг штаба, в сторону танковой роты. — Чего шустрый такой?

— Я не шустрый, я напуганный. Я думал, комбат разорвет лейтенантика. Хрипел как цепной пес на поводке.

Командир танковой роты капитан Филоненко еще не знал о ЧП на точке и только по-бабьи хлопал руками по коленям, когда сержант рассказывал, как все случилось.

— Ну и где Никошин?

— На крылечке сидит, отходит. Комбат его рвал.

— Да-а… Влип лейтенант, по самое, как говорится… А ко мне-то вы чего?

Когда Фролов коротко объяснил, что к чему, капитан сразу понял суть дела и, вызвав старшину, дал команду выдать все необходимое.

— И еще… У нас там, за боксами, кандейка стоит полуразобранная. Так вы с нее досок надерите и под передок колпака подкладывайте, когда тянуть станете. Старшина, дай им еще солидола… с ведро. Мазать доски будете, легче пойдет.

— Спасибо, товарищ капитан.

— Удачи вам, ребята.

Всю обратную дорогу лейтенант молчал. Сержант в кузове присматривал за бутором. Останавливались всего один раз. Как и прошлый раз, разошлись в разные стороны. Лейтенант смотрел как замороженный в одну точку. Один раз, глубоко вздохнув, сказал глухо, словно про себя:

— Ну за что?..

Андрюха молчал. Хотел ответить: «А за то…» За то чтобы не паскудничал, не собачился, за то чтобы к людям по-человечески относился. Да чего тут говорить. Лейтенанта было уже жалко. Порвут его свои, как пить дать порвут, если колпак не поднимет. А поднять эту дуру — что корову на баню затащить.

На точке было тихо, как на кладбище. Фролов, спрыгнув с кузова, охнул и присел.

— А еш твою в батарею… Ноги отсидел. Эй, чего вы тут, повымирали? — разогнулся, прихрамывая, пошел к землянке. — Выходи строиться! Работнички…

Строй выжидающе смотрел на отцов-командиров. Лейтенант, стоя в сторонке, смотрел куда-то вдаль, за сопки. Фролов, оглянувшись на лейтенанта, шагнул вперед.

— Так, орлы. Командованием поставлена задача — поднять колпак. Поднять на высоту и установить. Вот так…– откашлялся. — Других вариантов нет. Время, сами понимаете, военное. Так что…

Кто-то присвистнул.

— Это как поднять?

— Руками, ногами, зубами, как хотите, но поднять и установить. Разойдись, будем пробовать.

Кто матерился, кто доказывал, что это полная чушь. Сержант шуганул всех разгружать машину, а сам, сдернув с кузова лом и кувалду и кивнув Андрюхе, пошел вниз по склону. Проскользив по траве метров двадцать, остановился. — Держи, попробую забить.

Лом на удивление пошел в землю хоть и туго, но без остановки.

— Ну так и ничего… Андрюха, может Боженька нам и подмогнет?

Когда все встали вокруг колпака, ни у кого не было уверенности, что такую громадину можно затащить вверх по склону. Чаша серого бетона плотно лежала, уютно привалившись боком к склону ложбинки, бывшей по весне ручейком.

— Да… Лежит, гад. Влип, как лепешка коровья. Ну что, товарищ сержант, с чего начнем?

— Начнем с того, что не будем гундеть. Нам приказано его затащить — значит, затащим. Иначе мы не бойцы Красной армии, а так… — сплюнул себе под ноги, — дерьмо собачье. Намечаем линию на верхнюю точку. Так… Вы — тащите лебедку и через тридцать шагов забивайте лом, а вы, — ткнул пальцем в грудь трем бойцам, — подкладывайте доски и мазюкайте их солидолом. Где солидол?

— Так там оставили.

— А башку свою вы там не оставили? Бегом за ведром! Загоняйте доски под колпак. Все! Чтобы все крутились как поджаренные! Кто будет ползать — пинками погоню! Товарищ лейтенант, отойдите в сторонку, чтобы вас не зашибли. Я их гонять буду, мне сподручней.

Колпак прополз уже больше метра и шел на удивление без особой натуги. Но метров через десять склон поднимался круче, и как эта чушка поведет себя дальше, никто не знал.

К ночи, а солнце в степи гаснет как свет в театре, колпак подтянули метров на двадцать. Сержант, уже охрипнув от крика, скомандовал перекур и упал на траву.

— Чтоб ты сдох, паскуда. Все, товарищ лейтенант, в темноте можем всяких дел наделать. Ничего не видно.

— Ну и что предлагаешь?

— Да ничего. Надо или бросать до утра, или…

— Или…?

Пауза повисла, и было только слышно, как кузнечики звоном накрывали склон сопки да степные разбойники, копчики, жалобно скыркали где-то в темной выси.

— Светить надо.

— Это кто там такой умный? Ты, Соков? И чем же ты светить собрался? Голой задницей?

— Да фарами светить.

— Ну?

— А че ну? Андрюха машину подгонит на склон…

— И фарами в небо.

— Зачем в небо? Тама приямка есть на склоне. Мы туда гадить ходим. Навскосяк поставит, как раз сюда фарами и засветит.

— Навскосяк, говоришь… Андрюха, ты живой, чего молчишь?

— Живой я, живой… Но сильно грязный. Свин свином, — Андрюха мазал солидолом доски, что подкладывали по края колпака, и успел угваздаться по самые локти. — Васька, показывай, где землю удобряешь. Щас, сержант, спробуем.

Бойцы лежали пластом. Минут через десять наверху невидимо заурчала машина, чиркнула фарами по черному небу, затем свет, поелозив по склону, уперся прямо в колпак.

— Вот это Васька! Вот черт вятский! Ну чего, славяне, выспались?

— Выспались. Дальше самое интересное начинается.

— Да, дальше самое…куда уж интересней, — сержант сел. — Вот что, товарищ лейтенант, я на лебедках буду, а вы следите за подпорами. Чтобы намертво стояли. Если сорвется, когда лебедки перецепляем, — все, хана. Вы уж там смотрите.

— Лады.

— Ну чего, мужики, подъем.

— Подъем так подъем…

— Прихлопнет он нас, как мух.

— Так… Кто еще кроме Кармаева трусится? — сержант встал, одернул гимнастерку. — Че, нет больше трусаков?

— Товарищ сержант, да я же не трусюсь, я так…

— Я тоже так. Берешь кувалду и на лебедках ломы забивать. Там, наверху, не прихлопнет. Смотри, только палец не придави, институтка.

— Ну чего вы обзываетесь? Какой я проститутка?

— Институтка и проститутка — это разные люди, красноармеец Кармаев, — сержант почесал за ухом, — Хотя… Леший их знает.

Летом ночь короче воробьиного клюва. Чуть только забрезжило, сержант отправил бойца кипятить чай. Мужики чуть на ногах держались.

— На эту лебедку подтянем, и все, шабаш. Товарищ лейтенант, разрешите перекур с отдыхом, а не то сдохнем.

Колпак прошел большую часть склона, и до гребня оставалось совсем немного. Было понятно, что если ничего не случится, то до верха его дотащить можно. Но что будет, когда он начнет переваливаться? Вот там, на краю, все и решится.

— Да я что… Я и сам чуть живой.

На лейтенанта смотреть было страшно. Трясущимися руками он пытался вытащить из пачки папиросу, но та пачка была уже вся смята в комок.

— Может, махры?

— Давай, — посмотрел на сбитые в кровь руки. — Закрути сам, я не могу.

Сержант понизил голос, наклонился ближе к уху Никошина. — Товарищ лейтенант, вы не лезьте так под колпак то. Пойдет вниз, не успеете отскочить.

— Знаешь, Фролов, если пойдет, мне и отскакивать не надо. Пусть лучше давит. В штрафбат не пойду! Я ладно, а отец позора не переживет.

— Да, вот как жизнь разворачивает. Вчера как все хорошо было.

— Было…– длинно вздохнул.– Я тут много за ночь чего передумал. Видимо, все по справедливости. Заслужил я это.

— Да вы что, товарищ лейтенант.

— Заслужил, — лейтенант хрипло, с придыханием стал говорить, быстро, словно боялся, что колпак накроет его, и он не успеет все сказать. — Я иногда такая сука был. Ты же видел. Ну скажи, Фролов… Так? Не надо, я знаю. Я думал, я центр вселенной, и все, кто ниже, должны вокруг меня танцевать. Так мне и надо! — смял цигарку в руке. — Бог даст, вывернусь — другим буду. Нельзя такой паскудой жить. Нельзя… — выдохнул. — Давай, сержант, поднимай ребят наверх. Надо отдохнуть. Я тоже пополз потихоньку.

На последний подтяг лебедки закрепили всеми ломами, что были. Колпак медленно нарастал над краем откоса. Сержант, стоя на коленях, руками дирижировал лебедками, не давая провисать тросам. Пот заливал глаза, он утирал его рукавом, лицо его перекосило от напряжения, и смотреть на него было неприятно. Никошин, раскорячившись на четвереньках, неотрывно смотрел, как нижний край колпака миллиметр за миллиметром отрывается от земли. Вот уже метр, полтора… Колпак закачался на точке перевала. Лейтенант бросился к нижнему краю и с перекошенным от напряжения лицом плечом подпер бетонную кромку.

— Тяните-е-е же! Ну…

Продолжались эти секунды, как казалось, неимоверно долго. Что такое лейтенант Никошин против трехтонной махины? Муха, не больше. Но колпак, преодолев последние сантиметры, с глухим хлопком, плотно лег на землю. Все. Он тоже устал от долгой и мучительной дороги в гору.

Тишина словно повисла в прокаленном до звона небе. Солдаты приткнулись к горячей земле, кто где стоял, и лежали повергнутым войском. Никошин медленно поднялся, отряхнул галифе, поморщившись, промокнул разорванными краями кровь на коленях. Вид у него был, как из молотилки. Всклокоченные волосы, черные круги под глазами.

— Ребята… Вы это… Вы простите меня, — хрипло откашлялся. — Простите… Если можете… Паскудой я иногда был… Больше не буду…Я…

Солдаты глядели и молчали. Лейтенант посмотрел вокруг и, опустив голову, пошел по склону в сторону ручья.

Метров через десять Никошин оглянулся. Колпак, совсем недавно многотонной махиной висевший над головой, готовый в любую секунду размазать его по склону, лежал, трусливо прижавшись к земле, словно дрессированный зверь. Сейчас его задача — затаиться. Лежи колпак.

Колпак лейтенанта Никошина…

VI

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»

ПОЭЗИЯ

СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Марина ДЮРАНГО
Онега ЕРШОВА
Лариса ЖЕЛЕНИС
Наталья КОЛМОГОРОВА
Светлана КРЫЛОВА
Ирина КУЗЬМИНА
Ольга МАРКОВА
Галина ПОЛУБОЯРОВА
Георгий ПОПОВ
Евгений ПРУДЧЕНКО
Александр САВОСТЬЯНОВ
Станислав САНДАЛОВ
Виктория ПОБЕЖИМОВА
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ
Алла ШАКЛЕНИНА
Инвер ШЕУДЖЕН

ДЮРАНГО МАРИНА ПЕТРОВНА. 1964 г. р. Преподаватель, самозанятая. Член Клуба писателей «Золотые соты». Живет в Московской обл., г. о. Балашиха.

Марина ДЮРАНГО

ШАХОВО*

Вот обычное российское село,
Где семьсот семнадцать наших полегло.

Шахово… Мне б деда отыскать …
Довелось ему здесь воевать.
Средь имен на скромном обелиске
Нет родных, но вновь читаю списки:

Алексей, Салим и Михаил,
и Сагидулла, и Каллистрат,
Николай, Тумши, Мукай, Ефим…
Все рядами навсегда лежат.

Шахово… Григорий и Бегли,
Исхали, Шарип, Авак, Степан…
А Иванов сколько! Посмотри,
Неужели это не обман?

Вот Шайхи, Абдыкалык, Андрей,
Петр, Зимур, Борис, Нуман, Егор,
Павел, Сайрутдин и Тимофей…
Отовсюду: с величавых гор,

Из аулов дальних, из степей…
Отовсюду мчались защищать
Каждый дом родной страны своей.
Вместе им пришлось повоевать.

Вместе… Все делили: кров и страх,
О любимых память, о родных.
Толковали о мирских делах.
Кто споет, а кто расскажет стих

О бескрайности полей, морей,
О богатстве стороны своей,
О мечтах, учебе и любви,
И о том, кем стали б, что б смогли…

Кто-то про сынишку, кто про мать,
Про жену красавицу, про дом…
Все оставив, вышли воевать
В ад кромешный, в огненный содом.

* Село Шахово Шаховского сельского поселения Белгородской области относится к Государственному военно-историческому Музею-заповеднику «Прохоровское Поле». Все имена в стихотворении — из реального списка бойцов, захороненных в одной Братской могиле.

Дождь и слякоть, стужа и мороз,
Сон в окопе, взрывы, раны, смерть.
Вот что 41-й им принес.
Все смела война, разверзла твердь

Жизни мирной: добрых светлых дней
Родины. Все опалилось в ней.
Горечь тех утрат не притупилась.
Ничего не стерлось, не забылось.

И семьдесят восемь матерей,
Что Иванами назвали сыновей,
В этой яме отыскали б их тела.
Страшно как... У одного села!

Вчитываюсь снова в имена.
Вот она — единая страна...

ЕРШОВА ОНЕГА АЛЕКСАНДРОВНА. 1964 г. р. ГАУ ДПО ГР «Карельский институт развития образования». Член Международного союза писателей «Писатели за добро». Живет в г. Петрозаводск, Республика Карелия.

Онега ЕРШОВА

МАТЕРИНСКОЕ

Здравствуй, сын. Я волнуюсь и сердце
как будто навыворот,
а хотелось о добром тебе, наконец, написать.
Целый мир наизнанку, и светлое дочерна выбрано,
но сегодня в природе такая царит благодать,
то стремится душа, окрыленная, к Божьему таинству,
наяву — припадаю всем телом к парящей земле
и вдыхаю тепло, забывая, что страшно намаялась,
только чудится мне, словно стала на вечность старей.

Пахнет липовый цвет. Медом солнце сочится
до одури.
На рассвете сквозь сон показалось — запел соловей.
Понимаю, что бред. От сирен и уныния вдовьего
померещилось вдруг, будто входишь
в открытую дверь.
Сколько наших ушло из-за прорвы блокадного голода!
Даже думать нет сил. Непонятно, что лучше, важней.
Я обычно лежу, но мне так опостылело скорбное —
Поднялась и во двор пару раз выходила уже.

Там соседский пацан вынес греться сестренку
на солнышко.

Ослабевший, худой... Первоцветам был искренне рад.
Улыбнулась в слезах, пожалев детвору.
Недокормыши...

Закололо в груди — каждый выживший
ближе стократ.
Но внезапно ушли безысходная боль и потерянность.
Значит, духом сильны, не сломила нас горечь утрат!
И беду одолеем. Недаром костями усеяна
Ленинградская топь. Я надеюсь, что силы нам хва…

ДОРОГА В АУШВИЦ

Везли их в Аушвиц, как скот в загоне, в стойлах.
Детей и стариков. Зачем? Никто не знал.
Сквозь щели старых стен врывался ветер с воем.
Мороз крепчал, и ночь не прятала оскал.

В укромном уголке сидели рядом двое —
подросток и старик из горного села.
В сосульках борода, но странный дед спокоен,
а мальчик тормошит и скачет, как юла.

— Не спи, дедуля, глянь! Серебряные звезды
пыльцу из волшебства рассыпали на грудь.
Ты только не сердись! Еще не очень поздно.
Поговори со мной. Так скучен долгий путь!

Усердно растирал ему ладошкой щеки,
дышал теплом в глаза, в тщедушный бок толкал.
Терпел с улыбкой дед игривые наскоки,
Шептал о чудесах и крепко обнимал.

Под перестук колес друг к другу жались люди,
Заиндевела скорбь замерзших бледных лиц.
В безмолвном забытьи уснули беспробудно,
а где-то вдалеке маячил Аушвиц.

Заснеженный вагон, к их горю равнодушный,
по рельсам скрежетал, встречая злой рассвет.
Навстречу небесам тянулись чьи-то души,
Вослед махнул рукой вмиг помрачневший дед.

К груди мальца прижал и застонал невольно,
потрогал теплый нос, слезинки стер с ресниц.
У каждого в судьбе свои дела и роли,
осклабившись, встречал прибывших Аушвиц…

ДЕД

В старой избе на лежанке уютно, тепло.
Терпким дымком пропиталось насквозь покрывало.
Дед шевельнулся и спину потер — припекло.
Вспомнилось то, что когда-то с ним раньше бывало.

Больно кольнуло в груди и рассудок впотьмах.
Рваные кадры сознания, как отголоски.
Огненный смерч померещился. Взрыв. Маета.
— Рота, вперед! Осторожней, бойцы. Эх, подростки...

Вспомнил прорыв. Вязли ноги в болоте. Беда.
Холод змеей наползал и покусывал душу.
— Там же трясина!. Не речка. Держитесь, братва...
В горле комок. Рвется в горечи кашель натужный.

Новый провал. Скрип калитки у старых ворот.
Время назад отмотало года так беспечно.
Слышно, как мать, вышивая, тихонько поет.
— Васенька, что? — обняла и прижала за плечи.

Слезы из глаз. Вкус забытый, желанный, родной.
— Ешь пирожок. Как ты любишь — с капустой, румяный.
— Можно останусь? — Конечно. Ты будешь со мной.
Сердце взметнулось, вобрав в себя боль покаяний.

Вьется дымок. Раскричались вороны над крышей.
Бабка торопится — ждет угощения дед.
Утром отправил в соседний поселок, бесстыжий.
Сала ему захотелось. Неси на обед.

Вот и ступеньки на лестнице скрипнули глухо.
В горнице тихо. Лишь тени снуют по углам.
— Вася, ты где? — проворчала с досадой старуха.
— Может, налить ради праздника наши сто грамм?

Что улыбаешься? День-то — девятое мая.
Или уже пригубил и доволен сполна?
Бабка вгляделась и вздрогнула:
— Вот я дурная!
Значит, ты знал.
До тебя дотянулась война...

НАС БЫЛО СЕМЬ

Нас было семь, со мной и тетей Глашей.
Она дрожала в странном забытьи.
Меня прижав, скрипя зубами страшно,
Все бормотала: «Выживем. Свои...»
А в тишине, как в пасти людоеда,
Пищало что-то сдавленно. Скреблось.
Я не спала и думала о хлебе —
Как сладко пахла хлебной крошкой горсть!
Хотелось спать, но в горле горечь сохла.
Вчера допили талый бурый снег.
В тиши ночной, страдая, мыши дохли.
Их было пять. И мы вдвоем во тьме.

* * *

Опять провал в тягучее бездонье,
Но от сирены мозг до боли взвыл.
Меня несут. Как ласковы ладони.
Быть может, Глаше снова хватит сил…

ЖЕЛЕНИС (БЕЛОВА) ЛАРИСА ЭДУАРДОВНА. 1963 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Ярославль.

Лариса ЖЕЛЕНИС

НАШ ДЕД

Давным-давно я край покинула пшеничный,
и письма-журавли туда не полетят,
с высокого окна изгиб реки привычный
не виден мне теперь, не слышен старый сад…
Воспитывает пчел и внуков любопытных,
по праздникам гармонь к большой груди прижмет,
и лошадь запряжет…И мерный стук копытный
из солнечных времен ко мне опять плывет.

Там, в дедовой избе, с сестренкою и братом
сухарики грызем и слушаем рассказ
о том, как на войне служил наш дед солдатом
и нескольких бойцов от смерти как-то спас.
Крестьянская душа смекалкою богата,
в то время, как фашист вокруг прицельно бьет,
командует наш дед: «Давай сюда, ребята!» —
и в свежую воронку все тащат пулемет.
И только улеглись — вновь комья полетели,
вновь яркий куст огня в свой краткий миг цветет —
зияет яма там, где только что сидели.
«Ну, дважды в цель одну снаряд не попадет».

Его могли убить раз сто в той дикой бойне,
но дед наш уцелел — дождался дом отца,
хромал, но знай шутил, когда бывало больно:
«Корявый, но живой, что ствол у деревца».
И вот уж деда нет, он долго мирно пожил
в заботах о селе в простой и в трудный час.
И доброта его на яблоньку похожа —
ветвится и цветет, благословляя нас…

ПОБЕДА

Это слово гремело у всех на устах,
грохотало в раскатах орудий.
И героев встречали перроны в цветах,
вновь от радости плакали люди.

Ликовала земля: «Вместо бомб и огня,
разрывающих души на части,
благодатным зерном пусть швыряют в меня,
чтобы новое выросло счастье!»

КОЛМОГОРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. 1963 г. р. Член Союза профессиональных литераторов г.Самара. Живет в Самарской обл., ст. Клявлино.

Наталья КОЛМОГОРОВА

СИНЕГЛАЗКА

Ночь догорает, будто спичка,
Горячий шепот, чей-то бред.
Гангрена. Кровь.
— Воды, сестричка! —
Скрипя зубами, просит дед.
Война. Разруха. Лазарет.

Восток по небу — сукровицей,
Заря глядит в пустой зрачок
(Знать, все же помер старичок).
Июль. Зловонная жара.
И кто-то с самого утра:
— Помилуй мя! Сестра! Сестра!

Кровавой ватой облака
Плывут по небу вдаль куда-то...
— Сестра, я жив?
— Живой пока.
И на холодный лоб солдата
Ложится теплая рука.

Невыносимо. Дико. Жутко!
И боль лишает нас рассудка,
По капле утекает жизнь...
— Держись, родименький,
Держись!

Карболка, йод, новокаин.
Свинцовый град. Осколки мин...
Увы, помочь сестра не в силах,
Когда течет отрава в жилах,
И смерть от имени Христа
Целует раненых в уста...

Ей вместо платья выпускного —
Пропахший порохом халат.
— Ну что ж, гражданка Иванова, —
Майор взглянул почти сурово, —
Вас направляем в Медсанбат.

Она мечтает отоспаться,
Но снова раненых везут.
Зеленка, морфий, шина, жгут,
Бинтов нестиранных гора,
И тут, и там кричат: — Сестра!
Как величать-то, синеглазка?..
Крик боли, морфий, перевязка,
А в небе, полном тишины —
Таблетка горькая луны.

Ее мы кликали сестричкой,
И, оглянувшись вдруг назад,
Я вспоминаю медсанбат,
Военных будней перекличку
И тех, не выживших солдат,
И ангела в халате белом…

Внутри нее плескался свет!
И пусть поблекнут жизни краски,
Улыбку нашей Синеглазки
Я вспомню через тыщу лет…
Ведь подвигу забвенья — нет.

ПАМЯТИ СВЕТ

Ночь зашлась в истошном стоне,
Снова не усну…
Я в разбитом эшелоне
Еду на войну.

Руки грею о буржуйку,
Стынет в жилах кровь,
Холод — страшный. Голод — жуткий!
И бомбежка вновь.

Я погибну под Смоленском…
Или под Ельцом?
Не видавший ласки женской,
Скошенный свинцом.

Безымянная могила,
Незнакомый лес…
Прах слезами окропило —
Дождь полил с небес.

Резеда и одуванчик,
Облетает цвет…
Сын земли, безусый мальчик,
Восемнадцать лет.

Вместо хаты — склеп из глины,
Злая колыбель,
Осыпается калина
Кровью на постель.

А зимой — снега по пояс,
Летом — соловьи,
Я — родник. Я — хлебный колос.
Соль своей земли!

Память — скорбь! И все же кто-то
Обо мне взгрустнет,
В день Родительской субботы
В тишине всплакнет.

Память — боль! От этой боли
Хочется кричать...
Я в последнем эшелоне
Ехал воевать.

И оставшись там навечно,
Понял: смерти нет!
Если в сердце человечьем
Память — это свет.

КРЫЛОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА. 1970 г. р. МУК «Одоевская районная библиотека». Основатель и руководитель юношеской литературной студии «СЛОВО» (Студия Литературная Одаренных Воспитанников Одоева). Член Союза российских писателей. Живет в Тульской обл., пос. Одоев.

Светлана КРЫЛОВА

* * *

Сегодня поисковые отряды
нашли останки павших на войне.
И снова память взорвана снарядом,
и снятся танки звездные в огне.

Уж скоро век минует адской бойне,
а мы еще не всех захоронили!
Живи и помни, брат, живи и помни,
что наши предки спят в одной могиле,

что каждый метр земли пропитан кровью,
что эта кровь зовет фантомной болью,
питает нас и прибавляет сил,
как юную листву питают корни.

Мы проросли из братских тех могил.

Поэтому и свята, и воспета
поэтами печали наша Русь
и души, улетевшие в бессмертье.
Молись за них. Я тоже помолюсь.

КУЗЬМИНА ИРИНА ИВАНОВНА. 1970 г. р. Член поэтической мастерской под руководством И. Т. Деордиева Ленинградского областного отделения Союза писателей России. Живет в Ленинградской области, Кировском р-не, пгт Павлово.

Ирина КУЗЬМИНА

ГЛАЗАМИ МАЛЬЧИШКИ

Сегодня прогуляюсь по двору,
где мальчуганом собирался с дедом
в рубашке белой праздновать Победу,
в начищенных ботинках поутру.

Торжественность царила в мелочах:
в дыханье мая, в беззаботном солнце,
в воздушной липе, что тряслась в оконце,
в бабулиных душистых калачах…

На все лады звучали ордена
дождем весенним вдоль Аллеи Славы,
когда там проходили ветераны,
потом кружились в вальсе дотемна.

И я был горд за них и за страну,
за подвиг, о котором дед поведал.
В тот день я с ними праздновал Победу,
им подражая, проклинал войну.

Сегодня прогуляюсь по двору,
от липового запаха хмелея
и от того, что с сыном вдоль аллеи
идем в рубашках белых поутру.

МАРКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. 1964 г. р. Астраханский биосферный заповедник. Член Союза российских писателей. Живет в г. Астрахань.

Ольга МАРКОВА

1941 ГОД. ПРОВОДЫ

Когда гудели поезда
и шпалы с рельсами срастались,
на всех вокзалах навсегда
друг с другом люди расставались.
Сырел заплеванный перрон,
окурки вдавливались в камень.

Мужчины прыгали в вагон,
жестикулируя руками.
И каждый жест летел, летел,
тысячекратно повторялся…
Так много выказать хотел,
так мало высказать боялся…
О, многорукия жены,
бредущие вослед составам,
когда все души сожжены,
все перемолоты суставы!
Какие силы вас несли,
уже почти что бестелесных,
над самым краешком земли,
над Маракотовою бездной?..
Чужие жены приютят
мужчин на длительных стоянках.
А поезда гудят, гудят…
И не пустеют полустанки.

1942 ГОД. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Охо-охо-хо-охохонюшки.
Рассмейтесь сильней, смехачи.
До пяток, до самого донышка
Душа промерзает в ночи.

Крест-накрест бумагой заклеены
Неровные стекла окна.
Топорщится сказочным веером
Морозных узоров тесьма.

Еще кипяток был — весь кончился.
Еще был единственный сын.
Блокадным прижимистым почерком
Ты пишешь стихи из глубин.

Поэты — бродяги бесстрашные.
В болезнях, в нужде и в бою
Все песни поют бесшабашные,
Все пишут эпоху свою.

ПОЛУБОЯРОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. 1962 г. р. Член ЛИТО им. Д. Фурманова (г. Бузулук), Член Российского союза писателей. Живет в Оренбургской обл., Бузулукском р-не, с. Елшанка Первая.

Галина ПОЛУБОЯРОВА

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Она молча брела по колючей стерне,
Ноги в кровь исколола босые.
Похоронка в руке — сын погиб на войне,
Под платком видно косы седые.

Почему в этот миг не обрушился мир,
Почему солнце светит как раньше?
Почему не сберег ты его, командир,
Он последыш, в семье самый младший.

Всех сынов отдала, храбрых и молодых,
И поклоны вершила земные,
Чтобы встретить, пусть раненых, только живых,
Чтоб увидеть глаза дорогие.

И рыданья глухие тревожили край,
Но вошла в дом с сухими глазами
Осень ждать не могла, на полях урожай,
И в груди крик отчаянья замер.

Через семьдесят лет на параде портрет
Правнук гордо несет и не знает,
Что такое война и по карточкам хлеб,
И что юность бывает другая…

ПОПОВ ГЕОРГИЙ ИГОРЕВИЧ. 1961 г. р. ГБС РАН. Живет в г. Москва.

Георгий ПОПОВ

БЛОКАДНАЯ МОЛИТВА

Боже, как же хочется хлеба.
Черного… Буханку б умяла!
Говорят, вовсю цветет верба,
Ладога стоит талой.
Едут. Да святых много ль?
Ведь под лед — не то что на небо.
Побежать самой к Богу,
Говорить с Самим — бредом,
Рассказать про хлеб да про брата,
Да про голых, в санках забытых.

Где ж его небесные рати?
Разузнать: настанет ли сыто?
Недосуг молиться солдатам,
Дел у них — и жизни не хватит.
Месяц хлеба нет. Все же дата.
Две недели нет мамы Кати.
А сирена музыкой воет,
Значит, есть, кому ее слушать.
Замолчит, и вновь только двое —
Я и смерть, ловящая душу.
Не поймает. Ну ее к фрицам —
Здесь у нас одни лишь живые.
Знать бы мне, как надо молиться…
Так прими, Господь. Ведь впервые…

СОН

Упаду я в череду да крапивицу,
Нету силушки во мне сну противиться —
Бабы скажут: «Пьяный, мол, вот и валится».
А с небес глядит луна — щеки салятся…
Визг железа по стеклу — ишь, кузнечики!
Видно, сон мой отгонять больше нечем им.
Только зря они шумят, зря стараются.
А с небес летит звезда — может, странница?..
Эх, сейчас бы самогон, фрукты-овощи,
Я ж напился допьяна вражьей кровушки,
Да закуской мне была пуля быстрая.
Закрываются глаза, гаснут искрами…

РАЗНАЯ

Сидит солдат, папироской пыхает,
Болтает с братвою своей окопной:
— Война — старушенция бледноликая —
Берет наши жизни и копит, копит.
После глядишь — молодеет, стерва,
А мы — кто убит, кто седой до срока…
— Ишь, старушенция. Врешь без меры!
Война — девчонка зеленоокая,
Совсем ребенок — парни не лапали,
Нас, словно кукол своих, баюкает.
Вон, Мишку пули роняли на пол —
Война подняла, хоть и стал безруким.
В затишье случайном тот треп был продухом:
— Война — незамужняя баба праздная…
Для всех, кто нанюхался вдоволь пороха,
Старуха с косой представлялась разной.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ...

Двое идут едва.
Прорубь чернеется —
В латах стоит Нева
Супротив немца.
Шепотом с губ летит:
— Разжилась чаем.
Авдотья меня простит —
К Богу пошла, чаю...
Нам-то жить сотню лет,
Не бросай английский, Сережа.
Будет мир на земле,
Погоди немножко.
— Сегодня не нам с тобой
Смерть затянет горло.
Где-то янки-бой
Целует свою герлу,
Сойдя с ума.
К Богу ль домов этажи?
А у нас — зима...
— Мороз глаз не смежи́т.
— Как вокруг — немо́...
Мамка, идем домой,
Что-то неможется.
Синеет кожица —
Блокада.
— А дома-то нет...
— Га-а-ды!!!
— Ничего-ничего —
Стерпится.
Сердце ж живет...
Теплится...
Вставай, ты чего лег?!
— Не идут ноги.
В глазах не от снега светло...
Мамка, вижу Бога!

ПРУДЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. 1964 г. р. Журналист-фрилансер. Живет в г. Алматы, Республика Казахстан.

Евгений ПРУДЧЕНКО

РОКАДА

Ночь выдалась грязной. И мы об нее замарались.
Замаскировались. Ползли. Вы бы видели эту дорогу,
ведущую... кажется, в ад. Мы в тот ад пробирались.
Кто был незапятнанным, быстро приблизился к Богу.

Удел незапятнанных — быть не как все. В самой гуще
чумазых. Так звезды сияют в еще не очищенном небе.
В атаку рванулись когорты живых, всемогущих,
не зная того, что лишь мертвые есть путь к победе.

Мы их закопали — спокойных, уже невесомых.
Безгрешных, не смевших себя замарать...
Чистота погубила.
В нас тыкали пальцем. В нас! — грязных,
усталых, бессонных.
Лишь смерть рождена для бессмертия. Или могила.

Ночь выдалась черной. От грохота остервенела.
Внезапно сбежав, растворилась, почувствовав
явную слежку.
Оставила вскрытым плацдарм... Да какое ей дело,
что мясо взрывалось кишками с землей вперемешку.

Все быстро закончилось... Жаль, не для всех, —
кто-то выжил;
но не навсегда, лишь на время, чтоб месиво
это пополнить,
чтоб сгинувшей жизни придать
хоть какой-нибудь смысл,
чтоб долг свой последний пред сущим
на свете исполнить.

Мы видели... То в кинолентах осталось за кадром.
Все рты очищали руками от рвотной удушливой каши,
и слезы втирали в ладонь. Табуном санитарным
мы шли как в бреду. И глаза обесцветились наши.

Смысл жизни загадкой остался для павших.
Лишь трусам
дают умереть не взаправду, чтоб ими же и обозначить
пределы окопов... Без меры отважным ресурсом
дано быть владельцем не каждому. Все это значит:

бой ровно настолько закончился, чтобы исчезнуть
не тем, кто исчез, — тем, кто выжил, оставшись
на адовой сцене.
Исчезнувшим выпало пасть, но
посмертно — воскреснуть,
назло похоронкам постылую смерть обесценив.

Мы тени воскресших считали повзводно зачем-то,
копаясь в карманах, пытались им дать имена; изымали
шинели и (по́лно!) на верхнюю часть монумента
из рваной земли не цветы — мы себя возлагали.

День выдался мутным. Что утро? —
все выпало напрочь:
то пили, то выли, смеялись, ругались, клялись.
Протрезвели.
Пусть нас обвинят малодушие, трусость и алчность.
Пусть нас оправдают вороны и хищные звери.

Молчали натужно. Беспамятство нас выдавало.
Смирились с уделом архивным — вовек
оставаться немыми.
Уж все рассказали лежащие в братских завалах.
Мы память свою в безымянных траншеях зарыли.

Зарыли поглубже. Пусть то никогда не случится,
что видели мы. Никогда! Вольнодумцам
амнистия выйдет,
бумага все стерпит… Да что она для очевидцев?!
Мы видели смерть, как никто никогда не увидит.

День выдался сонным. Но мы и его прозевали.
Не жалости ждали — забвенья простого.
Достались болезни.
В спокойных безропотных снах, как могли, прозябали.
Вот только простились с рокадой — и тут же исчезли.

Когда надоело… Прости же, Господь, искушенье!
(Хоть в наших грехах, кроме нас, никогда
и никто не замешан.)
Мы сами себе подбирали слова для прощенья.
Лишь мертвого можно любить,
ибо мертвый безгрешен.

Легли кто куда, безымянные дети отчизны…
Уж где довелось — кто от пули, тонули,
взрывались, горели.
Отдав нам в бессрочный кредит недожитые жизни.
В подаренном времени мы невзначай постарели.

Очухалось Время… От кровью напичканной грязи.
Всегда послесловие битвы означится теми,
кто выжил —
они в каждый шаг добавляли кофейных фантазий.
Мы громко молчали! Но нас так никто не услышал.

Век выдался хищным, что гриф с окровавленным
носом.
Раскаркалась всласть у руин, разошлась
инородная нечисть.
Вердикт проходимцев: «Фашист был повержен
морозом».
Отлично, *лядье! Мы в морозе том увековечим

чухонскую гниль вместе с выплеском
шляхетской спеси,

изменников желчь, самурайскую прихоть,
ливонскую погань,
рой британоголовых туземцев и прочую плесень.
Их мы хоронили — опасно надгробия трогать!

Из сумрака прошлого ярче сияет Победа
Великая. Давшая жизнь. Даже падшей
лжеротой витии.
Лекарством забывчивым станет дорога вот эта,
ведущая, кажется, в ад. Мы тот ад победили.

Не все, но дошли до бессмертьем означенной цели.
Над Площадью Красной — Победы парадное Знамя.
Идут по брусчатке ряды пустотелых шинелей...
Мы их по походкам... да что там! — по дырам узнаем.

Савостьянов Александр Дмитриевич. 1963 г. р. Член Международного Сообщества Писательских Союзов, Союза брянских литераторов, Русского литературного клуба и Футурсобрания. Живет в Брянской обл., г. Клинцы.

Александр САВОСТЬЯНОВ

СТАРАЯ РУССА

Светлой памяти Алексея Маресьева

Старая Русса. Старая Русса.
Вот и лежал бы я тут...
Вечная память витязям русским, —
Грустные мысли гнетут.

Подвиг бессмертен в миге от смерти.
Даже не чувствуя ног,
Сильная птица, верьте — не верьте,
В сердце — летающий бог.

Действовать первым, биться искусно —
Дрогнет и целая рать.
Двигатель воет, палец на спуске —
Рано еще умирать.

Резким маневром ставится точка
В схватке с бедой роковой.
Бьет истребитель быстро и точно,
Следом за первым — второй.

Купол глубокий, легкая дымка
Тает внизу — у земли.
Выстоял, выжил. Смерть-невидимка,
Наши пути разошлись.

...Старая Русса. Старая Русса.
В небе — воркующий звук.
Вечная слава витязям русским,
Мчащимся вдаль наяву!

Хочется напомнить, что после тяжелых ранений, приведших к частичной ампутации одной или обеих ног, кроме А. П. Маресьева вновь сумели подняться в воздух еще, по меньшей мере, восемь человек. Из них семь были летчиками-истребителями: майор Л. Г. Белоусов, майор А. Ф. Белецкий, Гвардии полковник А. И. Грисенко, Гвардии капитан З. А. Сорокин, старший лейтенант И. М. Киселев, Гвардии капитан Г. П. Кузьмин, Гвардии подполковник И. С. Любимов. Один пилот, старший лейтенант И. А. Маликов, представлял бомбардировочную авиацию. Пилоты, летавшие с потерей зрения, — Азаров Евгений Александрович, Драченко Иван Григорьевич, Анохин Сергей Николаевич, без руки — Леонов Иван Антонович, комиссованные пилоты: Прокопенко Федор Федорович, Беляков Анатолий Никитович, Шевчук Василий Михайлович.

САНДАЛОВ СТАНИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ. 1966 г. р. ОО ВБД «Инвалиды Войны», Санкт-Петербург. Член Многонационального содружества писателей. Живет в г. Санкт-Петербург.

Станислав САНДАЛОВ

БЛОКАДНЫЙ ШОРОХ ДУШ

Восьмое сентября, год сорок первый.
Мой Ленинград в блокаде, окружен.
Гудят, как тросы, взвинченные нервы,
Частят сердца детей, мужей и жен.

Пока не голод, но в душе тревога,
Весь ужас окруженья впереди.
Надежда — потерпеть еще немного,
Но сердце жутко мается в груди.

От бомб горят Бадаевские склады,
И беженцев мятущихся не счесть.
Таким гостям, наверное, не рады,
Но живы и достоинство, и честь.

Пока течет вода в водопроводе,
Блокада где-то рядом, не всерьез.
Но страхи зарождаются в народе:
А что случится, как придет мороз?

Лежат на полках старые припасы,
Забита под завязку антресоль.
Конечно, не икра, не ананасы,
Лишь свечи, спички, сухари и соль.

Зовут в подвалы первые бомбежки,
Лишает сна призывный вой сирен.
В крестах бумажных темные окошки,
Где жутью веет от холодных стен.

Мой город взят блокадною удавкой,
Смертельный враг — морозная зима,
Настырно лезет в тело и украдкой,
Сводя растущим холодом с ума.

В летящей белой мгле ветрами воет,
Забрав в полон последнее тепло.
Вздымая лед над скованной Невою,
Стремится, чтобы город замело.

Теперь привычен бесконечный голод,
Забыть который и во сне нельзя.
Пощады нет тому, кто стар и молод,
И тают души, к Вечности скользя.

На всех погостах — братские могилы,
В земле вповалку мертвые тела.
Родных оплакать не найдутся силы,
Украла их голодной жизни мгла…

Я встану в караул на Пискаревке,
Тревожный прозвучит в душе звонок,
Мне слышится бредущий к остановке
Бесшумный шорох шаркающих ног.

Восьмого сентября, в день окруженья,
Когда фашист уже замкнул кольцо,
Поверх погостов дымкой, как явленье,
Блокадных дней прозрачное лицо.

ПОБЕЖИМОВА (СОЛОВЬЕВА) ВИКТОРИЯ ГЕЛИЕВНА. 1965 г. р. Член Российского союза профессиональных литераторов. Живет в г. Красноярск.

Виктория ПОБЕЖИМОВА

НА ПИСКАРЕВКЕ

Я долго думала о хлебе,
о небе в черточках крестов.
На Пискаревке — вечный сон,
и горизонт привычно бледен.

Забылось, как кружилась пыль
и оседала на иконы,
как Ленинград не слышал звоны,
как все смешалось — сны и быль.

Крестила мать детей утайкой,
но кто считал тогда народ…
У ленинградцев тот же фронт —
завод, давай стальные гайки!

На Пискаревке — запах сныти…
Деревья строже, чем конвой,
а в сердце бродит непокой…
А небо пахнет хлебом житным,

Судьбой…

ЧАЙКОВСКАЯ ОКСАНА БОРИСОВНА. 1969 г. р. Томский областной художественный музей. Член Союза российских писателей. Живет в г. Томск.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ

ДУНЬКИНА РАДОСТЬ

— Дай-ка грамм двести мне розовых, тех,
без обертки.
«Дунькиной радости» свешай мне, Кать, для внучат! —
Это сказала в сельпо старушонка в потертом
Сером платочке, клюкой о прилавок стуча.
Мы засмеялись с подружкой смешному названью:
«Дунькина радость!» — придумают же, чудаки!
Тут и старушка на нас обратила внимание,
Быстро взглянула сурово на нас сквозь очки.

— Эх вы, пичуги! Смеетесь, не зная заботы…
Этих подушечек липких вы вряд ли оцените вкус.
Вам и заморских сластей-то не больно охота,
Вас с малолетства балуют — бананы, черешня, арбуз!
В нашу-то пору и хлеба не вдоволь видали,
Всем не до лакомства было в лихие лета.
Я вот мечтала, чтоб булку мне целую дали,
Враз бы я съела ее и была бы сыта!

Щавель, крапиву и прочие разные травки —
Ели мы все это, лишь наступала весна.
Жаль только толку от них было чуть —
лишь затравка,
Вроде и ела, а вот уж опять голодна.
Был детский дом рядом с нашей деревней большою,
И отовсюду в него привозили сирот,
Малых детишек с войной опаленной душою,
Вдоволь познавших всю горечь военных невзгод.

Были там дети, которые горя хлебнули —
Мать и отца потеряли, и дом, и родных.
Смерти в лицо очень рано они заглянули,
Мы их жалели — мы были счастливые них!

Пусть им давали почти настоящую кашу,
Пусть было больше у них и картошки,
и хлеба, и дров,
Ну а у нас были мамы усталые наши,
Наши дома, наш родной непотерянный кров.

Нас, деревенских, однажды на праздник позвали
В елкой украшенный светлый детдомовский зал.
Как нас порадовал праздник! Как мы ликовали!
У малышей от чудес разгорались глаза.
Был карнавал и концерт, а потом нам дарили подарки:
Пряник, лепешку и липкий комочек конфет.
Был небогат тот подарок, завернут в неяркий
Серый кулек из печальных военных газет.

Вот вы смеетесь: какая-то «Дунькина радость»!
Даром не надо вам этих конфеток простых.
Нам же тогда они были желанной отрадой.
Привкус войны до сих пор мне все чудится в них.

ШАКЛЕИНА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА. 1963 г. р. Преподаватель академического рисунка и живописи в Арт-студии. Член Союза российских писателей. Живет в Самарской обл., г. Тольятти.

Алла ШАКЛЕНИНА

ОПАЛЕННЫЙ ИЮНЬ

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня разглядел...
И чистые-чистые, как слезы...

Борис Васильев

Ультрамариново-пурпурный,
не так уж сладок был рассвет,
В тревожной череде примет
ночь свой отсчет вела сумбурный.

Июнь, пронзенный плачем птицы,
пал на подбитое крыло,
Проснувшись, не на половицы
Ступил — на битое стекло.

Июнь, чьи сказочные зори
вмиг стали блеклы и тихи,
И песни смолкли, и стихи
застыли в неуемном горе.

Зарницы с лета до весны
пылают ярким, рдяным цветом,
И плачут до сих пор рассветы
слезами страшной той войны!

ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ

Запрокинуть бы голову в небо,
Вот он, зведно-янтаровый клад!
С губ молочных, с пеленок Победу,
С люльки пестовал русский солдат.
Канет ястребом в сини зыбучей,
Под награды пробив шевиот,
Звездный дождь через грозные тучи
И на сердце солдата падет,
Звездопад орденов и медалей,
Пальцем тронь — захрусталится звон.
Вечный подвиг героев в скрижалях!
Вечный свет вам и низкий поклон!
В точку памяти, в самое днище,
Чтоб не вытравить и не забыть
Тех, кто смог из войны пепелища,
И из ада страну возродить!

ПИСЬМЕНА НА СНЕГУ

Расстояние в пушечный выстрел до края.
Кто решает где мягко, где твердь?
По дороге от ада до майского рая
Не прописано, где умереть.

Воспаленно пульсирует место поминное,
Что за ребрами из глубины,
По сей день память сердце латает суглинное
На гончарной жаровне войны.

Бело-черная радуга цепкого голода
Из блокадного пекла — «стерплю!»
Я, покуда не знавшая черного города,
На коленях пред хлебом стою!

На снегу письмена с той блокады все держатся,
В январях, многолетья подряд,
Это пайки ржаные на белом мне вержатся,
А не черные галки сидят.

ШЕУДЖЕН ИНВЕР ИНТЕХАНОВИЧ. 1970 г. р. Самозанятый. Член Межрегионального союза писателей. Живет в г. Краснодар.

Инвер ШЕУДЖЕН

ВОЙНЫ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОХА

Войны закончилась эпоха,
И смыли горечь всю дожди.
Но почему не сделать вздоха
Без боли, что живет в груди?

И почему в цветущем мае
То у Поклонной ли горы,
То на Мамаевом кургане
Полно с цветами детворы?
И почему так плачут души
У ветеранов до сих пор,
И ветер времени не глушит
Судьбы жестокий приговор?
И память снова воскрешает
Пороховые те года,
Где мать солдата все встречает
И не дождется никогда…
Туда, где был врагом разрушен
До основанья Сталинград,
Где разрывали ночь «Катюши»
И каждый залп — за Ленинград!
Где клич гремел: Все для победы!
Краюха хлеба — пополам!
Где умирали наши деды,
Чтобы жилось сегодня нам.
Такая участь им досталась,
Солдатам тех сороковых.
Нам поклониться им осталось,
Всем поименно, за живых!
Войны закончилась эпоха,
Истерты грозные черты.
Но до сих пор не сделать вздоха
Без боли, что живет в груди…

ДВА ТОВАРИЩА

Ну вот и все, мой друг товарищ,
Остались мы вдвоем с тобой
Из роты, что в дыму пожарищ
Легла под этой высотой…
Нам жить осталось до рассвета,
Но умирать-то не впервой.
Отсыпь махорки из кисета,
Давай закурим по одной…
Вдали заполыхало поле,
Полезла немчура вперед.
Ни страха нет в глазах, ни боли,
Вот нам бы только пулемет,
Патронов горсть для автомата.
Наш Сталинград сегодня здесь.
А где-то ждет отец солдата,
Не зная — сын воюет здесь…
В подсумке лишь одна граната,
Но силы есть для штыковой.

В последний раз подняться надо,
Мой друг, товарищ боевой,
За тех ребят, что здесь остались,
Земли родной не сдав ни пядь,
Под «Фердинанды» что бросались,
Пришла пора нам долг отдать…
Застыли в белом обелиске
Два друга, вместе на века.
До смерти было им так близко,
Как и до славы — два шага!

ТЫ СЛЫШИШЬ ЛИ МЕНЯ, СОЛДАТ?

Как в сорок первом смерть стократ
Грозней, и небеса горят!
В аду, средь боли и огня,
Солдат, ты слышишь ли меня?
Ты посмотри, с тобой в строю
Ребята, пали что в бою:
Чуваш, татарин и бурят —
Все те, кто был тебе как брат.
С тобою, помни, Ленинград!
И опаленный Сталинград!
И дед, что в поле под Москвой
Остался вечно молодой.
С тобой шагает мать-страна,
Пожаром войн опалена,
Не зачерствев, и не предав,
И голову склонить не дав.
А ночь от взрывов горяча,
Застыла над письмом свеча,
И надо пережить рассвет.
Мальчишка, сколько тебе лет?
И поднимая в цепь ребят,
Ты знай, любимые не спят
И ждут, а матери в мольбе,
Седеют, в думах о тебе.
И, чей-то сын и чей-то брат,
«Огонь!» — кричит, хрипя, комбат.
Над полем в копоти луна,
Опять кресты, опять война.
Пусть смерть грозит в прицел стократ,
Но правда за тобой, солдат.
Чеченец, русский и бурят,
И каждый мне навеки брат…

VII

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА

СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Елена ВАДЮХИНА
Татьяна ГОГОЛЕВИЧ
Софья ГРИГОРЬЕВА
Юрмет (Юрик) НАГИЕВ
Валентина НИКИТИНА
Евгений ПЕККИ
Юрий СЕЛИВАНОВ
Светлана СМИРНОВА
Николай ТИМЧЕНКО
Светлана ТРЕТЬЯКОВА
Нина ТУРИЦЫНА
Рауза ХУЗАХМЕТОВА
Алина ЯМЩИКОВА

ВАДЮХИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА. 1958 г. р. Российская государственная библиотека искусств. Член Южнорусского союза писателей. Живет в г. Москва.

Елена ВАДЮХИНА

ПОДСНЕЖНИК

Сказка

Мне уже много лет, и прежде чем перейти в мир иной, хочу поведать миру о том чудесном и загадочном, что мне пришлось пережить давным-давно, в тяжелое время войны.

Мама умерла, когда мне было два года, и отец стал мне не только папой, но и мамой, и наставником во всем, и учителем. Он служил офицером, мы жили с ним в гарнизонных городках. Пока я была маленькая, за мной ухаживала прабабушка, потом она уехала к больному прадедушке в деревню, хотела взять меня с собой, но я наотрез отказалась. Отец так и не женился, он как-то спросил меня, согласна ли я на то, чтобы он привел в дом новую жену, а я такую мину на лице изобразила, не нарочно, конечно, так получилось, что отец никогда не возвращался к этой теме. Теперь мне стыдно за то, что оказалась такой эгоисткой. Но я так любила отца, что не представляла себе, как чужая женщина вторгнется в нашу семью.

Десятый класс по настоянию отца я должна была окончить в Москве, чтобы поступить в московский университет и учиться на астронома. Это была папина мечта, он увлекался астрономией и считал ее самой прекрасной наукой. «Когда-нибудь на всем земном шаре, — говорил папа, — победит коммунизм, люди не будут воевать, они полетят на другие планеты и познакомятся с инопланетянами». По вечерам мы с ним садились на лавочке во дворе, смотрели на звезды, и он мне показывал, где какая звезда, планета, галактика, мы с ним сочиняли фантастические истории про другие планеты.

У нас имелась мамина комната Москве, где оставалась моя прописка. Но папе в столицу перевестись не удалось. Так началась моя самостоятельная жизнь, к которой я была готова, так как давно занималась домашним хозяйством. Отец просил соседей приглядеть за мной. Папе я звонила и писала каждый день, и он мне, и все равно мне его не хватало, особенно по вечерам. Не с кем было про звезды поговорить и посмотреть на небо. Моей новой подружке звезды оказались неинтересны. Отец подбадривал: вот поступишь в университет, появятся новые друзья, будет с кем на звезды смотреть.

В июне сорок первого стоял ужасный холод, мы с подружкой мечтали о теплом лете, когда сможем ездить на пляж и ходить в новых летних платьях. После выпускного бала я спала в мечтах о лете, когда раздался звонок. Отец коротко сообщил, что срочно уезжает на фронт, я даже не поняла спросонья, что началась война.

Он просил меня беречь себя и поступать в университет, что бы ни случилось. С этого дня я не знала ни одного спокойного дня и ночи, мне все время мерещилось страшное: смерть отца.

Я поступила в университет на отделение астрономии физфака и тут же написала отцу на фронт. Ложась спать, я твердила: «Папочка, я буду астрономом, а ты живи, пожалуйста, только живи!»

22 июля началась бомбардировка Москвы, продолжавшаяся с тех пор регулярно. Когда не было занятий, я дежурила на крыше, сбрасывая бомбы. Враг подступал к Москве, и в октябре университет эвакуировался. Я бы, наверное, тоже отправилась в Ашхабад, тем более что с однокурсниками подружилась, если бы не одноклассница. В результате прямого попадания в дом она осталась без крыши над головой, я приняла ее вместе с ее бабушкой в свой дом, а мать ее ушла работать в госпиталь круглосуточно. Подружка решила идти на завод Ильича, делать снаряды для «Катюш», и я подумала, что сейчас главное — помогать фронту, и устроилась на работу вслед за ней, университет подождет до следующего года.

В конце октября случилось самое страшное, чего я боялась: я получила треугольник с чужим подчерком, означающий гибель и конец всяческой радости и надеждам. Состояние отчаяния и безмерной пустоты охватило меня, и единственный выход из горя я могла найти в отправке на фронт. Сквозь слезы собирала документы, а на следующий день примчалась по окончании трудового дня в военкомат. На комиссии пошутили, мол, на ножку Золушки — а я маленького роста, и размер ноги у меня маленький — сапог в армии не найдется. Но я ответила, что со своими приду — мне и правда отец сшил сапоги на заказ по моему размеру. Учитывая успехи в соревнованиях по стрельбе (а я все детство провела на стрельбище с отцом), призовые места на лыжных гонках (отец меня в два года на лыжи поставил), увлечение прыжками с парашютом, а также происхождение, мне помогли — направили на курсы снайперов, которые я закончила досрочно, так как уже почти все умела.

Уже зимой меня отправили в батальон связистов. Задача предстояла такая: я с напарницей-связисткой должна была налаживать линию связи на участке, где она порвана. Напарница восстанавливает связь, а я обеспечиваю ее прикрытие. Туда мы добирались либо пешком или на лыжах, либо прыгали с самолета с парашютом. И тут ветер иногда играл с нами злую шутку. Каждое задание было опасным и непредсказуемым, и дважды я возвращалась одна. Об этом надо писать отдельную большую книгу. А началось все с моего прибытия на фронт.

Меня везли на грузовике по снежной дороге в лесу. Наконец доехали до поляны, показали: тебе, мол, туда, через поляну. Я уже оделась в белый камуфляж поверх формы. Но лыжи еще не дали. Предполагалось, что на месте получу. Я направилась по глубоким следам по краю поляны, впереди видела бойцов, с интересом наблюдавших за мной. Снег выше колена, и, в конце концов, пытаясь вытащить ногу с валенком из снега, я упала, а когда попыталась встать, провалилась в снег с головой. А я-то считала себя умелой…

Что же я так опозорилась? Ко мне поспешил боец, вытащил из сугроба и поднял на руки.

— Ну что, подснежник, запушило тебя? — спросил он, улыбаясь. Лицо с ямочками на щеках и глаза с прищуром выглядели добродушными, но мне было неловко и стыдно, я пыталась вырваться. А он держал крепко.

— Не бойся, я тебя донесу. А глаза у тебя синие-синие, и впрямь как у подснежника.

В тот момент меня неприятно поразил запах его пота. Отправляясь на фронт, я думала только о героизме, а таких испытаний даже не представляла, но со временем привыкла и не обращала внимания. Все бойцы пропахли крепким мужским потом, да и мы, девчонки, стали ненамного лучше со временем, хотя старались соблюдать чистоту изо всех сил. Баня на фронте — редкий праздник. С бойцом этим я подружилась. Звали его Коля. Он с первого дня так и звал меня — Подснежник, и все так меня стали называть. Коля меня опекал во всем, повторял, что меня беречь надо. «Вам, женщинам, надо род продолжить, — говорил он мне и девчонкам, — непременно вам выжить нужно и здоровье сберечь». Конечно, мы влюбились друг в друга, да и как было в него не влюбиться, более чуткого человека и представить себе нельзя. И неправду говорят, что на войне всякий разврат, все неправда, никто так никогда целомудренно к нам не относился, как наши однополчане.

Боль из-за потери отца стала уходить, я была не одинока в этой жизни. И тут как раз весна пришла: воздух дурманящий, землей пахнет, талой водой, и кругом ковер из синих подснежников. Война, я чуть ли не через день немцев убивала, целя в висок, а тут старалась на цветы не наступить, жалко. Сидим мы с Колей, обнявшись, а он мне говорит:

— Я тебя так люблю, что и весь мир люблю. И этот лес, и цветы, и воздух. И даже немцев люблю.

— Как, — возмутилась я, — немцев? Как же их можно любить, ведь они же гады, они моего отца убили! Они наших детей убивают!

А он отвечает:

— Я и сам не знаю, но жалко мне их, у них тоже матери есть, ждут их, по ночам не спят, не все же они фашисты. И звезды над ними те же.

При словах о звездах я заплакала, и Коля целовал мои щеки в слезах.

В ту ночь отряд расположился на ночевку под открытым небом. Я спала на лапнике, лежа спиной к подруге. Внезапно проснулась и вижу: надо мной стоит волк, глаза светятся зеленым огнем в темноте. У меня внутри все похолодело от ужаса. Я к винтовке онемевшей рукой потянулась, а волк смотрит на меня, и в глазах его слезы и мольба. Окончательно проснувшись, села, а волк уходит и на меня оглядывается, будто зовет. Я встала, взяла вещмешок и нерешительно пошла, так мы шли метров сто, я даже испугалась, не заблужусь ли ночью. Дошли мы до немецкого заграждения — вижу в колючей проволоке запутавшегося волчьего детеныша, поняла,

значит, это не волк, а мать-волчица. К дитю своему привела. Вот ведь, люди воюют, а животные страдают! Я достала из вещмешка кусачки, перерезала проволоку. Вынула осторожно волчонка. Рану смазала и перевязала. Он хоть и скулил, но не вырывался, понимал, что я его лечу. А волчица нас повела дальше, и я за ней отправилась с волчонком. Подводит она меня к полянке и остановилась у подснежника. Каким-то таинственным образом я понимаю, что она хочет сказать. Выкапываю этот подснежник и кладу в карман. Слышу слова: «Цветок этот может спасти жизнь человеку. Притронься к убитому, и тот оживет, а цветок завянет». Волчица меня обратно отвела. Я легла спать. Наутро думаю: может быть, все приснилось? Проверила карман, а там подснежник. Положила его на ладонь, а он будто бы не мялся в кармане — свежий, лепестки ровные, и вправду волшебный!

Утром предстояло переправиться через болото для соединения с батальоном. Успела только Коле сказать, что чудо произошло. Переходили через болото, начался обстрел, мы ползем, справа трясина совсем непреодолимая, назад тоже нельзя — уже окружают. Коля ползет слева от меня — со стороны выстрелов, заслоняет. А позади меня наш Птенчик (фамилия у него Птенцов) — смешной паренек по имени Адриан (в честь римского императора родители имя дали, но по-нашему Андрюшка), уши него торчали, чудной был и всегда попадал в переплеты, но выбирался из них и на наши шутки никогда не обижался. Птенчик вскрикнул и умолк, а я развернулась и к нему подползла. Он уж мертвый. Андрюшка, он как дитя, такие не должны погибать. Сердце от боли аж сжалось. И тут я вспомнила про подснежник. Прикоснулась лепестками к ране Адриана, рана затянулась, и он на руках приподнялся, чтобы опять ползти, а я заплакала от счастья. Коля подполз к нам с той же стороны от меня, загораживая от выстрелов, я ему про цветок поведала и протягиваю его, а тот уже увядать стал. «Что за чудо!» — шепчет Коля, улыбаясь. И тут пуля просвистела, и мой любимый лицом к земле приник, но еще улыбался подснежнику, даже мертвый.

Дали мне чудесный цветок для спасения. А я не смогла любимого спасти. Я понимаю, что и Коля так бы поступил, правильно я сделала, а все же...

Он-то меня сберег, благодаря Коле я выполнила завещание отца. Живой осталась и астрономом стала. И даже спутник далекой планеты открыла и назвала его Подснежник в память о нашей с Колей любви. На последнем курсе учебы замуж вышла, и дружная у нас семья получилась, но вот такой любви, чтоб от края и до края земли чувство разливалось, чтобы сердце непрерывно трепетало от слияния со всем миром, не было у меня больше. Да разве такое может повториться?..

ГОГОЛЕВИЧ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА. 1962 г. р. ГБУЗ СО Тольяттинский ПНД. Член Союза российских писателей. Живет в Самарской обл., г. Тольятти.

Татьяна ГОГОЛЕВИЧ

«ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ПИШЕШЬ О ВОЙНЕ?»

— Почему ты не пишешь о войне? — спросила я.

Мне тогда было десять лет. Мы целый день пробродили по лесу и теперь возвращались домой. Папа не сразу ответил. Он поправил заплечный мешок, сооруженный из плащ-палатки, остановился, подобрал у сосны толстый кусок слоеной коры, внимательно осмотрел его. Он вырезал из таких кусочков лодочки и целые корабли. Мне полагалось просить его об этом, *уламывать*, что составляло непременное условие строительства сосновых лодочек. Долгожданный жест — нагнуться за подходящим куском коры — был началом. В этот раз я его ни о чем не просила. Папа рассмотрел кусок коры, сделал было движение, словно собирался его выкинуть, как ненужную вещь, потом, вздохнув, положил к себе в карман.

— Потому что война не стоит того, — ответил.

Звенели птицы, тоненько и чисто, как если бы вода капала с большой высоты в фарфоровые чашечки. День стоял пасмурный и теплый. В такие дни стволы сосен кажутся особенно светлыми. Прозрачная тонкая пленочка розовато высовывалась из-под толстой морщинистой коры, как легкие крылья жука — из-под верхних. Светящаяся пленочка напоминала о солнечных зайчиках.

— Но ведь уже столько книг написано о войне, — возразила я, — о подвигах. И у нас дома столько книг о войне. И вы, когда собираетесь, только о ней и говорите.

Папа действительно собирал книги и газетные вырезки о Великой Отечественной Войне. Он ночами сидел, что-то выписывая из библиотечных документальных книг. Когда к нему приезжали фронтовые друзья или просто приходили коллеги по работе, все настоящие разговоры были о ней, о войне. Случайно я узнавала много интересного. Но мне папа никогда не рассказывал про войну. Я думала, что он пишет о ней книгу, и вдруг узнала, что никакой книги не будет. «Тогда зачем же ты постоянно что-то выписываешь?» — спросила я его. Он ответил: «Потому что я там был».

Когда наши войска вошли в Берлин, папа командовал батальоном. В моем представлении он был героем.

— Почему ты не напишешь о каком-нибудь подвиге? — спросила я.

— Война — не подвиг, — ответил папа. — Война — тяжелая обязанность.

— Но ведь ты не был трусом. Ты совершал какие-нибудь подвиги.

— Да, я не был трусом, — сказал папа, — но подвиги на войне совершает каждый человек, если он не подлец. Но ни один нормальный человек по своей воле не захочет умирать.

Какое-то время мы шли молча. Пахло горячей смолкой, сухие сосновые иголки кололи босые ноги.

— Скажи-ка мне лучше, — перешел в контрнаступление папа, — почему ты не записываешь сказки, которые я тебе рассказываю? Ты мне обещала. Скоро я перестану тебе их рассказывать, и ты забудешь их.

— Ты сравнил, папа, войну и сказки! Почему ты сам не записываешь свои сказки?

— Потому что, — сказал папа, — я не могу одновременно сочинять и записывать. И потом, это твои сказки.

— Про войну ты тоже не можешь сочинять и записывать? — спросила я.

— Про войну ничего не надо сочинять, — хмуро сказал папа, — ее уже сочинили.

— Тебе трудно написать про нее?

Папа помолчал.

— Да, мне трудно написать про нее.

— Знаешь, что, — придумала я, — давай ты мне будешь рассказывать про войну, а я стану писать о ней.

— Нет, — сказал папа, — я не хочу, чтобы ты писала о войне.

— Почему?

— Потому что я не хочу, чтобы ты писала о войне. Я хочу, чтобы ты написала о соснах, какие они высокие и как в них светло, и о сосновой коре, и о том, какие лодочки я делал тебе. Напиши, что шмели, шевелящиеся в клевере, похожи на неуклюжих полосатых медведей. Что в синих колокольчиках, как в настоящих больших колоколах, желтые язычки. Напиши о том, что клевер не может расти без шмелей. И о том, как мы ловили рыбу на острове, и как у тебя унесло удочку, и какая там росла повилика — помнишь, она светилась в сумерках белыми цветами, и как ты испугалась бабочки-бражника.

— Я не боюсь бабочек, — сказала я, — просто не понимаю, когда насекомые так скрипят.

— Смотри, лесная герань. Ее всегда здесь было много.

Папа наклонился над полянкой, где рассыпались румяные сиреневые звездочки на хрупких, почти невидимых стебельках.

— Я и сам не люблю бражников, — сказал он. — Но все равно это интереснее войны, честное слово.

— Ты думаешь?

— Мне не нужно много думать о том, что я знаю и так.

— Расскажи мне про войну.

— Смотри, — сказал папа. — Вот дорога, по которой мы идем с тобой. Полвека назад мне было девять лет, и я тоже шел по этой дороге со своим отцом и с лошадью Карькой. День был точно такой же, как сегодня, и мы тогда накосили много сена, прямо с цветами — с геранью, с васильками, которые пахнут, как ты говоришь, как шоколад.

А вот здесь Карька вдруг заупрямился и не пошел дальше. Заржал и остановился. Надо уже было спешить, а он не шел. Мы его уговаривали, гладили — бесполезно. И тогда отец стегнул Карьку

кнутом, а он никогда не бил лошадей. Карька повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.

А дома оказалось, что другая, чужая лошадь ударила моего младшего братика Веню копытом в лоб. И Карька это почувствовал.

— Но ведь это не про войну, папа.

— Понимаешь ли, — папа посмотрел на меня, — это важнее войны.

— А помнишь, — сказала я, — ты рассказывал дяде Боре, как вы взяли Рейхстаг и нашли обгорелую Магду Геббельс и ее детей?

— Знаешь что, — мрачно сказал папа, — я просто терпеть не могу бабочек-бражников и повилику не люблю, вредное растение, но давай лучше о них поговорим.

Какое-то время мы шли молча. Как будто бы собирался дождь. Встревоженные вороны поглядывали на небо и хлопали крыльями. Но дождь так и не начался.

Папа не умел долго сердиться.

— Напиши о людях, которые тебя окружают, — смягчившимся голосом произнес он. — Пиши обо всем, что видишь. О берегах, туманах, пароходах. О жизни, которую застанешь. О том, как сосны шумят, и что ветер пахнет горячей смолой. Напиши, как вчера приняла дождь, который шел над Волгой, за голубой дым.

— Почему ты сам не напишешь о берегах, туманах и пароходах? — начала было я.

— Я уже не смогу, — очень спокойно, объясняющим голосом, сказал папа.

— Почему, папа?

— Потому что в моей жизни была война.

ГРИГОРЬЕВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА. 1941 г. р. Фрилансер. Член Союза журналистов России. Живет в г. Красноярск.

Софья ГРИГОРЬЕВА

ЭТО ДОЛГОЕ, ДОЛГОЕ, ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Из ржавых вод, из голубого мха
В истлевших гимнастерках и пилотках
Они встают. Размеренна, тиха
Солдат убитых тяжкая походка…

Я твердила строки поэта Сергея Орлова, стоя у дорожного указателя «Клемятино». Эта смоленская (а потом калининская, а еще потом тверская) деревня вписана в похоронное извещение от 14 декабря 1942 года. Здесь погиб мой отец. Мой золотой комбат, как я с детства его называю. У меня нет воспоминаний о нем, но есть — память. Мамины рассказы, коротенькие письма с фронта, вопросы незнакомых людей: «Не Краева ли дочка будешь? Глаза у тебя его», жалостливые вздохи соседок: «Ох ты, сиротинушка! Папка твой какой человек был!..»

Сейчас через Клемятино проходит отороченное зеленью и цветами асфальтовое шоссе «Нелидово-Смоленск». А осенью *того* года здешний чернозем превращался в вязкое месиво, и дороги, разбитые снующим от фронта в тыл и обратно транспортом, не выдерживали все нараставшей нагрузки. Да и когда мы с мамой спустя три десятилетия разыскивали родную могилу, то и на автобусе ехали, и на грузовике, и — через лог «Черная грязь» — на телеге. Не было тогда нарядных баннеров на обочинах, зато деревня жила. Сейчас же половина домов стоит здесь с заколоченными окнами. А во мне перемежаются, пересекаются, аукаются три даты: 1942, 1973, 2016…

Здесь раньше вставала земля на дыбы

Тогда возница высадил нас («Вот оно, ваше Клемятино») и повернул обратно на Черную грязь. А над нами «взяла шефство» немолодая женщина из ближнего дома: «Миленькие, я вам все сейчас расскажу». Ее рассказ не просто запомнился — врезался в память: «Вот оттуда они шли, а отсюда немцы их косили. Как они их косили! Как траву…» Строчка нашего извещения «Похоронен в братской могиле с отданием воинских почестей» вызвала у нее горькую усмешку: «Вы уж простите нас. Когда трупы начали вытаивать и разлагаться, председатель колхоза велел сталкивать их в воронки от бомб, в окопы, в траншеи. Цепляли чем попало — баграми, граблями, вилами… А народ-то в деревне какой остался — бабы, старики да дети. Дак к нам из Калинина прислали людей. Помню, они спрашивают: «Почему у того леса снег до сих пор лежит?» А то не снег был — наши солдатики в белых халатах. Из ручьев в то лето ни домашняя скотина, ни дикие звери не пили — там больше крови было, чем воды…»

В 1949 году вышел правительственный приказ о перезахоронении останков из одиночных и массовых могил. Наша добрая фея дорогу к братскому кладбищу объяснила очень будничным голосом (а мы вздрогнули): «Пройдете Долину смерти и вон на том взгорочке увидите памятник»… На взгорочке, над тремя нереально огромными могилами, высился обелиск из мраморной крошки и стояла табличка с 17-ю фамилиями. Нашей среди них не было… Я сфотографировала прислоненный к венку портрет отца и прочитала вслух (для кого?) написанное на обороте завещание: «Что бы со мной ни случилось, помните, что в жизни главное: честность и прямота, знания (в кубе) и беззаветная преданность Родине. Ваш М. Краев». Мама улыбнулась сквозь слезы: «Он был старше меня и казался таким взрослым, таким солидным. А теперь понимаю, молодой совсем был, чуть за 30…»

Мама умерла шесть лет назад. И вот я уже одна вернулась на Ржевско-Сычевский выступ — под таким названием фигурировали здешние места в сводках Совинформбюро. Сами географические координаты всколыхнули в душе чувства, которые, наверно, переживали сражавшиеся здесь — и смертную горечь утрат, и нестерпимую усталость, и непреклонную уверенность в Победе. Я теперь больше, чем в 73-м, знаю о той забытой, замалчиваемой советскими историками битве великой войны. Достаточно было перелистать книгу «Крупнейшее поражение Жукова — катастрофа Красной Армии в операции «Марс», 1942». В ней детально, по дням анализируются те события. «Некоторые населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Немцы прочно удерживали город Белый, заставляя русских распылять силы по периметру окружения…» «Потери пехоты не поддавались подсчету. На прибывающее пополнение не успевали составить списки, выдать смертные медальоны — прямо с марша части шли в бой…» «В ночь с 15 на 16 декабря генерал Соломатин собрал оставшиеся танки и стрелков в кулак и прорвал окружение…»

Мой папа в том прорыве не участвовал. Уже сутки он лежал на клемятинских снегах… Об этом маме написал санинструктор из его батальона. Я читала то письмо еще подростком: «Он крикнул: «За Родину!» И тут вражеская мина сразила командира. Он погиб, это точно. Я видел это своими глазами». Мне тогда показалось странным такое настойчивое уточнение. Зачем?! «Это чтобы мы не надеялись, не ждали», — потемнела лицом мама, помнившая каждое слово из того фронтового треугольника.

Памятники, стелы, обелиски…

Еще одна дата — 1996. В том году был открыт Мемориал у деревни Плоское.

Когда мы с председателем сельского совета Татьяной Николаевной Орбачевской приехали к нему, я сразу узнала три могилы, обелиск и 17 фамилий. Они так и остались ядром Мемориала, окруженные монументальными плитами черного гранита — символом стоявших здесь насмерть дивизий и разнообразными портре-

тами — в камне, в пластмассе, да даже на палке (наверное, 9 мая этот портрет «прошел» где-то в рядах Бессмертного полка). И на 12-метровой часовне — знакомый всем россиянам Георгий Победоносец с копьем, дар благодарных сибиряков за память об их земляках. Краски на иконе — разноцветные минералы из глубины сибирских руд. Здесь воевали посланцы и моего Красноярска — 119-я Гвардейская дивизия генерала Березина. Улица его имени есть и в городе на Енисее, и в городе Белый.

В сельсовете мне дали список шести с лишним тысяч человек, похороненных на этом братском кладбище.

Строчка «Краев М. А., ст. лейтенант» хлестнула по глазам так, что я на какое-то время ослепла… Папка! Папочка… Татьяна Николаевна, словно ожидая такой реакции, тут же протянула мне стакан воды. А в школьном музее деревни Будино, где ребятишки тщательно собирают материалы об операциях под именами греческих богов («Марс», «Юпитер», «Уран»), юные экскурсоводы продемонстрировали немалую осведомленность и огромную заинтересованность в их деятельности. «Марс» должен был отвлечь немецкие дивизии, устремленные на Сталинград!» — девочка чуть дрожащей рукой водила указкой по карте с синими и красными стрелками.

В пяти километрах от Клемятина, в деревне Демяхи, на другом Мемориале — стеле в виде составленных в пирамиду штыков, — я прошла вдоль десятков отлитых в металле плит со списками. Новые могилы с ржавыми касками на холмиках, объяснила мне оказавшаяся здесь местная жительница, — это зримый результат работы поискового отряда «Бельский плацдарм». Парни и девушки год за годом предают земле не похороненных во время войны солдат. Девять могил с указанием года, количества (в сумме 515) и иногда фамилий. Десятая, еще без таблички, рыжеет свежей глиной. В «Бельской правде» я прочитала: на нынешней вахте Памяти поисковики подняли (есть такой термин) 99 солдат. Сколько же еще лежит их вокруг города, который впору было переименовывать из Белого в Красный?..

Мемориал в Демяхах — больше 10 тысяч, в Нелидове — больше 4-х, в Великих Луках — 125 тысяч… На одной из плит последнего есть фамилия отца моей одноклассницы Нины Отмаховой. Правда, неточно написанная — Отмаков Я. П. (ошибка писаря). Господи, да война — она вся сплошная, страшная, непростительная ошибка!.. Недаром в прошлом веке главная молитва звучала так: «Лишь бы не было войны!» А в этом веке…

В Эстонии, где живет Нина, стоят дивизии НАТО (ну и в Литве с Латвией, само собой). По телевизору постоянные разговоры про военные базы, ракеты, учения… Почему же человечество не учится на своих ошибках?! Неужели прав фронтовик Окуджава, написавший обращение к погибшим солдатам: «Спите себе, братцы, все вернется вновь, все должно в природе повториться — и слова, и пули, и любовь, и кровь… Времени не будет замириться»?..

Ах, война, что ты сделала, подлая!..

Глубоки забвения колодцы, но не забывается война

О традиционном противостоянии старшего и младшего поколений можно сказать коротко: отцы и дети. У моего поколения таких разногласий почти не было, потому что у многих не было отцов. В мою деревню вернулись двое: целый-невредимый-молодой-холостой дядя Валя (он скоро женился на вдове своего погибшего старшего брата) да слепой дядя Леша, которого мы ни разу не видели — он не выходил из дома. А дети есть дети — мы бегали, прыгали, играли, смеялись. У мальчишек любимым развлечением были схватки наших и немцев. Но «играть в войнушку» — так тогда не говорили. Может, чувствовали интуитивно, что к войне подходят эпитеты, а вот суффиксы — нет…

Сейчас, после долгого привычного мира, я вздрагиваю при виде разухабистого «Можем повторить!» Перечитала свою заметку четырехлетней давности. Она написана в спокойные вроде бы времена, но в заключение вспомнилась же почему-то строчка Окуджавы «Времени не будет замириться!» Значит, в воздухе уже носилось то, что принес нам «год-двоешник»…

И опять не срабатывает пословица «Когда гремят пушки — музы молчат». Освежилась поэтизация и героизация войны против беспощадного врага, возобновляется в школах курс начальной военной подготовки, маршируют по городам и весям юнармейцы, и вновь будоражит плакат «Родина-мать зовет!» Ну конечно, если матери плохо, надо вставать на ее защиту. Альтернативы нет!

А плакат такой я увидела нынче в штабе «45-го гвардейского стрелкового полка». Кавычки — потому что это название военно-исторического клуба, данное по имени реального полка сформированной в 1939 году в Красноярске 119-й стрелковой дивизии под командованием генерала Березина. В марте 1942-го она была преобразована в 17-ю гвардейскую СД, а при дальнейшем продвижении на запад и на восток стала 17-й гвардейской стрелковой Духовщинско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизией.

Одни из самых жестоких боев в ходе Ржевской битвы красноярцы вели под городом Белым. Запланированная маршалом Жуковым операция «Марс» началась с неудачи: в окружение попал 6-й стрелковый добровольческий корпус им. Сталина. (Можно себе представить гнев Верховного главнокомандующего И.В. Сталина и ужас его подчиненных!) В состав этого корпуса входили и 17-я гвардейская дивизия, и 78-я добровольческая бригада.

Сотни тысяч павших навечно приютила тверская земля.

И грянул бой!

Невзаправдашний бой. Фрагмент наступательной операции, начавшейся 80 лет назад, и выбрал для реконструкции командир нынешнего «45-го гвардейского СП» Максим Брит. Главные задачи, поставленные командованием в декабре 1942 года, — срезать Ржевский выступ, уничтожить 9-ю армию группы немецких армий

«Центр», не позволить вермахту переброску дополнительных резервов к Сталинграду.

Красноярские реконструкторы за последние годы оборудовали возле села Еловое богатый полигон для своих сражений. Штаб, километры окопов, блиндажи, землянки, склады оружия и снаряжения, маскировочная сетка… Браво, ребята! Это титанический труд… По Красноярску (и не только) информация о нынешнем «Марсе» разошлась широко. Интернету исполать! — зрителей собралось много, не меньше 5 тысяч.

В рамках фестиваля исторической реконструкции, посвященного 200-летию Енисейской губернии, 45-й показал еще два сюжета: покорение Сибири — с колоритными казаками и их обустройством на новых землях, и Отечественную войну 1812 года, в которой сибиряки также проявили себя как настоящие герои. Впрочем, лично я смотрела «свою» войну: в том сражении на Калининском фронте погиб мой отец, командир 3-го батальона 1003-гострелкового полка… Конечно, я пыталась ничего не пропустить, и Максим Брит с комментаторской вышки озвучивал сценарий боя, но это надо было видеть воочию! Потому что на поле ползли, бежали, падали, стреляли не 22 футболиста или 12 хоккеистов плюс арбитры, а гораздо больше воюющих с обеих сторон. С одной наши, с другой немцы. Русский вестовой передает командиру пакет (приказ наступать!), разведчики берут «языка» (к сожалению, не доползли к своим, погибли), немецкий ДЗОТ изрыгает злые языки пламени, медсестра приникает ухом к груди лежащего раненого (или… уже?!), боец лежа тащит подстреленного товарища, утюжат поле наши и не наши танки, бронемашины…

Когда-то (в 1942-м) позиции у деревень Клемятино и Плоское несколько раз переходили из рук в руки. В сводках Совинформбюро (в лице Максима Брита в 2022-м) упоминались данные о составе и количестве наших войск и войск противника, виды вооружения и даже персоналии… Я лихорадочно записывала фамилии немецких офицеров: тут и генерал Фреттер-Пико, начштаба XXX корпуса, и генерал Шмидт, командир 19 танковой дивизии, и боевая группа Казница, а дальше — панцергренадеры, кавдивизия СС… Их цель была — сомкнуть клещи вокруг наступающей группировки Красной Армии.

И вот решающее сражение (не у Плоского — у Елового). Взлетает красная ракета, ухают пушки, трещат пулеметы, минометы изрыгают смерть, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой… Ой, кажется, я начинаю цитировать Лермонтова, простите. Когда вражеский ДЗОТ был подавлен, наши бойцы в белых маскхалатах ринулись в последнюю, победную атаку. (Маскхалаты — дань 1942-му: там, на тверской земле, была уже зима, а на красноярской в ноябре снег еще не закрепился.) И вот — последняя сводка, и 1942-го, и 2022-го: «В ночь с 15 на 16 декабря генерал Соломатин собрал оставшиеся танки и стрелков в кулак и прорвал окружение…»

Впереди оставались 1943-й, 1944-й, 1945-й — до сентября. До окончания Второй мировой… А значит, реконструкторы могут без устали ковать новые сюжеты.

Жив остался — не горюй: это малый сабантуй!

Впрочем, в реконструкторской битве все остались живы. А вот раненые были — мимо меня провели в четыре руки парня, который, прыгая в окоп, сломал (?) ногу. Отрекомендовался рядовым Оськиным. Я видела лицо в красных точках и кровь на гимнастерке контуженого Евгения Нешатаева — это его подвела пиротехника. Наверно, были и другие травмы, за всем не уследишь. Я пыталась пообщаться с нашими (помимо реконструкторов привлечены были местные силовики), они были в радостном возбуждении и не все наши — в смысле, не только красноярцы. Перекинулась парой фраз с омичами, прошли мимо барнаульцы… Я «допрашивала» «немцев» из «Гросс Дойчен» («Великой Германии»). Шинели у них цвета «фельдграу», под пилотками ток (шарф-труба) — все как у настоящих солдат группы армий «Центр» времен Второй мировой войны. Евгений Томис, возможно, и впрямь немец — сибирский, а уж Кирилл Сорокин и Данил Макаров — нашенские, русские. Эта тройка — ровно половина симпатичных ребят из Новосибирска, каждый год они ездят на Вахту Памяти именно в Бельский район.

Больше всего мне, конечно, хотелось пообщаться с командиром 45-го СП, верховным главнокомандующим нынешнего фестиваля, но Макс Брит был нарасхват, доступ к телу оказался сильно затруднен, и потому пишу я репортаж о прошедшем ярком действе без его высочайшего соизволения. Но знаю точно, что буду пристально следить за этим замечательным 45-м стрелковым полком, поставившим перед собой высокую цель — не дать человечеству забыть о горьких уроках Истории. Особенно юному человечеству! Старшее поколение помнит встречи с фронтовиками во второй половине XX века. Они приходили в школы, звеня «иконостасами», вспоминали боевых друзей, иногда плакали, рассказывали, показывали, им повязывали на шею красные галстуки, а время шло… У Сергея Острового есть строки: «Нас все меньше и меньше, а ведь было нас много, а ведь было нас столько, что ломалась дорога!»

В новой России миссию воспитания патриотизма взяли на себя члены Военно-исторических клубов. Странное и страшное время выпало на долю живущих землян в 2022 году. Молитва «Лишь бы не было войны!» припоздала, и наверняка кто-то из «игрушечных» полков уезжает нынче в действующую Армию, чтобы по-настоящему сражаться за Родину, за Победу. Будем верить! И будем помнить!

Нагиев Юрмет (Юрик) Рамазанович. 1962 г. р. Пенсионер. Предприятие автомобильно-дорожного строительства ООО «РБР16». Член Литературно-творческого объединения «Лебедь» г. Набережные Челны. Живет в г. Набережные Челны, Республика Татарстан.

Юрмет НАГИЕВ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, БАТЯ!

Город Курск, 1976 год. Школа-интернат. Мы, школьники, на Курской дуге, затаив дыхание, слушаем гида. Экспозиция музея воссоздает фрагменты великой в истории человечества танковой битвы; проявление характеров советского солдата, матроса, офицера, генерала; веру в партию, в СССР, в Сталина…

Поселок Поныри. Маршал Рокоссовский Константин Константинович вышел после совещания вместе с офицерами из блиндажа. В тот же миг — атака с воздуха. Снаряд разнес штаб, не оставив щепки на щепке. Ангел-хранитель и на этот раз уберег прославленного полководца.

За подбитым фашистским самолетом потянулся черный шлейф дыма.

— За батю! — едва шевеля губами, продолжая наблюдать за небом, произнес молодой боец из состава орудийного расчета…

«Ни шагу назад!» — слова из приказа Главнокомандующего, когда фашисты подступали к Москве, повторяли бойцы и здесь, на Курской дуге, в горящих танках. И выстояли! Победили!

Сегодня мы, тогдашние мальчишки-экскурсанты, сидим в засаде, затаив дыхание. Годы — другие, сущность врага — та же. Но мы знаем точно: враг не пройдет! И я шепчу комбату у его небольшого холмика: «С Днем Победы, батя!»

НИКИТИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА. 1955 г. р. Пенсионер. Живет в г. Кличев, Республика Беларусь.

Валентина НИКИТИНА

СЕМЬЯ-ПАРТИЗАНКА

— Бабушка, иди сюда! Посмотри, какое большое захоронение! Сколько могилок в одной оградке!

Бабушка подошла.

— Это, внук, семья Николайчика, моего брата. Партизанская семья. Давай мы им цветочки подарим.

Внук из большого букета живых цветов доставал по два цветочка и украшал ими все бугорки по порядку. Переходя от одного к другому, громко читал надписи на памятниках. И вдруг застыл.

— А почему тут два раза написано: Михаил и Михаил? Это разные семьи?

— Нет, это одна семья. Мальчики родились в один и тот же день — на праздник святого Михаила. Вот батюшка, когда крестил их, и назвал одинаково.

— А как их в семье звали?

— Одного Мишей, второго Михаилом. Или Миша большой и Миша маленький.

Сегодня Радуница, день поминания предков, поэтому идут и идут люди к своякам, дарят им свою память, свои любовь и уважение. Вот и Арина с Генкой, пока родители мальчика на работе, пришли почтить память родственников.

А дома подошел внук к бабушке Арине:

— Расскажи мне, бабуля, о той большой семье, что спит в одной оградке.

— Хорошо, Гена, — отозвалась бабушка на просьбу внука. — Устраивайся поудобнее, рассказ будет долгим.

И Арина начала повествование:

— Начну так, как сказки начинаются. Жила-была семья в нашей небольшой лесной деревушке: отец с матерью да шестеро их деток. Ну и бабушка Дарья с ними — куда же ей деться? А еще младший сын бабушки. В общем, семья, каких в каждой деревне полно — родители в колхозе работают за трудодни, детей растят, хлеб пекут.

А потом началась война. И вот однажды немцы заняли нашу деревеньку. Мужчины в лес ушли, а дома остались женщины с детьми да старики. Даже подростки и те с отцами в лес подались.

Так в лесу, в партизанском отряде, и оказались Николай и старший Миша, а с ними младший брат Николая — Володя.

А в деревне тем временем происходило страшное. Привезли осенью враги евреев из поселка на край леса. Заставили копать большую яму лопатами, что забрали у сельских жителей. А потом расстреляли всех евреев, поставив их на край ямы. И трое суток стояла охрана, никого не подпускала. А мальчишки — любопыт-

ный народ. Хоть родители наказали строго-настрого не ходить на братскую могилу — говорили, что земля там дышала, — да где там! Вот и напоролся Миша маленький на пулю немецкую. Попала она в причинное место мальчишке. Врача из отряда отец привез. Не спасли мальчугана, много крови потерял.

— Убили, сволочи! — Генка побледнел. — А отец и братик отомстили за него?

— Отомстили, и не раз. Вместе с другими партизанами они напали на немецкий гарнизон, что засел в Кличеве, да выбили врагов с насиженного места. Трудным был тот бой! Освободили партизаны поселок от фашистской нечисти, и на целых два месяца глубоко в тылу врага стал поселок партизанской зоной.

— Здорово! — заблестели глаза мальчишки.

— Но это был только сорок второй год. Рано было радоваться победе. Силы-то были неравны. Немцы и их прихвостни ходили по деревням да забирали у мирного населения продукты.

В тот день Аксинья, жена Николайчика, только что опару на хлеб поставила. По просьбе мужа она пекла хлеб для партизан. А дочки Мария и Надя ей помогали. И тут — опара. Целая кадка. Надя, которая на страже была, играла на улице, увидела врагов, еще когда те были далеко. Вбежала в дом. Запыхалась, ручонками машет, показывает на улицу, а слова вымолвить не может.

Догадалась Аксинья, что беда на пороге. Кадку они с младшеньким Володей еле успели спрятать в ямке за домом, прикрыв одеялом и забросав ветками. А запах-то рощины, опары остался в доме.

Заходят в дом Николайчика. Учуяли запах и, как собаки, по запаху искать стали. Соня, младшенькая, в люльке расплакалась. Стала Аксинья ее успокаивать.

Все перерыли враги, но кадку не нашли.

— Как хорошо! Значит, партизаны с хлебом будут, — обрадовался Гена.

— В тот раз — да. Надавали сволочи тумаков и пригрозили убить в следующий раз.

А партизаны тем временем перехватывали донесения, расправлялись с группками ненавистного врага. И однажды поступило известие из полицейского участка — свои глаза и уши у партизан даже там были: сообщилось, что назавтра готовится облава на партизанские семьи. Их собирались вывезти в Германию в качестве бесплатной рабочей силы.

Совещание у командира длилось недолго.

— Что решили?

— Ночью вывезти все семьи партизан и поселить в семейном лагере. Сначала вывели из-под носа немцев в наш лес. Но он-то маленький. Немцы его прочесали бы быстро. И тогда решили перевезти их километров за двадцать. Аж в Усакинский лес.

— Это туда, где мемориальный комплекс? Далеко.

— На подводах и перевезли по ночам.

— И они стали партизанами?

— Да.

— И оружие им дали? Вот здорово!

— Нет, не дали. Аксинья с дочками и здесь хлеб пекла. Мария, старшая из девочек, и травы собирала на чай, и в санчасти помогала.

— Знаю, это такая специальная землянка. Я видел там, в лагере. А Надя? Она ведь маленькая. Погоди, бабушка. Я вспомнил. Мне папа рассказывал о девочке Наде и мальчике Володе. Ему было столько же лет, как мне сейчас, одиннадцать. Наде было девять. И в книжке их фото показывал. Они среди деревьев стояли больших. А в руках — узелки, которые висели на палочках за спинами. А вот куда они ходили — забыл.

— Дети эти разведчиками были, связными. Ходили по деревням и высматривали, где у немцев какое оружие, сколько его.

— Вспомнил! А мальчик считал, сколько врагов в деревне. Это чтоб партизанам позже рассказать. А еще папа говорил, как однажды попались дети в руки немцев. Как настоящие артисты, расплакались, сказали, что коровку ищут. Потеряли коровку в лесу, домой идти боятся, мамка заругается. Ревели так, что поверили им, отпустили.

— Так и жили в партизанском лагере. Каждый был занят своим делом. Отец и старший сын — на боевом задании. А Володя иногда садил годовалую Соню к себе на плечи, и шли они уже втроем — куда же без Нади-то? — в разведку или несли донесение в другой отряд. Соню-то растили всем лагерем. Мама Аксинья и Мария — в семейном лагере да в санчасти помогали.

— А лагерь в болоте был?

— Да, милок. Кругом болото. А потом немцы партизан в кольцо взяли. Да сверху бомбили. Еле вырвались тогда партизаны во время блокады на волю. И раненых вынесли по болоту, и семейный лагерь вывели. В этом болоте Сонечка ноги застудила. Рано ушла девочка, война замучила своими болями, — Арина вытерла вышитым передником непрошенную слезу.

— Понятно теперь, почему врага победили. Разве мог он устоять перед всем народом, если целые семьи боролись с ним?! Бабушка, а фамилия дедушки Николая…

— Да, внучок, Матюшонок, как и большинства жителей нашей деревни.

— Бабулечка, а ты была там, в партизанском лагере?

— Нет, внучок, не была.

— А мы с папой тебя свозим. И я покажу тебе все-все землянки. И землянку командира, и где газеты выпускали, и где больных лечили. На них крыши из мха. И воронки от бомб покажу. И колодец-журавль. А еще мы пообедаем в настоящей партизанской столовой. Может, там и хлеб партизанский испекут? — мальчишка хитро улыбнулся.

05-06.03.2023

Записано по воспоминаниям Журавель Галины Егоровны, дочери Надежды.

ПЕККИ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1951 г. р. Член Карельского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Петрозаводск, Республика Карелия.

Евгений ПЕККИ

ЗАЩИТНИК СТАЛИНГРАДА

Судьба свела меня однажды с ветераном Великой Отечественной войны Бариновым Александром Ивановичем.

Познакомил нас его сын Евгений, когда мы вместе зашли с купленными продуктами к его отцу домой. Я уже знал, что отец его вышел на пенсию, отдав свой труд и энергию лесной промышленности Карелии.

Нас встретил с улыбкой полностью седой, с залысинами, но бодрый пожилой человек и пригласил в дом. За чаем, который он заварил самолично, мы немного побеседовали. Баринов оказался весьма эрудированным собеседником с поставленной речью, богатой тонким юмором. Чувствовался уровень очень хорошего образования. Как оказалось, он возглавлял в свое время крупный отдел в Карельском центре Академии Наук.

С интересом я оглядывался в его небольшой квартире — с множеством книг на полках, картинами на стенах и старыми фотографиями. На старинном комоде, украшенном резьбой, я увидел фото, на котором хозяин квартиры был в орденах и медалях.

— Вы воевали? — с уважением спросил я.

— Да, довелось, — односложно ответил он.

— Не только довелось, — вмешался в разговор мой товарищ, — хлебнул мой батя военного лиха по самую завязку. Он ведь Сталинград защищал.

Я совсем по-другому, с искренним уважением и нескрываемым интересом, взглянул на Александра Ивановича.

— Сколько же вам лет?

— Восемьдесят девять. В следующем году будет 70 лет, как мы армию Паулюса под Сталинградом окружили. А ведь немало их было, около девяноста тысяч. Пригласили вот приехать и поучаствовать, — он кивнул на красочную открытку, лежавшую на столе. Собирают всех бывших защитников Сталинграда на встречу. Как думаешь, сын, поехать мне?

— Чего тут думать? Конечно, ехать, если здоровье позволяет.

— Так ведь мне к этому времени уже девяносто стукнет, но хотелось бы.

Я попросил ветерана рассказать что-нибудь из событий того времени, он только махнул рукой:

— Да о чем говорить-то? В кино интереснее. За два часа столько всего происходит, что и в голову не придет. А на войне каждый день почти одно и то же. Даже к артобстрелам привыкаешь.

— Скромничает батя, — опять вмешался Евгений, — орден Славы и медали «За отвагу» просто так не дают.

Все же настало время и мне услышать рассказы о фронтовой жизни. Я был приглашен отметить у Бариновых День Победы. Тогда, надев свои боевые и юбилейные ордена и медали, слегка умиротворенный угощением, Александр Иванович не то чтобы очень уж разговорился, но на некоторые вопросы начал отвечать.

Говорил ветеран немного скованно, видно было, что отметал в памяти очень неприятные и страшные моменты. Иногда же довольно охотно и подробно, а то и с усмешкой, вспоминал события той поры, семидесятилетней давности. Память у него была цепкая. Он порой очень точно вспоминал какие-то моменты и даже даты давних событий. Потом я еще пару раз наведывался к нему, и мы беседовали о тех огненных годах.

Кое-что удалось мне за ним записать.

Вот, что поведал мне Баринов Александр Иванович.

Ни шагу назад

Война для меня началась, как и для всей страны, 22 июня 1941 года. Мы тогда жили в Горьковской области, в деревне. Я окончил восемь классов средней школы.

Военная обстановка стала чувствоваться во всем. Мужчин и парней постарше военкомат призывал на службу. Только из нашей деревни за неделю было сформировано три команды, которые пешком со своими вещмешками отправились на станцию. Всех, кому было старше четырнадцати лет, посылали на рытье окопов. С августа до октября меня вместе с другими ребятами и девчатами возили на разные оборонительные работы.

В магазинах все меньше на полках было продуктов и вещей, на рынке все дорожало. Закончились спички, мыла не стало. Научились оставлять в горящих дровах сухую дубовую кору. Углей от таких дров до утра хватало, а у кого погасла печь, от соседей брали тлеющие угли на растопку.

К весне обстановка на Юге России очень осложнилась. Потерпев неудачу на московском направлении, враг рвался к Волге. Настрой у молодежи был очень сильный. Я с двумя друзьями пришел в военкомат, и мы попросились в действующую армию. Поскольку нам уже стукнуло семнадцать, нас и призвали. Меня, глянув в аттестат, военком направил в Горьковское военное минометно-артиллерийское училище, друзей — в стрелковый учебный полк. Больше мы с ними не виделись. Учебный курс был рассчитан на год, но в связи с тяжелой обстановкой на фронте выпустили нас через полгода — не офицерами, а младшими командирами. Так в августе 1942 года командиром минометного расчета в звании сержанта оказался я на Сталинградском фронте. Наша рота батальонных минометов была придана 74-му гвардейскому стрелковому полку 27-й дивизии 62-й армии, которой командовал Чуйков.

Сразу начались бои, было тяжело. Утюжили нас немецкие штурмовики и бомбардировщики, не давая покоя. К концу сентября от воздушных налетов житья не было. Иной день по полсотни раз воздушную тревогу объявляли. Вермахт кидал на наш участок

обороны десятки танков и тысячи солдат. Потери и у него, и у нас были огромные. Минометы у нас были хорошие, но урон они наносили наступающей пехоте, а по танку из миномета не попасть. Для этого противотанковые пушки нужны. Мы отбивали многочисленные атаки немецкой пехоты. У меня в двух минометных расчетах, которыми я командовал, состав дважды полностью сменился. Бывало, атакующие немцы к нам приближались на бросок ручной гранаты. Иной раз слышно было, как они кричат: «Рус! Сдавайся! А то будешь Волга — буль-буль!»

Приходилось и нам браться за винтовки и автоматы. Пехота пулеметным огнем нас поддерживала. Минометы наши ведь это же не пушки — ближе шестисот метров бесполезны. Мы отступали с боями, но только по приказу — знали: «За Волгой для нас земли нет».

Уже ввели заградительные отряды во исполнение сталинского приказа № 227 «Ни шагу назад». Тех, кто отступил без приказа, расстреливали перед строем. Офицеров за провинности отправляли в штрафные батальоны, а солдат и нашего брата сержанта — в штрафные роты. И все же натиск врага был силен, и неуклонно под угрозой окружения отходили мы к Волге, все больше прижимаясь к городу.

Теперь мало кто с поля боя бежал. Случаи самострелов были. Особые отделы, желая выполнить Приказ № 227, иногда явно перегибали палку. В ноябре ударил мороз. Один боец ночью спал в окопе, отморозил пальцы на ноге. Ампутировать нужно, а то гангрена будет. Расстреляли как труса за умышленное членовредительство, а ведь он не был виноват.

У нас минометы были на конной тяге. Лошадь одна от взрыва бомбы вырвалась из укрытия. Немецкий снайпер ее из винтовки ранил смертельно. Я потом добил из пистолета, чтоб не мучилась. Со снабжением плохо у нас было. Лошадь бойцы разделали и по ротам растащили. А меня в особый отдел таскали, в вину ставили, что я специально ее застрелил, чтобы в котел пошла. Чуть в штрафники не попал.

Медаль «За отвагу»

Война к концу 1942 года уже была позиционная. Фронт двигался медленно. Командованию была очень важна информация о планах противника. Наша минометная рота была придана к пехотному полку. Получилось так, что группа разведвзвода из полковой разведки, отправившись в поиск, попала в засаду и была почти полностью уничтожена. А нужен срочно «язык». Собрали команду с бору по сосенке. Пришлось в разведку со старшиной разведчиков идти мне и еще четверым бойцам. Ночью подползли к нейтральной земле, «колючку» перекусили и вскоре оказались у их линии окопов. Снегу тогда немного было. Старшина снял часового. Мы заняли позицию возле их туалета. Немцы всегда себе отхожее место оборудовали. На нашу удачу, из землянки вышел офицер и направился туда. Его мы и взяли. Когда стали с пленным

уходить, видно, кто-то в окопе наткнулся на убитого часового. Началась стрельба. Немцы ракеты пускают. Наши минометчики по их позициям огонь ведут, надеясь, что мы уже на нейтральной полосе. В общем, туда мы час шли, обратно четыре. Наш один боец был убит, остальные все ранены, и немец тоже, но, главное, живой, говорить смог. Мне тогда тоже руку зацепило. А немец тот ценные сведения дал. За эту вылазку мне первую медаль «За отвагу» дали.

Geschenk fur einen Soldaten

Дело было под новый 1943 год. В обороне мы находились уже вторую неделю. 6-я армия Паулюса была окружена, и кольцо наших войск неуклонно сжималось. С кормежкой у нас было туго. Есть хотелось все время. Но у нас хоть и под обстрелом, но тылы работали. Съестные припасы все-таки подвозили. Немцам было хуже. После того как замкнули кольцо, они лишились подвоза продовольствия. Боеприпасов у них все еще было вдоволь, поэтому оборонялись бешено. Снабжение армии Паулюса возложили на Люфтваффе. Геринг пообещал Гитлеру, что немецкие солдаты под Сталинградом, несмотря на окружение, ни в чем не будут нуждаться. Но легче было пообещать, чем выполнить. Мешали им наши истребители, которые летали над городом все чаще, и зенитный огонь тоже покою им не давал. Поэтому грузы они сбрасывали теперь все больше по ночам. Но ведь ночью легко промахнуться. Как-то боец-якут Микитэ Омогоев, который ездовым у нас был, ночью в карауле стоял. Утром его только сменили, он ко мне:

— Командир, дозволь в отлучку сходить.

— Ты что? В трибунал захотел? Про Приказ № 227 забыл?

— Не забыл я ничего. Ночью бомбер немецкий низко летал. Мешки на парашютах кидал. В свет прожекторов попал. Наши зенитки в него стрелял. Он дымить начал, развернулся и улетал, один мешок на парашюте ветром несло, он не так далеко от нас упал. Мало-мало километра полтора всего будет, недалеко от хутора, в котором никто не живет. Нам туда пятнадцать минут и минут двадцать обратно с учетом груза. Только двух бойцов дай, чтоб на лыжах хорошо ходили.

— Если ты не вернешься, то мне трибунал будет, тогда или к стенке или штрафбат. Вдруг там засада?

— Нету там засада. Я в прицел смотрел. Тихо. Парашют за дерево зацепился. Пока не расцвело, пока никто не видит, мы в маскхалатах за час обернемся точно.

— А если заградотряд?

— Так они сзади стоят, а мы же не в тыл пойдем.

— Ну, черт с вами, одна нога здесь — другая там.

Через час Митька, как его все звали в роте, и еще два бойца притащили свою добычу. Это был новогодний подарок из Германии. Мешок был весом килограммов на пятьдесят. Но порадовал он моих советских бойцов, а не немцев. Было там и сало, и шоколад, и шнапс, и сигареты, и галеты. Был и отдельный пакет с надписью: «Geschenk fur einen Soldaten» (подарок для солдата). В нем

были вязаные шерстяные носки и перчатки. Еще была приложена открытка с новогодней елкой, фотография молодой женщины с подписью «Эмма из Штутгарта», дальше адрес.

На следующий вечер мы почти все это и употребили. Отметили Новый 1943 год, по фронтовым понятиям, по высшему разряду. Уже первого января я стоял в особом отделе полка и давал объяснения по поводу случившегося. Начальник отдела был взбешен, что добыча досталась нам, а не особистам. У моих бойцов провели досмотр вещей и забрали все, что осталось от ночного пиршества. Носки и перчатки тоже пришлось отдать. Я отделался выговором и обещанием за подобное художество в следующий раз отправиться в штрафную роту.

Орден Славы

Рано утром 10 января немцы пошли в атаку. Сначала полчаса была стрельба из орудий, потом мы увидели: в морозной мгле пять или шесть немецких танков при поддержке пехоты в несколько сот человек идут на нас в атаку. Это был акт отчаяния. Из показаний пленных мы знали, что в подразделениях вермахта начался голод, и они жестоко страдают от морозов, будучи плохо обмундированными. Гитлер запретил Паулюсу сдавать армию в плен.

Я командовал на тот момент минометным взводом. Мы привели минометы в боевую готовность и начали вести огонь по наступающей пехоте. Возникла дуэль с их минометчиками, но они наступали с ротными минометами, а у нас был батальонный калибр. Через полчаса боя мы подавили их. Уничтожили также два пулеметных расчета, которые прикрывали у них атаку пехоты. Огнем немецких минометов и танковых орудий у меня один расчет был полностью уничтожен, второй выведен из строя. Меня в ходе боя дважды ранили: пулей в голову и осколком в ногу. Артиллеристы подбили три танка. Два повернули назад, а с ними и остатки пехоты. Из кольца мы их не выпустили. За этот бой меня наградили Орденом Славы 3 степени.

С плитой на спине

Пока мы ликвидировали остатки 6-й армии Паулюса, противник передислоцировал свои войска и значительно укрепил позиции. 62-ю армию и наш полк вместе с ней после недельного переформирования включили в состав Юго-Западного фронта и направили на освобождение Донбасса и Правобережной Украины. К концу февраля 1943 года мы освободили Павлоград и Лозовую. Были бои иногда очень тяжелые, иногда более удачные, когда потерь было поменьше. Недалеко от города Никополь натолкнулись мы на хорошо укрепленную оборону немцев. Нашему 3-му батальону поставили задачу взять высоту. Сначала артиллерия поработала с закрытых позиций, мы свою лепту в подавление огневых точек внесли, и пошла пехота. Мы же минометчики, а у нас задача поддержать пехоту огнем, находясь в боевых порядках атакующих.

Вот тут мы и наткнулись на два замаскированных дота. Оттуда пулеметы встретили нашу атаку шквальным огнем. До дотов метров триста. Стреляют без остановки. Пехота залегла, головы не поднять. Командиры орут «Вперед!», а куда вперед? Поднять людей невозможно. Треть людей, наверное, в этой атаке уложили, когда вперед шли. Потом начали немецкие пулеметы уже лежащих по одному выбивать. В общем, дело труба.

Я в воронку скатился. В воронке какой-то боец стонет. Глянул, а это из моего взвода тяжело раненый боец без сознания, и вьюк с минометной плитой рядом лежит. Я этот вьюк на себя и пополз обратно, откуда атаку начинали. Вьюк увесистый, почти двадцать килограммов. Однако когда жить хочешь, это уже не главное. Ползу, как черепашка ниндзя — их в мультфильмах сейчас показывают, а мои внуки смотрят. Пули рядом в землю — шмяк, шмяк. А как пуля в плиту попадает — «дзинь», и удар всей спиной чувствуешь. Только голову вжимаешь в плечи, чтобы не зацепило. Уже у наших окопов меня все-таки достала вражья пуля. Получил я ранение бедра. В окопе повязку себе наложил и к «богам войны» — артиллеристам. Их комбату доложил обстановку, уговорил гаубицу выкатить на прямую наводку. С полкилометра орудие катить было надо. Попыхтели они. С меня уже какой помощник — я потом от потери крови на ходу без сознания упал. А пушкари доты раздолбали в лохмотья, и пехота свое дело сделала. Медаль «За отвагу», это вторую уже, мне в госпитале вручали.

Часы от немца

Весной 1944 года полк наш передали в подчинение 4-му Украинскому фронту. Готовилось наступление на Крым, а потом и началось. Нас выдвинули на освобождение Севастополя. Наткнулись мы на укрепрайон. У немцев там окопы были нарыты. Дзоты с пулеметами наготове. Но все равно штурмовать надо. Сначала все было, как положено: артподготовка, мы, минометчики, в этом деле тоже не последнюю скрипку играли. Потом приказ: пехота в атаку, минометчикам поддержать атакующих, идя за цепью пехоты. А мы почти весь боекомплект расстреляли. Но приказ не обсуждается. Не первый раз, подвезут. Рота и пошла. Минометы тащим на себе. Шестьсот метров осталось — это предел. Дальше мы бесполезны. Дали по три залпа по вражьим окопам — и все. Оказывается, в наш грузовик с минами немецкий снаряд попал. Не будет больше боезапаса. У нас еще две дымовые мины оставались. Даю приказ, отстреляли и их. Перед окопами удачно мои минометчики их положили, ветерок как раз в сторону немцев дует. А там братья-славяне уже к их линии окопов крепко приблизились. Минометами если не можем, так хоть винтовками поддержим — и командир роты нас в атаку тоже послал, да и сам с нами побежал. Дым понемногу рассеивается, а нам до их окопов еще метров пятьдесят. Бежать полминуты. А там пехота уже гранатами окопы забросала и в них штыками орудует. Мы вслед за ними туда. В окопах по ходам сообщения бой идет. Половина немцев на вторую линию своей обо-

роны откатилась, а другие, видно, не успели. Я бегу вдоль окопа, а из дзота немец с карабином в руках, но без штыка. Он на меня его вскинул, но я рукой по концу ствола успел ударить, когда он нажал на курок. Пуля из карабина вместо сердца в левое плечо мне вошла. Я сгоряча даже внимания на это не обратил. Только от выстрела наполовину оглох. Вместо того чтобы его застрелить, я наотмашь пистолетом «ТТ» его в висок ударил. Даже не понял, что он карабин бросил и руки поднял. Хотел еще ему справа добавить, тут меня кто-то за руку схватил. Глянул, а это замполит. Это был его первый бой — его к нам только прислали.

— Вы что! Как вы смеете пленного бить! Я вынужден буду в СМЕРШ сообщить.

— Вот самое для тебя дело, — только я и успел ответить.

А кровь течет из меня, как из барана. Тут в голове у меня все перемешалось, и я сполз на дно окопа.

Замполит молодец. Он меня все же в СМЕРШ не сдал, а заставил немца меня до санитаров тащить. Они мне перевязку стали делать, тут я и очнулся.

Немец, когда увидел, что я ожил, заплакал, часы с руки снял и мне отдал.

Меня в госпиталь потом отправили, а замполит за тот бой орден Красной звезды получил.

Танкист

В госпитале после окопов и атак — чистая благодать. Меня отвезли в Джанкой, в окружной госпиталь. Что-то там у меня не заладилось, рана загноилась. То ли у немца пули грязные были, то ли телогрейка на мне не совсем чистая была, а плечо у меня раздуло. В госпитале повязки стали снимать, а оттуда гной. Военврач говорит: «Понаблюдаем тебя, а коли хуже будет, руку, возможно, по самое плечо отнять придется».

Лежу и думаю: «Вот еще новости! Что я без руки делать буду?» Потом меня в Херсон перевезли. Там военврач, хирург, еврей был, в годах уже, Вайнблат Абрам Семенович, специалист классный.

— Не боись, гвардия, — говорит, — спасем мы тебе руку.

И ведь точно, два раза меня еще резал, а рука зажила и работала как прежде. К концу мая дело пошло на поправку. Крым уже от немцев весь освободили. Видно, острая надобность в бойцах поутихла. Недолеченных не выписывают, и мне дали отдохнуть на больничной койке. Физиопроцедуры мне назначили. По субботам и воскресеньям танцы с медсестричками и санитарками, что помоложе. Кровь так и играет в жилах. Девчонки местные на танцы тоже заходят. С одной у меня уже вроде как роман вырисовываться начал. Сходил я к ней домой в самоволку, благо хата недалече была. Банку тушенки и спирту грамм двести с собой захватил, выменял у санитара за немецкий портсигар, она галушки наварила. Употребили мы с Галиной все это с удовольствием и в постель прилегли. Время провели не без приятности. Я думал, что по-тихому в госпиталь вернулся, да не тут-то было. Кто-то, видно, бдительность

проявил. После завтрака вызывают меня к замполиту госпиталя, и особист рядом сидит.

— Где, Александр Иванович, время проводить изволили? Вот только не надо нам лапшу вешать, что вы в госпитале безотлучно находились. Что о своем поведении и о дальнейшей судьбе своей думаете?

— Я и не вешаю. Думаю, что на выписку вы меня отправить решили, так я не против — считай, выздоровел уже. Вполне могу опять взводом командовать.

— А в штрафной роте за Родину не желаете повоевать?

— Это за что же?

— Самовольное оставление воинской части, а госпиталь таковой является, это раз. Связь с сомнительными элементами — это два.

— Вы ко всем в кровать заглядываете? Чего же в ней сомнительного?

— Заглядываем куда надо, чтоб вы знали и иллюзий себе не строили. У Галины Забудько ребенок от фрицев имеется. А то, что она не в Сибири, а пока здесь, так это временно.

— Я же не знал.

— Теперь знаете. И чтоб никаких отлучек больше.

Особист собрал бумаги, которые лежали перед ним на столе, засунул их в полевую сумку и вышел.

Замполит закурил, помолчал с минуту, а потом спрашивает:

— Александр Иванович, а почему вы почти три года воюете, и орден у вас, и медалями награждали, а вы все старший сержант, хотя приходится командовать за офицера?

— Образования, наверное, маловато.

— Ну, это может быть, однако и с меньшим образованием в армии сейчас офицеров сотни. Думаю, что не все, от кого зависит присвоение звания, очень вас любят.

— Что я, девка, чтобы меня любить?

— Нет, конечно. Однако почтения у вас ни к политорганам, ни к особистам не чувствуется. Вот и тормозят ваше продвижение. Сейчас на чаше весов войны уже явно наша победа, а не Германии. Мне бы очень хотелось, чтобы такие парни как вы в живых остались и могли командовать, как следует, уже получив знания и пороха понюхав. У вас это какое ранение?

— Четвертое уже.

— Хотелось бы, чтобы оно было последним. Учиться хотите?

— На кого?

— На офицера пехоты или бронетанковых войск.

— А в артиллерию?

— К сожалению, набор уже закончен.

— Тогда в танкисты, пушка там тоже есть.

— Как скажете, — улыбнулся он.

Через день, после комиссии, с восемью такими же, после ранения, бойцами получил я предписание явиться в Киевское танковое училище. На другой день мы уже тряслись в полуторке по пыльной дороге от Херсона до Вознесенска, куда машина ехала за продуктами. Дальше попуток не было, вещей у нас было не-

много — у каждого по «сидору» за плечами, в котором лежал сухой паек на трое суток, а полторы тысячи рублей, выданных финчастью, приятно грели карман. И мы двинули пешим порядком в сторону Киева. Иногда нас брали попутки, но только пустые, поскольку мы решили нашу группу не разделять. Порой мы ночевали в деревнях. Народ к воинам с медалями на груди относился по-доброму. Без разницы было, чья это хата — русская, украинская или молдаванская. Пять дней у нас заняла эта дорога в училище. Начальник учебной части даже крякнул от удивления, приподняв на лоб очки:

— И каким же образом вы добирались столько времени?

— Не образом, а пешим порядком, — с улыбкой пояснил ему Коровяков.

Так началась моя следующая страница жизни.

Когда меня в звании лейтенанта выпустили из училища командиром танкового взвода и я получил в Челябинске новенький ИС-3, уже прозвучали залпы Победы над Германией. Нас погрузили в эшелон и отправили на Дальний восток, где в это время шла война с Японией. Однако в Благовещенске нас развернули опять в Европу, поскольку Япония выкинула белый флаг и сдалась на милость победителей. Разгрузили нас в Закарпатье. Там в это время шли серьезные бои с бандеровцами, но вспоминать о них не хочется.

Баринов Александр Иванович не дожил пять дней до своего девяностолетия.

Вечная память ему и всем тем, кто завоевал Победу!

СЕЛИВАНОВ ЮРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ. 1956 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Минеральные Воды, Ставропольский край.

Юрий СЕЛИВАНОВ

ДОМ НА ОКРАИНЕ

Отрывок из повести

Ничего в нем не было необычного, в этом старом доме на окраине, в котором я родился, — дом как дом. И все же небольшая странность присутствовала: совершенно глухая (без окон) стена, выходившая на улицу, имела неровную поверхность, словно кто вдавил ее внутрь — изгибом стена напоминала казацкую саблю. Когда я выспрашивал про это у деда, он обычно отнекивался: «Некогда мне. Потом».

Холодные дожди закончились, и яркое южное солнце прямо с утра припекало, словно это была не вторая половина осени, а разгар лета. Несколько желтых кленовых листьев плавали в большой луже, образовавшейся посреди разбитой грузовиками дороги. По такой погоде в школу идти одно удовольствие.

Неподалеку от строящегося моста через железку, на обочине грунтовой дороги, я увидел стоящий на распорках трактор с ковшом — рядом с ним лежала вывернутая из земли, вся облепленная липкой желтой глиной неразорвавшаяся бомба времен войны. Бомба лежала прямо на дороге, толстая, пузатая, с покореженным ковшом экскаватора боком. Тракторист в кирзовых сапогах и промасленной кепке, облокотившись на колесо трактора, курил. Папироса у него постоянно тухла, он прикуривал ее, нервно чиркая спичкой по коробку, и матерился. Руки у него дрожали.

— Вот, ядрена Матрена, — рассказывал он мужичку в помятой шляпе. — Могло ведь долбануть, мать ее, так, что всем чертям стало б тошно. Вот бы смеху было, — говорил он с напускной веселостью. — В мирноето время взять сдуру и взлететь на воздух вместе с трактором! Ведь что главное, ну, заскрежетало что-то под ковшом. Брось, идиот, вызови начальство. А вдруг клад, думаю. Решил достать. Вот он, «клад», лежит теперь, зубы ржавые оскалил…

Мужичок в помятой шляпе понимающе кивал головой. Народ между тем останавливался поглазеть на редкий для мирного времени экспонат. Большинство собравшихся никогда такого не видели. Это ж надо, настоящая бомба и прямо посреди улицы. Да еще какая, размером с хорошую свинью!

— Наша! — мужичок в помятой шляпе поглядывал на толпу зевак и с видом знатока ходил вокруг бомбы. — Точно наша. Аэродром бомбили, чтоб немец взлетать с него не мог, вот случайно и скинули людям на голову. — В слове «людям» он сделал ударение на последнем слоге.

— Видать, бракованная оказалась, — криво улыбнулся он. — Раз бракованная, значит, точно наша. Аэродром здесь был, ну, где сейчас завод «Сувенир», — показал он рукой в сторону реки. — Мне дед

мой рассказывал, что к ним оттуда пилоты столоваться ходили еще до войны. Мда, пилотыдобролеты. Чуть своих же и не угробили.

— Сам ты бракованный! — презрительно бросил ему небритый мужик в телогрейке. — Не знаешь, так не баклань, шляпа. Глаза разуй: немецкая это, да и не могли наши на своих бомбы кидать. Понял, оратор хренов? Не могли! Да ее и так видно, по оперению, что немецкая! Фугас килограмм на сто.

Гражданин в помятой шляпе, который сказал, что бомба наша, отошел, обидевшись, в сторону, но спорить не стал, видимо, поняв, что ляпнул чтото не то.

— В 43м немец тут их много набросал, — продолжил небритый, — самолетикто ихний тогда зенитка наша подбила, она возле переезда стояла, под деревом. Двух девочек соседских убило тогда, молодых совсем, а у Катаевых стенку дома взрывом выворотило, сами чудом живы остались.

«Почему Катаевых?» — мелькнуло в голове. Катаев — фамилия деда. Сомнений не было: он рассказывал о нашем доме.

— Повезло еще, что стенка не кирпичная, был бы кирпич — все, конец… А саман — он что, выгнулся от волны и все. Дом до сих пор стоит. Так, подлатали апосля маленько. А фрицлетчик сгорел, сука. Я сам видел. Взорвался прямо на берегу речки и сгорел, — небритый рассмеялся тихим, почти беззвучным смехом.

Экскаваторщик внимательно дослушал небритого мужика, бросил окурок под ноги, по привычке загасив его кирзовым солдатским сапогом.

— Ладно, — сказал он похозяйски. — Поболтали и будя. Давайте, товарищи, маршируйте отседова вон туда, — он показал рукой в сторону моста. — Здесь вам не цирк и не зверинец. А ты, длинный, грабли убери, — обратился он к мужчине в помятой шляпе. — Неча к бомбе лезть, это те не соседка, чтоб ее гладить! Ну, расходитесь, граждане. Расходитесь. Сейчас военные и милиция приедут, они разберутся, чья она и какой национальности. Она ведь не разбирает, свои или чужие. Долбанет так, будь здоров. Ейто что…

— А че она всетаки не взорвалась? — спросил напоследок гражданин в помятой шляпе. — А если б взорвалась, небось, наделала б шухеру. На его худом щетинистом лице появилась ехидненькая усмешка.

— А черт ее знает, чего она не взорвалась, дура немецкая, — отозвался тракторист.

* * *

Самым ярким праздником детства, конечно, был Новый год: каникулы, утренники, конфеты, орехи, яблоки, мандарины — именно этим были «начинены» все подарки, которые я получал.

Город в эти дни преображался: напротив почты ставили большую елку, в витринах магазинов появлялись вырезанные из салфеток снежинки, через улицы протягивались веревочки с разноцветными флажками, как по мановению волшебной палочки, на проспекте

22 Партсъезда вдруг вырастали маленькие сказочные домики с нарисованными на них персонажами русских народных сказок.

В старом доме тоже наряжали елку — это была семейная традиция (по рассказам матери, даже в войну, в лихолетье ставили елку). С чердака доставался большой ящик с игрушками. На самую макушку надевалась красная звезда из тонких стеклянных трубочек, которые переливались всеми цветами радуги, когда включали гирлянду. Под елку ставили Деда Мороза из ваты с посохом. Мне всегда было интересно, а что же лежит в мешке Деда Мороза. Разные игрушки на елке висели: и старые, и только что купленные, — я любил их рассматривать. Это был сказочный мир, в котором жили: пингвин, фонарик, Дюймовочка, заяц, волк, лиса, белка, еловая шишка, кукурузный початок, улыбающийся месяц, красный перчик, сосулька, футбольный мяч, избушка с трубой, покрытая серебристым инеем, виноград, гранат, мишка, играющий на баяне, полосатая юла, орешек, гриб с красной шляпкой, новогодняя маска, колокольчик, стеклянные бусы из цветных трубочек и шариков, часы с циферблатом, показывающие без пяти минут 12, золотистый лук, алая морковь, бордовая клубничка, разноцветный попугай с голубым хохолком, петух, большеглазая сова, картонные снегирь, верблюд, лошадь, слон. Но одна игрушка выделялась из всех — старая, блеклая, с выцветшей местами краской, на ней были изображены серп и молот, мама всегда с нежностью брала ее в руки и вешала на елку.

Из воспоминаний мамы

Город часто бомбили, то наши, то немцы, и мама нас с пятилетним братом Геной укладывала спать в подвале, в ящике для хранения картошки. Гена почти сразу засыпал, а я долго не могла уснуть, потому что мне было очень страшно. В августе 1942 года в город вошли немцы. Около дома росли большие деревья карагачи, под этими деревьями для маскировки оккупанты ставили свою технику. Сидя на бронетранспортерах, они ели хлеб и консервы. Хлеб был сухим, немцы обрезали корки и бросали их на землю, мы с братом подбирали эти обрезки и ели. Вкус этого хлеба я помню до сих пор.

Однажды пьяный немец, живший у нас, стал хватать нашу собаку за морду. Папа его предупредил, что собака кусается. Тот, видимо, не понял и стал повторять, коверкая слова: «А, кушает, кушает». Собака его укусила. Немец, ошалев от боли, вытащил пистолет и стал стрелять в собаку. Она падала, вскакивала и, скуля, бегала вокруг дерева. Немец, ругаясь посвоему, ушел куда-то. Через некоторое время он вернулся, но уже не один, а с друзьями — все они были пьяные. Высокий худой немец достал пистолет и стал с остервенением стрелять в собаку, но убить ее так и не смог, собака еще дышала. Тогда они вывернули из земли заборные колья и добили ее. После этого другой немец подошел к нам с братом, он чтото говорил понемецки, показывал на уже мертвую собаку и приставлял пистолет то к моей голове, то

к братовой... Мы думали, что он нас убьет. Но немец злорадно улыбнулся, засунул пистолет в кобуру и ушел.

Незадолго до освобождения города, в конце декабря, приехали немцы на бронетранспортерах. Расквартировались быстро. Нас выгнали в холодный чулан, солдат отправили к соседям, а офицеры расположились в хате. Печь топили жарко, дров не жалели. Порусски никто из них не говорил, знали только отдельные слова.

— Сталинград, Сталинград, — повторяли они, ломая и коверкая русские буквы. — Сталин капут. Русиш капут. — Они смеялись, но было видно, что веселье напускное.

Свои черные кожаные пальто и фуражки немцы сложили на большой сундук, который стоял возле входа. Всю ночь они пили и горланили песни, спать никто не ложился. Ближе к утру один, видимо, самый главный, подошел качающейся походкой к стоявшей посередине комнаты новогодней елке, внимательно посмотрел на игрушку, висевшую на ней, и приказал привести хозяина дома. Когда папа вошел, немец, пьяно улыбаясь, постучал пальцем по стеклянной игрушке, на которой был изображен советский герб с серпом и молотом.

— Бист ду партизан? — эсэсовец ткнул пальцем ему в грудь.

— Нет, — сказал папа.

— Бист ду партизан? — не отставал офицер.

Папа молчал. Офицер был пьян и к тому же плохо понимал порусски, он потянулся к кобуре.

Все это происходило на моих глазах. Я очень боялась за папу. К счастью, офицера ктото позвал, и он, шатаясь от выпитого, ушел в соседнюю комнату, где веселилась вся компания. Рано утром фашисты уехали.

Солдаты Тоний и Адам жили у соседей и приходили играть с нами. Видимо, они скучали по своим детям. Тоний очень боялся русских партизан и говорил: «Русский партизан — Тоний капут», «Зачем война, ну, чтобы Сталин и Гитлер туктук и все». Он показывал нам фотографии своих мальчиков. Один мальчик был приблизительно такого же возраста, как мой брат Гена. Тоний приносил с кухни в котелке еду и говорил: «Гена, кушай». А Адам получил из дома посылку, всю ее принес нам. Мы их учили разговаривать порусски, но они, уходя, говорили: «Здравствуйте!», приходя, говорили: «До свидания!» Они очень просили «никс говорить камарад» о том, что они нас подкармливают, иначе им за это будет «капут».

Напротив нас жила многодетная семья, и их отец — дядька Иван — записался добровольно в полицию. Относился ко всем высокомерно, а моей маме сказал, что за то, что она была активисткой при советах, ее нужно повесить. Мама ушла тогда пешком в село Александровское к родственникам на время, потому что боялась, что ее действительно повесят. Через неделю она вернулась. Дядьку Ивана судили после войны — дали ему десять лет. После заключения он вернулся и стал жить как ни в чем не бывало на нашей улице. Потом его нашли мертвым на железнодорожном полотне — говорили, ктото сбросил его с электрички.

Во время отступления немцы все взрывали, чтобы ничего нашим не осталось. Они взорвали вагоны с боеприпасами на железной дороге в Северном парке — это было от нас недалеко. Всю ночь гремели взрывы, небо было огненное. В окно было видно страшное зарево, такое впечатление, что все вокруг нас уже горит. Мы прятались в подвале, подвал был маленький и очень тесный, а утром, уже на рассвете, папа услышал автоматную очередь и сказал, что это наши. Действительно, когда совсем рассвело, папа вышел на улицу, к нему подошел наш офицер и спросил: «Хозяин, к тебе во двор можно поставить козла?» Папа, естественно, согласился. Каково же было наше удивление, когда во двор въехала зенитная пушка. Оказывается, зенитчики в шутку называли свою установку «козел». Так у нас поселился орудийный расчет из семи человек. Однажды во время одного из налетов немецкий самолет бомбил железную дорогу и попал под интенсивный огонь наших зениток. Летчик стал беспорядочно сбрасывать бомбы, одна из них взорвалась рядом с домом, где жила сестра отца тетя Маня — в стене образовалась дыра. Тетя Маня с грудным ребенком и бабушкой Матреной перебрались жить к нам. Теперь нас было уже 14 человек. Ребята из орудийного расчета были разного возраста, в основном, лет по 2025, но один был довольно пожилым мужчиной, он нам, детям, мастерил всякие игрушки из дерева и яичной скорлупы. Солдаты привозили домой продукты, а бабушка, мама и отец целыми днями в огромном чугуне готовили еду, и мы все вместе питались. А самое главное, что для нас, детей, они принесли огромную банку, литра 3, варенья из инжира. Конечно, мы никогда такого чуда не ели, и для нас это было просто счастье. Для зимы одеты солдаты были очень плохо: тонкая рубашка и шинель. Както они привезли несколько байковых одеял, и бабушка, мама, тетя шили днем и ночью им безрукавки. Словом, жили мы с ними как большая и дружная семья. Пожилой солдат еще какоето время писал нам письма.

Вскоре после освобождения открылись школы. Я ходила в школу № 111, рядом с ней проходила железная дорога, которая часто подвергалась бомбардировкам. Однажды, когда я с другими детьми шла домой из школы, внезапно налетели немецкие самолеты. Это очень страшно, когда рядом с тобой рвутся бомбы. Земля гудела под ногами, гул от низко летящих самолетов был такой, что закладывало уши, кругом грохот взрывов, крики людей, дым, запах гари. Мы бежали домой под градом осколков. К счастью, никто из нас не пострадал. После этого мои родители еще долго не пускали меня в школу — до тех пор, пока не прекратились бомбежки. В первые годы после войны жилось очень трудно, а в 1947 году изза сильной засухи случился голод. Было нечего есть. Не было хлеба — мололи кукурузу, варили и ели. Папа собирал алюминий, благо разбитой техники было вокруг много, в баночках плавил его и заливал в специальную форму с песком. Так он наладил производство алюминиевых ложек. Ложки получались с множеством заусениц, и мы всей семьей их шлифовали. Папа ездил по деревням и менял ложки на продукты, но этого не хватало — мы голодали.

Тогда часть участка, на котором стоял дом, продали. Участок, где стоял дом до того, как часть его была продана, заканчивался большим пустырем, простиравшимся на север до кирпичного завода, а на запад — до стекольного завода. На этом пустыре (по рассказам бабушки) с 1925 года был гражданский аэродром — один из первых аэродромов в СССР.

Елочная игрушка с серпом и молотом до сих пор цела, она лежит у нас дома вместе с другими елочными игрушками, заботливо обернутая в несколько слоев бумаги. Мы ее бережно храним как реликвию, словно это она спасла всю нашу семью и от эсэсовцев, и от бомбы.

Когда мои дети были маленькие, в канун Нового года мы доставали ее из ящика, рассматривали, прежде чем повесить на елку. Ничего особенного — маленькая, блеклая, с серпом и молотом.

— Бабушка, а ты правда видела фашистов? — спрашивали внучки.

— Правда, мои родные, — отвечала мама и на ее глаза наворачивались слезы.

Она обнимала маленьких внучек, радостно топающих вокруг елки, всех трех сразу, как будто хотела защитить их, уберечь от чегото страшного. Обо всем ведь не расскажешь. Да и как рассказать о том, как смерть в человеческом обличье ходила рядом в кожаном пальто и надраенных до блеска сапогах! Она, эта смерть, смотрела пьяными злыми глазами на маленькую, напуганную, беззащитную русскую девочку.

— Бабушка, а фашисты — люди?

Какой простой, до наивности детский вопрос: а люди ли они были? На него не так легко ответить. Может ли нормальный человек так презрительно относиться к чужой жизни? Наверное, нет. Кто знает, где проходит та грань, за которой человек перестает быть человеком? Может быть, именно память о прошлом и делает нас людьми — память о тех, кто жил до нас, строил дома, пек хлеб, воевал, ел мамалыгу и думал о вселенной, о жизни, о том, как она тяжела и прекрасна одновременно.

Быстро течет время. Ушли в прошлое шестидесятые годы, а вместе с ними ушло и мое детство. Старый дом на окраине сломали, сад выкорчевали, раскидистый карагач, укрывавший нас, ребятишек, в своей тени в жару, спилили — он мешал новому строительству. Нелегко было рушить старый дом. Казалось, что рушился не дом — рушилась прожитая жизнь.

Сначала шабашники разобрали крышу, сложив черепицу возле стенки старого соседского сарая, сняли стропила и буковые, сучковатые, измазанные глиной балки перекрытий, побросали их вместе с окнами и дверями на дымивший черной гарью трактор и куда-то увезли. После этого стали разбирать стены. Саман слежался за долгие годы и приобрел прочность камня.

— Пожил — будя, — просипел уже немолодой шабашник, пытаясь поддеть при помощи острого плотницкого топорика намертво вросший в стену дома саман. — Дай теперь другим пожить.

Упорство старого дома злило его...

СМИРНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА. 1950 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Уфа, Республика Башкортостан.

Светлана СМИРНОВА

ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО И ПО-ХОРОШЕМУ…

Письма с фронта

Они были завернуты в помятую коричневую бумагу. Весь вечер сверток пролежал на столе. Я все не решалась к ним прикоснуться, все отдаляла то мгновение, когда разверну бумагу и на стол посыплются эти постаревшие листочки из далекого страшного времени.

Андрей Васильевич Смирнов преподавал историю в школе. До начала войны работал директором Вахтанской средней школы Шахунского района Нижегородской области. Ушел на фронт сразу же после объявления войны. Ему было 28 лет. Дома остались жена и пятимесячный сын.

Он не вернулся. Он погиб под Москвой в конце января или в начале февраля 1942 года. После него осталась лишь небольшая пачка старых пожелтевших писем, написанных торопливым почерком на листках, вырванных из блокнота. На последнем письме стоит дата: 28 января 1942 года.

Короткая повесть такой короткой жизни…

Я читала эти письма, и передо мной разворачивались первые месяцы Великой Отечественной войны и последние месяцы жизни этого человека.

Письма адресованы жене.

Давайте почитаем. Оставим все суетное, подумаем немного о вечном.

3 июля 1941 г., путь на фронт.

«Пишу после долгих мытарств. В бой еще не вступали. Пока жив и здоров, а что дальше будет — не знаю… Одно только знаю: что буду биться до последнего вздоха, и если долго не будет никаких вестей, так знайте, что погиб. В плен никогда не сдамся».

17 июля 1941 г., г. Калуга, госпиталь.

«После длительного, мучительного пути вчера, 16 июля, привезли в госпиталь. Все, что я пережил и испытал за прошедший месяц, после выезда из Уфы, описать невозможно.

До 2 июля, усиленно продвигаясь к линии фронта, находились все время под бомбежкой и обстрелом вражеских самолетов. 3 июля наш эшелон на одной из станций железной дороги Белоруссии был подвергнут нападению пяти фашистских бомбардировщиков. В результате бомбежки мы потеряли 15 человек убитыми и ранеными.

Это было, по сути, первое боевое крещение. А потом мы ко всему этому как-то привыкли, и бомбежки уже не вызывали такого

страха. Мы научились от них укрываться, а наши зенитчики метко били по вражеским самолетам.

С 3 по 8 июля наш полк находился в непосредственной близости к врагу. Это было на реке Западная Двина (в 60 километрах от Витебска). В ночь на 8-е наш батальон пошел в атаку на прорвавшегося через реку врага. Во время этой атаки нам пришлось понести некоторые потери, в том числе был ранен и я. Ранение пулевое, в левую ногу, выше колена. Рана большая, но, говорят, неопасная. Думаю, скоро вылечат, и я снова буду в строю.

Самым страшным в это время был не фронт. На фронте, в бою, я чувствовал какую-то особую живость и храбрость. Но когда нас, раненых, повезли по железной дороге в эшелоне, мы узнали, до какой низости могут дойти фашистские варвары. Наш санитарный поезд бомбили в течение шести суток. Вот тут я никак не думал, что останусь живым. Похоронили 27 человек».

25 июля 1941 г., г. Куйбышев.

«Из Калуги эвакуировали 23 июля. Сейчас нахожусь в Куйбышеве (совсем недалеко от Уфы). Лечение подходит к концу. Думаю, дней через 15–20 выпишут. Куда определят после больницы, не знаю. Надо полагать, что снова на фронт.

Если не дадут отпуска и в Уфу не придется заехать, то ты вполне сможешь на 1–2 дня приехать сюда (15 часов езды). Как сынок?»

27 июля 1941 г., г. Куйбышев.

«Посылаю аттестат на получение денег… Думаю, что этого будет вполне достаточно, и особой нужды не испытаешь.

Выпишусь из госпиталя не раньше 1 сентября. Куда направят, не знаю. В Уфе наверняка не бывать.

Напиши мне письмо. При возможности кое-что старухе вышли. Это будет для нее отрадно».

31 июля 1941 г., ст. Кинель.

«Из Куйбышева увезли 30 июля на ст. Кинель (это на 50 километров ближе к Уфе).

Лечение подходит к концу. Думаю, что осталось не больше чем 10–15 дней. Все идет благополучно. А там снова фронт. Не знаю, дадут ли отпуск. Наверное, нет.

Как растет сынок?»

19 августа 1941 г., ст. Кинель.

«Лечение уже подошло к концу. Осталось каких-нибудь 5–6 дней. Рана зажила, но еще немного прихрамываю. Завтра иду на рентген, так как ранен разрывной пулей и остался осколок. Если он станет тревожить, то, возможно, еще сделают операцию.

В начале сентября, наверное, снова буду на фронте.

По всей вероятности, направят в одно из мест неподалеку от Уфы. (Скорее всего, на ст. Бугульма)».

3 сентября 1941 г., г. Горький.

«Итак, я выписался из госпиталя и еду в Горький, где, очевидно, определится мой дальнейший путь.

Мои попытки вырваться хотя бы на 1–2 дня в Уфу не удались».

26 сентября 1941 г., г. Горький.

«Долго ли проживу в Горьком? Этого я и сам теперь не знаю. Ждал и жду со дня на день. И не сегодня-завтра должны уехать. Но когда — не знаю.

Знаю только одно, что еду на выполнение ответственного задания. Либо вернусь героем, либо погибну. Смерть, конечно, не страшна. Хочется теперь только одного: как можно скорее разгромить врага.

Как сынок? Наверное, уже начинает ходить и буянить?

Страстно хотел бы видеть его».

16 октября 1941 г., г. Сызрань.

«Я очень обижен твоим молчанием. В чем дело? Ведь в Горьком пришлось жить почти полтора месяца. Я послал тебе три письма и телеграмму, не получив от тебя ответа.

Я не знаю, удастся ли нам встретиться или перебросится письмами. Вряд ли. Пишу, надо полагать, последнее письмо. Еду снова на фронт. Присвоили новое звание — старший политрук. Назначен комиссаром отдельной части. Скоро буду снова воевать».

31 декабря 1941 г., полевая почта.

«Из Лаубе уехал на фронт. Это письмо пишу в пути, и, конечно, долгое время не жди другого письма. Думаю, что на этот раз в боях с врагом Родины буду воевать с большей силой и отдачей для общего дела.

Жив, здоров. Будучи в тылу, даже значительно поздоровел.

…О Колярнике слышал еще в сентябре, что он убит около Великих Лук. Также и Лифшиц.

Как сынок? Наверное, озорничает».

16 января, 1942 г., полевая почта.

«Прошел уже месяц, как я выехал из Лаубе, и теперь нахожусь около Москвы. Уже недалек тот день, когда вновь вступим в бой с врагами Родины.

Высылай фотографии сынка.

Пиши по тому же адресу.

Где бы я ни был — получу.

Вот и все. Пиши. Жду!

Крепко целую вас с сынком».

28 января, 1942 г.

«Веруся! Сынок! Здравствуйте!

Послал два письма, а ответа не получил.

Сейчас, наспех, шлю это письмо и маленькое фото. Иду на боевое задание.

Теперь уж, наверное, долго не дождетесь письма. Ждите с победой.

Жив, здоров, энергичен.

Исполнен боевым духом.

Ваш Андрей.

Живите счастливо и по-хорошему».

Последнее письмо самое ветхое и истертое. С трудом читаются едва уловимые, написанные торопливым карандашом строчки.

Больше писем не было. Пришло извещение: «пропал без вести».

Неопределенность — это тревожное ожидание, растянувшееся на долгие томительные годы; это череда бессонных ночей; это холодок в груди в день всеобщей радости — в День Победы.

Андрей Смирнов был заброшен с десантной группой в тыл врага. Оттуда не возвращаются.

Просто жил человек — и нет его. Осталось лишь несколько писем, которые рассказали мне о страшном военном времени.

Он служил в 214-й ВДБр.

ТИМЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1950 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Красноярском крае, г. Сосновоборск.

Николай ТИМЧЕНКО

ЛЮБИМЕЦ МИРА

Первая медаль

Пятый год работает Любомир в школе, и семь лет пролетели после его демобилизации. Столько же минуло и после первого Дня Великой Победы над вероломным врагом, задействовавшим против нас всю Европу. И до сих пор словом не обмолвился учитель о своих наградах. Чтобы узнать о военном прошлом дважды награжденного земляка, перед двадцать третьим февраля в школу пригласили Олега. Работающий теперь в райкоме, он призывался в армию в один день с Любомиром. Год отслужить Отчизне землякам предстояло в разных военных округах, но, волей судеб, оказались в одном полку.

Любомир Семенович знал, что рассказ друга будет о том, чего он сам не касался на переменках. Окруженный любознательными мальчишками, учитель не хвастал, не выпячивал свою роль в сражениях, обходил военную тему. Он не захотел слушать рассказ сослуживца о своем вкладе в успех военных операций. На встречу с боевым товарищем в актовом зале школы Любомир не пришел. Олегу рассказывать не о себе, а о друге проще. Но от волнения и захлестнувших воспоминаний рассказ его оказался сбивчивым. Эмоции рассказчика еще сильнее воспламенили воображение слушателей.

— По путям-дорогам Польши шло лето военного сорок четвертого года. Дорога пролегла по равнине, а по обе стороны от нее кое-где виднелись возвышенности. Их-то и огибала искалеченная бомбежками автотрасса. Колонна машин подвозила на линию фронта боеприпасы, продовольствие, обмундирование для солдат и офицеров, вступивших на территорию другой страны. Наступали освободители в форменной одежде, успевшей изрядно износиться за время ратных будней. Командование решило, что в глазах братского народа освободители не должны выглядеть оборванцами.

Любомир вел трофейный бронетранспортер, один из трех, сопровождавших колонну полуторок, ЗИСов и студебекеров, полученных по ленд-лизу из США. На участке дороги между двумя сопками вражеская легкая артиллерия открыла по колонне плотный огонь. Хоть и была та артиллерия легкая, да нам от того легче не становилось. Образовалась пробка, и вся колонна превратилась в стоящие под прицельным огнем мишени. Мы приняли бой, но груженые машины загорались одна за другой. Ни спастись от огня, ни подавить его невозможно — враги, а это не только немцы, стреляли с выпуклостей сопок, из-за созданных природой укрытий. А наши ребята у них на виду, как на ладони.

И тогда Любомир на своем БТРе столкнул в придорожные кюветы горящие боевые и грузовые машины. Колонна прорвалась, а младшего сержанта, получившего в том бою осколочное ранение, нашего Любомира и вашего учителя, в госпитале нашла первая медаль.

В сорок четвертом наше командование уже не скупилось на награды. Но к орденам и медалям представляли только особо отличившихся, что не умаляет значимости наград.

С любимцем мира во главе

— Были и другие военные дороги, много дорог, — продолжал рассказчик. — На одной из них, проходящей в той же Польше, вдоль небольшой петляющей равнинной реки, завязалось сражение. Враги, просочившиеся в наш ближний тыл, избегали боев на открытой местности, делали засады там, где оказывались менее уязвимыми. А мы — в тесноте. С одной стороны от дороги течет река, с другой — глубокий кювет, непреодолимый даже для полноприводных студебекеров. Положение казалось безвыходным.

Необстрелянный лейтенант в возникшей суматохе не смог возглавить окруженцев. С поднятыми руками он бросился в воду, поплыл, пытаясь избежать гиблого места. Врагами ли, для которых был отличной мишенью, или кем-то из своих подчиненных, но лишен трус самого дорогого — жизни. Любомир взял командование бойцами колонны на себя, хоть были те, кто по званию старше нашего сержанта. По рации в штаб сообщили о засаде.

Оставив десяток товарищей отстреливаться с прежних позиций, остальных, в дыму горящих машин, повел к концу колонны. Оттуда, скрываясь за неровностями бугристой местности, ребята вышли за поворот, недоступный обзору вражеской группы, устроившей засаду. Форсировали речку и вышли на позиции, где вражеский десант перестал быть недосягаемым. Помог нашим парням и фактор неожиданности. Во главе с сержантом в том бою ребята отправили в лютеранский рай половину десантников. Прибывшие самолеты завершили уничтожение просочившегося вражеского воинства. Чтобы уберечь своих ребят, раненый Любомир по рации корректировал огонь нашей авиации.

Снова полевой госпиталь. Рана зажила быстро. Вторую награду находчивому инициативному сержанту начальник штаба вручал перед строем. По-армейски скупой на похвалы, он и в тот раз был немногословен. Но за краткостью старший офицер не мог скрыть доброжелательность и уважение к опытному воину, проявившему себя сержанту.

— Отваги и находчивости тебе не занимать! Здоровья тебе, сынок! Будь любимцем мира, как нарекли тебя родители, — сказал и на прощание по-отечески обнял награжденного седой подполковник.

— И он любим! Я вижу это по вашим глазам, мои неравнодушные слушатели, — отметил рассказчик.

Последний бой

— Не устали еще слушать? Хорошо, я расскажу об очень важном бое, хоть и нет за него наград. Со времен не знаю какой войны бытует мнение, что «Последний бой — он трудный самый». Войне не было видно конца, а тот бой для Любомира оказался последним. Среди множества традиций есть касающаяся людей военных: в бою спасай знамя, командира и боевого товарища. Каждый солдат со времен Российской империи или более ранних свято соблюдает эту традицию по сей день. В тот раз в колонне с продовольствием и боеприпасами ехали заместители командиров по политической части — замполиты. В освобожденной части территории Германии надо было организовать мирную жизнь с оглядкой на необходимость защищать отвоеванное.

Фронт ушел вперед. Там, еще сильные и технически хорошо оснащенные, группировки гитлеровцев успешно противостояли натиску наших войск. Вдруг здесь, в нашем тылу, засада. Недобитые в разных местах фашисты собрались на одном из участков дороги. Позиции для боя у них были превосходные, оружие отменное. Когда подбитый БТР Любомира загорелся, экипаж успел выгрузить остатки боекомплекта, рвущиеся в огне снаряды — не меньшая опасность, чем прилетевшие. От горящей боевой машины снег таял даже в придорожной канаве. По ее склону стекали грязные от сажи ручьи. Укрыться за БТР невозможно от жара. На виду у врагов все становились легкими мишенями. Из засады на близком взгорке били по всему, что двигалось.

Парни гибли, как утки на чистой воде во время охоты. От плотного огня нас не спасали даже клубы дыма от горящей техники. В этом земном аду оборонцами командовал полковник. Любомир был близко от него и слышал голос командира, прорывающийся между разрывами снарядов. Когда команды прекратились, Любомир перебежками от машины к машине по кювету добрался до полковника. Крикнув, что замполит ранен, стал его перевязывать. Одним осколком снаряда была перебита ключица — рука казалась пришитой к тряпичной кукле. Другой осколок, пробив ребра, скрылся где-то в области сердца. Кровь стекала медленно, значит, крупные артерии не повреждены. Боец заканчивал перевязку, когда к раненому вернулось сознание.

— Сержант, не отвлекайся на меня, продолжай держать оборону. Я приказываю!

— Помолчи, побереги силы, полковник. Они пригодятся при транспортировке. Самолет где-то на подлете к аэродрому подскока, — вселил надежду Любомир.

— В бою такое общение сержанта и старшего офицера — не панибратство, а обыденность. Перед лицом смерти все становились равными, независимо от звания и возраста. От неквалифицированного движения перевязывавшего полковник вновь потерял сознание. Очнувшись, увидел бойца пытающимся перевязать рану на собственной груди. Выдохи сержанта были с кровью.

— Прости, я тебе не помощник. Скажи хоть, как зовут тебя, сержант?

— Любомир, любимец мира. Война, как видно, если не любит, то щадит меня. Мы оба живы, и я готов послать в лютеранский рай или ад еще нескольких гитлеровцев, пока подлетит бомбардировщик.

— Не успел. На вражеские позиции полетел смерч авиабомб. В примчавшиеся следом ЗИСы-5 грузили в один раненых, в другой — погибших. Полковник, наверное, выжил. Мой однополчанин и земляк демобилизован после госпиталя месяцем позже нас без половинки правого легкого. Такой вот он, мой однополчанин!

* * *

Не забыл полковник то сражение. И спасителя-сержанта с редким именем не забыл. Через восемь лет после боя, в День Победы, военком вручил Любомиру Семеновичу третью боевую награду — орден.

Сам фронтовик дожил до начала восьмидесятых. Как и в прежние годы, на переменках учитель труда рассказывал мальчишкам сказки и забавные были-небылицы из жизни односельчан. Отличить в тех «рассказках» Любомира правду от вымысла никто и никогда не пытался. Складно да ладно ложились в тех повествованиях слово за словом, история за историей.

В день похорон начищенные до блеска награды Любомира Семеновича несли его родственники. С наградами, врученными фронтовику в дни юбилейных дат, их оказалось много, но три первые сам он при жизни ценил более остальных.

ТРЕТЬЯКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. 1979 г. р. ГБДОУ № 2. Член Российского союза писателей. Живет в г.Санкт-Петербург.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА

МОЙ ДЕД

Рассказ написан со слов моего дедушки и основан на реальных событиях

Мой дед Афоничкин Владимир Ильич прошел с боями всю Великую Отечественную войну. За боевые заслуги награжден медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны первой степени.

Я часто вспоминаю своего деда. Он всегда был занят какой-либо работой и не сидел без дела. Простой крестьянский мужик из далекой российской губернии в поисках работы сначала приехал в Москву и в деревенской одеже и лаптях пошел на Красную площадь. Дошел он до первого милиционера, который попросил его не позорить советскую власть и покинуть площадь по-хорошему. Дед решил не искушать судьбу и уехал в Санкт-Петербург, одевшись по канонам городской моды, дабы больше не привлекать внимания служителей порядка. Устроившись на завод и получив комнатушку в общежитии, он вызвал из провинции мою бабушку, и они стали привыкать к городской жизни.

В июне 1941 года дед добровольцем ушел на фронт и за четыре года прошел дорогами России и Европы тысячи километров. После окончания войны его перебросили на Сахалин, и он еще целый год служил телефонистом на местном аэродроме. Рассказывать о войне он не любил и ордена надевал крайне редко. Я сейчас очень жалею, что не смогла в течение долгого времени разговорить его. Он был молчаливым и скромным работягой, который всю жизнь трудился ради семьи и боготворил свою супругу, дочерей и внучек. Однажды в День Победы девятого мая дед рассказал нам, за что он получил Орден Красной Звезды.

В связи с тем, что мой дед был из крестьянской семьи и мог справляться с лошадьми, его направили в артиллерию ездовым. Все четыре долгих года войны он занимался доставкой снарядов на передовую и транспортировкой сорокапяток. В тот день разгорелся бой за одну из российских деревушек. Атака захлебнулась в своей ужасной трагической безысходности. На батарее закончились снаряды, и артиллерия не смогла поддержать атаку наших батальонов. Ситуация сложилась критическая, батарея была отсечена от наших позиций шквалистым минометным огнем, и все пространство было пристрелено неприятелем, скорее всего, работал немецкий корректировщик.

Траншеи противника находились буквально в пятистах метрах от наших позиций, солдаты заняли первые позиции фашистов

и с трудом сдерживали противника, который старался вернуть утраченные ориентиры. Ждать приказа не было времени, каждая минута стоила жизни простого русского солдата. Мой дед погрузил ящики со снарядами на телегу, помолился второпях, и колесница, запряженная парой лошадей, понеслась прямо на передовую.

Дорога там была только одна, она шла между двумя противоборствующими сторонами. Сквозь град снарядов и пуль с обеих сторон он, словно ангел, мчался по просторам израненной страны, приближая миг победы, и он успел как раз вовремя. Атака врага была отбита. Наши войска перешли в наступление и освободили небольшую российскую деревушку. Каким-то чудом ни одна из пуль и ни один из осколков не попали в ящики со снарядами и в моего дедушку. Вся его форма, по его описанию, была иссечена осколками, от деревянной телеги отлетали куски дерева и парили в пространстве, отвергая законы физики, а он остался невредим.

Перед самой смертью он мне рассказал, что слышал и видел Ангела, который парил и оберегал пространство вокруг него. Описать он его не смог, просто не успел. Но был счастлив, что успел рассказать нам эту маленькую историю из своей простой, в его понимании, жизни.

ТУРИЦЫНА НИНА НИКОЛАЕВНА. 1960 г. р. Музыкальная школа. Член Союза российских писателей.. Живет в г. Уфа, Республика Башкортостан.

Нина ТУРИЦИНА

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ОДНА ВСТРЕЧА

1

«С Георгием Константиновичем Жуковым я встретилась один раз в жизни, — рассказывала старая женщина, когда-то изумительно красивая и элегантная, а теперь почти не встающая с постели, — но эта единственная встреча изменила не только мою жизнь, но жизнь всей нашей семьи».

В 1945-м я вернулась в Одессу из эвакуации. Мне было 19 лет.

Всю войну я прослужила в Сарапульском звакогоспитале, в самой трудной палате — солдатиков с ампутациями, и за хорошую работу начальник госпиталя написал ходатайство о зачислении меня в медицинский институт.

И меня приняли!

До войны я мечтала посвятить себя музыке. В 5 лет мама привела меня к своей приятельнице-пианистке, и та начала со мной заниматься. Через два года, когда в Одессе открылась музыкальная школа-десятилетка, я поступила в нее, сразу в третий класс.

Директором стал ее организатор, знаменитый скрипач Петр Соломонович Столярский. Мы учились в большом роскошном здании и ходили туда так, как раньше ходили бы в храм.

Моя учительница музыки казалась мне самой красивой женщиной на свете. Она была всегда нарядно одета, аккуратно причесана, и то, чему она учила, было не просто школьной наукой, как арифметика или ботаника, — это было праздником, несмотря на напряженные занятия: на первый урок нужно было приходить, разучив пьесу или этюд двумя руками, на второй — зная их наизусть, на третий — сдать на оценку. А потом разучивать новые. Зато такой график приучал к хорошим навыкам чтения с листа, который потом очень пригодился в жизни.

Все, чему научалась, я демонстрировала ребятам из нашего дома. Каждое воскресенье мы устраивали концерты и представления в нашем большом веселом южном дворе, и я была режиссером, тапером, а иногда и солисткой. Я мечтала если не о концертной эстраде, то о роли учительницы музыки.

Но теперь все изменилось. За годы войны я видела столько страданий, что бренчать на пианино мне казалось почти кощунством.

Сначала над нашим городом просто летали вражеские самолеты. Бомбить начали в конце июля. В Одессе до войны не было высотных зданий. Построенные из ракушечника-бута, опоясанные лестницами, верандами, дома были не выше трех этажей. На на-

шей улице был всего один шестиэтажный дом, казавшийся мне в детстве таким огромным.

Когда начинала противно завывать сирена, все бросались в бомбоубежище. Однажды мы вышли из него после бомбежки и увидели, что нашего дома больше нет. От всего имущества осталась только мамина сумочка, а в ней наши документы.

Потом помню пароход, на котором мы отплыли из Одессы. Прямо перед нами отчалил от пирса другой. На нем были дети, а их родители плыли на нашем. Никто не знает, что произошло — то ли их пароход подорвался на мине, то ли взрыв случился в машинном отделении, но до сих пор стоит у меня перед глазами это ужасное зрелище: прямо перед нами он переломился пополам и стал быстро погружаться в воду. Родители, видя своих тонущих детей, прыгали с палубы в море, надеясь подхватить их и спасти. Но спастись не удалось никому.

Следующим портом был Севастополь, а потом был эшелон, на котором много месяцев спустя мы прибыли в Удмуртию, в Сарапул на реке Каме. Там я окончила среднюю школу, там получила направление в мединститут. После войны мы вернулись в Одессу. В сентябре должны были начаться занятия в институте, а пока мы устраивали в двух маленьких проходных комнатушках наш нехитрый быт. С фронта вернулся папа. Мама обшивала весь наш двор, это был ее кусок хлеба. Под ее руководством я тоже училась шить. Из парашютного шелка у меня вышло премиленькое платьице, и я щеголяла в нем остаток лета. Однажды к нам в гости пришла мамина племянница, моя троюродная сестра, Соня. Она тоже захотела обновку. Конечно, мама не могла ей отказать. Через два дня платье было готово, и Соня пригласила меня прогуляться.

Какой-то юноша окликнул ее на улице. Мы остановились.

— А это моя сестра Маша. Познакомьтесь.

— Осип, — поклонился он мне и добавил: — Не знал, что у тебя есть сестра.

— Троюродная. Наши матери — кузины.

Мы пошли на набережную. Море, наше любимое море, сверкало и переливалось под солнцем. Осип с нескрываемым наслажденьем вглядывался в морские дали. Я подумала, что он моряк, но его горизонты оказались шире. Он сказал, что учится в Военно-воздушной инженерной Академии имени профессора Жуковского.

— Вы будете летчиком?

— Нет, — улыбнулся он, — для этого достаточно окончить летную школу. Академия выпускает военных инженеров широкого профиля для ВВС. Я буду заниматься авиационной техникой, ее эксплуатацией и боевым применением. Как более узкую специализацию хочу выбрать бомбардировщики. Впрочем, об этом говорить рано. Я пока окончил только первый курс, и то до войны.

— А потом?

— Действующая армия, — просто и обыденно сказал он.

— Вы воевали?

— Как все.

— А теперь?

— Отбываю для продолжения учебы. Через три дня.

— Но три дня у нас есть в запасе, не правда ли? — засмеялась Соня.

На следующий день он пришел с Соней. Соня поднялась к нам на второй этаж, поздоровалась с мамой.

— Куда вы сегодня с Машей собрались?

— Куда пригласят! — хитро улыбнулась она.

Я вышла с Соней. Осип ждал во дворе. Мама выглянула из окна и посмотрела нам вслед. Он пригласил нас в кино. Мы сидели в темноте зала, и я почувствовала на себе его взгляд Я продолжала смотреть на экран, как будто ничего не произошло. Но — что-то произошло. Мы вышли из кино другими, не такими как два часа назад.

На третий день он пришел к нам домой. Я побежала открывать, даже не догадываясь, кто звонит. На пороге стоял Осип. Он поздоровался, а я, растерявшись, только кивнула ему в ответ и спросила, не зная, что еще сказать:

— Вы один? А где Соня?

— Да, я пришел один. Вы можете уделить мне час вашего времени? — спросил четко, по-военному.

— Могу, — тихо, как заговорщица, ответила я.

— Тогда я подожду вас во дворе.

Я прикрыла дверь и побежала переодеваться.

— Кто там? — поинтересовалась мама.

— Это Сонин товарищ зашел…

— Что случилось?

— Он завтра уезжает в Москву на учебу…

— Хотите его проводить?

— Да.

Опять дежурное платьице из парашютного шелка.

— Как оно тебе идет! — приободрила мама. — Только не задерживайся, чтобы мы с папой не волновались.

— Спасибо, мамочка!

Мы гуляли до вечера. Я рассказывала ему о школе-десятилетке Столярского, о нашем старом дворе, которого больше нет, о наших детских концертах в нем.

— Почему же вы теперь в медицинском?

— Я работала в эвакуации в военном госпитале, и его начальник дал мне направление в мединститут.

— Не забывайте музыку, — попросил он.

Я обещала, хотя не знала, смогу ли выполнить его просьбу — у меня теперь не было ни лишнего времени, ни инструмента.

На прощанье он спросил мою фамилию.

— А адрес я знаю.

Первое письмо пришло через неделю. Он писал, как начал занятия, как устроился, какие новости в столице. Письмо было простое, товарищеское, и я ему ответила так же просто. А потом письма приходили с завидным постоянством, и наконец мама спросила как бы невзначай:

— Это тот юноша, что приходил к нам перед отъездом? Вы едва знакомы. Что же он тебе пишет?

Я молча протянула ей последнее письмо Осипа. Она взяла его осторожно, словно не решаясь. Надела очки и прочитала первую страницу. Письмо ее увлекло, и она прочла его все.

— А ты знаешь, Манечка, у него прямо-таки литературный дар.

Вот тут я, как будущий медик, не могла с ней согласиться. Дар — это то, что дала нам природа. Хороший слух — будущему музыканту. Хорошую растяжку и прыжок — будущей балерине. Но язык, а значит, и литература — это вторая сигнальная система. Как можно получить ее в дар от природы? Просто он умный, наблюдательный, образованный, поэтичный — отсюда и его способность писать.

— Поэтичный! Маня, да он просто влюблен в тебя. Уж поверь моему опыту!

Но в его письмах не было ни слова о любви. Он подробно описывал, где бывает, что видит. Москва вставала в его письмах ярко и зримо. При чем здесь любовь?..

Однажды он вложил в письмо свою фотографию и попросил в ответ мою.

— Ну вот видишь, — весело сказала мне мама, — я была права! С чего бы ему обращаться с такой просьбой?

И добавила:

— А он красивый. И по всему видать, серьезный. Какие у него умные и даже, я бы сказала, строгие глаза.

Осип приехал через год. Он написал о дате приезда, но звонок его все равно оказался неожиданным, как гром с небес. Я открыла дверь. Он стоял передо мною, высокий, темноволосый, загорелый, возмужавший и такой красивый, что не верилось, точно ли он — ко мне.

— Здравствуйте, Маша.

— Здравствуйте, — так и стоит в ушах мой простой ответ, но произнесенный каким-то испуганным голосом. Наверно, я плохо одета?

— Спросите, отпустит ли вас мама прогуляться?

Теперь можно убежать переодеваться.

— Что с тобой? Кто там пришел?

— Приехал Осип. Что мне надеть на прогулку?

Выбор был невелик, но я металась между тремя платьицами. Мама молча указала мне на наиболее подходящее. Быстрый взгляд в зеркало — и бегом обратно. Мама крикнула на прощанье:

— Не задерживайся!

Мы спустились во двор, но шли с ним подчеркнуто-отдельно. Вышли на улицу, и только тогда он задал свой первый вопрос:

— Не забывали музыку?

Я вспомнила, что он ни разу не бывал дальше прихожей, и объяснила:

— У нас больше нет пианино. Все погибло в сорок первом. Иногда удается поиграть в клубе института.

Мы пошли к набережной, разговаривая, как хорошие друзья. Я ждала, что он спросит о Соне, но он говорил о Москве, об Академии, о новых товарищах.

Мы гуляли не больше часа, но как только я мельком взглянула на часы, Осип тревожно спросил:

— Что, уже пора? Но завтра увидимся? Можно я приду в это же время? Нет! Пораньше, чтобы можно было подольше погулять.

И он приходил в одно и то же время каждый день, и каждый день рассказывал что-нибудь новое. С ним было интересно, увлекательно. Как началась любовь? Просто стало понятно, что мы не расстанемся, что друг без друга нельзя.

Однажды он сказал:

— Давайте уже перейдем «на ты», если вы не против.

Потом он напросился прийти к нам, познакомился с моей мамой. Тут у него проблем не было — она уже давно симпатизировала ему заочно, по письмам и фото.

Однажды он пришел и пригласил меня к Оперному театру.

— Посмотрим афишу. Выберем спектакли, которых не видели.

Таких оказалось три. Он зашел в кассу и купил билеты.

— А теперь заглянем в соседний дом.

Он сказал это нарочито обыденным тоном, но что-то насторожило меня. Мы подошли ближе, и я прочитала вывеску: «ЗАГС».

— Давай зайдем, — предложил он.

— Зачем?

— Распишемся. Считай, что я сделал тебе предложение.

— Как это — распишемся? — возмутилась я. И добавила, чтобы смягчить: — Для этого все-таки нужен паспорт.

— У меня как раз твой паспорт с собой.

Я обомлела:

— Откуда?

А он невинно объяснил:

— Твоя мама дала.

Мы зашли и расписались.

А дома меня ждал еще один сюрприз: накрытый стол и родственники за ним. Хитрец! Он обо всем заранее договорился!

Так началась наша супружеская жизнь, пока не совсем семейная, не совсем совместная. Через месяц ему нужно было ехать на сборы в Москву. Но уже в сентябре он снова приехал в Одессу.

— Перевелся на заочное. Не смог без тебя.

И началась наша кочевая жизнь по военным городкам. Его любимые бомбардировщики предполагали наибольшую отдаленность от крупных населенных пунктов. Заочного отделения в медицинском нет, и я оставила институт. Перед рождением нашего первенца я поехала домой, в Одессу.

Где я сделала ошибку? Я спрашивала себя об этом долгие годы, всю жизнь. Врачи роддома свою вину не признавали, а наш участковый педиатр говорил, что именно они допустили родовую травму.

Мужа переводили на новое место дислокации. Приближалось время нашего отъезда из родного города. Моя мама, так несчастливо ставшая бабушкой больного внука, от переживаний получила

нервный тик: у нее стало подергиваться левое веко, и этот недостаток, который невозможно скрыть, сразу превратил ее из цветущей женщины в старуху.

Я уезжала с больным ребенком на руках, приободряемая последним, что остается таким, как я — надеждой. Но шли недели, месяцы, а он все так же не мог держать головку, а потом не мог сидеть, не мог ходить... В нашем маленьком военном городке, лежащем вдали от городов и даже крупных сел, помощи ждать было неоткуда. Ни детских врачей, ни тем более узких специалистов, консультаций не было. Как я жалела теперь, что бросила институт!

Надо было что-то делать, и я решилась. Взяла годовалого Мишу и поехала к родителям. Командующим Одесским военным округом был в это время Жуков, снятый в 1946 году с поста главнокомандующего сухопутными силами и отправленный в наш второстепенный округ. Я пошла прямо к нему, держа на руках сына. Адъютант в приемной спросил о цели визита, просил подождать и пошел доложить в кабинет. Он пробыл там не более минуты, вышел, не затворив за собой двери, и коротко кивнул:

— Вас примут.

Дверь со стороны кабинета галантно придерживал сам Жуков. Я запомнила его могучим, плотным, совсем не старым, хотя ему было тогда почти 52 года. Жестом он пригласил войти. Серые глаза его были внимательны, а взгляд словно пронизывал насквозь.

— Говорите, что у вас.

— Моему ребенку нужна помощь специалистов. Я не могу воспитывать звереныша, который будет всю жизнь сидеть в четырех стенах с мамой. Поэтому прошу вас послать моего мужа в любое место, хоть в Сибирь, лишь бы там была спецшкола для такого рода детей, чтобы он смог научиться обслуживать себя сам, когда нас уже не будет.

Он кивнул:

— Хорошо. Идите.

Я вышла в каком-то столбняке, не зная, похвалит или осудит меня муж за этот визит, ни с кем не согласованный и продиктованный только материнским отчаянием. Вопрос, однако, решился на удивление быстро. Через несколько дней пришел приказ о переводе мужа на новое место службы, в Уфу. А Жукова Сталин сослал в 1948 году командовать Уральским военным округом.

Муж заканчивал Академию, работая одновременно в лаборатории Уфимского авиационного института. У него уже было несколько рацпредложений, а к концу службы их набралось больше сотни.

Я тоже нашла в Уфе свое призвание. Школа, созданная Столярским, первая в стране музыкальная десятилетка, давала право на преподавание в детской музыкальной школе. И тут я определила для себя, что только об этом и мечтала, и теперь всю свою любовь к музыке претворила в преподавание. Особенно я любила игру в четыре руки — так мы изучали с детьми даже симфонии Гайдна и Моцарта. Так же, как когда-то моя учительница, я приучала юных

музыкантов к быстрому чтению с листа, зная, что это им пригодится больше всего в жизни.

Наш сын окончил спецшколу и мог не только обслуживать себя, но даже себя прокормить. Он научился читать, писать, он получил работу, пусть неквалифицированную, но сколько вполне здоровых людей работает на неквалифицированной работе! А теперь, после смерти Осипа Михайловича, он — моя единственная опора и надежда. Я смотрю на него, так похожего на отца, такого же высокого, такого же удивительно интеллигентного на вид, такого же сдержанного, в ком почти ничего не напоминает о болезни, кроме замедленной походки и речи, и с благодарностью вспоминаю человека, который не только освободил Европу, спас родную страну, но и спас мне сына; человека, который, не кичась своим высоким постом, тотчас принял меня и в два дня решил мой непростой вопрос.

Дворники регулярно жгут под моими окнами кучи мусора. Это так портит нам жизнь — мы вынуждены целыми днями дышать запахом гари и слушать их крики. Нужно, необходимо положить этому конец. Сын в этом деле мне не помощник. Он и себя-то защитить не может и всегда старательно избегает любых конфликтов, впрочем, так же, как и я. Но даже ангельское терпение может когда-нибудь истощиться.

С трудом я выбираюсь на улицу (обычно по магазинам ходит сын) — ведь уже второй год я хожу, опираясь на палку. Слава богу, наш подъезд — крайний, а улицу все же посыпают песком. Я добираюсь до нашего ЖЭКа, поднимаюсь по обледенелым ступенькам. Повезло: нигде не споткнулась. Хороший знак — может, и далее все решится быстро? Вопрос-то пустяковый: мусор все-таки принято вывозить, а не сжигать. Так, вот и дверь кабинета управдома… На ней что-то написано, но я не догадалась взять с собой очки…За дверью — шум, крики. Наверно, это называется у них совещанием. Ладно, пока можно передохнуть. И скамеечка в коридоре имеется. Ждать пришлось довольно долго, я стала немного задыхаться в зимнем пальто. Наконец совещание кончилось. Я с трудом поднялась — члены как будто застывают — и постучала в дверь.

— Да! — громкий недовольный голос из кабинета.

— Я к вам на прием. Вы позволите?

Я плохо его разглядела. Крупный мужчина. Довольно молодой. Для меня в мои 80 лет теперь все молодые.

— Прием у меня по средам. На двери написано.

— Может быть, в порядке исключения? — попросила я.

— Я ни для кого не делаю исключений. Для меня все равны. Придете в среду.

Я закрыла его дверь и пошла восвояси. На обратном пути мне повезло меньше, я два раза поскользнулась и не упала только потому, что вовремя уцепилась за какой-то забор. Но, цепляясь, порвала свои перчатки. Не беда, зашью. В очках я пока еще вижу неплохо, только нитку в иголку вдеть не могу, это за меня делает сын.

ХУЗАХМЕТОВА РАУЗА МЕНГАЛИМОВНА. 1956 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Казань, Республика Татарстан.

Рауза ХУЗАХМЕТОВА

9 МАЯ

Мой отец никогда не рассказывал мне о войне. Никогда. Наверное, потому что это очень страшно. А может, потому что я для него всегда была маленькой — я самая младшая в семье. Но я знаю об этом от старших сестер и брата.

До войны они жили в Москве — его родители, брат, сестра и он, мой будущий отец. Дружная семья, юность, увлечение спортом, служба на Черноморском флоте, на крейсере «Красный Кавказ», учеба в институте физкультуры — все разом оборвалось. Сначала забрали его отца, которого больше никто не видел, а потом и его — молодого парня. Пять долгих лет прошли на севере, а когда он вернулся, началась война.

Недавний краснофлотец, отец и воевал на море. Вместе с другими моряками Черноморского флота он участвовал в обороне Севастополя. Когда их корабль подбили, продолжал воевать в составе морской пехоты. Участвовал в ночных походах к Сталинграду на катерах, доставлявших бойцам боеприпасы и продовольствие и забиравших раненых.

Однажды во время ночного похода катер, заполненный ранеными бойцами, налетел на мину. Взрывной волной отца отбросило далеко в сторону. Очутившись в воде, он сбросил одежду и обувь, тянувшие вниз. Когда все улеглось, оказалось, что в живых осталось три человека. Стараясь удержаться на воде, они ждали рассвета. Плыть некуда — берегов не видно ни с одной стороны. Днем мимо проходили корабли, но было негласное распоряжение не останавливаться, так как сразу же налетали вражеские самолеты и начинали бомбить. Когда совсем не осталось сил, отец начал тонуть. И вдруг под ногами он почувствовал дно! Вновь появившаяся надежда на спасение и яростное желание жить помогли подняться на поверхность. Потом, набирая побольше воздуха, отец и товарищи время от времени опускались на дно, чтобы отдохнуть и спрятаться от палящего солнца. Трое суток моряки продержались на воде. Наконец их заметили и подобрали — именно подобрали, потому что самостоятельно на борт они подняться уже не могли.

Молодой организм быстро восстановился, и отец продолжал воевать, участвовал в освобождение советского Заполярья, был награжден боевыми наградами. Было ли тяжело? Было ли страшно? Об этом могут рассказать теперь только его боевые награды. А что пришлось пережить маме, ждавшей его столько лет, остается только догадываться.

Мирное небо, семья, сын и пять дочерей — может, мы стали для отца самой главной наградой, такой радостной, но такой непростой? Не знаю… Дети вырастали и уходили каждый своей дорогой.

А отец — он продолжал работать, ждать наших редких приездов, а при встрече светился от счастья, отшучивался и говорил, что проживет сто лет. Никому и в голову не приходило, что он уже старый. Отец и в самом деле был очень бодрым, крепким. И только потом, из его дневников, я узнала, как сильно болело у него сердце — сердце человека, так много повидавшего и пережившего. Человека, прошедшего не один круг ада, но не сломавшегося, не ожесточившегося, а продолжавшего жить, глядя на мир добрыми радостными глазами.

Когда я родилась, отцу было сорок восемь лет. А когда выросла, его уже не стало.

В трудную минуту я всегда вспоминала отца: он выдержал — и я должна выдержать. В радостную минуту вспоминала отца: сейчас он сказал бы мне «молодец» и порадовался со мной. В минуты сомнений вспоминала отца: как он посмотрел бы на мой поступок. Вспоминала, хотя вернее было бы сказать, что я его и не забывала.

Именно 9-го мая, в этот яркий праздничный день, Великий день, когда на радостную улыбку набегают горькие слезы, особенно остро понимаешь, в каком долгу ты навсегда остался перед родителями. Я так много хотела сделать для отца, а не сделала и малого. Могла лишний раз позвонить и сказать несколько добрых слов — не позвонила. Могла просто подойти и молча обнять — не подошла. Могла посидеть рядом и поиграть в шахматы — не поиграла.

Прости… Прости… Прости…

ЯМЩИКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА. 1996 г. р. Красноярская ГЭС. Живет в Красноярском крае, г. Дивногорск.

Алина ЯМЩИКОВА

Я не хочу, чтоб пушки грохотали,
Чтоб мины землю рвали на куски.
Я не хочу, чтоб раньше времени белели
У матерей, сестер и ваших жен виски.
Я не хочу, чтоб по ночам вам снились взрывы…
Хочу, чтобы во сне вас не тревожил вой сирен,
Еще хочу, чтоб по утрам вам пели птицы,
Хочу, чтоб по весне для вас цвела сирень!

ШУРА, ВЕРНИСЬ!

У моей прабабушки два брата и мужья двух сестер защищали родину от фашистов. Старший зять прошел всю войну без единой царапины, дошел до самого Берлина. На Гришу, младшего зятя, трижды приходили похоронки, в которых сообщалось, что он погиб смертью храбрых. Погиб и старший брат Ваня. А младший, Шурка, ушел на войну добровольцем. Ему было 16 лет. Он просто сбежал из дома, чтобы отомстить за брата Ваню, за Гришу и за односельчан, которые отдали жизнь за Родину. Мама моей прабабушки чуть не умерла от горя. Она совсем перестала есть, начала пухнуть от голода, падать в обмороки… Сельский врач уговорил ее лечь в больницу. Она долгое время находилась на лечении. В это время пришла похоронка на младшего, Шурку. Моя прабабушка (ей было тогда 18 лет) и ее старшие сестры решили скрыть от своей мамы это страшное известие. Когда ее выписали из больницы, дочери стали замечать, что их мама каждый вечер уходит из дома, собрав узелок с едой. Она то ходила по берегу речки, то лезла на сеновал, то поднималась по крутой лестнице на чердак. Моя прабабушка была вынуждена устроить тайную слежку за ней. Она выследила ее, когда та в очередной раз поднималась на чердак дома. Моя прабабушка услышала такой монолог: «Шурка, сынок, родной мой, не бойся, я тебя ругать не буду, что ты на войну без спросу ушел. Поешь, родной мой, я тебе каши принесла». Она поставила миску с кашей на край чердака, а сама спустилась по лестнице вниз. Голодные мыши ли, крысы ли вмиг опустошили чашку с простой едой, прихватив кусочек хлеба с собой. Прабабушка замерла от жалости к своей маме. У сестер не было другого выхода, как показать похоронку. Их мама выла как волчица от боли и горя. По чердакам и сеновалам лазить больше не стала. Однако до конца своей жизни надеялась, что ее Шурка вернется домой.

Трижды умереть за родину

У моей прабабушки с войны не вернулись два брата и муж сестры, Григорий. Первая похоронка в дом пришла на Гришу. Семья

мужественно перенесла это известие. Вдовой осталась красавица Мария, которая долго оплакивала своего молодого мужа. Остались без отца маленькие дети. Сыну Жене было тогда три года, а маленькая дочка Галя родилась перед самой войной. Не успели еще обсохнуть слезы, как в дом пришла великая радость. Получили письмо от Гриши, в котором он писал, что был ранен, что сейчас жив и здоров, продолжает бить врага. К тому времени уже полсела получила похоронки. Это письмо подарило многим хоть маленькую, но надежду. Через какое-то время опять похоронка. Опять геройски погиб Гриша. Еще раз всем селом оплакали героя. Но от Григория вновь пришло письмо, что он жив, здоров, бьет фашистов. И вот как-то сидит вся семья на веранде. По улице бежит девочка-почтальон. Она разносит по домам вести с фронта. Когда письмо — она скачет козочкой, душа ее поет, и радость переполняет маленькое сердце. Когда же похоронка — ноги у нее становятся ватными и вязнут в песке. И вот семья видит, что к их дому бежит почтальон. Настроение у нее приподнятое, видно, не было сегодня похоронок на селе. Подбегая к дому, она закричала почти что весело: «А вашего Гришу опять убили!» И несмотря на то, что известие было страшно какое горькое, все засмеялись… Письма от Гриши больше не было. Так молодой боец трижды пал смертью храбрых за Родину…

Это было недавно. Это было давно

Война с каждым годом становится дальше и дальше, а вот эхо войны до сих пор отзывается в наших сердцах.

Книги, фильмы, песни, воспоминания наших предков воскрешают в памяти страницы военных лет. Невосполнимые утраты, торжество победы, радость встреч, праздник со слезами на глазах.… Все это я испытала на 9 мая. Я участвовала в концерте, посвященном Дню Победы. Концертная площадка находилась на ул. Набережной, у библиотеки.

Наша агитбригада отправлялась на концертную площадку от Дома культуры «Энергетик». Мы переоделись в военную форму. За нами подошел автобус. Вместе с нами в автобус погрузили «полевую кухню». Вкусно запахло гречневой кашей. Мы шумно расселись по местам. Настроение было праздничное. Мы шутили, смеялись, слушали музыку, пели сами. Главная дорога была перекрыта, и мы поехали закоулками.

И вдруг в одно мгновение мне стало грустно и тревожно. Старые дома показались мне вдруг заброшенными, лай собаки, лес, запах каши, вокруг ни души… Мне показалось, что нас везут на фонт. Слезы невольно покатились по щекам. Я испугалась, что больше никогда не увижу мой любимый город и своих близких.

На сцене немного успокоилась, но состояние тревоги не покидало меня. Среди зрителей я увидела всех своих родных. Здесь

были мама и папа, дедушка, бабушка, младшая сестренка Маришка, тети и дяди. Каждый раз, выходя на сцену, я боялась не увидеть их вновь.

Все обошлось хорошо. Родные после концерта пошли домой, а я — к полевой кухне, увидеться с друзьями. Мне дали чашку с кашей, и я с этой чашкой рванула домой. Я бежала домой, мне хотелось побыстрее увидеть дорогих мне людей. Все сидели за праздничным столом и ждали меня. Я с порога, задыхаясь от радости, закричала: «Я вернулась! Я живая! И даже не ранена!»

Чашку с кашей поставили в центр стола. Мама, смахивая слезинки с ресниц, тихо сказала: «С возвращением, дочка!» И все, кто сидел за столом, бросились обнимать меня.

Всех с великим праздником, Днем Победы!

Прощальный вечер

День победы — главный праздник нашего народа. В каждой семье хранится память о той далекой войне. Мои дедушки и бабушки родились после войны, но некоторые события передаются поколениям в воспоминаниях…

Когда я была ученицей 9 класса, мы готовились к последнему звонку, а выпускники — к школьному балу. Девчонки приобретали себе шикарные наряды, обдумывали прически и макияж. Мальчишки очень серьезно отнеслись к своему имиджу. Моя прабабушка аттестат зрелости получила в тревожный год войны, 1942-й. Часть школы в том году занял госпиталь. Туда привозили раненых солдат. Часто во время урока в класс входил директор и говорил: «Дети, привезли раненых. Мы вынуждены прервать урок, надо помочь перенести раненых в школу». «Ура! — кричали старшеклассники. — Раненых привезли!» В этой необдуманной радости, мне кажется, был глубокий смысл. Раненых — значит, живых. Почти в каждый дом пришла в то время беда — похоронка.

Моя прабабушка училась очень хорошо. Учеба давалась ей легко, а вот подготовка к выпускному вечеру далась куда сложнее. Жила она в деревне, купить платье не было возможности. На дне сундука она нашла длинную кашемировую юбку цвета топленого молока. Она сшила себе платье, очень красивое, с большим цветком на поясе. Попался ей среди старых вещей и кусок синего атласа. Она его быстро приспособила, сшив себе еще одно платье, с белым матросским воротником.

В школе организовали прощальный вечер. Это я его так называю, потому что после выпускного мальчишек забрали на фронт. Только двое вернулись с войны. Двое из тринадцати…

Вечер удался на славу. Выпускники пригласили на свой бал раненых солдат. Те поздравляли их, дарили значки, открытки и цветы. Танцевали с девушками. Вдруг прабабушка заметила, что ее красивое нарядное платье стало расползаться. Видно, не одно поколение юбка пролежала в сундуке. Хорошо, что дом находился

рядом. Она побежала домой и переоделась в синее платье с матросским воротником. Девчонки обзавидовались, а мальчишки и солдаты засыпали девушку комплиментами.

После вечера, всей толпой пошли на речку. Пели песни под баян. Скоро к речке пришли мамы выпускников (папы были на войне), принесли кто что мог: картошку, огурцы соленые, грибы, сахар… Директор пришел с самоваром. На груди у него висела связка сушек с маком. Пили чай.

Прабабушка читала стихи собственного сочинения. Стихи были про войну и скорую победу, в которую верили все люди большой страны.

VIII

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»

ПОЭЗИЯ

СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Елена АДИНЦОВА
Анатолий АРЕСТОВ
Дмитрий БОБЫЛЕВ
Анна-Виктория ВЕНЕВИТИНОВА
Александр ГУЛЯЕВ
Константин ЗАЙЦЕВ
Наталья ЛИТВИНЕНКО
Ирина ЛУЦЮК
Алла ПАШИНА
Наталия ПРИЛЕПО
Вадим СЕРГЕЕВ
Виктория СИТЕНКО (КАЛАНЧИНА)
Марианна СОЛОМКО
Артем СТОЙКО
Павел СЫСОЕВ
Максим ТОКАРЕВ
Мария ХАМЗИНА
Дмитрий ЮРЧУК

АДИНЦОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. 1974 г. р. Член Союза писателей ДНР. Живет в г. Донецк.

Елена АДИНЦОВА

ПИСЬМО НА ФРОНТ

Письмо читается уже в который раз…
Письмо из дома — воину награда,
В нем мама сыну отдает наказ:
Ты отомсти за девочку из Ленинграда…
Сиротку в дом из северных широт
Привез состав в края, где много солнца,
Глаза — две льдинки, крепко сжатый рот,
Зима войны ей выпита до донца.
Она не плачет, сын, она молчит,
В ней детство выжигало долго горе.
Я так молюсь, чтоб ты пришел живым,
Но только честным, пусть и не героем.
В ауле нашем тихо. Все дела
Легли на плечи стариков и женщин.
Шумит по-прежнему весенняя Кура,
Черпаем силы в ней. Живем надеждой.
Настанет день, и ты придешь домой,
Война закончится, проклятая преграда,
Сегодня, поднимаясь в бой,
Не забывай про девочку из Ленинграда…

АРЕСТОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1985 г. р. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Рубцовска». Живет в Алтайском крае, г. Рубцовск.

Анатолий АРЕСТОВ

КРЕСТЫ

Блеском холодным Луна пропитала
Пыль придорожную возле могил,
Поле усеяно звоном металла,
Здесь мессершмитт, наблюдая, парил

В облаке ада, окутанном смертью,
Черным крестом, прибавляя кресты
Родине нашей, вознесшейся твердью
Белой березы, где кровь с бересты

Плачем на землю лилась, поминая
Души застреленных утром детей…
Годы летят. Отголосками рая
Слышится крик в небесах лебедей.

БО́БЫЛЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. 1987 г. р. ООО «Ин-Ритейл». Член Санкт-Петербургского союза литераторов. Живет в Ленинградской области, г. Мурино.

Дмитрий БОБЫЛЕВ

* * *

Любительский театр играл войну
Без формы, без окопов и винтовок —
Был вымышленный мир предельно тонок,
И кровь не разливалась на полу.

Но в сердце кто-то маленький пролез
Реветь навзрыд, когда убили «наших».
И так хотелось отыскать шалашик,
Где прятал деревянный пистолет!

СМЕРТЬ КОМИССАРА

Боец остался с мертвым комиссаром —
Держать тепло громадными руками.
Алели ленты папиросным жаром,
Войска алкали досок с номерками.

Я понял все, став снегом и домами,
Дыханьем, растворившимся на воле,
Летучей пулей, горькими дымами —
Я понял все, упав в зеленом поле.

Я понял все, очнувшись от кошмара.
«Товарищ, поспеши, победа вскоре»,
«Ребятушки, убило комиссара!»
...Зеленый снег не таял на затворе.

ВТОРИЧНОЕ

Во многоразовом вагоне
Усталый жилистый майор
Глядится в книгу, как в икону,
Как в небо снег глядится с гор.

Не тает зайкина избушка,
Но тает родина под ней.
Очередная мать-старушка
Отвоевавшихся парней

Ждет у закрытого продмага
С афишной тумбой в уголке.
Дрожит от ветра клок бумаги
Козленком в снежном молоке.

* * *

Седой ополченец брел с вещевым мешком
Под буйство акаций, в зелени перезрелой.
Растили крестьяне радугу под обстрелом,
Война прорастала больно и глубоко.

Стотысячным слоем скрыв застарелый шов,
На праздники к проводам прикрутили орден.
Останется самым малым, на что способен,
Все, что бы ни сделал я на земле большой.

Шахтер соберет шрапнель и сдает металл,
Кресты прилепив на окна, как подорожник.
В далеком скиту какой-то святой острожник
Слагает стихи за всех, кто не написал.

ВЕНЕВИТИНОВА АННА-ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВНА. 2000 г. р. Актриса Новгородского областного академического театра драмы имени Достоевского. Член Литературной студии Натальи Некрасовой при СПБ ГБУ КДЦ «Ижорский». Живет в г. Санкт-Петербург.

Анна-Виктория ВЕНЕВИТИНОВА

«КОГДА ОНА КОНЧИТСЯ?»

Когда она кончится?
Может быть, к осени?
Листья успели стать поздними,
Осталось чуть-чуть, ерунда,
Когда она кончится?

Да никогда.

Она навсегда с нами,
На старом шкафу, в чемодане,
В трамвае, в прохожием случайном,
В чашке горячего чая,
Без сахара, без привета,
От лета и вновь до лета,
В перчатках, напротив окна,

Нет, не уйдет война.

А почему? Просто…
Просто холодный воздух,
Просто пора на прогулку
В обшарпанном переулке,
Ветер пригонит листья,
Листья свернутся в письма,
Даже наступит весна,

Но нет, не уйдет война.

ГУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1981 г. р. ООО ЦВК «ЭстетикМед». Кандидат в члены Союза детских и юношеских писателей. Живет в г. Тула.

Александр ГУЛЯЕВ

МА

знаешь, ма, а мы бы с ней
построили дом, она родила бы мне Настю с Алешкой.
только бы дождалась она, осталось немножко,
всего каких-нибудь сорок пять дней.
я бы приехал, ма,
загорелый и с дороги немного уставший.
ты бы достала из печки горячей каши,
прямо как в детстве. помнишь, а
как я дергал ее за косы
и пугал дождевым червяком?
кто же знал, что станет она вот такой?
да подумаешь, ма, просто немного проседи.
об обеих вас видел сны.
уже сорок четыре дня...
ты прости меня.
ма, прости, что я с той не вернулся войны.

ЖИВОЙ

ты прости, что не мог писать.
много месяцев, гришь? не знал...
просто стрелки застыли, мам,
на моих наградных часах.
форму прожженную на гвоздь.
дай скорее тебя обнять!
что ж ты сына не видишь, мать,
и проходишь меня насквозь?..

ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ. 1989 г. р. ООО Лайтбайт. Член ЛитО PoemFM. Живет в г. Воронеж.

Константин ЗАЙЦЕВ

ВЕНГЕРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

На поляне ограда.
За оградой гранитные камни.
Под камнями — белые кости.

Наступает 9-е:
Открывает ворота охранник —
Приезжают венгерские гости.

Не особо помпезно:
Установят венок на могиле,
Помолчат и уедут куда-то.

Что касается местных,
То они до сих пор не забыли
Что творилось венгерским солдатом.

Для одних это бедствие,
Национальная катастрофа —
Сотни тысяч загубленных жизней.

Для других это бесы —
Все, что есть в человечестве злого,
Одним словом, это фашисты.

Для любых поражений
Заготовлен ответ властями:
Мол, предшественники так решили.

Стать бойцам под ружье, и
Кровь венгерская топливом станет
Для немецкой военной машины.

Ни свободы, ни веры.
Отправлялись начинкой для гроба,
Чтобы немцам прислуживал вождь их.

Обреченные венгры,
Потеряв человеческий облик,
Превратились в безродных животных.

А потомки? А что им?
Не они воевали тут и
Жизнь свою погубили даром.

Те таланты достойно
Оценил генерал Ватутин,
Приказав в плен не брать мадьяров.

Нет примера живее,
Чем могилы на русской поляне,
Но никто не усвоит урока.

Под Воронежем венгры,
Под Артемовском лягут поляки,
А румыны — под Кривым Рогом.

Свой народ лимитрифы
На чужую войну снаряжают
С унтерменшем и иноверцем…

Никакой катастрофы —
Похоронят в степи слобожане
То ли финнов, то ли норвежцев.

ЛИТВИНЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. 1975 г. р. Донецкая железная дорога. Член Союза писателей ДНР, поэтических клубов «Лотос» и «Логос» и концертной бригады «Донбасский характер». Живет в г. Донецк.

Наталья ЛИТВИНЕНКО

* * *

Как забивают гвозди,
Как наш шумел завод,
Как гром весною поздней —
Взвод орудийный бьет.
Идет по перепонкам
Ударная волна
И тянет из подкорки
Испитое сполна.
Темнеет снег и тает,
Снегам у нас — капут!
Испуганные стаи
Мятутся и орут.

ПОКРОВСКИЕ КУРСАНТЫ

Как ярко горит хворост!
И блики в глазах горят.
И малый отпущен возраст
Сидящим вокруг ребят.
Их путь будет краток, светел.
Фамилии не слышны...
И ветер уносит пепел
Какого-то дня войны...

* * *

Послегарище наших пожарищ.
На обмылке великой страны
Ты такое услышишь, товарищ,
Что, наверное, хуже войны.
Только ветер нет-нет да засвищет
В остовах, где живут без дорог.
За смирение к сирым и нищим
Мы от них же услышим упрек.
Всяк болтун и припишет, и знает,
Что придет неизбежный капут.
Самолеты у нас не летают,
Что-то девки у нас не поют.
...Небо было не сводом, а чашей.
Были шахты залиты водой.

Но страна снова сделалась нашей,
Повоенной горча лебедой.
Тут живут обгорелые кошки.
Вроде нету дорог впереди.
Эту землю выкармливать с ложки
И носить, как дитя, у груди.
Но сидя в блиндаже после каши,
Прикорнув хоть на пару минут,
Отоспятся — и скажут, и спляшут,
И конька над избою прибьют.

* * *

Стандартная биография
Периода кали-юги…
В сущности, ее еще нет.
Бойцы на фотографии
Дружески приобняли
Друг друга.
Им 18 лет.
Они новобранцы.
Они улыбаются,
Эти ребята —
Им выдали автоматы!
Им еще не стреляли
В ответ…

* * *

А по ночам теперь у нас война…
И бесполезен жест просящих рук.
Из неба перевернутого дна
Ударов звук.
Стремятся заполночные часы.
Венера — как сверхновая звезда…
Обстрелов вовсе не боятся псы.
А раньше — да…
И мой дом цел. И у знакомых цел.
Пускай и дальше будет так, как есть.
В четыре ночи был у нас обстрел
И в шесть.

* * *

Я тебя не знаю, Родина,
Я с трудом ищу слова.
Неуживчива ли, модна ли —
Каждой черточкой нова.

Я с твоими хороводила
Елями, когда снега,
Шла твоими непроходьями
В тыл коварного врага.
Ты ко мне березой ластилась
Той весной, как враг разбит...
Крик твоих стрижей и ласточек
У меня в ушах стоит.

* * *

Война присутствует намеком,
Как взгляд тяжелый за спиной.
Она не только о высоком,
Но чаще в жизни бытовой...
Вот стол.
Вот хлеб.
Под град событий,
Под их победы и печаль,
Простым вещам их вкус забытый,
Простым вещам их смысл сокрытый
Она способна возвращать.

ЛУЦЮК (БЕСПАЛОВА) ИРИНА ВИКТОРОВНА. 1987 г. р. Член литературной студии Натальи Некрасовой (Колпино, КДЦ «Ижорский»). Живет в г. Санкт-Петербург.

Ирина ЛУЦЮК

* * *

Мне говорит, что яблони цвели,
Сосед по парте мой светлоголовый.
Я молча наклоняюсь до земли
И мою пол в заброшенной столовой.
Нехитрое такое ремесло —
Прийти сюда с последнего урока,
Чтобы согреться. Снега нанесло,
Я ухожу, едва видна дорога.

Заснет в сугробе прицепной вагон,
И холод за ночь остановит реку.
И хоть в буржуйке голоден огонь,
Учебник я отдам в библиотеку.
Так сердце по Неве не поведет —
Проводит проторенными путями
Туда, где одноклассник в Новый год
Мороженое яблоко протянет.

ПАШИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА. 1981 г. р. ООО «Флагман». Член Союза Курских литераторов при Курском региональном отделении Союза писателей России. Живет в г. Курск.

Алла ПАШИНА

КУРСКАЯ ДУГА

Попало в руки мне письмо,
Оно написано давно,
Невыносимая в нем боль
Переплетается с судьбой.

И пишет лейтенант в письме:
Сегодня думал о весне,
Как первая придет гроза.
Но стоило закрыть глаза…

Я вижу: рядом командир
С последним вздохом «Тигр» подбил.
Затих… и пал матерый зверь.
И на закате средь потерь

Идет солдат на смертный бой,
И лишь молитва за душой.
Кровавую вдыхая пыль,
Мнет сапогом степной ковыль.

Мотора рев, снарядов взрыв
И ветра стылого порыв
Танкист теперь не замечал,
Врагу огнем он отвечал.

Который день солдат без сна,
На поле боя цель одна:
Пока ты жив, рази врага.
Горела Курская дуга…

Как черный ворон кружит враг
И сеет беспросветный мрак.
Погиб в пылающем огне
Солдат на танковой броне.

Был страшный бой. Душила тьма…
И веет холод от письма.
Багряным заревом красна,
Его не встретила весна.

Письмо попало в руки мне,
Напомнить чтобы о войне,
Сказать спасибо, что живем
И пашем русский чернозем.

ПРИЛЕПО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. 1985 г. р. МБУ «Школа № 34». Живет в Самарской обл., г. Тольятти.

Наталия ПРИЛЕПО

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШАРЫ

В актовом зале шары и большой плакат.
Школьники шумно кучкуются возле стен.
Семьдесят восемь. Ну, сколько смогли собрать.
Все же не всем деревянным скамьям пустеть.

Клавдия Львовна, директор, читает речь.
Дети смешно забывают слова стихов.
Петр Иваныч стоит у тугих дверей,
Чтоб хулиганов поспешный пресечь уход.

Песни стихают. Алеша меняет слайд.
Неодобрительно шикнув на пятый класс,
Клавдия Львовна садится на первый ряд:
«Юрий Филиппович, просим на сцену вас!»

Тонким платком промокнув воспаленный лоб,
Плечи расправив, ведет ветеран рассказ
И вынимает из сердца осколки слов,
Неостывающий пепел имен и фраз.

В воздухе близко и страшно витает смерть.
Звук микрофона скрипуч. Микрофон фонит.
Выкрик из зала: «Нам долго еще сидеть?»
Чей-то Samsung начинает звонить, звонить...

Лунки следов оставляя, идет старик
По тротуарной траве, унося с собой
«Вишни в ликере» коробку, букет гвоздик,
Яркие краски открыток и боль, и боль...

БЕЗЫМЯННЫЙ МАЛЬЧИК

Хрупкую зиму пряча
За белизною век,
Спит безымянный мальчик
И выдыхает снег.

Ночь по земле горбатой
Рыщет бродячим псом,
До немоты истратив
Голос на горький зов.

До глубины прозрачный,
Призрачный, словно дым,
В черных зрачках собачьих
Снег тяжелей воды.

Крыльями птиц незрячих
Дерево к небу льнет.
Спит безымянный мальчик
И выдыхает лед.

И выдыхает иней
Медленней и страшней.
Лед прорастает синим
В темную глубь корней.

Спит безымянный мальчик,
Не разжимая рта.
Господи, так не плачут.
Не умирают так.

СЕРГЕЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1985 г. р. ПАО «Промсвязьбанк». Член Самарского отделения Российского союза профессиональных литераторов. Живет в г. Самара.

Вадим СЕРГЕЕВ

РУССКИЙ КРЕСТ

Крест из русского дуба трещит по-особому громко,
Только нам ли бросать этот старый славянский оброк?
Мы возьмем все что есть, положив нашу память в котомку,
И молитву прошепчем из пары засаленных строк,

И как раньше деды, понесем нашу мудрость по свету,
Собирая плевки и толчки, словно райскую пыль.
Нам не стыдно быть русским, столпом,
и держать всю планету,
Только пусть не стесняет проросшая в совести гниль,

Пусть отвалится эта до тления черная кромка,
Ритму сердца мешает, смущая густой кровоток.
Крест из русского дуба трещит по-особому громко,
Только нам ли бросать этот славный славянский оброк?

ПЕСНЕЙ МАРШЕВОЙ СПЕТА СМЕРТЬ

песней маршевой спета смерть,
уходили сквозь вой толпы
рушить адскую круговерть
в перезвоне ночной стрельбы.

взгляд решительный, дрожь колен,
отвоевывать города
шли ребята из перемен
в стонах: «мальчики, вы куда?»

холод смерти сжигал озноб,
грязь смешалась с потоком фраз,
чтоб не сгинуть и жили чтоб,
шаг тянули они сейчас.

запах хлеба, а дом пустой.
жить, пока не вскипит вода!
умирая за нас с тобой,
знали: дома пришла беда.

похоронкой скребется смерть,
поседела изба в летах.
выжить надо еще суметь,
но без дома идти куда?

молот пламенем отгремел,
кровью вытерли сапоги,
но об доску истерся мел.
вздох последний — домой беги!

а по небу душой скребут
улетевшие журавли,
каждый с нами остался тут,
хоть с живыми их развели.

песней маршевой спета смерть,
возвращались сквозь вой толпы,
скинув адскую круговерть,
отголоски своей судьбы.

ЗАБЫТЫЙ УРОК

Здесь не селятся птицы,
А травы протяжно молчат.
Не вернуть эти лица —
Из бронзы ни шагу назад.

От простого поселка —
Лишь горстка фигурок в полях.
С озверелостью волка
Насытилась кровью земля.

Сколько было убито
И сколько воды утекло…
Время прахом покрыто,
Но память хрустит как стекло

Под ногами босыми,
И снова встает между строк
В окровавленном гриме
Забытый когда-то урок.

Посвящено поселку Лидица около Праги, полностью уничтоженному фашистами 10 июня 1942 года. В поле возле места, где когда-то было село, стоит скульптурная группа из бронзы: 40 мальчиков и 42 девочки сбились в кучу в ожидании смерти. Но кто сейчас об этом помнит в Чехии?

СИТЕНКО (КАЛАНЧИНА) ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА. 1992 г. р. Литературный клуб любителей поэзии «Прометей». Живет в Алтайском крае, г. Рубцовск.

Виктория СИТЕНКО

ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ МЫ ПРАВА!

Постой в тишине.
Помолчи о войне,
Шагая вновь к братской
могиле.
Читай
о войне,
говори
о войне,
Чтоб помнили.
Чтоб не забыли!

Голодных
людей,
погибших
людей,
Расстрелянных перед рассветом.
И тысячи тысяч кровавых смертей…
Нельзя
забывать нам
об этом!

Победа в цене!
Но в жестокой цене…
Поэтому,
памяти ради,
Ты детям своим
расскажи
о войне:
О Курской дуге,
Сталинграде…

Как стонет
беда,
как стынет
вода
В квартирах седых
Ленинграда…
Кто выжил
тогда,
выходил
навсегда
Святым
из блокадного
ада.

Освенцима плен...
в нем жизнь — боль и тлен.
Сожженные
заживо
дети...
Малыш,
как птенец.
А рядом — мертвец...
Без мамы теперь он на свете...

Ни шагу назад!
А пули свистят,
И сердце
стучит
метрономом.
В свой дом и свой сад
спешил все солдат,
Но нет уже
сада,
ни дома...

Обидно вдвойне:
На чужой стороне
Историю
нашу
меняют...
Пиши о войне!
И пусть в каждой стране
Советского
воина
знают!

На Запад!
Вперед!
День-ночь напролет...
Бегом,
по-пластунски
и шагом...
Насильственный
гнет
Фашизма
падет!
И стяг полыхнет
над Рейхстагом!

Все тело в огне.
Это память во мне
По венам течет, род от рода...
Читай о войне,
говори о войне
И знай,
как досталась
свобода!

Путь к новой
весне
Виден
в вечном
огне:
В нем боль, память, мужество, слава…
О страшной
войне,
о Великой
войне
Забыть
не имеем мы
права!

СОЛОМКО МАРИАННА ВАЛЕРИЕВНА. 1984 г. р. Концертмейстер в балетной школе. Член Союза писателей России. Живет в г. Санкт-Петербург.

Марианна СОЛОМКО

* * *

Отъедается век за Блокаду,
За огромные смерти младенцев,
За живое, оглохшее в камень
Ленинграда геройское сердце.

Был на карте не город, а голод,
Лед на Ладоге хрупкий и тонкий,
Но повергли врага серп и молот,
Матерям разослав похоронки.

И склонившись над кукольным хлебом,
Над размером его поминальным,
Той зимой свято верили в лето
И в победное красное знамя.

Был на карте не город, а голод,
Лед на Ладоге хрупкий и тонкий…
Больно жалит истории овод —
Ешьте досыта, мира потомки!

ВЕТЕРАН

У него нет зубов и старухи.
Недогрызенный жизнью сухарь,
Он еще разудалистый ухарь,
В нем — исконно звенящая старь.

На висках — лебединые пряди,
А в глазах — ленинградские льды,
Но не дрейфит он, радости ради —
Молодее всех нас, молодых.

Ни в бою, ни в миру он не дрогнет,
Лишь привычно поправит ремень,
В нем — Победы бессмертное огниво,
Он — воистину русский кремень!

* * *

Читаю с задержкой дыханья:
Дахау, Дахау, Дахау.
Читаю с зажавшимся сердцем:
Освенцим, Освенцим, Освенцим.
Читаю — в лице ни кровинки:
Белжец, Собибор и Треблинка.
Открылся вдруг памяти краник:
Майданек, Майданек, Майданек.
Но вместе так думать не надо —
Получится ужас блокады.

* * *

Не пахнут улицы хлебами,
И булок аромат простыл,
И над блокадными губами
Висят голодные кресты.
А губы стонут: «Хлеба крошку!» —
Все девятьсот ночей и дней.
И дети, нет, не понарошку
Еду рисуют на стене.

А в школьных нынешних столовых
Бросают на пол свежий хлеб,
Не помня слабых и голодных
Людей, забывших о тепле.
Тех, кто отчаянно сражался,
Оберегая Ленинград.
Беспамятства чумное жало
Страшнее смерти во сто крат.

И пульс не слышат метронома,
Звучащий, как великий гимн,
Тем, кто погиб в воронке дома,
Кто свой паек отдал другим.
Победа. Прорвана Блокада.
Но плачут в небе журавли
О не вернувшихся когда-то,
За хлеб, не поднятый с земли.

* * *

Зимы сиреневая замять
Врывалась в лихолетье окон,
Блокада состоит из блоков,
Которые снимает Память.

Был Ленинград, а ныне — Питер,
Былое имя спит в изгнанье,
Но поступью блокадных литер
Он вечен в нашем бытованье.

СТОЙКО АРТЕМ. 1989 г. р. Окончил Томский политехнический университет. Работает электриком на Томском пивзаводе. Живет в г. Томск.

Артём СТОЙКО

Я НЕ ЗНАЧИЛСЯ В СПИСКАХ...

Я не значился в списках ушедших на фронт
батальонов,
не врывался в окопы, валясь от усталости с ног.
Не форсировал рек, не держал рубежей оборону,
и я честно не знаю: а смог бы я или не смог?
Ведь на эти вопросы в боях добывались ответы,
и лишь те, кто не видели ужас войны изнутри
и не поняли главную ценность Великой Победы,
безрассудно кричат, что они бы могли повторить.
Наши предки себя не щадили, ведь вряд ли хотели,
чтобы выпал на долю потомков подобный кошмар.
Поколение их умирало за жизнь поколений,
так давайте ценить и беречь нам доставшийся дар!
Преклоняя колени, давайте прошепчем: «Спасибо»,
чтоб слились голоса, и пусть этот единый поток
сквозь пространство и время услышат все те, кто
спасли нас,
кто, на ветер слова не бросая, действительно смог…

МЕТРОНОМ

Тик-так,
тик-так —
метроном отбивает такт.
Это значит, живой до сих пор Ленинград,
хоть и душит безжалостно враг…
Ускоряется сердца блокадного стук:
Тук-тук,
тук-тук,
и рычащая стая уже тут как тут,
крест фашистский на каждом борту…

Рев движков и свист бомб воедино слились,
сотни взрывов взметнулись ввысь,
пульс зашкалил!!!
Но стоит прислушаться лишь, —
жизнь-жизнь-жизнь-жизнь…
Продолжается жизнь в Ленинграде,
вопреки беспощадной блокаде.

КУСОЧЕК ХЛЕБА

Веками будет помнить Ленинград,
не вставший пред врагами на колени,
о том, насколько может быть бесценен,
кусочек хлеба, весом в сотню грамм.
Тот, из ржаной муки и отрубей,
обойной пыли, жмыха, целлюлозы,
сполна в себя впитавший боль и слезы,
но спасший жизни тысячам людей.
Кусочек хлеба весом в сотню грамм,
с волнующим, особым ароматом —
один из главных символов блокады,
который не забудет Ленинград…

В НЕБЕ НАД КУБАНЬЮ

По воспоминаниям А. И. Покрышкина

Шестерка «Яков», выполнив задачу,
От Маныча взяла обратный курс
В станицу черноморскую казачью,
Покрышкин оставался начеку.
Он точно ждал фашистского визита:
Качнул крылом, заметив позади
В атаку заходящих мессершмиттов,
И, развернувшись, принял бой.
Один…
Неопытных пилотов прикрывая,
Сумел четверке фрицев дать отпор —
Несла потери вражеская стая,
Ведущий был расстрелян им в упор…
За горизонтом скрылась эскадрилья,
Боекомплект почти что опустел.
Стервятники с колючками на крыльях
Настойчиво повисли на хвосте.

Озлобленно плюясь свинцовым ядом,
За дерзкую атаку, по пятам
Рассвирипев, неслись они за «Яком»,
Но не достался он в тот день врагам.
Советский ас был много раз на грани,

Но, смерти вопреки, остался жив,
Закладывая в небе над Кубанью
Отчаянно крутые виражи…
Сто шестьдесят сражений за плечами
Имея к окончанию войны,
Он стал одним из тех, кого веками
Благодарить и помнить мы должны.
Отвоевав бесценную свободу,
С тех пор и до сегодняшнего дня,
Парит по голубому небосводу
Сибирский ястреб,
Родину храня…

ВЕРА

— Товарищ сержант, не найдется ли спичек?
Свои потерял я в последнем бою.
Спасла в нем от смерти меня медсестричка,
Заслуга ее, что живой здесь стою.
А я ведь ей даже спасибо простое
Сказать не успел, без сознания был.
Товарищ сержант, вот ведь горе какое,
Один из снарядов ее погубил.
Она в том бою, мне сказали сестрицы,
От смерти спасла не меня одного.
Товарищ сержант, мне две ночи не спится,
Совсем молодая, ей двадцать всего!
Девчонка, пожить не успевшая толком,
Отдавшая жизнь без раздумий за нас.
Не ей предназначены были осколки,
Что так беспощадно раскинул фугас.
Ей не воевать, а растить бы ребенка,
Вот только иначе решила судьба:
Осталась лежать неподвижно в воронке.
Как смерть, к сожаленью, бывает слепа…
— Солдат, а как звали ту девушку?
— Вера… Сазонова Вера, она из села…
Сержант, недослушав, промолвил несмело:
— Меня в том бою тоже Вера спасла…

МУЖЕСТВО

Обещая вернуться скорей,
с матерями прощались ребята
с сорок первого по сорок пятый,
отправляясь навстречу судьбе.
Сколько мужества нужно иметь,
чтобы встать на защиту Отчизны
и пожертвовать собственной жизнью,
не потребовав что-то взамен!

Сколько мужества нужно иметь,
чтобы, ежели необходимо,
отпустить беспрепятственно сына
на войну, где свирепствует смерть!
Кто страдал, сделав выбор, сильней —
Миллионы погибших на фронте
или матери их, похоронки
получившие на сыновей?

МОЛИТВЫ С МАТОМ ВПЕРЕМЕШКУ

Во время артобстрела
В окопах то и дело
Звучат молитвы с матом вперемешку:
Солдаты просят Бога
Помочь им хоть немного
И черта поминают словом грешным…
Взрываются снаряды,
И смертоносным градом
Осколки разлетаются повсюду.
Под раскаленным смерчем
Минуты длятся вечность,
И верить остается только в чудо…
Рубеж полуразрушен,
Закладывает уши,
От дыма пелена перед глазами.
Земля смешалась с небом,
Для многих стали склепом
Разбитые окопы с блиндажами.
Вокруг неразбериха…
Вдруг залпы поутихли,
Но ни секунды нет на передышку:
Под цокот пулеметов
Немецкая пехота
Уверенно выходит на зачистку…
Безжалостные звери,
В свою победу веря,
Забыли, что советские солдаты –
Особенного сплава
И не имеют права
Позволить обойти врагу преграды.
Приказ: «Назад ни шагу!
Не дать развить атаку!»
И здесь, в аду, среди огня и крови,
Сражаясь за Отчизну,
Своей рискуя жизнью,
Рождаются
Бессмертные
Герои…

СЫСОЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. 1974 г. р. Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад». Член Союза российских писателей. Живет в г.Петрозаводск, Республика Карелия.

Павел СЫСОЕВ

МАЛЬЧИК

Город зимний тихо плачет,
На ногах стоит едва,
В подворотне бледный мальчик
Рубит мебель на дрова.

Стол соседский, но соседей
Месяц нет уже в живых,
И холодный ветер бредит
Ночью в комнатах пустых.

Но у самой невской кромки
Бьются несколько сердец:
Мать, сынок и две сестренки,
Лишь на фронт ушел отец.

Уходя, прижал он сына:
«Ты теперь глава семьи,
Ты — единственный мужчина,
За девчонками смотри!..»

Днем и ночью бледный мальчик
Защищает город свой,
Он в подвал сестренок прячет,
Он спешит по мостовой

Встретить мать с ночной, с завода,
С горьким хлебом в рукаве,
И бредут они с подводой
По заснеженной Неве.

Как назло, мороз крепчает,
Боль от голода растет,
Мать слегла, как свечка тает,
Две недели не встает.

Осмотрел больную доктор,
Вышел с мальчиком во двор,
Бросил взгляд тоскливый в окна,
И на маленьких сестер.

«Вы, пожалуйста, не плачьте,
Да и ты, малец, не трусь.
Если что — в подвал, и прячьтесь.
Я недолго, я вернусь».

В тот же день не стало мамы…
Смотрит мальчик — нет, не спит…
Огибая рвы и ямы,
Он по улице бежит.

На проспекте замечает
Группу раненых солдат,
Бледный мальчик подбегает,
Слезы горькие блестят.

Мама для детей осталась
Лишь во сне, не наяву,
Завернули в одеяло —
И машиной за Неву.

Выпил кипятка из кружки
Летчик, что хотел помочь,
Сунул мальчику краюшку,
Помолчал — и вышел прочь.

Сестры плачут, как котята,
Где-то бухают в ночи
Отдаленные раскаты,
Чуть горит огонь в печи.

Бледный мальчик смотрит в небо,
Дрожь проходит по губам.
Он берет кусочек хлеба,
Делит ровно пополам,

Подает: «А ну, не плачьте,
Завтра доктор заберет!»
И, свернувшись как калачик,
В койке маминой уснет.

И приснится мальчугану,
Как сестренок заберут,
Как по снежному бурану
На машине повезут,

Как за Ладогой, быть может,
Повстречает их отец,
Дням голодным и тревожным
Навсегда придет конец.

Как падет в бою горячем
Ленинградская беда…
Только больше бледный мальчик
Не проснется никогда.

ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ

Тяжелый дым. Над полем волчий сумрак.
Стоит без слез немая тишина.
Как будто каждый в одночасье умер
В родном селе, куда пришла война.

Отцы и братья — те давно воюют,
И многих, может, нет уже в живых,
Здесь только жены, старики тоскуют,
И прячут внуков и детей своих.

Но черной цепью окружили хаты,
Собрали всех, кто чудом уцелел,
И повели под дулом автомата
К околице, к оврагу — на расстрел…

Те матери мертвы уже от горя,
Что вместе с ними дети на руках,
А старики глядят на птиц с укором,
Едва заметных в серых облаках.

Где ж крылья?! Где защита и спасенье?!
Кто остановит эту круговерть?!
Вдруг очередь… В свинцовом оперенье
Летит в людей расплавленная смерть…

Девятилетний худенький мальчонка,
Успевший чудом в поле убежать,
Увидел, как обмякла вмиг сестренка,
В кровавых пятнах вдруг осела мать…

Он был убийцам словно незаметен,
Как облачко тумана над рекой,
И, надрываясь, свежий русский ветер
Его рыданья заглушал собой…

Враги ушли. Смерть улетела дальше…
С травы воскресшей сыпалась зола…
Остался здесь белоголовый мальчик,
Последний житель мертвого села.

ТОКАРЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1972 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Пензенской обл., г. Заречный.

Максим ТОКАРЕВ

НАША ПОБЕДА

Победители ростом до неба
Мне привидятся в праздничный час.
И незыблема наша Победа,
Тот блистательный май не погас.

Не унижены — значит, велики
Люди непобедимой Руси,
В битвах сладили с яростной кликой
И Россию сумели спасти.

Дорогою ценою досталась
Нам победа и долго живет:
Приземлилась орлицей усталой
И гнездо в нашей памяти вьет.

ХАМЗИНА МАРИЯ РАВИЛЬЕВНА. 1978 г. р. Фрилансер. Живет в Свердловской обл., г. Михайловск.

Мария ХАМЗИНА

ВОЕННЫМ ПРАЧКАМ

До мяса костяшки стерты,
Пот едкий ползет в глаза...
Кровавые гимнастерки
В ладонях у них скользят.

В лесу — тишина. И птицы.
Как будто войны и нет...
Бойцы не глядят им в лица,
Но часто хохочут вслед.

Подумаешь, тетки в мыле,
За сорок почти любой!
Одну, говорят, убили,
Ту, с родинкой над губой.

И ту, в голубом платочке,
С кудряшками на висках...
В газетах о них — ни строчки,
О прачках писать — тоска!

Пропахшие хлоркой едкой,
Не женщины, а позор!
Они не идут в разведку,
Собой не закроют дзот.

Дашь им автомат — сломают,
Ну клуши, стоят, молчат…
Стирают. Весь день стирают.
Валками не в такт стучат.

В воде ледяной по локоть,
Кровавую пену мнут…
От взрывов, бывает, глохнут,
Но спины не разогнут.

Шинель выжимать по трое
Привыкли они давно…
Да разве они герои?
Кому расскажи — смешно!

Бывает, что полк ночует
В болотах, в грязи, в снегу,
А прачки за ним кочуют,
От выстрелов не бегут.

Стирают в жару и в стужу,
Пусть бьет их осколков град.
Ведь их ребятишкам нужен
Отстиранный маскхалат!

Рубаха нужна почище,
Без крови, заразы, вшей…
Но разве понять мальчишкам
Нелепых таких вещей!

Ведь их не приманишь бытом,
Так скучно — стирать, родить…
Красивей лежать убитым,
Но с орденом на груди!

…Сползает с ногтями кожа,
Костями шинели трут,
Но отдых им всем положен,
Лишь только когда убьют.

Уходят они, не плача,
И мыло в руке зажав…
…Никто не считает прачек,
Быть может, лишь Богу жаль

Теть Зою, теть Нину, Клаву
С веснушками на носу…
Тишайшую в мире славу
Они на плечах несут.

Без грома, огня и дыма,
У шаек своих в плену…
Бессмертны. Непобедимы.
Убили они войну.

Все в пене своей кровавой,
Без ленточек и наград,
Они сберегли нам право
Жить в мире, где бомбы спят.

Но мы, идиоты-внуки,
Все тянемся кнопки жать.
Однажды без кожи руки
Устанут нас всех держать.

И в небо взовьется ястреб,
Обуглив земли края…
…Кто только тогда подаст нам
Простой узелок белья?

Кто встанет у пенной лавы
И выдержит Божий суд?
Теть Зоя. Теть Нина. Клава
С веснушками на носу…

* * *

А небо было таким высоким,
Что ветру было просторно дуть.
Качались удочки над осокой,
И от закатов ломило грудь.

Хлеб ноздревато дышал на блюде,
Был нежным липы медовый цвет.
И всем казалось — войны не будет,
Совсем не будет. И смерти нет.

Пускай под крышкой бурлит Европа,
Гниет тихонько, при чем тут мы?
Встречались Молотов с *Риббентропом,*
А значит, нет никакой войны.

Костюм бы справить, ботинки с блеском,
На шерсть с отливом растет цена…
Вспороли бомбы рассвет над Брестом.
Какой будильник поставят нам?

ЮРЧУК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1981 г. р. ООО «Техноэкспорт». Живет в Оренбургской обл., г. Бузулук.

Дмитрий ЮРЧУК

БАТЮШКА КИРИЛЛ

Стоит домишко старый у дороги,
Я мимо в школу в юности ходил.
В нем жил с теплом в душе и верой в Бога
Священник местный батюшка Кирилл.

К нему за добрым жизненным советом
Людей река широкая текла.
Он находил для каждого ответы
И направлял на добрые дела.

Он жил, служил и помогал соседям,
Крестил детей, усопших отпевал.
Пока однажды утром на рассвете
«Война!» — внезапно голос закричал.

«Война! Война!» — летело по дороге,
Ввергая в шок живое все вокруг.
«Война! Война!» — звучал сигнал тревоги,
И танков уже слышен страшный звук.

Он вдруг сказал: «Ты помоги нам, Боже,
Чтоб враг Россию нашу не топтал!
Ведь только с верой победить мы сможем!»
И пред иконой на колени встал.

Заколотил свою родную хату,
В мешок буханку хлеба и воды.
И стал священник родины солдатом,
Чтоб мир спасти от страшной той беды.

Он сутками трудился в медсанбате,
Бойцов с полей сражений выносил.
Кричали вслед спасенные солдаты:
«Спасибо тебе, батюшка Кирилл!»

А он в ответ смущался как-то сразу,
Крестя парнишек раненой рукой.
Им отвечал одну простую фразу:
«Держись, солдат, ведь Бог всегда с тобой!»

И вот земля теплом уже согрета,
И голоса летят, как журавли:
«Победа, братцы! Слышите?! Победа!
Мы выдержали! Справились! Смогли!»

Вернулся он в родимую деревню,
Где домик его маленький стоял.
Молился в церкви так же ежедневно
И людям, как и прежде, помогал.

Я помню, мы к нему всегда бежали,
Когда он мимо дома проходил.
И радостно на солнышке сияли
Латунный крест и орден на груди.

Стоит домишко старый у дороги,
В котором он всю жизнь свою прожил
С теплом в душе своей и верой в Бога —
Священник местный батюшка Кирилл.

НАДО ПОМНИТЬ!

Жертвам концлагерей

Серый строй людей без лиц, под номерами,
Превратился в пыль, в смертельный став конвейер.
Как позволил Бог такое сделать с нами?!
Я не верю!..

Сотни палачей с потухшими глазами
Обратили в дым вдруг миллионы судеб.
Как позволил мир такое сделать с нами?!
Не забудем!..

Шар земной летит, века свои считая.
И для всех одно большое солнце светит.
Только вот зачем войну мы начинаем?!
Кто ответит?..

Серый строй людей без лиц, под номерами…
Палачи опять конвейер свой включили…
Почему беда вновь происходит с нами?!
Мы забыли!..

ДЕТИ ВОЙНЫ

Мой дед не форсировал Вислу и Одер,
Его на Рейхстаге автографа нет.
Ему в сорок первом и было всего-то
Без малого только одиннадцать лет.

Он жил, как и все беззаботные дети,
Гонял с пацанами в футбол дотемна.
Но летом услышал тогда на рассвете
По радио страшное слово: «Война!»

Спросонья не понял мальчишка вначале.
Увидел, как папа стоял у двери.
Смотрел, как слезинки у мамы бежали,
И холодом веяло как-то внутри…

Отец, уходя, улыбнулся тихонько:
«За главного тут остаешься, малец!»
И взгляд стал серьезней тогда у ребенка.
И вмиг беззаботному детству конец.

А после болванки точил на заводе,
Как взрослый, двенадцать часов у станка.
А вечером людям копал огороды,
Чтоб братьям малым принести молока.

Мой дед не герой исторических книжек.
В боях он медали не мог заслужить.
Но только без тех повзрослевших мальчишек
Нам было бы трудно врага победить!

IX

КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА

СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Алексей БАРХАТОВ
Светлана КРЫЛОВА
Кондратий ПОТРАВКО
Александр САВОСТЬЯНОВ
Ольга СИДОРОВА

БАРХАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1953 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Москва.

Алексей БАРХАТОВ

ЧАСЫ

Документальный рассказ

Федор еще раз придирчиво оглядел весь нехитрый скарб новобранца, сложил его в вещмешок. А рядом неразлучную гармонь — сказали, вроде как можно. Дождался, когда совсем стемнело, и вышел на улицу.

Деревня отходила ко сну. Только в нескольких хатах еще теплились огоньки. Вот к одной из них и держал он свой путь. В дверь постучал три раза, как условились. Она быстро распахнулась. На пороге возник тонкий девичий силуэт.

— Вот, пришел попрощаться, Нина…

Жадно взглянул ей в глаза. И тут же резко опустил голову. К горлу подкатил жесткий комок. Столько проигрывал в уме эту сцену, столько слов перебрал, а выдавил лишь эти скупые.

Она все поняла, ласково провела ладонью по кудрявым волосам.

— Время, Федя, быстро пройдет. Вон, Колька, твой сосед, уже отслужил, скоро вернется. Буду ждать, не сомневайся.

Они долго стояли, прижавшись друг к другу, и молчали. Красная луна подсматривала за ними из-за печной трубы. Подул ветерок, ему тягуче откликнулась калитка. Ее жалобный скрип напомнил о дороге.

— Пора!..

— До рассвета еще есть время, куда торопишься?

— Мать ждет, — просто ответил Федор, — а в шесть утра придет машина…

Потом порылся в кармане и достал круглые часы с железной цепочкой.

— Я принес тебе на память это…

Она взяла их в ладонь, открыла крышку, улыбнулась:

— Ну вот, буду считать минуты до твоего возвращения!

Поднесла к уху:

— Только они что-то не ходят!

Голос Федора чуть дрогнул:

— Понимаешь, не успел починить! Только не открывай их без меня. Не носи в мастерскую, ладно? Вернусь и сделаю!

— Хорошо, не буду, — тихо ответила она и снова обняла любимого.

Только одно письмо и успело из армии дойти до невесты. Через месяц началась война. Нина попала в эвакуацию. Много лет потом пыталась найти хоть какую-то весточку о Феде. Надеялась. Поначалу отвечали, что «рядовой Федор Рябов числится без вести

пропавшим в районе города Бреста». А спустя год после войны — «пал смертью храбрых».

Нина вышла замуж, родился сын. Часы берегла, не чинила. Но однажды, занятая готовкой обеда, не расслышала фразу своего десятилетнего сына Феди:

— Мама, а чего у нас часы без дела лежат? Я же в кружке занимаюсь, давай починю!

Отсутствие ответа сын воспринял как разрешение. Но через минуту из соседней комнаты раздался его разочарованный голос:

— Мама, они же пустые!

Он появился на пороге и добавил:

— В них только вот что!

На его ладошке лежало золотое обручальное кольцо.

Вскоре Нина Ивановна с мужем и сыном приехали в Брест. С тех пор в экспозиции музея крепости-героя рядом с посмертным орденом и гармошкой появились часы и золотое кольцо. Сотрудники рассказали, что собирались вместо него поместить здесь другое — от гранаты, которой рядовой Федор Рябов подорвал себя и окруживших его фашистов. Это кольцо, обручившее солдата со смертью, нашли крепко зажатым в его руке. Жизнь распорядилась по-другому. И победила.

КРЫЛОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА. 1970 г. р. МУК «Одоевская районная библиотека». Основатель и руководитель юношеской литературной студии «СЛОВО» (Студия Литературная Одаренных Воспитанников Одоева) 14+. Член Союза российских писателей. Живет в Тульской обл., пос. Одоев.

Светлана КРЫЛОВА

ПЕРЕЖИВ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Рассказ очевидца

В конце девяностых я снимала в Москве комнату у красивой, образованной, чуткой бабушки Клавдии Федотовны Кривенко. Она была родом из Ленинграда, пережила блокаду. Никакие фильмы и книги о войне не производят такого сильного впечатления, как невымышленные рассказы очевидцев. Я плакала, когда она рассказывала…

«Когда нас, выживших, перевозили на поезде, я была с новорожденным сыночком, держала его, прижав к себе, как статуя. Чувства голода уже не было — оно исчезло почти совсем, просто было все как во сне, как в кино… Люди умирали прямо в поезде. На каждой станции выгружали трупы. Просто выгружали и ехали дальше — надолго останавливаться было нельзя. Потом уже — не знаю, кто там хоронил… Никто не плакал, все воспринималось с какой-то страшной смиренностью, словно люди и не осознавали уже всего, словно были под наркозом… Мне повезло — у меня было молоко, и я почти месяц кормила ребенка грудью, хотя сама практически ничего не ела, воду пила, — но, видимо, у жизни очень сильная хватка, не так-то просто довести человека до смерти. Потом, когда молоко закончилось, я резала соски до крови и кормила его своей кровью… Потом и кровь перестала течь. Я не знаю, на что я уповала там, в поезде. Мальчик не плакал, значит, спал — так, наверное, я думала… И вдруг одна из женщин, которые по вагонам ходили, осматривая пассажиров, стала тянуть у меня из рук ребенка. Я словно очнулась. «Дайте, — говорит, — он умер». «Умер? Как умер?!» Трогаю — личико холодное, как мрамор… Мы вместе с той женщиной вышли на станции, не знаю, как у меня сил и духу хватило вырыть могилку, закопать тельце и место заметить. И станцию запомнить. И дальше сели в поезд, все как во сне… Я уже потом нашла могилку, потом и осознала все, и нарыдалась вдоволь. И за всю жизнь уже мне не выплакаться…»

Мы с моим маленьким сынишкой прожили у этой необыкновенно доброй женщины 3 года. И каждый год 27 января, в день полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады (в 1944 году), Клавдия Федотовна накрывала стол и звала нас с Ванечкой отметить праздник…

Она не вспоминала при ребенке вслух свою личную трагедию, не плакала. (Я вообще не помню ее слез за все три года!) Бабушка ласково смотрела на меня, на синеглазого мальчика — и улыбалась, и морщинки возле ее глаз были словно лучики от солнца. Потом

мы играли в разные детские игры, Ваня нас обыгрывал, и это ему очень нравилось. На радостях «победитель» предлагал: «А хотите я вам спою в честь большого праздника?» «Очень хотим! — приложив руку к сердцу, отвечала Клавдия Федотовна, и сын звонко запевал: «Почему так в России березы шумят, почему белоствольные все понимаюут?!»

И тогда вдруг взгляд Клавдии свет Федотовны уходил внутрь себя — я это видела. Она думала о своем... Скорее всего, о том, что могла бы тоже в молодости вот так петь и играть со своим сынишкой. Если бы не эта страшная война...

ПОПРАВКО КОНДРАТИЙ ПЕТРОВИЧ. 1926 г. р. Родился в дер. Лебединка, Сибирский край.

Кондратий ПОПРАВКО

ИЗ ДНЕВНИКА ФРОНТОВИКА-ТАНКИСТА

Я, Поправко Кондратий Петрович, родился 21 сентября 1926 года в крестьянской семье в деревне Лебединка, затерявшейся в таежном Сибирском крае среди лесов, болот и рек. Семьи у сельчан в то время были большими, по 8–10 детей, и многих породнили. Люди у нас все были работящими. Разрасталась Лебединка. А началось все с того, что в XIX веке переселенцы из России заселяли Сибирь. Знаю, что мои прадеды приехали сюда с Украины.

Детство мое пришлось на довоенные годы. Помню, молодежи в деревне было много. Летними вечерами за околицей всегда звучала гармонь. Все жили с родителями. Парни уходили в армию, а отслужив положенный срок, возвращались домой. А когда началась Великая Отечественная война, многие ушли на фронт. И многие не вернулись.

В первые дни войны два моих старших брата — Дмитрий и Иван — ушли на фронт. Отца призвали в армию в январе 1942 года. Уходя из дома, он дал мне наказ: «Ты, сын, старшим остаешься в семье. Будь помощником матери. Пойди на курсы трактористов, там хороший заработок». Кроме меня в нашей семье оставались еще две сестренки и два младших брата.

Во всех семьях нашей большой деревни старшие мужчины ушли на войну, дома остались матери, старики да дети, и нам, молодым, пришлось принимать трудовую вахту. Работали по 12–14 часов от ранней зари до темной ночи. Очень плохо обстояло дело с продовольствием. Есть приходилось картофельные лепешки вместо хлеба, суп с крапивой и лебедой, заправленный молоком. Одежду носили домотканую, из льна. Но мы верили, что выдюжим все невзгоды, лишь бы наши родные вернулись домой с Победой!

В сентябре 1943 года мне исполнилось 17 лет. В армию меня не брали, так как я работал в МТС трактористом, а на специалистов была бронь. Я обратился в военкомат с просьбой отправить меня на фронт. Написал заявление. И в ноябре меня призвали.

Призывников привезли в город Омск, собрали в каком-то клубе, пересчитали, накормили, а потом отправили в город Красноярск в учебный полк, где в декабре 1943 года я принял присягу и стал курсантом школы младших командиров.

Программа обучения была сокращена до минимума: строевая подготовка, метание гранат, стрельба из винтовки и караульная служба.

В этой учебной части я сдружился с таким же молодым сибиряком, как и я, Неукрытым Данилом Терентьевичем. Мы были

курсантами одной роты. А в одном товарном вагоне поезда, что вез нас из Красноярска на Урал, наши деревянные нары оказались рядом. Мы вместе получали сухой паек на железнодорожных станциях и варили еду в одном котелке на вагонной печке-буржуйке. Везли нас тогда в Нижний Тагил, потому что зачислили в танковые войска, а в Нижнем Тагиле делали танки. Вот так в начале 1944 года из города Красноярска нас, сибиряков, привезли на Урал в железнодорожном эшелоне. А в Нижнем Тагиле распределили по батальонам. Мы с Данилом Терентьевичем попали в одну роту, командирами орудий танка «Т-34». Даже были зачислены в один взвод. Вместе учились, рядом спали и даже вместе сфотографировались на деньги, вырученные на базаре за сахар из наших пайков. С ним мы всегда были вместе — и на обучении, и на отдыхе. Вдвоем мы писали и читали письма из дома и от своих девчат.

В Нижнем Тагиле нас стали усиленно готовить по военной специальности. За 5 месяцев мы должны были овладеть новой боевой техникой, изучить танк «Т-34-85», чтобы в бою в случае необходимости один член экипажа мог заменить другого. А экипаж «Т-34-85» состоял из пяти человек: командира танка, наводчика, механика-водителя, заряжающего и стрелка-радиста. Вооружение — пушка калибром 85 мм, два пулемета калибром 7,62 мм. Боекомплект к пушке — 60 снарядов. Вес танка — более 32 тонн. Имелась радиостанция с дальностью действия до 45 км. Хорошая машина. На «Т-34-85» устанавливался 12-цилиндровый четырехтактный бескомпрессорный дизель В-2-34. Рабочий объем всех цилиндров — 36,8 л. Максимальная мощность — 500 л.с. Емкость топливных баков — 545 л. Снаружи, на бортах устанавливались два топливных бака по 90 л каждый. Скорость по шоссе — до 60 км/ч. Скорость по пересеченной местности — 25-30 км/ч. Запас хода по шоссе — 250 км.

По окончании танковой школы нам были присвоены звания сержантов и должности командиров орудия танка «Т-34». Нас отправили на пункт формирования при заводе в Нижнем Тагиле, где из сибиряков создавался танковый батальон. Здесь же, на заводе № 183 «Имени Коминтерна», мы получили новенькие «тридцатьчетверки» с вооружением и снаряжением. Батальон с техникой погрузился на железнодорожные платформы, и наш эшелон взял направление к фронту.

Мой друг Данил Терентьевич был со мной в одной роте. Нам с ним было по 18 лет — необстрелянные пацаны. А наши командиры танков, взводные и ротные, были все с фронтовым опытом. Но мы были обучены и подготовлены для битвы с врагом. А главное, в нас совсем не было страха.

Очень хорошо помню первых своих командиров, наверное, потому, что они были первыми и с ними нам пришлось пробыть рядом дольше всех. Это потом командиры танков, взводов и рот у нас менялись через 2–3 боя. Война. А мой первый командир танка, лейтенант Бычелава, был с Кавказа. Командир взвода — старший лейтенант Польшин, а командир роты — наш земляк из Сибири старший лейтенант Хамов.

Через несколько дней наш эшелон прибыл на 1-й Украинский фронт, которым командовал маршал Конев Иван Степанович. Это было на Западной Украине, близ города Львова. Готовилось общее наступление направлением на Жешув.

Прибыли на станцию ночью. Быстро разгрузились и, выстроившись в танковую колонну, покинули станцию. Очень быстро достигли фронтовой полосы. Наша рота оказалась во втором эшелоне, рядом с передовой линией фронта. Местность холмистая — предгорья Карпат, с лесами и оврагами.

Первое свое настоящее боевое крещение я получил на Сандомирском плацдарме у реки Вислы в августе 1944 года. У Дукленского перевала Карпат. Сандомирский плацдарм был отбит у немцев в последние дни июля нашими соседями по фронту. 29 июля южнее города Сандомира Вислу форсировали части 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова и отряды 1-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Катукова. 31 июля севернее Сандомира форсировала Вислу 3-я гвардейская общевойсковая армия генерал-полковника Гордова. На левом берегу Вислы ими были захвачены небольших размеров плацдармы. На южный плацдарм вслед за соединениями 13-й и 1-й гвардейской танковой армий переправились части 3-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Рыбалко.

С утра 2 августа немецкое командование предприняло сильные контрудары по нашим войскам на плацдарме. В течение трех суток мы слышали, как у наших соседей идут ожесточенные бои. 4 августа в сражение была введена наша 5-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Жадова.

Ширина форсирования Вислы была не больше двух километров. Но продвижение вперед наших танковых отрядов осложнялось отсутствием поддержки с воздуха. А нас постоянно бомбили немецкие самолеты. Нам объясняли, что из-за быстрых темпов наступления аэродромы просто не успевали за передовыми частями. А надо было спешить. Существовала реальная угроза, что захват плацдарма вот-вот «захлебнется» под ударами немецких танков. Но наши части выдержали. Началась тяжелая борьба за удержание и расширение захваченных позиций. Немцы стремились во что бы то ни стало отбить западный берег Вислы и стянули к Сандомиру серьезные силы, включавшие крупные бронетанковые соединения во главе с «Королевскими Тиграми».

Наша 5-я армия заняла оборону на левом фланге плацдарма, южнее действий основных сил 1-го Украинского фронта. После переправы генерал Жадов приказал танкистам и артиллеристам закапываться в землю, маскироваться и готовиться к бою.

Мы понимали, что Сандомирский плацдарм — отличная позиции для удара дальше на запад, в самое логово фашистского зверя, понимали, что нам надо удержать плацдарм во что бы то ни стало. И контрудары противника были отражены.

В ходе тех боев мой танк не пострадал. Правда, и я в не подбил ни одного вражеского танка — больше работала противотанковая артиллерия, но пехоте противника мы нанесли кое-какой урон и не

дали немцам подойти близко к нашим позициям. К 10 августа 1944 года войска нашего 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева прорвали вражескую оборону юго-западнее Сандомира и, опрокинув части противника, расширили захваченный плацдарм.

13 августа противник силами нескольких танковых и пехотных дивизий нанес контрудар в районе Стопницы и потеснил войска нашей 5-й гвардейской армии. 14 августа немецкий танковый корпус снова атаковал позиции 5-й гвардейской армии. Несколько групп немецких танков и пехоты при поддержке артиллерии и авиации наступали с разных направлений, пытаясь нащупать слабые места в обороне наших войск. Противник повсюду сталкивался с нашим ожесточенным сопротивлением, но все-таки смог продвинуться вперед, выйдя к окраинам Стопницы. В этот же день, 14 августа 1945 года, войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление и окружили немецкий армейского корпус. Противник продолжал сражаться в окружении. На следующий день наши войска взяли город Сандомир.

15 августа на нашем левом фланге одновременными ударами с запада, юго-запада и юга противник попытался рассечь оборону на соединении нашей 5-й армии генерала Жадова и 3-й танковой армии генерала Рыбалко, и выйти к переправам через Вислу. Применив на этом участке свои новейшие танки «Королевские Тигры», немцам удалось оттеснить войска 5-й армии и овладеть Стопницей. Сдерживать атаку превосходящих сил противника пришлось героическим противотанкистам армии генерал-лейтенанта Жадова, и «Тигры» не прорвались к переправам. В этот день наша бригада отбила атаку десятков немецких танков, уничтожив несколько из них. Бригада удержалась на своих позициях.

У города Сандомира обстановка была тяжелой. Стремясь восстановить утраченные позиции, немцы перебросили в район Сандомира новые подкрепления. В том числе и «Королевские Тигры». В боях с 19 по 21 августа противнику удалось деблокировать свой окруженный армейский корпус. Бои на Сандомирском плацдарме продолжались до конца августа. Но настроение у нас было приподнятое, мы уже вышли за пределы границ нашей Родины! Отбив атаки немцев, мы встали в глубокую оборону.

В летних боях на Сандомирском плацдарме немцы потеряли много своей техники и солдат. Наши потери тоже были не маленькими. Но мы выстояли. И с приходом зимы пошли в наступление.

Самый памятный бой для меня — это 12 января 1945 года. Утро было пасмурным. И это пасмурное утро я никогда не забуду. Мы стояли в лесу. Наши танки были хорошо замаскированы. Мы ждали приказа к наступлению.

Прошла холодная ночь. Светало.

В 7 часов утра послышалась пулеметно-артиллерийская стрельба. У соседей шла разведка боем для выявления позиций огневых средств противника. Через пару часов началась мощная артподготовка из орудий всех калибров по позициям врага. Задрожала

земля. Поднялся неимоверный грохот от разрывов снарядов на позициях фашистов. Над нашими головами певуче пролетали снаряды «Катюш». Даже внутри танка ощущалось дрожание земли.

Артподготовка продолжалась два часа. На позициях гитлеровцев от леса остался лишь бурелом. Две линии вражеской обороны стали походить на перепаханное поле. Перед нашей танковой группой была поставлена задача прорвать третью линию обороны противника и выйти в тыл врага.

Когда на позиции фашистов двинулись наши «Т-34», враг побежал. Нам легко удалось смять его третью линию обороны. И мы с ходу углубились в немецкий тыл. Наши быстрые танки оставляли позади один населенный пункт за другим, не встречая сопротивления.

К наступлению темноты наша рота вышла на железнодорожную станцию Злочево. Здесь немцы оказали упорное сопротивление. Бой продолжался до утра. Был подбит танк нашего взводного, старшего лейтенанта Польшина. Выбив врага со станции, мы не смогли его преследовать — мост через речку Ниду был взорван.

С наступлением дня налетели фашистские бомбардировщики и стали бомбить станцию. Командир роты приказал искать на речке мель и форсировать ее вброд. В те дни наши войска подступали к Кракову, а нам следовало идти дальше, освобождая населенные пункты и железнодорожные станции от немцев.

Мы с моим другом Данилом Терентьевичем были в разных экипажах, но шли на своих «тридцатьчетверках» рядом. И связь никогда не теряли. Часто в бою выручали друг друга. Хорошо, когда рядом надежный друг, который поможет, выручит и в бою поддержит огнем.

Всей нашей Красной армией владел настрой «Вперед, до полной Победы!» Таков был наш девиз. Ох, как хотелось всем нам побыстрее закончить войну и скорее вернуться в родные края!

Наш 4-й гвардейский танковый корпус в составе войск 1-го Украинского фронта наступал на Краков с северо-запада. Подступы к Кракову немцами были сильно укреплены: противотанковые рвы, стальные противотанковые ежи, минные поля. Этот город прикрывал с востока пути в промышленные районы Силезии, и освобождение такого крупного военного и культурного центра Польши имело для нас большое значение.

Наше командование решило не разрушать город и взять его в кольцо. Этим решалась задача по сохранению промышленных районов и исторических памятников, представляющих огромную ценность. Наши командиры разъясняли нам, что необходимо сохранить город от разрушения. Огонь артиллерии применять только в случае крайней необходимости. И мы понимали такую задачу.

17 января 1945 года наша гвардейская танковая бригада соединилась с армией генерала Коровникова — город Краков был взят в кольцо. После короткого отдыха нашу танковую бригаду направили дальше, в наступление на прорыв немецких укреплений на северо-западе Польши. Была получена задача прорвать оборону

врага и крушить его тылы, «оседлать» дороги, прервав пути движения немецких войск, занять и сохранять мосты до подхода наших основных сил. Конечно, не без потерь пришлось встретиться с танками Гудериана, но мы выполнили эту задачу.

Я, конечно, знал, что у фашистов появился на вооружении грозный «Королевский Тигр», но пока еще не встречался с ним лично. До этого памятного боя мы имели дело с простыми «Тиграми» и «Пантерами». Хотя «простыми» их назвать трудно — броня и пушка у них были знатные. Но и они хорошо зажигались от наших подкалиберных снарядов. Наша пушка с 85-миллиметровой бронебойной болванкой с расстояния 500 метров пробивала броню «Тигра». Особенно в борт. Только вот этих самых подкалиберных экипажи танков «Т-34» перед боем получали всего по два снаряда. Считалось большой удачей, если удавалось взять в бою с какого-нибудь подбитого нашего танка пару подкалиберных снарядов про запас.

В боеукладке танка «Т-34» были и бронебойные тупоголовые снаряды с баллистическим наконечником, которые хорошо били всю бронированную технику немцев, вот только не «Тигров» в лоб. Половину нашего боезапаса составляли осколочно-фугасные снаряды, подходящие для стрельбы по пехоте и земляным укреплениям. А вот «Тигры» и «Пантеры» жгли наши «тридцатьчетверки» с удалений больше километра. И оптика у них была помощнее.

Опытные инструкторы-командиры учили нас, что при встрече с «Королевскими Тиграми» надо быть крайне осторожными и атаковать их нашими бронебойными снарядами только в борт или с тыла. Лучше из засад. Лобовая броня корпуса и башни немца существующими на вооружении нашей противотанковой артиллерии пушками и снарядами не пробиваются. Бронебойные 85-мм подкалиберные снаряды «тридцатьчетверок» лобовые бронелисты корпуса «Королевского Тигра» берут с дистанции не далее 100 метров. А бортовые листы корпуса и башни этого танка пробиваются с дистанции не далее 800 метров. А вот для 76-мм орудий «Т-34» лобовая броня «Королевских тигров» была неуязвима. Даже 122-мм пушка танка «ИС-2» не гарантировала поражения «Королевского тигра» в лоб. Мы хорошо помнили эту науку.

Не встречая сильного сопротивления, мы быстро шли по тылам противника в Польше. Но на подступах к населенному пункту Мичата нас ждали немецкие танки. Встреча произошла в лоб. Перед поселком в поле стояли три «Королевских Тигра». У нас было численное преимущество — 12 танков. Но одну нашу машину немцы сразу же подбили с расстояния чуть больше километра. С такой дальности мы ничего не могли сделать «Тиграм». Их 88-мм пушка имела лучшую бронепробиваемость, чем наша. Поэтому командир нашей танковой роты приказал по радио: «Вперед! На сближение!» И увеличил скорость своей машины, увлекая роту за собой.

За те несколько минут, что мы выходили на расстояние прямого выстрела наших пушек, немцы сожги еще две «тридцатьчетверки». В одной из них был мой друг Данил Терентьевич Неукрытый.

Его машина шла слева от нашей, чуть впереди, поэтому я успел увидеть, как «тридцатьчетверка» будто наткнулась на невидимую стену и остановилась. Почти сразу же из машины повалил черный дым. Что стало с другом, я видеть не мог. И в отчаянии и с яростью без команды выстрелил в маячивший в прицеле немецкий танк. Но мой снаряд только отскочил от лобовой брони немца, выпустив сноп искр. Еще несколько снарядов ударили по броне стоявших рядом немецких танков, не причинив им вреда. Не подпуская нас близко, «Королевские Тигры» попятились к поселку и скрылись за строениями.

Наш взвод из трех танков шел первым, и командир роты приказал нам зайти в поселок в разведку. На малой скорости наша колонна из трех «Т-34» вползла на крайнюю улицу. Мой танк шел вторым, и я отчетливо видел, как вражеский снаряд воспламенил идущую впереди машину командира взвода. Наши две «тридцатьчетверки» прижались к стенам ближайших домов и остановились. Осматривая улицу, я искал в прицел вражеские танки, но из-за дыма от горящей впереди «тридцатьчетверки» ничего не было видно. Командир моего танка, высунувшись из люка башни, разглядел впереди, метрах 300-х, торчащий из-за угла дома ствол танковой пушки с набалдашником пламегасителя. «Тигр» прятался за домом. «Ждут, что мы выскочим на перекресток», — произнес командир, опустившись в башню. Немного подумав, он посмотрел на меня: «Коля (так меня называли в экипаже), сможешь с одного выстрела свернуть ствол этому зверю?» Я посмотрел в прицел и сказал, что нужно подойти ближе метров на 100.

Наша «тридцатьчетверка» на первой скорости подползла на 100 метров к засаде. Немцы нас не обнаружили. Мы очень осторожно преодолели еще 50 метров. Немцы пока нас не видели. Оставшийся стоять на позиции второй «Т-34» прикрывал наш тыл. Понимая, что другого выстрела мне не дадут, я навел пушку на цель через канал ствола. Заглянув в ствол и убедившись, что все сделано правильно, командир танка дал команду заряжающему: «Бронебойный!»

Мы сбили ствол «Королевскому Тигру» с первого выстрела. Не дав немцам опомниться, наш танк выскочил на перекресток, чтобы добить «зверя». Но оказалось, что за первым стоят в колонне еще два «Королевских тигра». Силы оказались не равны. Не раздумывая, мы, используя маневренность «тридцатьчетверки», проскочили вдоль ошарашенных нашей наглостью немцев и с разворотом башни произвели выстрел в заднюю часть башни замыкающего немецкого танка, который уже газовал и пытался развернуть свою башню с пушкой в нашу сторону. «Королевский Тигр» задымил и загорелся. Но остальные немцы пришли в себя от нашей неожиданной атаки. Первый танк с поврежденным орудием выполз вперед на перекресток, освобождая место для маневра второму «Тигру», однако тут же получил выстрел в борт от «тридцатьчетверки», ожидающей на позиции. Оставшийся «Королевский Тигр» успел развернуть пушку в нашу сторону и произвести выстрел. Было слышно, как снаряд с оглушающим про-

тивным звоном задел нашу башню. Машину сильно качнуло. Но броня выдержала.

Пока мы перезаряжали свое орудие, на перекресток выехала наша вторая «тридцатьчетверка» и произвела выстрел по «Тигру». Видимо, попадание было чувствительным, бронированный «зверь» тронулся с места и, не принимая бой, уполз на параллельную улицу, пройдя, словно через картон, сквозь двухэтажный кирпичный дом, рухнувший на танк, но не причинивший ему никакого вреда.

Наш командир танка решил догнать раненого «Тигра» и дал команду механику-водителю на полной скорости двигаться по улице. «Тридцатьчетверка» выскочила на перекресток, и мы увидели, как в поселок на малой скорости въезжают «тридцатьчетверки» роты, видимо, услышавшие нашу канонаду. А по ним из засад стреляют немцы. Оказалось, что в поселке нашу роту поджидали еще шесть вражеских тигров, из них три — «Королевские». Наши приняли бой. Над поселком поднимался густой дым и стоял грохот от взрывов снарядов, лязга гусениц, скрежета стали. Горели танки, дома, сараи. Этот дым стелился по улицам и мешал вести точную стрельбу.

Через полтора часа все было окончено. Немцы не ушли из поселка. А у нас остались на ходу три машины. От полноценной роты — раненый взвод. А я потерял в этом бою друга.

Работа наводчика орудия танка очень ответственна. В бою я поймал в прицел корпус огромного немецкого танка. И моя рука не дрогнула. Когда видишь, как твой снаряд попадает в цель, испытываешь ни с чем не сравнимое торжество. Ведь это победа всего экипажа. А спасение жизни товарищей — это моя победа.

Проверив танки, перекусив сухим пайком, дождавшись топливозаправщиков и пополнив боекомплект, мы получили для роты новую задачу. Мы наступали быстро, проходя по 25–30 километров в день, встречая на пути сопротивление. 18 января 1945 года вся наша 14-я танковая бригада продвинулась далеко в тыл врага.

К исходу дня мы вошли в какой-то населенный пункт. Местность с глубокими оврагами и крутыми берегами. Немцы подготовили нам встречу, замаскировав свои артиллерийские позиции. Разгорелся бой. Время было позднее, местность незнакомая, но наши танкисты не дрогнули. Под обстрелом мы проскочили первые дома и укрыли машины за строениями. Определили, откуда стреляют вражеские пушки, и сделали несколько выстрелов прямой наводкой осколочно-фугасными снарядами. Немецкие пушки замолчали. Мы на скорости проскочили до перекрестка, где нас снова обстреляли, с других позиций. Отступив, мы постарались проскочить опасный участок обходным путем, по соседней улице. По ней мы вышли на главную магистраль и увидели перед собой небольшой мост через овраг. И тут рота нашего второго танкового батальона оказалась в самом центре артиллерийского боя. Командир нашего танка дал механику-водителю команду на скорости проскочить мост. Но при подходе к мосту вражеский снаряд попал нам в гусеницу. Идущий на скорости танк по инерции развернулся и скатился в овраг вниз башней. При падении экипаж не успел выбраться из машины и сильно побился.

Немного придя в себя, мы впятером, вооружившись гранатами, автоматами и пулеметом, выбрались из оврага. Стрельба велась отовсюду, вокруг рвались снаряды. Враг был впереди и позади, а где наши понять было невозможно. По форме лежащих убитых врагов мы поняли, что в этом поселке против нас дерутся эсесовцы и власовцы. Но мы все-таки сориентировались и вышли к своим.

В этом бою я был ранен. Снаряд разорвался близко, и осколок угодил мне в голову…

Пришел в сознание в незнакомом месте. Лежу в небольшом домике на полу, на соломе, рядом наши раненые. И командир нашей роты старший лейтенант Хамов Александр Никанорович. Тяжелораненый. У него перебиты челюсти, поврежден язык. Ему в рот вводили жидкость, а она бежала через разорванные раны. Хирургическую помощь нам оказывал польский врач. Он говорил только по-польски.

Нас в сопровождении танка «Т-34» вывозили в тыл на трофейном вездеходе с большим крытым кузовом и с настланной соломой. Кузов был плотно наполнен ранеными.

После освобождения Кракова я как выписавшийся из госпиталя побывал в этом городе. Постоял у могил воинов, погибших при его освобождении. Посмотрел на старинные кирпичные дома, на дорожных регулировщиц с флажками, на улицы с указателями «На Берлин», на движение машин и людей по этим мирным улицам.

В тот день мы, семеро танкистов с еще не снятыми повязками, покинули город Краков, догоняя свою часть. Мы были кантемировцы, поэтому не могли допустить, чтобы друзья шли к Победе без нас.

На то, чтобы догнать свою часть, нам потребовалось несколько дней — шло успешное продвижение наших войск на запад. Добирались на попутном транспорте, в день приходилось делать не одну пересадку. Прибыв в часть, мы пополнили новые экипажи танковых подразделений.

Уже 7 февраля 1945 года в составе танкового батальона нашему экипажу пришлось форсировать реку Одер с хорошо укрепленным западным берегом. Каждый метр реки простреливался оттуда перекрестным огнем. С первой попытки форсировать реку не удалось. Мост, возведенный нашими саперами, был разбит артиллерией врага. Наше продвижение остановилось, но ненадолго. Саперы мост быстро восстановили, и наши подразделения, сходу переправившись на вражеский берег, углубились в тыл противника, захватив небольшой плацдарм. Двое суток мы с боями удерживали это место до подхода наших основных сил. Переправа работала безостановочно и днем, и ночью. Над ней постоянно кружились немецкие и наши самолеты. Наблюдение с земли за воздушным боем — занятие увлекательное, особенно когда победу одерживают наши, а к земле летят, дымя, вражеские бомбардировщики. Немцы неоднократно пытались бомбить переправу и наш плацдарм, но истребители с красными звездами на крыльях давали им достойный отпор.

На немецкой земле мне пришлось участвовать в штурме сильной группировки немецких войск в городе Бреславле. Немцы более двух месяцев стойко держались почти в полном окружении. 12 февраля 1945 года наша танковая бригада подошла к укрепленному Бреславлю. Кольцо окружения надо было замкнуть. Накануне начала штурма нам дали небольшой отдых.

14 февраля гитлеровцы били по нам из всех видов орудий и минометов, наносили удары с воздуха, но мы овладели городом Бунцлау западнее Бреславля и замкнули окружение города-крепости.

Помню, зимняя ночь с 16 на 17 февраля 1945 года была темная и неспокойная. Часто взлетали осветительные ракеты, звучали пулеметные и автоматные очереди. Фашисты любили пускать по ночам ракеты — такие осветительные штучки, которые держаться в воздухе до двух минут. Дальше перед нами шли минные поля, а за ними метрах в 800 виднелся холм, хорошо укрепленный дотами. У холма справа и слева располагались окопы пехоты. За холмом чуть правее находился вражеский аэродром.

Утром 17 февраля началась наша артподготовка. Били не только по укреплениям немцев, но снаряды рвались и на минном поле, вызывая детонацию мин. Братья-артиллеристы расчищали путь нашим танкам. Эскадрилья за эскадрильей над нашими головами пролетали бомбардировщики с красными звездами. Над немецким аэродромом кружили наши истребители, не давая вражеским самолетам подняться в воздух.

Как только закончились авианалет и артподготовка, наш взвод получил по рации команду захватить аэродром. И мы двинулись по направлению к аэродрому в развернутом порядке. В прицел я наблюдал, как, побросав разбитые позиции, вражеская пехота бежит в сторону аэродрома. Мне уже хорошо были видны самолеты на стоянках, но мы не стреляли — такой была команда. От нас требовалось захватить немецкие самолеты.

Правее на краю аэродрома я увидел ангар, откуда в нашу сторону летели снаряды. С короткой остановки мне удалось двумя выстрелами заглушить эту огневую позицию врага. Но как только мы снова двинулись вперед, под гусеницу танка попала замаскированная противотанковая мина. Нашему «Т-34» разорвало днище. Механик-водитель был убит, стрелок-радист тяжело ранен, а все, кто находился в башне, получили сильнейшую контузию. Боезапас не взорвался, танк не горел, и мы втроем своими силами выбрались из покалеченной машины. Я почти ничего не соображал, в голове шумело и звенело, казалось, что мозг вот-вот взорвется, так болела голова. Идти мы не могли, поэтому упали тут же возле танка, где нас подобрали санитары и отправили в медсанбат.

Хорошо, что выздоравливать после контузии пришлось в медсанбате нашего танкового корпуса вместе с легкораненными. Я быстро поправился и вскоре снова встал в строй. Время было такое, что некогда было озадачиваться непроходящим шумом в голове и дрожащими пальцами, раз руки, ноги и голова целы.

Я снова попал в свою роту, но в новый экипаж «Т-34-85». Задача перед ротой стояла все та же: прорывать вражеские укрепления, идти по тылам, рвать коммуникации, дробить немецкие войска, захватывать склады, занимать важные объекты и держать их до подхода наших войск.

Это была уже не Польша, фашистам отступать было некуда, и они упорно сопротивлялись. Нам приходилось с боем отвоевывать каждый клочок земли, где на каждом шагу нас подстерегали граната, мина или фаустпатрон. В первых числах марта в одном из таких наступлений вражеский снаряд, выпущенный из противотанковой пушки, угодил в башню нашего танка. Снаряд попал в лоб, где броня башни самая толстая, поэтому не смог ее пробить. Но ударил он в башню с моей стороны. Я отделался ушибом головы, но были выведены из строя прицел и пушка. Нам пришлось вести танк на рембазу, что двигалась вслед за нашей бригадой. Там танку заменили башню, и мы уже на другой день отправились догонять свою роту.

Недалеко от очередного населенного пункта нам встретилась стоящая на обочине дороги неисправная самоходка, экипаж которой сообщил об уцелевшей немецкой группировке, которая скрывалась в овраге возле леса. Самоходчики рассказали, что лично наблюдали до двух сотен автоматчиков и две пушки. Наш командир танка принял решение атаковать противника одной «тридцатьчетверкой» с присоединившимся экипажем самоходного орудия на броне. Самоходчики прихватили с собой автоматы и пулемет.

Стараясь не привлекать внимания немцев, которые, несомненно, наблюдали за нами, мы отъехали от оврага подальше, развернулись и на полном ходу атаковали засевшего противника во фланг. Внезапность сыграла свою роль в успехе. Оба немецких орудия были развернуты в сторону шоссейной дороги, и я их хорошо видел в прицеле. Первыми двумя выстрелами из пушки мне удалось уничтожить оба вражеских орудия вместе с прислугой. Следующими несколькими выстрелами осколочно-фугасными снарядами мы ударили по засевшей пехоте. Танк ринулся на позицию врага, стреляя из пулеметов и давя фашистов гусеницами. Используя эффект неожиданности, мы нанесли противнику большой урон и заставили его сложить оружие.

В группе пленных в грязных шинелях, с поникшими головами стояли солдаты разного возраста. Их глаза смотрели не зло, а устало. Были несколько офицеров, одетых в кожаные куртки и хромовые сапоги, они смотрели на нас загнанно, по-волчьи. Им, наверное, было особенно горько, что всего один танк с четырьмя автоматчиками на броне сумел разбить и пленить две роты автоматчиков с двумя орудиями. Я понимал, обидно сдаваться в плен на своей родной земле. Но мы их не звали к нам. Так что теперь принимайте гостей, господа фрицы! Подошедшей пехотной части мы сдали 78 пленных немцев. За этот бой экипаж нашего танка был представлен к правительственным наградам. Меня как наводчика наградили орденом Отечественной войны II степени.

Но это потом. А в тот день мы прибыли на передовую в свою роту только к вечеру. Там нас ждали. Корпус готовился к наступлению. А наступать нам приходилось только по шоссейным дорогам, потому что кругом царила весенняя распутица. Она очень усложняла любое передвижение техники, особенно танков. Но мы наступали…

Раннее утро 14 марта было сырым и пасмурным. Поселок, из которого мы только вчера выбили немцев и в котором смогли немного отдохнуть, пополнить баки горючим, а боеукладки снарядами, остался позади. Еще ночью наша разведка принесла новые данные о противнике. И командование указало танковой роте направление движения к новому рубежу.

С самого утра кругом было неспокойно. Мы двигались по шоссе, а сверху нас пытались бомбить пикирующие бомбардировщики. Наши истребители в воздухе появлялись редко, потому что грунтовые аэродромы превратились в болота, и только самые опытные летчики могли взлетать и садиться на шоссе. Чтобы минимизировать потери от бомбардировок, командиры разбили роту на взводы и вели танки малыми группами, все время меняя скорость. Это дало свои результаты: рота потеряла только один танк.

На одном из участков противник артиллерийским огнем с высот у леса контратаковал нашу колонну. Немцы пошли в атаку, но мы дружным огнем танковых орудий подавили попытку врага сбить нас с шоссе.

День был солнечным, но невеселым. Лес стоял угрюмый, серый, земля сырая, кругом распутица и бездорожье. На шоссе догорали два наших танка. Мы понимали, что на немецкой земле легко не будет, придется брать с боями каждый поселок, каждую дорогу. Понимали, что будем терять друзей. У нас в строю осталось девять танков. Немцы больше не стреляли. Но их позиции на высотах у леса из нашей низины не просматривались. Да еще эта весенняя распутица…

Командир роты, доложив по рации командиру батальона обстановку, получил от него команду атаковать немецкие позиции. Наша попытка оказалась неудачной. Танки как сошли с дороги, так и встали в земляной жиже, гусеницы зарылись, машины сели на днище. Пришлось повернуть назад, а немец открыл по нам минометный огонь. К счастью все танки без потерь вернулись в исходное положение на шоссе. Минами задело пехоту, что залегла за обочиной.

Понимая, что стоять на одном месте нельзя, наши командиры приняли решение подняться по шоссе выше и проскочить по проселочной дороге до околка леса, откуда можно нанести по противнику удар с фланга. Мы благополучно дошли по шоссе до съезда на проселочную дорогу. Расстояние до леса было небольшое, но опасное: дорога была узкой, без насыпи, шла через овраг. Двигаться по узкой колее можно было только колонной, на небольшой скорости. Если немцы нас ждут хотя бы с одной противотанковой пушкой, то постреляют, как цыплят. Но был шанс на то, что немцы нас отсюда не ждут.

Танкам нашего взвода удалось первыми проскочить до леска. Немцы не стреляли. Из своего укрытия за деревьями мы открыли огонь по врагу и отвлекли на себя его внимание. В это время остальные танки роты сумели подойти к нам на помощь, и началась орудийная перестрелка. Нам удалось погасить огневые точки врага. Мы выбили противника с позиций на высотах и преследовали отступающих немцев до небольшого поселка. Сходу мы атаковали этот населенный пункт. Несмотря на то, что нас встретили огнем и в начале атаки танк ротного был подбит, мы с автоматчиками на броне прорвались в поселок и у гитлеровцев началась паника. В этом бою нам удалось захватить несколько машин с боеприпасами, походную кухню с продовольствием, пушку, несколько минометов и другую боевую технику. Мало кому из немцев удалось убежать, почти все оставшиеся в живых сдались в плен.

Но продвижение остановилось. Повсюду пожары, горели машины, дома. Как по заказу хлынул дождь, и огонь стал слабеть. К ночи погода улучшалась, дождь прекратился. Мы посчитали свои потери, дождались заправщиков, произвели дозаправку машин горючим, пополнили танки боеприпасом. В строю от роты осталось семь машин. Нашли несколько уцелевших домов без хозяев и, выставив посты позволили себе немного поспать.

Ночь с 14 на 15 марта была тревожной. В небе часто загорались ракеты. Немцы с самолетов бросали осветительные бомбы, которые долго и ярко горели около двух минут и хорошо освещали местность. Наши танки стояли замаскированными у деревьев.

Утро 15 марта было тихое, из-за тучек появилось солнце. Кухня, которую возили на открытой машине в кузове, доставила нам вкусный завтрак или обед. Это были мясной рассольник, плов и компот. Поели сытно, и настроение стало приподнятым. Наши сердца были переполнены предчувствием близкой Победы. Задача была ясна: продвигаться к Берлину, взять Рейхстаг и водрузить на нем Красное Знамя!

Нам назначили нового командира роты, вместо убывшего в госпиталь, и была поставлена задача прорвать следующую линию обороны врага. Впереди шли «Т-34» 1-й танковой роты нашего батальона. Остатки нашей роты следовали за ними. При первых выстрелах пушек мы получили команду: «Полный вперед!» и на большой скорости зашли в населенный пункт, где уже дралась с гитлеровцами 1-я танковая рота. Мы своих поддержали огнем и продвинулись в центр поселка. За нами быстро подоспела наша мотопехота. И вовремя.

В поселке были сосредоточены немецкие танки и самоходные установки, которым мы ударили в лоб. Фашисты не выдержали и стали отступать за поселок по единственной дороге и дальше — по мосту через небольшую речку. Дорога на мост шла по высокой насыпи. Наши танки пытались преследовать отступающего противника, но с противоположного берега противник открыл ураганный огонь, и нам пришлось остановить наступление до утра. Снова в роте были потери: два наших танка. Автоматчиков осталось маловато. Вечером пять оставшихся танков нашей роты пере-

бросили на окраину поселка, ближе к насыпи дороги, которая шла на мост. Перед мостом вправо и влево уходила развилка дороги.

Ночь была напряженной. Немцы, как обычно, бросали осветительные ракеты. Все время слышалась пулеметная и автоматная стрельба. Фашисты били дальнобойной артиллерией. Рано утром 16 марта саперы доложили, что мост не заминирован. Последовала команда одному из взводов 1-й роты захватить мост. Наши не стреляли, немцы тоже. Но как только первый танк зашел на мост, он взорвался от прямого попадания нескольких снарядов крупного калибра. Второму и третьему танкам удалось уйти в укрытие за насыпью. Мы получили приказ: «Вперед!» А дороги-то нет — мост взорван. И берег весь простреливается. Мы дали несколько выстрелов из башенных орудий по противоположному берегу и ушли в укрытие за насыпь. Наступать было некуда. А немцы продолжали обстреливать нас из дальнобойных орудий. Были подбиты несколько машин, прежде чем нам поступила команда уйти на другие позиции.

В полдень 16 марта мы вышли к населенному пункту Котбуское. День был солнечным. Впереди — взорванный мост. Появились немецкие самолеты, но наши самолеты отогнали их. Часть танков нашего батальона ушла по дороге влево и скрылась за лесом. Наша рота осталась стоять перед взорванным мостом. Мимо нас шли машины с ранеными, тягачи с подбитыми танками на прицепах. Примерно через час ожидания ротный вызвал нашего командира танка. Тот вернулся быстро с поставленной задачей. Мы запустили двигатель и в составе взвода пошли по дороге вправо от моста. И вскоре заняли позицию у обнаруженного саперами брода. Позиция на берегу реки, на возвышенности, была удобной для ведения стрельбы по врагу.

Утром 17-го был дан сигнал к атаке, и наша рота, форсировав реку в брод, в развернутом порядке, пошла на позиции врага. Я успел сделать только один выстрел, как вражеский снаряд пробил броню нашего танка…

Мы все ждали Победы и, как могли, спешили к ней. Но мне не суждено было встретить этот майский день в Берлине 45-го вместе с боевыми друзьями. В той атаке наш танк сгорел, как свеча. Два вражеских снаряда угодило нашей машине в левый борт. От первого снаряда танк остановился. От второго — запылал. Механик-водитель и стрелок-радист были убиты. Их могила — 30-тонная железная машина — пылала огнем. Я не помню, как сумел выбраться из горящего танка.

9 мая 1945 года я встречал в госпитале города Кисловодска в гипсе и бинтах. Пришлось долго лечиться. Домой я пришел 2 сентября 1945 года 19-летним инвалидом 2-й группы. За время боев я сменил три танка. И весь мой боевой путь пролегал от западной Украины через Польшу до Германии. А ведь оставалось так недалеко до Берлина и так близко до Победы!

Смерть обошла стороной наш дом. Отец и оба моих старших брата вернулись с войны живыми и здоровыми, даже раньше меня. Хотя и имели ранения. Видно, такая наша счастливая судьба.

САВОСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ. 1963 г. р. *Член Союза брянских литераторов, Русского литературного клуба и Футурсобрания. Живет в* Брянской обл., *г.* Клинцы.

Александр САВОСТЬЯНОВ

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ О ВОЙНЕ И НЕ ТОЛЬКО. ВСПОМНИТЬ ВСЁ

ОТЕЦ

Стихи автора

Был рожден
В двадцать третьем году,
А в году сорок третьем
Был ранен.
И когда он лежал в бреду,
Безнадежен — считали.
Не встанет…

Отступили как будто невзгоды,
Но как чутки рубцы от ран…
И верней, чем барометр, погоду
Вам предскажет
Войны
Ветеран.

Привожу здесь текст полностью, потому что отцу очень нравилось это мое стихотворение. Говорил, что в нем все кратко и по существу, а вот рассказывать про войну он особо не любил. Потому что воевал, как все, сражения были чрезвычайно ожесточенными, противник яростно сопротивлялся. Бои шли за линию окопов, за более выгодную позицию, за очередную высоту, за небольшой перелесок, короче, за все. Линия фронта беспрерывно освещалась ракетами, шла стрельба трассирующими пулями. Земля буквально горела. В атаки ходили после сорокаминутной артподготовки и поддержки авиации с воздуха.

За взятие в составе штурмовой группы мощного укрепрайона врага, который был прикрыт проволочными заграждениями и минными полями со значительной плотностью живой силы, огневых средств и инженерных сооружений, бойцы были представлены к боевым наградам, в том числе и мой отец.

В последнем бою моему отцу не повезло. Была нарушена телефонная связь, и командир поручил одному бойцу ее восстановить. Но солдат погиб на полпути. Командир дал команду второму. Он тоже был убит. И тогда настала очередь отца. Связь была восстановлена, приказ командира выполнен, но на обратном пути разорвавшийся рядом снаряд контузил и прошил его тело множеством

осколков. Мелкие осколки попали в руку и ногу, на другой ноге была перебита ступня, которая держалась лишь на лоскутах кожи, а основной удар пришелся в живот, внутренности были буквально разворочены взрывом. Но отец был еще жив. Только вечером его подобрали санитары и отправили в медсанбат.

Очнулся отец в военном госпитале на больничной койке, где пришлось лечиться несколько месяцев. Врачи боролись за его жизнь, проводя сложнейшие операции. Опасаясь развития гангрены, хотели отрезать ногу ниже колена, но отец упросил ее оставить. А тут еще и столбняк, будь он неладен. И опять на грани жизни и смерти. Но, тем не менее, с помощью врачей он переборол и эту напасть. Решением врачебно-медицинской комиссии был признан инвалидом войны второй группы. На этом война для отца закончилась. Так и пришлось хромать и мучиться всю оставшуюся жизнь от ран с двадцатилетнего возраста. Но память о его подвиге жива до сих пор:

Савостьянов Дмитрий Иванович, красноармеец
Дата рождения 1923
Место призыва Клинцовский ГВК, Орловская обл., г. Клинцы
Дата поступления на службу 09.1943
Кто наградил Президиум ВС СССР (68 сп, 287 сд, 13 А, 1 БелФ)
Наименование награды Медаль «За отвагу»
Даты подвига 29.10.1943

На карте прекрасно виден и боевой путь дивизии, где в Брянской операции 287-я стрелковая дивизия наступает севернее города Новозыбков, в начале октября 1943 года форсирует реку Сож в районе Новоселки (15 км северо-восточнее Гомеля) и до 2 ноября ведет напряженные бои по расширению захваченного плацдарма, а в ноябре 1943 года в составе войск Белорусского фронта участвует в Гомельско-Речицкой наступательной операции.

Однако...

В связи со сложившимися обстоятельствами мечты о работе токарем пришлось оставить. В послевоенное время инвалидам войны предлагались курсы, окончив которые, они, например, направлялись работать главными агрономами и председателями колхозов и совхозов, но отец пошел своим путем. Хотя тоже пришлось переучиваться. И основательно. Долгие годы проработал в экспериментальном цехе, делая образцы женской обуви, которые потом утверждались в соответствующем министерстве и ставились в серийное производство на конвейер.

Родина по достоинству оценила и трудовой путь Дмитрия Ивановича. За долголетнюю безупречную работу и большой вклад в трудовую и общественную жизнь предприятия Клинцовским ордена «Знак Почета» кожевенно-обувным объединением «Красный гигант» 8 сентября 1973 г. ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда» за № 98. 5 июня 1978 г. ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда» за № 40 уже Брянским производственным обувным объединением, и его имя было навечно занесено в Книгу

Почета. А 20 февраля 1979 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР он был награжден и заслуженной им медалью «Ветеран труда».

Кстати…

Отец был хорошо знаком и с нашим легендарным земляком Александром Филипповичем Лисименко, который 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут в составе штурмовой группы под командованием капитана В. Н. Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине. На эту животрепещущую для многих тему написано немало, дам ссылку лишь на одну из статей: http://polit.ru/article/2005/05/06/banner/

«Лишь в третьем часу ночи 1 мая в Рейхстаг со стороны триумфального входа привели со знаменем М. Егорова и М. Кантария. Где истинное Знамя Победы, которое водрузила на куполе Рейхстага группа Макова, сегодня доподлинно неизвестно…»

Умер отец в лихие девяностые. Как мне кажется, не столько от старых ран, сколько от полного равнодушия, царившего в государстве и обществе того времени по отношению к ветеранам ВОВ. Много их тогда ушло в мир иной. Убеленные сединами фронтовики стеснялись носить свои боевые ордена, потому что на них тогда даже смотрели косо…

К слову…

Дед мой тоже воевал. На фронтах Первой мировой. В Восточной Пруссии. За веру, царя и Отечество. Вернулся домой целым и невредимым. Но здоровье свое тоже подорвал основательно. Умер задолго до начала ВОВ, когда отцу моему еще и шести лет не было. Вот такая печальная семейная история… Грех не помянуть добрым словом Ивана Алексеевича, большой грех…

И не только его…

Бабушка моя замуж больше так и не вышла… Так и тянула Татьяна Васильевна дальше свой крест одна. Когда в город вошли немецко-фашистские войска, и незваные визитеры заявили ей, что в хате будут жить немецкие «зольдаты», лишь досадливо отмахнулась: «Я женщина старая, хоть бы саму себя обслужить, так что ничем вам помочь не могу, разве только на полном самообслуживании». И немцы передумали, не стали заселяться. Ноги их больше в нашем доме не было.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ

Стихи автора

Снова в свинцовом августе бьет метроном.
Выстрел крупнокалиберным в сорок втором.
Голод и смерть на улицах. Смерть в блиндажах.
Стынут во тьме нашествия слезы в глазах.

От небывалой стойкости голос осип…
Шквалом живая музыка — главный калибр.
Палочка дирижерская, соло трубы.
Дробь барабанная целится в медные лбы.

Дрогнули осаждавшие, словно от ран:
Огненная симфония — как ураган.
Музыка Шостаковича. «Враг у ворот»...
По ленинградским улицам враг не пройдет.

И не прошли...

Родная тетя моей жены в далеком 1939 году поступила в Ленинградский педагогический институт. Закончила два курса. Там ее и застала война. Работала в операционной ППГ № 1115 (полевом подвижном госпитале). Это была очень тяжелая работа, поступающие в госпиталь раненые солдаты и офицеры в основном находились в бессознательном и тяжелом состоянии.

Всего за 1941–1945 гг. в лечебных заведениях всех наименований было госпитализировано 22 326 907 человек, 71,7% возвращено в строй, 20,8% признано негодными к службе со снятием с воинского учета и 7,5% умерло от ран. Так что скорбный труд военных медиков был совсем не напрасным.

После войны долгое время работала учительницей в школе. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Отечественной Войны II степени:

Боровикова Мария Петровна
Дата рождения 1920
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Дата документа 06.04.1985
Министр обороны СССР

14 февраля 2020 года Марии Петровне исполнилось 100 лет. Она из тех немногих ветеранов ВОВ, доживших до столь преклонного возраста. Пожелаем ей крепкого здоровья, чтобы встретить 75-летие нашей Великой Победы в добром здравии.

Дядя моей жены, как и все фронтовики, тоже прошел огненными тропами войны. Про горы обезображенных фрагментов тел, оторванные головы, ноги и руки, как сейчас во всех ужасных подробностях показывают в некоторых СМИ, я от него не слышал никогда. Просто, как и мой отец, говорил, что война — это очень страшно. И все. Имеет боевые награды, в том числе и медаль «За боевые заслуги». И снова скупые строки и цифры:

Боровиков Виктор Григорьевич, старшина
Дата рождения 1916
Место призыва Клинцовский ГВК, Орловская обл., г. Клинцы
Дата поступления на службу 25.06.1941
Кто наградил 4 Уд. А 1 ПрибФ
Наименование награды Медаль «За боевые заслуги»
Приказ подразделения №: 692 от 07.11.1944

В мирное время Виктор Григорьевич целый ряд лет успешно руководил Клинцовским ордена «Знак Почета» кожевенно-обувным объединением «Красный гигант», которое было создано в 1963 году. Это был год и моего дня рождения. Выйдя на заслуженный отдых, много и увлеченно рисовал. Им был создан целый ряд замечательных картин, которые он охотно дарил своим родственникам и друзьям на добрую память. У нас в доме тоже есть его картины. Ушел из жизни в 2000 году. Светлая ему память.

На этом семейные хроники можно было бы закончить и поставить последнюю точку, но недавно в поле моего зрения попал интересный материал: «Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного» *(В. Курукина, А. А. Булычева, Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного).* Приведу только одну цитату: «Можно считать опричными служащими и посланных в Лондон в 1569 году дьяка Семена Савостьянова и подьячего Андрея Григорьева, поскольку именно слобода ведала отношениями с Англией, а дьяк Курган Лапин наблюдал за торгом английской Московской компании».

Не зря про Клинцы издавна ходила известная в народе поговорка: «Клинцы — это уголок Москвы». И даже если это просто однофамилец, то все равно наводит на определенные размышления. Потому что и Дмитрий Иванович, и Мария Петровна, и Виктор Григорьевич — все они родом из старообрядческих семей, а 2020 год — это еще и год 400-летия со дня рождения Священномученика Протопопа Аввакума.

«Все мы дети Божии, — говорил народу преподобный Сергий Радонежский, — а значит, все мы братья и сестры. Будем жить мирно, не причиняя друг другу обид, и никакие враги не одолеют нас».

Да будет так!

СИДОРОВА (ЕРШОВА) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА. 1954 г. р. Член Рязанского отделения Союза российских писателей. Живет в г. Рязань.

Ольга СИДОРОВА

ОБ ОТЦЕ

Документальный рассказ

Моему отцу, Сидорову Василию Петровичу, посвящается

Мой отец Сидоров Василий Петрович родился в августе 1923 года на Южном Урале, в селе Ново-Вознесенске Очерского района Молотовской, теперь — Пермской области. В 1938-м окончил школу-семилетку и поступил в Очерское педагогическое училище. К этому времени его отец (мой дед) — крестьянин-колхозник Петр Акимович Сидоров — уже умер, вероятно, не смог пережить «сплошную» коллективизацию. Петр Акимович скончался от сердечного приступа в 1931-м. Его жене и моей уральской бабушке Прасковье Ефимовне (в девичестве Бушуевой) пришлось одной поднимать шестерых детей. Судя по всему, Прасковья Ефимовна Сидорова была женщиной сильной: почти все их дети получили среднее и среднее специальное образование. По тем временам — хорошее!

Среднее специальное образование получил и мой будущий отец — он готовился стать учителем. Но приближающаяся Великая Отечественная война многое изменила. На последнем курсе Очерского педагогического училища учащимся-юношам предложили продолжить образование теперь уже в военных учебных заведениях. По совету старшего брата Ефстрата Петровича, к тому времени профессионального военного, мой будущий отец выберет Ленинградское артиллерийско-техническое училище. И этот практический совет, как показало время, помог сохранить отцу жизнь.

Отец, еще даже не восемнадцатилетний, окончивший педагогическое училище и получивший аттестат о его окончании 14-го июня 1941 года (!), до 22-го июня успеет не только поступить в Ленинградское артиллерийско-техническое училище, но и вернуться на одну ночь домой. Дома его ждала телеграмма о срочном возвращении обратно. В Ленинграде 31-го августа 1941-го курсанты-первокурсники приняли военную присягу. Их успели вывезти за неделю до полной блокады города в Удмуртию, в город Ижевск, на знаменитую ныне родину автомата Калашникова. В русско-татарском удмурдском городе Ижевске отец и прошел ускоренное обучение (менее года) и начал службу с февраля 1942-го. Но датой начала его военной службы считается (по документам) 18 июня 1941 года — со дня поступления в Ленинградское артиллерийско-техническое училище.

Первое офицерское звание отца — техник-лейтенант. Техником-лейтенантом, начальником маршрутного поезда, он и начнет в феврале 1942-го служить Родине — сопровождать поезда с боеприпасами на фронт, в частности, на юг Украины. По его словам, неоднократно попадали в опасные ситуации; и это не только многочисленные бомбежки. За утрату боеприпасов военнослужащим грозил трибунал вплоть до расстрела.

Судя по военному билету Сидорова Василия Петровича, сохранившемуся в нашей семье, с августа 1942-го по май 1944-го отец служил «начальником хранилищ» в разных местах. Последнее располагалась близ подмосковного города Озеры. Именно из подмосковных Озер он попадет уже в действующую армию, на 3-й Украинский фронт, предварительно пройдя подготовку в Брянском учебном артиллерийском лагере, входившем в состав 154-й артиллерийской бригады 10-й артиллерийской дивизии.

После войны, в середине восьмидесятых годов, отец ездил в город Херсон. К сорокалетию его освобождения от немецко-фашистских захватчиков руководство Херсонской области организовало торжественные мероприятия. Руководство пригласило фронтовиков всех воинских подразделений, участвовавших в освобождении Херсонщины в 1944-м: 295-й и 49-й гвардейских стрелковых дивизий, 377-й артиллерийской пушечного полка (АПАП), 6-го отдельного Берлинского полка связи, моряков Дунайской флотилии, летчиков отдельной морской группы… Все перечисленные принимали участие в освобождении города Херсона и Херсонской области в 1944-м!

Любопытна и показательна на сегодня география приехавших на торжества ветеранов: «Воронов из Краснодара, Захаров из Тамбова, Дядык и Соловьев из Голой Пристани, Куриловы, Овсянников и Лезин из Москвы, Матякины из Сталинграда, Лукьянов из Цюрупинска, Мовчан из Киева, Утесов из Херсона и Ярошенко из Липецка. На одной из херсонских встреч отличился Григорий Николаевич Дядык, называвший себя поджигателем первого орудия 7-й батареи. Он прочел стихи своего однополчанина Григория Погорелого, который, оказывается, писал их во время боев, но по скромности никому особенно не показывал. Больше того, оказалось, что часть стихов Погорелого положена на музыку, и, опять же, Дядык прекрасно спел их. Восхищению наших гостеприимных хозяев, да и нас самих не было границ». Вышеприведенные строки сохранились в нашем семейном архиве, в письмах однополчан к отцу.

В тех же 80-х на юбилейных торжествах в честь освобождения Херсонщины участников боев очень хорошо принимали и руководство города, и местные жители. Ветераны много выступали, в том числе и перед школьниками, выпускали даже свою стенгазету. Часть заметок из этой газеты сохранилось в нашем семейном архиве. Благодаря им можно сегодня узнать, что двое ветеранов, едва приехав в г. Херсон, не дожидаясь размещения в гостинице, побежали отыскивать место своего боя на берегу Днепра. Долго не могли отыскать его (местность сильно изменилась!), но нашли и очень радовались этому.

В составе 154-й артиллерийской бригады 10-й артиллерийской дивизии, участвовавшей весной 1944 года в освобождении Херсона и всей Херсонской области от немецко-фашистских захватчиков, форсировавшей реку Днепр в суровых погодных условиях марта 1944-го, а теперь с боями завоевывающей немецкие земли Восточной Пруссии, отец и примет боевое крещение уже в сентябре 1944-го. И как участник героических боев в Восточной Пруссии он получит две благодарности товарища Сталина в связи с награждением его соединения, возглавляемого А. Струевым, орденом Суворова II степени.

Примечателен текст этих благодарностей Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза Товарища Сталина всему соединению, «в том числе и Вам, принимавшему участие в боях…» Во второй, более поздней (апрель 1945 г.), говорится: «за отличные боевые действия при разгроме Кенигсбергской группы немецких войск и овладении крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг» и «за отличные боевые действия при овладении последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове — городом и крепостью Пиллау». Именно под этими двумя немецкими городами-крепостями — Пиллау и Кенигсбергом — мой будущий отец и закончит войну в том же звании техника-лейтенанта командиром взвода боепитания. В это время ему был всего двадцать один год!

Для него и его боевых товарищей Великая Отечественная война закончится ранее победного мая 1945-го — в апреле. Несколько месяцев бойцы проведут в самом городе Кенигсберге (теперь Калининграде), который был взят и благодаря мощнейшему артиллерийскому натиску. Впоследствии, уже после войны, также в 80-х годах двадцатого века, побывав вместе с однополчанами и в советском Калининграде, ветераны сами удивлялись тому, что смогли взять эти практически неприступные города-крепости. Немецкие войска оборонялись здесь до конца: отступать дальше было некуда, за спиной — только воды Балтики…

В городе-крепости Кенигсберге, советском и теперь — российском Калининграде, и были сделаны первые фронтовые снимки, сохранившиеся в нашей семье: отец со своим взводом и вдвоем с боевым товарищем. Молодые лица, уверенные позы… На снимке с боевым товарищем фотограф советовал убрать со стены офицерскую сумку-планшет на заднем плане, но она осталась…

Чем же занимались бойцы-артиллеристы в эти победные и не боевые месяцы в только что взятом немецком Кенигсберге? По воспоминаниям отца, читали! В расположенном на берегу реки Преголь центральном городском соборе Кенигсберга (где упокоилось тело знаменитого философа Канта), который был практически разрушен и уничтожен начавшимся пожаром, хранилось много книг, в том числе и на русском языке. Большая их часть сгорела, но часть осталась. Их-то и читали советские бойцы в эти победные апрельско-майские дни. Именно в бывшем немецком Кенигсберге в апреле победного 1945-го был установлен первый в нашей стране памятник советским солдатам-победителям.

Позднее, в 80-х годах двадцатого века, участники кенигсбергских боев — 154-й Херсонской Краснознаменной пушечной артбригады РГК — напишут: «Пересматривая фотографии, вспоминая каждый день пребывания на той столь памятной для всех нас земле, где 40 лет тому назад в ожесточеннейших схватках мы дрались за Южный вокзал и сортировочную станцию, форсировали р. Преголь, штурмовали укрепрайоны и форты, с благодарностью думаем о боевых соратниках, о содеянном не только на поле брани, но и в мирные дни».

На передовой, на боевом фронте мой отец пробыл менее года. Но как измерить эти боевые месяцы, ведь погибали и в первом бою! За

этот боевой 1944–1945 год отец получил три весомые награды: два ордена Красной Звезды (за № 1520896 и № 3437391) и медаль «За боевые заслуги». На май 1945-го они у него уже были! А 14-м января 1946 года датированы еще два наградных удостоверения о вручении Сидорову Василию Петровичу двух медалей: «За взятие Кенигсберга» (за № 171848) и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (за № 0323768). Последние две медали 1946 года вручались уже «От имени Президиума Верховного Совета СССР». Интересна и дальнейшая судьба одного из боевых орденов отца — Красной Звезды (за № 1520896). Этот орден, вместе с кителем, который он по неосторожности повесил на крючок вешалки в поезде, украли! Таких случаев, по воспоминаниям моих родителей, в те времена случалось немало. Но сохранилась и уцелела «Орденская книжка» на этот орден. В дальнейшем для фотографирования по особо торжественным случаям (например, на «Доску почета ветеранов Великой Отечественной войны») отцу приходилось «занимать» у кого-либо из фронтовиков второй орден «Красной Звезды».

Закончилась Великая Отечественная война… А дальше? В конце 1945-го отца переводят в Белорусский военный округ в составе той же 10-й артиллерийской дивизии. На июнь 1946-го он пиротехник артиллерийского склада 10-й артдивизии, занимается разминированием белорусских земель в районе города Полоцк, где вдоль железнодорожного полотна лежали искореженные товарные вагоны. Именно сюда привез отец мою будущую маму — коренную москвичку Аллу Васильевну, девятнадцати лет от роду. Здесь же, под белорусским Полоцком, родилась в 1948-м году моя старшая сестра Людмила. А в марте 1950-го отца отправляют служить в группу советских войск в побежденную Германию, тогда — Германскую Демократическую Республику (ГДР). В 1960-м он заканчивает еще одни курсы, инженерные, при Пензенском высшем инженерном училище.

Отец прослужил в Советской армии 26 лет. В 1966-м, несмотря на предложение военного руководства продолжить службу, он демобилизовался. На тот момент он являлся начальником отдела хранения боеприпасов, теперь нового типа — радиоактивных, достаточно опасных. Это станет ясно в дальнейшем… Отец дневал и ночевал на службе. Позади были годы службы в Германии (с октября 1949-го по май 1959-го), где родилась я, и в Западной Белоруссии, под Брестом (с мая 1959-го по сентябрь 1966-го). Под г. Брестом, в военном городке, построенном в белорусских лесах еще для военнослужащих польской армии, мы с сестрой росли, учились. Мы, дочери, до сих пор вспоминаем белорусские годы с благодарностью.

В Белоруссии особое отношение к Великой Отечественной войне. Уцелевшие местные жители в советские годы очень хорошо о ней знали. Знали и помнили ее и люди, жившие рядом с нашим военным городком. Ведь рядом с железнодорожной веткой, в лесу, в 1941-м немецкими войсками был устроен концентрационный лагерь (один из первых!) для пленных советских воинов и мирных жителей — поляков, белорусов, евреев… Для пленных или арестованных здесь не строились бараки, людей выгружали из железнодорожных вагонов, несколько дней или часов они находи-

лись под открытым небом, а далее их расстреливали и сбрасывали в длинные, выкопанные местными жителями ямы и посыпали известью… Спустя 20 лет, уже в мирные 70-е, на этих местах весной цвели подснежники, чуть позже вырастали грибы — подберезовики и подосиновики. А чуть выше этих ставших незаметными ям еще сохранялись глубокие окопы с пустыми гильзами от немецких патронов. Ребятишками мы находили их…

Но в нашей семье воевал не только мой будущий отец. Воевал его родной брат, Федор Петрович Сидоров — он погиб на Ленинградском фронте в начале 1942-го в возрасте 29 лет. В уральском селе Ново-Вознесенске у Федора Петровича оставались молодая жена и две дочери. Вскоре его молодая жена умрет, и две дочери останутся сиротами. Их сдадут в ближайший детский дом — в районный, Очерский. Директор этого детского дома удочерит обеих. Но и новая мать-директор вскоре умрет, девочек снова вернут в детдом. Благодаря государству они уцелеют, вырастут, выйдут замуж, создадут свои семьи. Одна окажется на Украине, вторая — на родном Урале. Злата и Валя, я с вами не встречалась!..

Воевал, находясь в Москве на высоких военных должностях, и самый старший из братьев Сидоровых, Ефстрат Петрович. В предвоенные и военные годы он курировал советскую контрразведку, в том числе прифронтовую. Участвовал в освобождении Западной Украины от бандеровцев. В 1954-м Евстрат Петрович Сидоров получит свою самую высокую государственную награду — Орден Ленина! А всего у него значатся: боевой орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, вышеназванный Орден Ленина и редкие для фронтовиков медали «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. О своих наградах самый старший брат отца не говорил. Наша семья узнала о них уже в современную эпоху — из данных сайта Министерства обороны РФ «Дорога памяти»…

Приближали Победу над фашистской Германией в 1945-м и мои родственники со стороны матери, московские. Дед, Кириллов Василий Иванович, в годы Великой Отечественной войны служил в одном из военкоматов г. Москвы (по болезни ног он не подлежал призыву). Трудилась на заводе и его жена — моя бабушка — Людмила Ивановна, оставляя дома без присмотра троих детей от десяти до тринадцати лет. Позже, в 1947-м, ее наградят ценной для москвичей медалью — «В память 800-летия Москвы». Она хранится в нашей семье. Кто-то из ближайших бабушкиных родственников погибнет под Москвой, записавшись в народное ополчение в самое трагическое для страны время — осенью 1941-го. У него осталась большая семья: пятеро детей…

Наши родные учились, воевали, трудились во имя Великой Победы. После тяжелейшей войны 1941–1945 гг. они сумели найти свое место и в мирной жизни. В мирной жизни, в не менее трудные для нашего государства и народа послевоенные годы, они достойно трудились, создавали уже свои семьи, растили детей. Они передавали по наследству жестокую и страшную правду о долгих годах войны, выпавших на их долю. Спасибо им за это!

Первый Международный литературный конкурс «АДРЕСА ПОБЕДЫ» (2023), посвященный Победе в Великой Отечественной войне

ПРЕМИИ

ПОЭЗИЯ

1. УЛЬШИНА (КОЙСУЖАНКА) Галина Григорьевна. 1952 г. р. Член Ростовского регионального отделения Союза российских писателей. Живет в Ростовской области, г. Батайск.
2. ЦУКЕР Борис Юрьевич. 1956 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Зеленогорск.
3. БЕКИШЕВ Александр Васильевич. 1956 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Омск.
   ФИЛИНОВ Андрей Николаевич. 1957 г. р. Директор филиала ФГУП ВГТРК — «ГТРК-Владимир». Член Союза российских писателей. Живет в г. Владимир.

ПРОЗА

1. КУЗНЕЧИХИН Сергей Данилович. Любовные письма. 1946 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Красноярск.
2. МАЙОРОВ Геннадий Николаевич. Мертвое пространство. 1953 г. р. Председатель Орловского регионального отделения Союза российских писателей. Живет в г. Орел.
3. ЯНЖУЛА Анатолий Андреевич. Колпак лейтенанта Никошина. 1947 г. р. Управление Федеральной почтовой связи по Красноярскому краю. Член Союза писателей России. Живет в г. Красноярск.

ДИПЛОМЫ

ПОЭЗИЯ

1. БРАГИН Никита Юрьевич. 1956 г. р. Геологический институт Российской Академии наук. Член Союза писателей России. Живет в г. Москва.
2. ГРИГОРЬЕВА Софья Михайловна. 1941 г. р. Член Союза журналистов России. Живет в г. Красноярск.
3. ЕФРЕМОВА (КУЗНЕЦОВА) Галина Петровна. 1958 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
4. КАМЕНЕЦКИЙ Михаил Матвеевич. 1935 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Воронеж.
5. КЕРДАН Александр Борисович. 1957 г. р. Член Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в г. Екатеринбург.
6. ОЖГИБЕСОВА Ольга Адольфовна. 1960 г. р. Член Союза писателей России. Живет в Московской обл., Ступинском р-не, с. Верзилово.

7. ПОДОЛЬСКИЙ Сергей Викторович. 1950 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Уфа, Республика Башкортостан.
8. СЕЛИВАНОВ Юрий Геннадьевич. 1956 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в Ставропольском крае, г. Минеральные Воды.
9. СТОЙКО Артем. 1989 г. р. Окончил Томский политехнический университет. Работает электриком на Томском пивзаводе. Живет в г. Томск.
10. ХАМЗИНА Мария Равильевна. 1978 г. р. Фрилансер. Живет в Свердловской обл., г. Михайловск.

ПРОЗА

1. АСТАФЬЕВА Анастасия Викторовна. Карточки. 1975 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в дер. Починок Нейского р-на Костромской обл.
2. БОБЫЛЕВ Дмитрий Викторович. Ксякся. 1987 г. р. ООО «Ин-Ритейл». Член Санкт-Петербургского союза литераторов. Живет в Ленинградской обл., г. Мурино.
3. ВАСИЛЕНКО (Аленина)Тамара Семеновна. Маруся. 1952 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Москва.
4. ГОГОЛЕВИЧ Татьяна Евгеньевна. Почему ты не пишешь о войне? 1962 г. р. ГБУЗ СО Тольяттинский ПНД. Член Союза российских писателей. Живет в Самарской обл., г. Тольятти.
5. ГРИГОРЬЕВА Софья Михайловна. Это долгое, долгое, долгое эхо войны. 1941 г. р. Член Союза журналистов России. Живет в г. Красноярск.
6. ЗИРИХГЕРАН Ахмедхан. Небо. 1976 г. р. Редактор отдела журнала «Дагестан». Член Дагестанского республиканского отделения Союза российских писателей. Живет в с. Кубачи, Дагестан.
7. КОЛМОГОРОВА Наталья Ивановна. Заячий хлеб. 1963 г. р. Член Союза профессиональных литераторов г. Самара. Живет в Самарской обл., ст. Клявлино.
8. КУДРЯВЦЕВА Тамара Алексеевна. Только бы зиму перетерпеть… Ирочка. Ира. Ирина. 1950 г. р. Член Союза писателей России. Живет в г. Санкт-Петербург.
9. ОКУНЬ Михаил Евсеевич. Лейтенант Сева, или В ожидании Квантунской армии. 1951 г. р. Член Союза российских писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в г. Санкт-Петербург.
10. ПЕККИ Евгений Александрович. Защитник Сталинграда. 1951 г. р. Член Карельского представительства Союза российских писателей. Живет в г. Петрозаводск, Республика Карелия.
11. ПОПРАВКО Кондратий Петрович. Из дневника фронтовика-танкиста. 1926 г. р. Родился в дер. Лебединка Новосибирской обл.
12. СЕМИБРАТСКАЯ Виктория Владимировна (1976 г. р.), АДИНЦОВА Елена Викторовна (1974 г. р.). Катюша. Члены Союза писателей ДНР. Живут в г. Донецк.
13. СМИРНОВА Светлана Алексеевна. Живите счастливо и похорошему… Письма с фронта. 1950 г. р. Член Союза российских писателей. Живет в г. Уфа, Республика Башкортостан.
14. ЧХАТАРАШВИЛИ Баадур Михайлович. Анархический хромец. 1952 г. р. Пенсионер. Живет в г. Тбилиси, Грузия.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

I. «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА. СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Арсен ТИТОВ. Период (роман) 6

II. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПОЭЗИЯ. СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Николай АЛЁШКОВ (Набережные Челны) 42
Анатолий БЕРГЕР (Санкт-Петербург) 43
Неля БИРЮК (Красноярский край, г. Лесосибирск) 43
Ян БРУШТЕЙН (Иваново) 44
Василий БУРЯГИН (Красноярский край, г. Лесосибирск). 46
Софья ГРИГОРЬЕВА (Красноярск) 48
Александр ГРОСОВ (Донецк) 51
Виктор ДОМБРОВСКИЙ (Краснодар) 53
Геннадий ЗЕНКОВ (Кемерово). 55
Михаил КАМЕНЕЦКИЙ (Воронеж). 58
Владимир НУРОВ (г. Элиста, Республика Калмыкия) 59
Вера ПАНЧЕНКО (г. Рига, Латвия). 62
Мишши (Михаил) ЮХМА
(г. Чебоксары, Чувашская Республика) 63

III. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА. СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Тамара ВАСИЛЕНКО (АЛЕНИНА). Маруся. (Москва) 66
Анастасия АСТАФЬЕВА. Карточки.
(Костромская обл., дер. Починок) 71
Дмитрий БОБЫЛЕВ. Ксякся. (Ленинградская обл., г. Мурино) . .79
Марат ВАЛЕЕВ. Простите меня, дядя Вася! (Красноярск) 85
Светлана ДУРЯГИНА. Его война.
(Вологодская обл., пгт. Чагода) 87
Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН. Небо. (с. Кубачи,
Республика Дагестан) 93
Илья ИЛЬИН. Бабушкина медаль. (г. Костомукша,
Республика Карелия). 98
Наталья КОЛМОГОРОВА. Заячий хлеб.
(Самарская обл., ст. Клявлино) 101
Татьяна КУДРЯВЦЕВА. Только бы зиму перетерпеть...
Ирочка. Ира. Ирина. (Санкт-Петербург) 109
Сергей КУЗИЧКИН. Не сторож брату моему... (Красноярск). . . 117
Сергей КУЗНЕЧИХИН. Любовные письма. (Красноярск). . . . 121
Дарья КУМОВА. Ленинградская сирень. (Санкт-Петербург). . 125

Геннадий МАЙОРОВ. Мертвое пространство. (Орёл) 129
Михаил ОКУНЬ. Лейтенант Сева, или В ожидании Квантунской армии. (Санкт-Петербург) 135

IV. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ» ПОЭЗИЯ. СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Никита БРАГИН (Москва) 142
Александр БЕКИШЕВ (Омск) 143
Сергей БЕРСЕНЕВ (Москва) 144
Георгий БОЙКО (Москва) 146
Виктор ГВОЗДЕВ (Пензенская обл., г. Заречный) 147
Александр ГОЛОЗУБОВ (Курская обл., г. Обоянь 150
Нина ГРОШОВАН (ОСТАФЕЙЧУК) (с. Реуцел, Молдова) . . . 150
Александр ЁЛТЫШЕВ (Красноярск) 152
Александр ЕСЬКОВ (Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Горки) 153
Александр КЕРДАН (Екатеринбург) 154
Галина ЕФРЕМОВА (КУЗНЕЦОВА) (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 157
Евгений КАМИНСКИЙ (Санкт-Петербург) 159
Елена КИРИЛЛОВА (Томск) 160
Татьяна КУДРЯВЦЕВА (Санкт-Петербург) 162
Ольга МОЛОДЦОВА (Тульская обл., г. Новомосковск) 164
Ольга ОЖГИБЕСОВА (Московская обл., с. Верзилово) 166
Евгений ПЕККИ (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 169
Сергей ПОДОЛЬСКИЙ (г. Уфа, Республика Башкортостан) . . 171
Лариса РАТИЧ (Санкт-Петербург) 173
Лев РУДКОВСКИЙ (Воронеж) 175
Виктор СБИТНЕВ (Кострома) 175
Юрий СЕЛИВАНОВ (Ставропольский край, г. Минеральные Воды) 176
Ольга ТАРАКАНОВА (Красноярский край, г. Минусинск) . . . 179
Николай ТИМЧЕНКО (Красноярский край, г. Сосновоборск) . .180
Галина УЛЬШИНА (КОЙСУЖАНКА) (Ростовская обл., г. Батайск) 181
Андрей ФИЛИНОВ (Владимир) 184
Светлана ХОХЛОВА (ПЕЧЁНКИНА) (Тюмень) 185
Борис ЦУКЕР (Зеленогорск) 186
Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ (г. Элиста, Республика Калмыкия) 189
Галина ЯКУНИНА (Владивосток) 191

V. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ» ПРОЗА. СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Александр РАЛОТ (ПЕТРЕНКО). Крылатые штрафники. (Краснодар) 194
Владимир ПЕЧНИКОВ. Жили-были старик и ворон. (Воронежская обл., с. Петропавловка) 198

Людмила РОГОЧАЯ. Я с вами. (Краснодарский край, станица Кущёвская) 202
Дина РЫЧКОВА. Сон?.. или... (с. Марисола, Республика Марий Эл) 205
Виктория СЕМИБРАТСКАЯ, Елена АДИНЦОВА. Катюша. (Донецк) 209
Павел СЫСОЕВ. Перепела в траве. (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 213
Вячеслав ХАРЧЕНКО. Нервический смех. (Симферополь) . . . 221
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. Три похоронки для матери. (Томск). . 230
Баадур ЧХАТАРАШВИЛИ. Анархический хромец. (г. Тбилиси, Грузия) 237
Анатолий ЯНЖУЛА. Колпак лейтенанта Никошина. (Красноярск) 243

VI. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ» ПОЭЗИЯ. СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Марина ДЮРАНГО (Московская обл., Балашиха) 256
Онега ЕРШОВА (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 257
Лариса ЖЕЛЕНИС (БЕЛОВА) (Ярославль) 260
Наталья КОЛМОГОРОВА (Самарская обл., ст. Клявлино) . . . 261
Светлана КРЫЛОВА (Тульская обл., пос. Одоев) 263
Ирина КУЗЬМИНА (Ленинградская обл., пгт Павлово) 264
Ольга МАРКОВА (Астрахань) 264
Галина ПОЛУБОЯРОВА (Оренбургская обл., с. Елшанка Первая) 266
Георгий ПОПОВ (Москва) 266
Евгений ПРУДЧЕНКО (г. Алматы, Казахстан) 268
Александр САВОСТЬЯНОВ (Брянская обл., г. Клинцы) 271
Станислав САНДАЛОВ (Санкт-Петербург) 272
Виктория ПОБЕЖИМОВА (Соловьева) (Красноярск) 273
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ (Томск) 274
Алла ШАКЛЕНИНА (Самарская обл., г. Тольятти) 275
Инвер ШЕУДЖЕН (Краснодар) 276

VII. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ» ПРОЗА. СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Елена ВАДЮХИНА. Подснежник. (Москва) 280
Татьяна ГОГОЛЕВИЧ. Почему ты не пишешь о войне? (Самарская обл., г. Тольятти) 284
Софья ГРИГОРЬЕВА. Это долгое, долгое, долгое эхо войны. (Красноярск) 287
Юрмет (Юрик) НАГИЕВ. С Днем Победы, батя! (г. Набережные Челны, Республика Татарстан) 293
Валентина НИКИТИНА. Семья-партизанка. (г. Кличев, Республика Беларусь) 294
Евгений ПЕККИ. Защитник Сталинграда. (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 297

Юрий СЕЛИВАНОВ. Дом на окраине.
(Ставропольский край, г. Минеральные Воды) 306
Светлана СМИРНОВА. Живите счастливо и по-хорошему.
(г. Уфа, Республика Башкортостан). 312
Николай ТИМЧЕНКО. Любимец мира.
(Красноярский край, г. Сосновоборск) 316
Светлана ТРЕТЬЯКОВА. Мой дед. (Санкт-Петербург). 320
Нина ТУРИЦЫНА. Георгий Жуков. Одна встреча.
(г. Уфа, Республика Башкортостан) 322
Рауза ХУЗАХМЕТОВА. 9 Мая.
(г. Казань, Республика Татарстан). 329
Алина ЯМЩИКОВА. Шура, вернись!
(Красноярский край, г. Дивногорск). 331

VIII. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПОЭЗИЯ. СТРОФЫ ПАМЯТИ. СТРОФЫ ВОЙНЫ...

Елена АДИНЦОВА (Донецк). 336
Анатолий АРЕСТОВ (Алтайский край, г. Рубцовск) 336
Дмитрий БОБЫЛЕВ (Ленинградская обл., г. Мурино) 337
Анна-Виктория ВЕНЕВИТИНОВА (Санкт-Петербург) 338
Александр ГУЛЯЕВ (Тула) 339
Константин ЗАЙЦЕВ (Воронеж). 339
Наталья ЛИТВИНЕНКО (Донецк) 341
Ирина ЛУЦЮК (БЕСПАЛОВА) (Санкт-Петербург). 343
Алла ПАШИНА (Курск) 344
Наталия ПРИЛЕПО (Самарская обл., г. Тольятти). 345
Вадим СЕРГЕЕВ (Самара) 346
Виктория СИТЕНКО (КАЛАНЧИНА)
(Алтайский край, г. Рубцовск). 348
Марианна СОЛОМКО (Санкт-Петербург) 350
Артём СТОЙКО (Томск) 352
Павел СЫСОЕВ (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 356
Максим ТОКАРЕВ (Пензенская обл., г. Заречный). 359
Мария ХАМЗИНА (Свердловская обл., г. Михайловск). 359
Дмитрий ЮРЧУК (Оренбургская обл., г. Бузулук) 362

IX. КОНКУРС «АДРЕСА ПОБЕДЫ»
ПРОЗА. СТРОКИ ПАМЯТИ. СТРОКИ ВОЙНЫ...

Алексей БАРХАТОВ. Часы. (Москва) 366
Светлана КРЫЛОВА. Пережив блокаду Ленинграда.
(Тульская обл., г. Одоев) 368
Кондратий ПОПРАВКО. Из дневника фронтовика-танкиста.
(дер. Лебединка, Сибирский край) 370
Александр САВОСТЬЯНОВ. Семейные истории о войне, и не
только. Вспомнить всё. (Брянская обл., г. Клинцы) 384
Ольга СИДОРОВА. Об отце. (Рязань) 389

Лауреаты Первого Международного литературного конкурса
«Адреса Победы» (2023), посвященного Победе в Великой
Отечественной войне 394

Литературно-художественное издание

Адреса Победы

Приобрести сборник можно в Союзе российских писателей
(121069, Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1, офис 32,
Союз российских писателей); возможна рассылка наложенным платежом
Для справок в Москве: тел. (495) 691-03-45
Электронный адрес: vsrp@mail.ru);

Редактор *В. Н. Мисюк*
Корректор *А. Ю. Юрьева*
Верстка *Л. В. Васильевой*
Дизайн обложки *Е. В. Арт* (*Омельченко*)

Союз российских писателей
Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1, оф. 32

Подписано в печать 20.12.2023. Печать офсетная.
Печ. л. 25. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3907

Отпечатано в ООО «Контраст»
192171, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20.
E-mail: ooocontrast@yandex.ru